Сергей Хрущев

ПЕНСИОНЕР СОЮЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ПЕНСИОНЕР СОЮЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ • Сергей Хрущев

Новости

Сергей ХРУЩЕВ

ПЕНСИОНЕР СОЮЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ



Москва, 1991

ББК 66.61(2)8
Х95

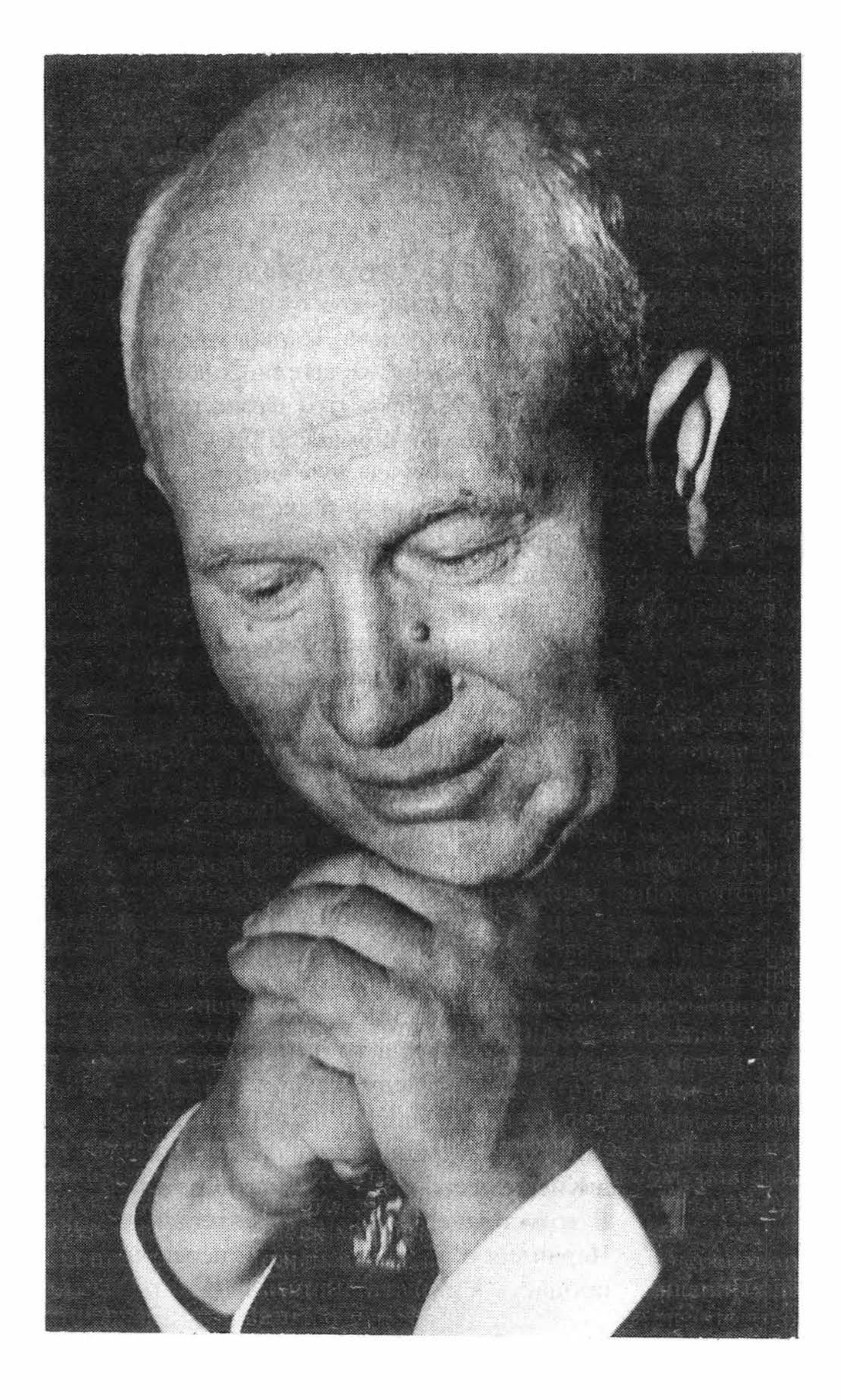
В книге помещены фотографии из Центрального государственного архива кинофотодокументов СССР, Центрального государственного архива кинофотодокументов УССР, фотоархивов ТАСС, ИАН и семейного альбома автора.

Хрущев С. Н.
Х95 Пенсионер союзного значения.— М.: Изд-во „Новости", 1991.— 416 с., ил.
150 000 экз.

Эта книга — воспоминания сына Никиты Сергеевича Хрущева, бывшего Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР. В ней рассказывается о «дворцовом сговоре» соратников Хрущева, вынудивших его уйти в отставку, о его последующей жизни на пенсии. Подробно показано, как создавались мемуары опального партийного и государственного лидера. Рассказывается о смерти и похоронах Хрущева, а также освещается малоизвестная история возведения на его могиле надгробия, созданного скульптором Эрнстом Неизвестным.
Книга рассчитана на широкие читательские круги

Х $\frac{4502010000}{067(02)—91}$ Без объявл. **ББК 66.61(2)8**

ISBN 5—7020—0095—1



ПРЕДИСЛОВИЕ

В этой книге я хочу рассказать о последних семи годах жизни моего отца — Никиты Сергеевича Хрущева, Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР. Этот период его жизни малоизвестен — в октябре 1964 года отец ушел в отставку со всех постов. Первоначально мои записки предназначались только для детей и внуков, а может быть, если повезет, и для будущих историков. В те времена, когда я писал эти строки, не приходилось думать о возможности издания книги об опальном лидере. Все мои усилия были направлены на то, чтобы уберечь их, что было сопряжено с немалыми трудностями. Но времена изменились, и появление этой книги стало возможным. Более того, на мой взгляд, необходимым, поскольку вокруг имени отца стали создаваться всевозможные мифы и небылицы. В некоторых недавних публикациях истинные события нередко искажаются до неузнаваемости, а то и просто подменяются выдумками, как, скажем, легенда о покушении на него на крейсере «Червона Украина» или требование лететь в Киев вместо Москвы в октябре 1964 года. В этом плане любопытна сентенция Черчилля о «невозможности перепрыгнуть пропасть в два приема». К каким только

событиям эпохи Хрущева ее ни привязывали. На самом деле случай этот произошел весной 1956 года во время визита в Великобританию. Я был тогда среди сопровождавших делегацию лиц.
На обеде, устроенном хозяевами в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, отца посадили за столом рядом с сэром Уинстоном Черчиллем. Он тогда уже отошел от дел, но не потерял интереса к политике. Ему было любопытно, кто же теперь стоит у руководства Советской страной.
Той весной мир был возбужден слухами о секретном докладе Хрущева на XX съезде КПСС, закончившемся всего два месяца назад. Человек, посмевший замахнуться на Сталина, привлекал всеобщее внимание. Отец не подтвердил, что он делал доклад, но и не уклонился от разговора о Сталине по существу, рассказал о вскрытых преступлениях. Одновременно он подчеркнул, что мы не забываем и о заслугах покойного лидера. В заключение он отметил, что начатый процесс очень сложен и болезнен и потому проводить его надо постепенно, в несколько этапов. Вот этот тезис и вызвал ставший знаменитым ответ. Черчилль с сомнением покачал головой и сказал примерно следующее:
— Господин Хрущев, именно в силу той болезненности, о которой вы говорите, мне кажется, вопрос надо решать одним ударом и до конца. Затяжки могут привести к серьезным последствиям. Это как преодоление пропасти. Ее можно перепрыгнуть, если достанет сил, но

никому не удавалось это сделать в два приема. Сравнение понравилось отцу, и он не раз возвращался к нему при обсуждении предостережений «справа», предложений о приостановке или замедлении темпов десталинизации.

Прошло время, многое позабылось, и высказывание Черчилля теперь фигурирует как оценка то одних, то других хрущевских мероприятий, а кое-кто соотносит его и со всей эпохой «первой оттепели». И таких неточностей в последнее время появилось немало.

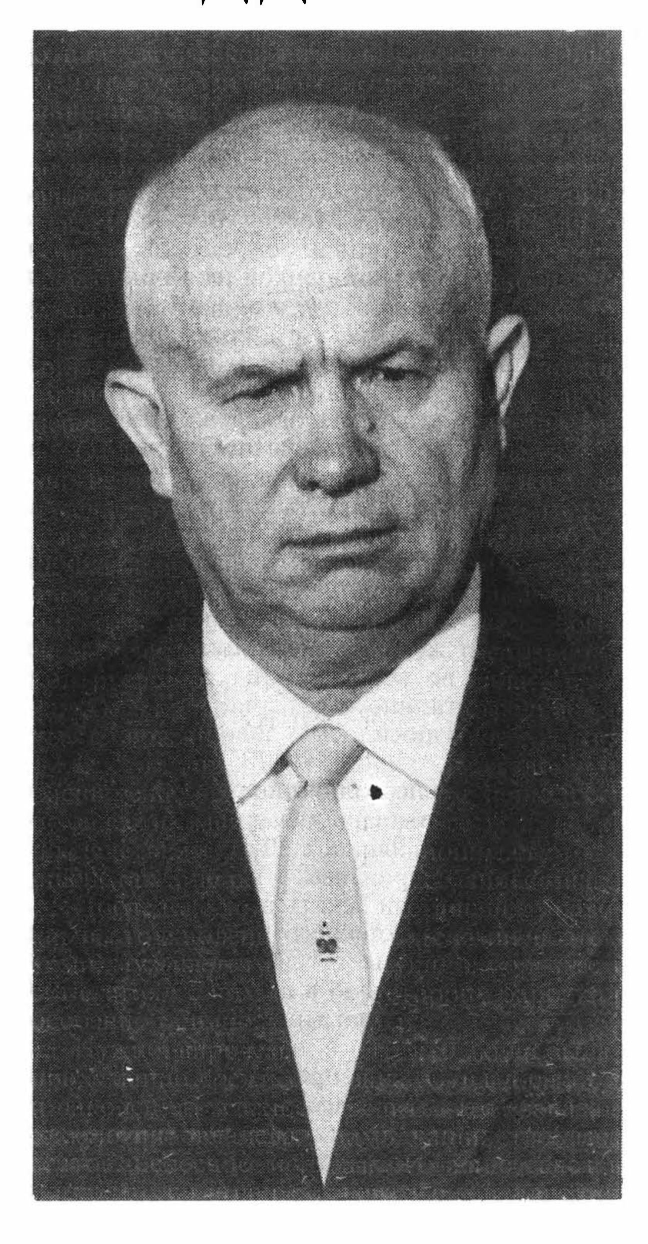
В своем повествовании мне хотелось передать события такими, какими они виделись мне в то время, по возможности сохранив при этом объективность.

Но должен сказать, что в описываемое время я мыслил довольно ортодоксально, не замечая очевидных вещей. Отец воспитал нас в несокрушимой вере в преданность руководства страны интересам общего дела и готовность всего народа на жертвы ради идеалов светлого будущего. Конечно, мы видели и бюрократизм, и чиновничью лень, и местничество, но лично для меня все это были проявления отрицательных качеств отдельных людей, а не лицо командно-бюрократической системы.

Частично эти иллюзии начали рассеиваться после разговоров с Алексеем Владимировичем Снеговым, старым коммунистом, работавшим в 20-е годы с моим отцом и Микояном, а затем отсидевшим восемнадцать лет из отмеренных ему начиная с 1937 года двадцати пяти ...

Глава I

ПРЕДДВЕРИЕ



С Алексеем Владимировичем Снеговым я познакомился в начале 60-х, через несколько лет после его возвращения из лагеря в Москву. В то время он уже отошел, а вернее, его «отошли», от службы. Жил он с женой Галиной и маленькой дочкой на Кропоткинской улице.

Поскольку я был молод, мне он казался довольно старым человеком. И тем более поражали его подвижность, энергия, способность вспыхнуть и без оглядки броситься в бой за правое дело.

Квартира его была завалена книгами, рукописями, журналами, просто бумагами. Они лежали на полках, на столе, на стульях, кучами на полу.

В тот период Снегов работал над острыми вопросами истории нашей страны и Коммунистической партии, занимался тем, что сейчас называют ликвидацией «белых пятен». Уже прошел XXII съезд партии, тело Сталина вынесли из Мавзолея, но не рискнули нести далеко и закопали тут же, у Кремлевской стены. И эта двойственность была во всем. Страна еще только подходила к осознанию сталинского периода нашей истории, еще с трудом произносилось словосочетание «культ личности».

А ведь еще несколько лет назад его просто не знали. Когда формировалась для предварительного анализа событий, происходивших в 30-е годы, комиссия Поспелова, отец впервые произнес эти слова: «Культ личности». Естественно, стали искать в первоисточниках, нет ли там чего-нибудь подходящего к случаю, и, конечно, нашли подходящие цитаты.

Помню, дело было в выходной, на даче. Отцу принесли портфель с бумагами, откуда он достал тоненькую серо-голубую папку с подборкой цитат из классиков. Отец попросил меня прочитать вслух мысли Маркса об опасности и недопустимости культа личности вождя.

Я начал с заголовка:

«Карл Маркс о культуре личности».

Над ошибкой посмеялись, а ведь если вдуматься, в

этой опечатке мало смешного: чтобы осмыслить происходившее, нужны были годы и годы.

Тогда и поразил меня Снегов, доказывавший, что нет отдельных ошибок и заблуждений Сталина, все происшедшее — плод его преступной политики. Возникли эти чудовищные явления в 30-х годах не вдруг. Их корни, говорил Снегов, в революционных событиях Октября и гражданской войны. Снегов замахнулся не только на догмы «Краткого курса истории ВКП(б)», но и на всю канонизированную историю.

Алексей Владимирович написал несколько статей по истории, в том числе о позиции Сталина по вопросу явки Ленина на суд летом 17-го года и о трагическом самоволии Сталина и Ворошилова, что явилось одной из причин поражения Красной Армии в Польше во время войны 1920 года. Сегодня эти материалы встали бы в ряд с себе подобными. Тогда же они производили эффект разорвавшейся бомбы.

Сталинисты делали все, чтобы эти исследования не увидели свет. Против Снегова сплотились теоретики и практики во главе с Михаилом Андреевичем Сусловым, главным нашим идеологом, и заведующим отделом пропаганды ЦК КПСС Леонидом Федоровичем Ильичевым. Ведь это они писали «историю», от которой Снегов не оставлял камня на камне, обвиняя их в фальсификаторстве.

В борьбе с консерваторами Снегов мог рассчитывать на поддержку лишь Хрущева и Микояна, в чьей честности он не сомневался. Официальным путем до высокого начальства добраться было трудно, помощникам Хрущева он не доверял, а Владимира Семеновича Лебедева, ведавшего в аппарате Хрущева вопросами, связанными с идеологией, просто считал человеком Суслова и скрытым сталинистом.

Через сына Анастаса Ивановича Микояна, Серго, Снегов вышел на меня. Серго, историк по профессии, несколько раз встречался с ним, передавал статьи Снегова Микояну, но дело не двигалось.

Как-то Серго предложил мне отправиться к Алексею Владимировичу, обещав познакомить с какими-то уникальными материалами о Сталине, которыми тот располагал. Я, конечно, согласился.

Дверь нам открыл невысокий, суховатый, очень под-

вижный человек с пронзительным суровым взглядом. Лет ему, видимо, было немало, но седина едва тронула густую черную шевелюру. Хозяин пригласил нас в кабинет, принесли чай. Алексей Владимирович сразу вывалил на нас гору информации о Сталине и его методах, о современных сталинистах. Он бил в одну точку: сталинизм не сломлен, XX съезд — это лишь начало, впереди долгий и трудный путь, на котором нас ждут не только победы.

Рассказывал Снегов и о себе. В революцию Алексей Владимирович, тогда Алеша, пришел молодым пареньком. Судьба бросала его с места на место. В те годы он и встретился сначала с Микояном, а позднее на Украине с никому не известным Хрущевым. Отец тогда работал под началом Снегова. Потом жизнь развела их. Карьера отца пошла вверх. Снегов же продвигался по служебной лестнице значительно медленнее.

Наступил 37-й год. Алексей Владимирович, в то время секретарь одного из обкомов, был репрессирован, прошел через все круги следственного ада, но так никого и не назвал. Получив в итоге двадцать пять лет, он исчез из жизни и Хрущева, и Микояна.

В оккупации фашисты заживо сожгли его мать как мать активного коммуниста. А Снегов сидел в лагере как враг народа и иностранный шпион. Закончилась война, но на его судьбе это никак не отразилось.

Но вот пришел 53-й ...

В марте умер Сталин, к власти рвался Берия. Снегов был хорошо знаком с ним. Вместе они работали в Закавказье в первые годы Советской власти. Пересекались пути и позднее. Но близости между ними никогда не было: друг друга они не любили. Снегов многое знал о Берии, в том числе и такое, о чем Лаврентий Павлович предпочитал не вспоминать. Знал он и о службе Берии у мусаватистов в гражданскую, помнил кровавую историю его возвышения в Грузии, не забыл о книге «историка» Берии, переворачивающей с ног на голову революционное прошлое Закавказья.

Несмотря на подобные знания, Снегов каким-то чудом остался в живых.

В 1953 году Берию арестовали. Готовился суд, следствие искало свидетелей. Их почти не осталось. О прошлом обвиняемого могли рассказать единицы.

Тут-то и вспомнили о Снегове. Его нашли в лагере, срочно доставили в Москву. На процессе снова встретились жертва и палач...

Суд свершился. Берию расстреляли.

Тем не менее судьба свидетеля обвинения сложилась непросто. Новым Генеральным прокурором СССР был назначен Роман Андреевич Руденко, когда-то близкий друг Снегова. Заключенный Снегов под конвоем был доставлен в прокуратуру, и они встретились.

В разговоре Руденко упорно избегал главного, но наконец, пряча глаза, спросил Снегова, что он мог бы для него сделать.

Алексей Владимирович, по его словам, в ответ только удивленно поднял голову.

Тогда Руденко стал объяснять ему, что закон един для всех, Снегов осужден, и никто приговора не отменял. Ему предстояло возвращение в лагерь. В конце концов Руденко предложил Снегову сохранить до освобождения записи Алексея Владимировича.

Снегов был ошеломлен...

Записи свои он отдал, и Руденко спрятал их в свой личный сейф. Там, в сейфе Генерального прокурора, и пролежали дневники заключенного Снегова больше двух лет.

Сам же он... отправился досиживать. В пересыльной тюрьме, рассказывал Алексей Владимирович, его едва не убили уголовники. Время, казалось, остановилось. Вести с воли приходили редко, а так хотелось знать, что там происходит. Почему их не освобождают? Неужели все осталось по-прежнему?

Наконец наступил 1956 год. В феврале предстоял XX съезд партии. В качестве гостей отец решил пригласить старых коммунистов, уцелевших после сталинских чисток. Когда помощник показывал ему список гостей, отец вдруг вспомнил о Снегове. Никто не рискнул сказать ему, что Снегов досиживает свой срок, полученный в 37-м.

Бросились искать. Прямо из тюрьмы голодного и обросшего Алексея Владимировича доставили в Москву. Тут заменили лагерную робу на добротный костюм, выдали гостевой билет в Кремль. О недосиженном сроке больше, понятно, не вспоминали...

После съезда отец не выпускал Снегова из поля

зрения*. С такими людьми, как Алексей Владимирович Снегов или Ольга Григорьевна Шатуновская, он связывал серьезные надежды в деле ломки старого аппарата. Ему нужны были единомышленники.

После освобождения из лагеря Шатуновскую направили в Комитет партийного контроля заниматься реабилитацией, а Снегова направили «комиссаром» в Министерство внутренних дел. Но консерваторы сдаваться не собирались, и в конце концов под благовидным предлогом должность Снегова была сокращена, а сам он оказался на «заслуженном отдыхе» «по возрасту и по состоянию здоровья».

И вот теперь мы сидим в его кабинете и пьем чай. Все больше увлекаясь, горячась, Алексей Владимирович вспоминал, доказывал, объяснял.

Хрущев сегодня практически изолирован, убеждал он нас, его поддерживает очень небольшая прослойка молодых сотрудников аппарата ЦК. Противников гораздо больше, и они, оправившись от шока, вызванного XX съездом, лишь ждут подходящего момента, чтобы взять реванш.

Главным врагом Снегов называл Суслова и его аппарат агитпропа. Именно они, по его словам, тормозили десталинизацию, топили в согласованиях попытки критики сталинских методов, старались скрыть совершенные преступления. Любые робкие ростки нового, прогрессивного тщательно выпалывались опытными руками этих «садовников» с «богатым» прошлым. Попытки взглянуть на происходящее с объективных позиций безжалостно пресекались. Недоволен Снегов был и Хрущевым, и Микояном, обвиняя их в непростительном либерализме и медлительности. Алексей Владимирович считал, что отец занимается «не тем».

— Зачем,— говорил Снегов,— он лезет во все вопросы промышленности, сельского хозяйства? Один человек все равно ничего не сделает. Не кукурузу надо насаждать,

* На самом деле Алексей Владимирович Снегов вернулся из заключения в Москву, по инициативе отца, значительно раньше. Они встретились в Кремле, и Снегов активно включился в трудную работу по реабилитации невинно осужденных. Вряд ли он запамятовал дату своего освобождения. Вероятнее, в таком виде рассказ представлялся ему драматичнее. Я не стал исправлять допущенную им неточность.

а бороться с главным врагом — сталинизмом и его последователями, засевшими в самом сердце, в ЦК и правительстве, иначе старый аппарат сломает Хрущева. В ЦК необходим честный, принципиальный человек, настоящий коммунист, способный навести порядок, и ему нужно предоставить чрезвычайные полномочия.

Если бы удалось добиться победы в ЦК, то дальнейшее развитие в прогрессивном направлении пошло бы быстрее, с гарантией от возврата к прошлому. Людей, которые могли бы перешерстить аппарат, вокруг Хрущева почти нет. Большинство поддерживают его только на словах, на деле препятствуя любым начинаниям. Алексей Владимирович верил одному Микояну. Ему, по мнению Снегова, и должен Хрущев поручить чистку в аппарате ЦК.

Снегов попросил меня передать отцу письмо с просьбой принять его для важного разговора. Я колебался. Ко мне и раньше обращались с подобными ходатайствами. Когда я передавал их отцу, он неизменно отчитывал меня, говоря, что такие обращения должны направляться в канцелярию ЦК, а там, мол, знают, что делать.

И все-таки, несмотря на серьезные колебания, я согласился — Снегов был не просто проситель, он беспокоился об общем деле.

С того дня мы подружились с Алексеем Владимировичем. При каждой встрече Снегов рассказывал все новые и новые подробности, приводил факты, свидетельствующие о нарастающей оппозиции и лично Хрущеву, и, главное, проводимой им политике.

Прошло какое-то время. Письмо было готово. Я выбрал момент и передал его отцу, кратко рассказав, что знал. Он почему-то не слишком обрадовался весточке от старого товарища, пробормотав что-то об экстремизме Снегова, а письмо, не вскрыв, положил в карман. Снегова отец в скором времени принял, но на мой вопрос о впечатлениях от встречи отмахнулся, сказав, что Алексей Владимирович многое преувеличивает, а многого просто не понимает. Может быть, в словах Снегова есть доля истины, но выводы его, по мнению отца, были просто неверны, раздуты, а страхи необоснованны.

Поддерживать разговор отец не стал, и больше мы к этому вопросу не возвращались.

Я поехал к Снегову. Он был в отчаянии и ярости. По его словам, отец ничего не понял и просто не принял его всерьез. Снегов рассказал ему о том, что делается в ЦК, об интригах за его спиной. Взывал к благоразумию и бдительности, предупреждал о нависшей опасности реставрации сталинизма, а отец только посмеялся и сказал в ответ, что у Снегова сильно развито воображение и потому в каждом углу ему мерещатся враги.

Хрущев сказал ему, что в ЦК работают искренние, беззаветно преданные делу партии люди. Как и у всех, у них есть свои недостатки, но каждый из них предан идее до конца, и подозревать их в интригах, преследовании своекорыстных интересов, а тем более в приверженности сталинизму, осужденному съездом партии, неправильно. Не надо заниматься сведением счетов, это вызовет новую волну насилия и ненависти — так отец отреагировал на призыв Снегова провести следствие и наказать палачей.

Когда же Алексей Владимирович принялся убеждать его оставить текущие хозяйственные дела специалистам, а самому заняться кардинальными вопросами партийной политики, отец просто рассмеялся и сказал, что нет более важного дела, чем накормить, одеть и обуть народ, и в решении вот таких будничных дел он и видит свою самую главную задачу. Микояна передвинуть в ЦК он отказался, сославшись на то, что все заняты своим делом.

— Он просто слеп,— заключил Снегов.

Разговор получился тягостным. До встречи с отцом Алексей Владимирович встречался с Микояном, но и тут ничего не добился. Словом, он был в отчаянии.

Невольно и я заразился настроением Снегова: чувствовал необходимость что-то сделать, предпринять, предупредить. Становилось страшно за наше государство и, не скрою, за себя, вокруг виделись заговорщики.

За стенами квартиры Снегова все менялось. Жизнь шла своим чередом и была прекрасна, как это свойственно видеть молодости. Вокруг были милые дружеские лица, добрые, честные улыбки, никак не соответствовавшие мрачным прогнозам из заваленной бумагами квартиры. Я стал все реже бывать у Снегова. Тем более что после приема у отца и он потерял интерес ко мне. Теперь в его борьбе я мало чем мог ему помочь. Вскоре беспокойство забылось...

Жизнь между тем продолжалась. Наступал новый, 1964 год. Он был для отца юбилейным: ему исполнялось 70 лет и примерно 10 лет пребывания на высших партийных и государственных постах.

По случаю новогоднего праздника в огромном зале на верхнем этаже недавно отстроенного Кремлевского Дворца съездов был устроен прием. Те, кто бывал во Дворце съездов, хорошо представляют себе этот зал: в перерывах все устремляются в буфеты, расположенные здесь.

В последние годы отец установил традицию встречать Новый год не дома, в кругу семьи, а в этом зале. Здесь собирались члены Президиума и ответственные сотрудники ЦК, работники Президиума Верховного Совета и Совета Министров, военачальники, передовики производства, писатели, режиссеры, актеры, поэты, драматурги, художники, конструкторы самолетов и ракет, дипломаты.

В углу зала на возвышении стояла большая, ярко украшенная елка. Прием проходил пышно, с обилием тостов, танцами. Далеко за полночь гости разъезжались по домам «догуливать» в кругу близких.

Кому-то нововведение нравилось — здесь завязывались новые знакомства, велись интересные разговоры, устанавливались нужные контакты. Кое-кто морщился: Новый год — праздник семейный, домашний. Но ходили исправно все.

Отец чувствовал себя здесь радушным хозяином. В этом году среди гостей был Николай Александрович Булганин. После Пленума 1957 года он еще некоторое время оставался Председателем Совмина, но его отставка была предрешена, когда «антипартийную группу» рассеяли по отдаленным городам. Постепенно выходили на пенсию и возвращались в Москву Молотов, Каганович, Маленков, Шепилов и другие. Вернулся и Булганин. Жил он одиноко. Мало кто из старых друзей рисковал с ним общаться.

Отцу захотелось увидеться с ним, и опальному экс-премьеру было отослано приглашение на встречу Нового года.

Двигало отцом, уверен, вовсе не желание увидеть поверженного противника. В преддверии семидесятиле-

тия все чаще вспоминались молодые годы, тянуло к старым друзьям. Долгое время они были близки: Хрущев — секретарь МК, Булганин — председатель Моссовета. Жили в одном доме на улице Грановского, на пятом этаже, дверь в дверь. Даже в глухие времена всеобщей подозрительности они, бывало, незаметно для чужих глаз забегали друг к другу в гости выпить стакан чаю или рюмку коньяку накоротке...

На том памятном новогоднем празднике отец тепло встретил Николая Александровича, они обнялись, как в прошлые годы, и... разошлись, теперь уже навсегда.

Кончился праздник, погасли елочные огни, отгремела музыка, и на отца навалились будничные заботы. Дела шли далеко не блестяще. Необходимо было найти выход, ту единственную «ниточку», дернув за которую удалось бы запустить хозяйственный механизм. Но нити рвались, завязывались в узлы, клубки проблем...

Отец понимал, как я неоднократно слышал от него в то время, что старая система управления народным хозяйством, расчет на голый энтузиазм рабочего класса, лозунг «догнать и перегнать Америку» ничего уже не дают и дать не смогут. Он лихорадочно искал экономическую схему, способную обеспечить функционирование хозяйственного механизма без окриков сверху. Но реальных результатов по-прежнему не было. Одно он знал твердо: без материальной заинтересованности труженика ничего не выйдет.

Каждый новый шаг не только натыкался на скрытую оппозицию со стороны коллег-идеологов и ученых-экономистов, нужно было преодолеть сопротивление внутри самого себя. Ведь рынок, конкуренция, прибыль были осуждены еще в 20-х годах, когда было заявлено, что это прямой путь к реставрации капитализма. Как же перешагнуть через такой барьер?..

Но и стоять на месте нельзя, нужно было найти способ, чтобы «накормить, одеть и обуть народ».

С трудом новые непривычные идеи пробивали себе путь. Отец поддержал экономиста Либермана из Харькова, одобрил эксперимент в казахском совхозе, где директорствовал Худенко. К тому времени в его воображении складывались основные контуры экономических преобразований, были даже приняты основные принципиальные

решения. Против обыкновения он на этот раз не спешил, хотелось еще и еще раз проверить заложенные в фундамент будущей экономики принципы. Ведь на исправление возможных ошибок времени не оставалось, это была его последняя надежда.

Присматривался отец и к опыту других стран. Большое впечатление на него произвели беседы с Тито. Он внимательно приглядывался к опыту югославских друзей, но попробовать применить его у нас не решался. Идеологи в один голос твердили, что в Югославии социализм не чистый, отдает сильным капиталистическим душком. Югославский путь, говорили ему, это отступление от марксистско-ленинских идеалов.

Отец пытался найти решение, позволявшее вывести народное хозяйство из следовавших один за другим провалов, в рамках структуры, которую мы сегодня называем командно-административной системой. Логика ее требовала вмешательства в производство на всех уровнях, во всех звеньях, пристального надзора не только за каждым заводом или колхозом, но и за каждым цехом, бригадой, станком.

В целях лучшего функционирования этой системы было принято решение о разделении обкомов и райкомов на промышленные и сельские.

Командный подход к экономике, по сути, означал, что в партийном руководстве всех уровней, вплоть до районного, должны сидеть люди, досконально разбирающиеся в любых мелочах. Таким образом, специалистов в аппарате становилось все больше, а дела между тем шли все хуже. В конце концов аппарат неимоверно раздулся.

Соображения, высказанные отцом, были просты: народное хозяйство необыкновенно усложнилось, секретарь обкома или райкома, его аппарат не могут одновременно быть специалистами и в промышленности, и в сельском хозяйстве. А значит, нужно создать два параллельных аппарата. Словом, как в известной басне Крылова: пересядем — и все пойдет отлично.

Мысль о том, что партийному руководству вообще не следует вмешиваться в хозяйственные дела, тогда еще не созрела. Такое, по правде говоря, и в голову не приходило.

Я слышал от отца об этих идеях. Зрели они, видимо, давно. Тем летом он отдыхал на новой даче в Крыму, поблизости от Ливадии. Дом, сложенный из белого песчаника, хорошо сохранял прохладу, но отец почти все время проводил под полотняным навесом на пляже, редко бывая в четырех стенах. У моря он читал почту, беседовал с посетителями: чиновниками из Москвы, гостями из соседних санаториев — конструкторами, учеными, писателями. Там же, под навесом, были установлены телефоны правительственной связи. Отец и ночевал часто здесь же, в деревянной будочке, построенной чуть выше пляжа.

Помню, как-то у отца гостили Брежнев, Подгорный и, кажется, Полянский. Они отдыхали на близлежащих дачах и заехали по-соседски «на огонек», как говаривал отец. Расположились в плетеных креслах у самой воды. Шел неспешный разговор о делах государственных. Потом пошли купаться. Отец, кстати, плавал плохо и пользовался надувным спасательным кругом из красной резины, напоминавшим велосипедную камеру. Разговор о разделении обкомов начался еще в воде, и, выйдя на берег, отец продолжил свою мысль. Наконец он замолчал. Все тут же в один голос бурно, с энтузиазмом его поддержали. «Прекрасная идея, надо ее немедленно реализовать», — запомнилось мне тогда. Особенно был воодушевлен Николай Викторович Подгорный.

Мне этот план почему-то не пришелся по душе, но, по давно заведенному правилу, в разговоры старших я не смел вмешиваться. Они лучше знают, что делают. Если я не согласен, значит, я не прав.

Вскоре Пленум ЦК одобрил реорганизацию партийных органов, и идея стала воплощаться в жизнь. Однако надеждам не суждено было сбыться: хозяйство не стало работать лучше, а возникшее дублирование руководства только усилило неразбериху. К тому же в результате реорганизации снова вырос аппарат. Принятое решение вызвало глубокое недовольство среди партийных и хозяйственных руководителей всех рангов. Это была последняя реорганизация, осуществленная отцом. Но правильное решение так и не было найдено...

Да, дела не ладились, и отец хватался сам за решение той или иной конкретной проблемы, не вылезал с заво-

дов, объезжал поля, везде хотел успеть, все увидеть сам. Но не успевал.

И все-таки за эти годы многое удалось сдвинуть: развернулось жилищное строительство, поднялась целина, что дало заметную прибавку к урожаю, началось развитие большой химии.

Серьезно изменилось положение и в области внешней политики. Выдвинутый на XX съезде партии тезис о реальной возможности предотвращения войны между странами с разными социальными укладами провозгласил начало новой эпохи в международных отношениях, позволив перейти от бесконечного наращивания вооруженных сил к их сокращению, а потом и к разоружению.

Способствовало разрядке и решение проблемы сбалансирования военной мощи Советского Союза и Соединенных Штатов.

В течение многих лет наше руководство жило в кошмаре — американские бомбардировщики могли легко нанести ядерный удар по Советскому Союзу без всякого возмездия. Теперь же, с появлением ракет, обе державы оказались в равном положении. И, как следствие, открылась возможность сокращения вооруженных сил. За короткий срок Советская Армия уменьшилась почти наполовину. Отец ставил задачу добиться еще большего ее сокращения, чтобы высвободить людские ресурсы и средства для развития народного хозяйства. Уменьшился срок действительной службы. Молодые люди вернулись домой, и экономика получила дополнительные рабочие руки.

Предпринятые шаги вызвали недовольство генералитета; военные, казалось им, теряли свои позиции и привилегии. Мириться с таким положением они не хотели. Но отец был непреклонен. Он хорошо знал нравы военных кругов и не намеревался плясать под дудку доморощенных милитаристов. В его понимании в будущем должны были сохраниться лишь минимальные силы взаимного сдерживания, и отцу не терпелось провести эти планы в жизнь: ракетный бум был в самом разгаре, а он уже всерьез ставил вопрос о переводе ряда ракетных заводов на выпуск мирной продукции.

Новый подход позволил начать переговоры с Соединенными Штатами о сокращении ядерных вооружений. Серьезным успехом стало подписание Договора о запре-

щении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. Последним толчком к нему послужил взрыв сверхмощной водородной бомбы на Новой Земле. Его пагубное влияние было зарегистрировано во многих странах Европы, особенно на Севере. Стало ясно, что дальше так продолжаться не может, настало время думать о спасении жизни на Земле.

Важные сдвиги произошли и во внутренней жизни страны. Начавшийся на XX съезде процесс разоблачения культа личности Сталина неизбежно перерастал в демократизацию всей нашей системы, всего общественного уклада. Вставал вопрос о новой Конституции. Дело шло медленно, со скрипом, но все-таки шло.

Отца чрезвычайно волновала проблема власти, ее преемственности, создание общественных и государственных гарантий, не допускающих сосредоточения власти в одних руках, и тем более злоупотреблений ею. Одной из ключевых проблем были выборы депутатов трудящихся. Вместо существовавшей системы выдвижения одного кандидата отец предлагал выдвигать нескольких, чтобы люди могли свободно выбрать лучшего; так появлялась реальная зависимость депутатов от избирателей.

В качестве доказательства несовершенства существовавшей избирательной системы он приводил пример с депутатом Верховного Совета СССР писательницей Вандой Львовной Василевской. Отец высоко ценил ее творчество и общественную деятельность. Она часто бывала у нас в доме. Теплые отношения сохранились еще с войны. В 1939 году Ванда Львовна, дочь крупного государственного деятеля буржуазной Польши, пришла в освобожденный Львов и навсегда связала свою судьбу с нашей страной. Во время войны она вместе с мужем, известным драматургом Александром Корнейчуком, часто бывала в войсках, встречалась с отцом в Сталинграде, на Курской дуге. Но как депутат она... ничего не делала. Причем настолько демонстративно, что украинские власти, опасаясь неприятностей, в очередной избирательной кампании каждый раз отводили ей новый избирательный округ, подальше от предыдущего. Там, где ее как депутата еще не знали...

— Разве так можно! — возмущался отец.— Какие это депутаты! Кого подсовывают, того и выбирай!

Однако изменить порочную систему ему было не суждено. Времени для этого не оставалось.

В рамках работы над новой Конституцией обсуждался и вопрос установления такого регламента работы Советов, чтобы они реально могли контролировать жизнь в своих регионах. Ставилась задача придания им большего авторитета и передачи полноты власти. В одном из вариантов рассматривалась возможность перехода к непрерывной работе Советов, как это принято в парламентах западных стран.

Важнейшим компонентом проблемы власти была процедура преемственности. Отец мучился: как сделать передачу власти из одних рук в другие естественной, безболезненной. Созрела идея сокращения времени пребывания на руководящей работе до двух-трех сроков. XXII съезд КПСС принял такое постановление в отношении партийных функционеров. Теперь оставалось распространить его на государственные органы и закрепить решение в новой Конституции. Но сразу же возникло множество проблем, и в первую очередь — куда уйдет функционер после двух сроков? Где и как он сможет приложить свои опыт и знания?

В этом деле отец впрямую следовал примеру США. После двух визитов в эту страну он, хотя и не избавился целиком от «образа врага», все же стал внимательнее приглядываться к заокеанскому опыту, примериваться к нему. Правда, возможности заимствования положительных черт в построении государственной структуры он публично никогда не высказывал. Лишь иногда, осторожно, в своем кругу.

Но если многие другие нововведения отца одобрялись или не одобрялись и все-таки принимались аппаратом, пусть и с недовольным ворчанием, то тут он задел за живое. В руководящем звене, от района и выше, началась паника. Сформировалась не просто группа недовольных, а серьезная оппозиция, жаждущая активных действий.

Подлили масла в огонь и акции, лишавшие аппаратчиков многих привилегий, дарованных Сталиным. Первым шагом в этом направлении сразу после XX съезда была отмена так называемых «пакетов» — не облагаемых налогом дополнительных регулярных выплат определенным категориям чиновников. Но испуг, вызванный се-

кретным докладом, привел бюрократию в оцепенение, видимо, поэтому «урезание» прошло сравнительно безболезненно. Слишком все были перепуганы, слишком свежи в памяти были ночные аресты, чтобы решиться на противоборство.

Однако шок быстро прошел, и аппарат усвоил, что теперь никому не грозят ни расстрелы, ни аресты, ни ссылки. Бюрократия стала все увереннее ощущать себя решающей силой, хозяйкой положения. Последовавшие инициативы безнадежно буксовали. Предложения о ликвидации закрытых распределителей и сокращении числа персональных машин должна была выработать и осуществить специально назначенная комиссия ЦК. Возглавил ее сначала Алексей Илларионович Кириченко, в то время второй секретарь ЦК. Комиссия заседала, обсуждала, рекомендовала, отвергала и уточняла, но... ничего не решала.

Отец нервничал, торопил. Его заверяли, что дело близится к завершению. Показывали какие-то бумаги. Он на время успокаивался, и все возвращалось в прежнее состояние.

Кириченко сменили еще несколько председателей, и наконец после октября 1964 года комиссия прекратила свое существование. Единственно, что удалось отцу,— немного сократить парк персональных машин.

Конечно, установление социальной справедливости за счет ликвидации привилегий носило скорее моральноэтический характер, поскольку решение экономических проблем от этого не зависело. Удовлетворить потребности в товарах можно было только их производством в достаточном количестве и нужного качества, а не за счет перераспределения благ.

Принятые решения безмерно озлобили тех, кому грозило лишение привилегий. И, что немаловажно, не только их самих, но и их жен. Все это, в свою очередь, сыграло не последнюю роль в падении Хрущева.

Не увенчались успехом и попытки отца сократить государственный аппарат. Чиновники, сокращенные в министерствах, переходили в совнархозы, комитеты и другие новообразования, появлявшиеся как из-под земли. Понятно, что и эти мероприятия тоже ни в коей мере не добавляли симпатий к отцу со стороны бюрократии.

Сегодня много говорится о непростых отношениях отца с творческой интеллигенцией. Очевидно, этот феномен требует глубокого исследования. Я же позволю себе лишь несколько замечаний.

Результаты XX съезда партии вызвали резкое оживление в общественной жизни, литературе и искусстве. Появились новые имена, смелые произведения. Вслух стали говорить о том, о чем вчера боялись и подумать. Зашатались «авторитеты». И тут выяснилось, что сама власть не была готова к восприятию перемен. Развитие событий для нее оказалось неожиданным: такая «домашняя», послушная творческая интеллигенция выходила из-под контроля, отказывалась повиноваться привычному окрику сверху. Многих это новое пугало, а испуг, в свою очередь, вызывал ответные меры.

Отец никогда не занимался вплотную этими вопросами, не числя себя в специалистах, каким он считал себя в сельском хозяйстве, промышленности или строительстве. В официальной идеологии царили М. А. Суслов и Л. Ф. Ильичев. Однако в критических ситуациях оппоненты апеллировали к отцу: писатели присылали произведения, отвергнутые инстанциями, а «идеологи» при малейшем ослаблении «вожжей» хором стращали, говоря, что контрреволюция в Венгрии начиналась с «кружка Петефи», кончили же виселицами и стрельбой. Стоит отпустить «вожжи», и у нас может такое случиться.

В этих предостережениях была доля истины. Ведь расширение политических свобод, не подкрепленных экономически, может легко привести к непредсказуемым последствиям. Отец хорошо понимал это и, поколебавшись, так и не решился на задуманный шаг.

Последние годы перед отставкой омрачились его резкими столкновениями с писателями, поэтами, художниками, музыкантами. Он вступил в борьбу с теми, кто, по сути, стоял с ним по одну сторону баррикады, что было особенно обидно.

Нужно, впрочем, сказать, что акция была тщательно и продуманно срежиссирована. Отца долго обрабатывали, и наконец его удалось убедить, что «зараза» буржуазной идеологии овладела умами наших творческих интеллигентов, особенно молодых. Их надо спасать. Иначе они погубят себя и нанесут неизмеримый вред нашей стране,

делу коммунизма. Известно, что «буржуазная идеология» лезет во все щели, стоит только потерять бдительность.

Расчетливо выбрав момент, Хрущева спровоцировали на ряд выступлений, поссоривших его с людьми, которые еще вчера были его самыми горячими сторонниками. Теперь же они оказались в разных лагерях.

Ко всем бедам добавились осложнения внутри социалистического сообщества. Только-только стали утихать бури в Европе, стабилизировалось положение в Польше и Венгрии, как появился новый очаг напряженности. На сей раз возникли разногласия с Китаем. Анализ причин и следствий противостояния, приведшего к вооруженным столкновениям,— удел специалистов. Я только скажу, что в те тяжелые дни всю ответственность за конфликт принял на свои плечи отец. Кому-то казалось, а кое-кто сознательно хотел представить дело в таком виде, будто это не идеологический и политический конфликт, а проявление дурной воли лидеров двух стран, в частности Хрущева. Чтобы окончательно понять несостоятельность такого подхода, потребовались годы.

Груз проблем был тяжел, а сил к семидесяти годам оставалось все меньше. Домой отец приходил усталый, измотанный. Делал два круга по дорожке вокруг дома на Ленинских горах, ужинал, вытаскивал из портфеля толстые разноцветные папки с бумагами — вечернюю порцию работы. Устраивался он тут же, в столовой, на уголке стола, или поднимался на второй этаж в свою спальню. И хотя в доме был кабинет, он им никогда не пользовался. Как правило, работа затягивалась до полуночи. Утром, к девяти, он всегда был на работе.

От бесконечного чтения болели глаза, все чаще ему приходилось просить кого-нибудь из помощников или нас, детей, почитать вслух. В те годы Президиум ЦК принял решение, устанавливающее отцу сокращенный рабочий день и дополнительные две недели отпуска. Решение осталось на бумаге, работа занимала не только весь рабочий день, но и все свободное время. Дополнительным отпуском он пользовался — хорошо было уехать на Пицунду, в Крым или Беловежскую Пущу, хоть чуть-чуть оторваться от рутины. Там отец мог сосредоточиться, обдумать кардинальные проблемы. Свои выводы и предложения он тут же оформлял в виде

записок в ЦК. Часто отец пользовался своим свободным временем на отдыхе для совещаний или просто для бесед с учеными и конструкторами. Помню многолюдные собрания, обсуждавшие на Пицунде пути развития авиации, ракетостроения, химии.

Отец твердо отдавал себе отчет в том, что силы его на исходе, да и приближающийся семидесятилетний юбилей знаменовал определенный рубеж. Все чаще и настойчивее обращался он к мыслям о преемнике. Все чаще думал об отставке. О желании уйти не раз говорил в кругу семьи, иногда в шутку, иногда всерьез. Возвращался он к этому вопросу и в разговорах со своими коллегами по Президиуму ЦК.

«Мы, старики, свое отработали. Пора уступать дорогу. Надо дать возможность молодежи поработать» — вот, насколько я помню, типичное его высказывание на эту тему. При этом он широко улыбался, а окружающие похохатывали, сводя его слова к шутке.

Но в этом году он впервые заговорил об отставке публично, на одной из встреч с молодежью. Его речь была опубликована во всех газетах. Скрывались ли за этими словами серьезные намерения? Думаю, отец действительно собирался уходить. Не раз он упоминал о приближающемся XXIII съезде партии как о своем последнем рубеже.

Если дома его слова не встречали возражений, то товарищи по работе бурно протестовали.

— Что вы, Никита Сергеевич! Вы отлично выглядите! У вас и сил больше, чем у молодого!— слышалось в ответ на его мысли вслух.

Мне трудно сказать, мог ли он принять такое решение в действительности. Ведь у него рождались все новые замыслы, планы. Хотелось претворить их в жизнь, а уж потом уйти.

Но какими бы серьезными ни были мысли об отставке, о своем преемнике отец думал неотступно. Проблема преемственности власти занимала его все последние годы. Один кандидат заменялся другим, потом третьим. А окончательного решения все не виделось, хотелось найти достойного человека и обязательно помоложе, поэнергичнее.

В конце концов он остановился на Фроле Романовиче

Козлове. Ему все больше доверялся отец, хотя и не обходилось без конфликтов, острых перепалок.

Однако случилось несчастье. Козлов тяжело заболел — инсульт. Когда он немного пришел в себя и вернулся из больницы на дачу, отец поехал его навестить. Был выходной день, и, как обычно, он захватил с собой меня. Раньше Козлов часто бывал у нас дома, и наши семьи хорошо знали друг друга.

Дача Козлова располагалась неподалеку, сразу за Успенским. Миновав стандартные зеленые ворота, машина остановилась у подъезда. Встречала нас жена Фрола Романовича и еще какие-то люди. Прошли в дом. Кровать, на которой лежал Фрол Романович, стояла посередине комнаты, чтобы сестрам было удобнее подходить к больному. У стены стоял столик с лекарствами, стерилизатором, шприцами.

Козлов полулежал на подоткнутых подушках, бледное лицо отсвечивало желтизной. Когда мы вошли, он узнал отца, попытался сдвинуться с места, заговорить, но речь была бессвязна. Впечатление он производил удручающее. Отец постоял возле него некоторое время, пытался ободрить, шутил в своей манере, говоря, что Козлов, мол, отдыхает, симулирует. Пора выздоравливать — и на работу.

Попрощавшись, мы прошли в соседнюю комнату. Там собрались врачи. Нам объяснили, что опасности для жизни Фрола Романовича нет, но до выздоровления пройдет еще много месяцев.

— Работать сможет?— спросил тогда отец.

Приговор медиков был единодушным: безусловно нет. Он останется полным инвалидом. К тому же сильное волнение могло привести к новому приступу и к смерти.

Рассчитывать на Козлова не приходилось...

Отец запомнил предостережение медиков о том, что нервный стресс может оказаться пагубным для больного. И поэтому на ближайшем заседании Президиума ЦК, когда речь зашла о судьбе Козлова, он предложил оставить Фрола Романовича, несмотря на болезнь, членом Президиума ЦК. Никто не противился. Но после октября 1964 года решение пересмотрели и Козлова отправили на пенсию. Врачи оказались правы. Он не перенес потрясения и вскоре умер.

В связи с болезнью Козлова перед отцом еще острее встала проблема теперь уже не только будущего преемника, но и сегодняшней кандидатуры на пост второго секретаря ЦК.

А решения все не находилось. Посоветоваться было не с кем. И вот эти мучительные сомнения, внутренняя потребность выговориться, видимо, и послужили причиной того, что мне довелось проникнуть в святая святых политической «кухни», стать свидетелем раздумий отца.

Отец был энергичным, увлекающимся человеком и, как и все люди такого типа, с наслаждением обсуждал с кем угодно нюансы полюбившейся ему идеи. Дома на нас обрушивались различные технологии изготовления панелей для жилых домов, мы знали много о преимуществах и недостатках сборного и монолитного железобетона, представляли, во сколько раз выгоднее плавить сталь в конверторе по сравнению с мартеном, разбирались в особенностях выращивания не только кукурузы, но и чумизы, пшеницы, овощей, винограда, фруктов, восхищались возможностями замены металла пластмассой, следили за успехами судов на подводных крыльях, знали и о многом другом.

Со мной, поскольку я был причастен к оборонным делам, отец обсуждал еще и вопросы, связанные с авиацией, ракетами, танками. Но никогда при нас он не касался в разговорах кадровых вопросов. Взаимоотношения в руководстве были абсолютно запретной темой. Даже в июне 1957 года, когда противоречия вылились в бурные заседания Президиума, а затем Пленума ЦК, мы могли только по косвенным признакам догадываться, что же происходит. Сведения приходили со стороны. О том, чтобы задать вопрос отцу, не могло быть и речи. Ответ был известен, форма тоже:

— Не лезь не в свое дело. Не мешай.

Поэтому я был просто ошарашен, когда в ответ на мой вопрос о Козлове отец вдруг заговорил о мучивших его сомнениях.

Дело происходило на даче глубокой осенью 1963 года. Вечером вышли пройтись. Мы гуляли в свете фонарей по парадной асфальтированной дороге, ведущей от ворот к дому, как вдруг отец заговорил о ситуации в Президиуме. Насколько я помню, он пожалел, что Козлов не может

вернуться на работу. По его словам, он очень рассчитывал на Фрола Романовича: тот был на месте, самостоятельно решал вопросы, хорошо знал хозяйство. Замены отец не видел, а самому ему уже пора думать об уходе на пенсию. Силы не те, и дорогу надо дать молодым. «Дотяну лямку до XXIII съезда и подам в отставку»,— сказал он тогда. Потом он стал говорить, что постарел, да и остальные члены Президиума — деды пенсионного возраста. Молодых почти нет. Отец стал членом Политбюро в сорок пять лет. Подходящий возраст для больших дел — есть силы, есть время впереди. А в шестьдесят уже не думаешь о будущем. Самое время внуков нянчить.

Он ломал голову над кандидатурой на место Козлова. Ведь надо знать и народное хозяйство, и оборону, и идеологию, а главное — в людях разбираться. Хотелось бы найти человека помоложе. Раньше отец очень рассчитывал на Шелепина. Он казался самым подходящим кандидатом: молодой, прошел школу комсомола, поработал в ЦК. Правда, плохо ориентируется в хозяйственных делах. Все время на бюрократических должностях. Отец рассчитывал, что он подучится, наберется опыта живой работы. Для этого предлагал ему пойти секретарем обкома в Ленинград. Крупнейшая организация, современная промышленность, огромные революционные традиции. После такой школы можно занимать любой пост в ЦК.

Шелепин же неожиданно отказался. Обиделся: посчитал за понижение смену бюрократического кресла секретаря ЦК на пост секретаря Ленинградского обкома партии.

— Жаль, видно, переоценил я его, — посетовал отец.— Может, оно и к лучшему, ошибаться тут нельзя. А посидел бы несколько лет в Ленинграде, набил бы руку, и можно было бы его рекомендовать на место Козлова. А сейчас он так и остался бюрократом. Жизни не знает. Нет, Шелепин не подходит, хотя и жалко. Он самый молодой в Президиуме.

Отец, помню, тогда замолчал, задумался, а потом продолжал рассуждать о возможных преемниках Козлова. В частности, о Подгорном. Николай Викторович Подгорный — человек толковый и в хозяйственных делах разбирается, и с людьми работать может. На Украине проявил себя. Опыт у него богатый, но кругозора не

хватает. После перехода в ЦК никак не справляется с порученными вопросами в области пищевой промышленности. Словом, по мнению отца, на этот пост и он не годился.

И тут он заговорил о Брежневе, сказав, что у него огромный опыт, хозяйство и людей знает. Но, как считал отец, он не может держать свою линию, поддается чересчур и чужим влияниям, и своим настроениям. Человеку с сильной волей ничего не стоит подчинить его себе. До войны, когда его назначили секретарем обкома в Днепропетровск, местные острословы окрестили его «балериной», мол, кто как хочет, тот так им и вертит. А на этом месте нужен крепкий человек, которого с пути не свернешь. Таков был Козлов. Нет, и Брежнев, выходило, не годится.

Отец замолчал. Больше этот разговор не возобновлялся. Мы долго еще бродили по дорожке к дому и обратно, думая о своем. Отец, видимо, снова и снова перебирал в уме возможных кандидатов на пост второго секретаря ЦК.

Я же был подавлен этой неожиданной откровенностью. Насколько тяжко и одиноко отцу, подумалось мне, если ему приходится откровенничать на эти темы со мной. Раньше такого не случалось. Даже представить подобное было невозможно.

Это был единственный разговор на запретную тему кадров. К ней отец больше никогда не возвращался. Об этих откровениях я, естественно, никому не рассказал. Хотя отец меня не предупреждал, но я и не нуждался в подобных предупреждениях.

Легко вообразить мое удивление, когда я узнал, что на место второго секретаря ЦК все-таки планируется Брежнев. Так и не нашлось более подходящей кандидатуры. Впрочем, задавать отцу какие-либо вопросы я не стал...

Лично мне Леонид Ильич был симпатичен. На лице его всегда играла благожелательная улыбка. На языке всегда занятная история. Всегда готов выслушать и помочь. Несколько удивляло меня его пристрастие к домино — уж очень не соответствовало такое хобби сложившемуся у меня образу государственного деятеля.

Однако сам Брежнев, как оказалось, был вовсе не рад лестному предложению. Он принял его с неохотой, но вынужден был подчиниться.

Новый пост давал огромную власть, но он был... незаметен. Это была напряженная работа внутри разветвленного партийного организма. Надо было готовить решения, взаимодействовать с обкомами, следить за работой в армии и... отвечать за провалы. Характеру Леонида Ильича, склонностям его натуры больше подходила представительская должность Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Здесь ему нравилось все: приемы президентов, королей и послов, почетные караулы, завтраки, обеды, ужины, посещение театров. Приятно было вручать ордена, награды. Вокруг улыбающиеся лица, рукопожатия, поцелуи. Речи награжденных полны искренней благодарности и любви. Государственные визиты — снова почетные караулы, приемы, пресса, улыбки, рукопожатия, тосты. Ему нравилось быть на виду, в центре события, видеть свое лицо в газетах, журналах, кинохронике.

Теперь все это неминуемо должно было уйти. Впереди — изнурительная работа, груз ответственности и необходимость принимать многочисленные решения, влекущие за собой огромные, порой трудно предсказуемые последствия. Все это Брежневу не нравилось, назначением он был недоволен, но вслух не только отказаться, а даже выразить неудовлетворенность не мог. Поблагодарил за оказанное доверие, обещал его оправдать.

Очередной Пленум ЦК открылся 10 февраля 1964 года. Это был последний Пленум, собравшийся по инициативе Хрущева. Он снова посвящался проблеме сельского хозяйства. Отец упорно искал способы вывести страну из прорыва, нащупать пути к изобилию.

Нельзя сказать, что он не искал новых методов управления экономикой, позволяющих развязать инициативу производителей, повысить эффективность труда. Эти вопросы обсуждались на совещаниях и в прессе, проводились эксперименты. Однако, к сожалению, его основное внимание сосредоточивалось на поиске конкретных рецептов в металлургии и машиностроении, химии и агрономии, которые как по мановению волшебной палочки должны были разрешить все неразрешимые вопросы.

Доклад на Пленуме делал министр сельского хозяй-

ства И. П. Воловченко. Еще недавно директор совхоза, он сделал головокружительную карьеру. На одном из недавних совещаний он удачно выступил, рассказал о больших достижениях возглавляемого им хозяйства, внес отдельные предложения. Отец ухватился за него. Одну из причин наших неуспехов в сельском хозяйстве он видел в забюрокраченности руководства, в отрыве от живого дела. Ему представлялось, что появление человека от «земли» может в корне изменить ситуацию.

Так Воловченко стал министром. Однако чуда не произошло. И вот теперь он делал доклад с пышным заголовком «Об интенсификации сельскохозяйственного производства на основе широкого применения удобрений, развития ирригации, комплексной механизации и внедрения достижений науки и передового опыта для быстрейшего увеличения производства сельскохозяйственной продукции». Казалось, даже в названии не забыли ничего...

На Пленум пригласили множество людей со всех концов страны: партийных работников, сотрудников министерств, специалистов сельского хозяйства, ученых. По сути дела, это был не Пленум, а всесоюзное совещание.

Последнее время отец ввел в практику такие расширенные Пленумы, на которых подробно освещались те или иные хозяйственные вопросы. Далеко не всем это нравилось. Аппаратчики считали, что тем самым снижается престиж Пленума, размывается его значение. Однако вслух никто «крамольных» мыслей не высказывал.

Стремление отца самому вникнуть в проблему, разобраться в существе дела накладывало заметный отпечаток на стиль его работы. Иногда этот стиль давал положительные результаты. Его вмешательство позволяло резко продвинуть вперед дело, как, например, в ракетостроении. Но нередко случались и казусы, когда эффект был прямо противоположный, как, например, с Лысенко.

Об этой, увы, не лучшей странице в биографии моего отца я хочу рассказать только то, что видел своими глазами.

В начале 50-х годов я знал о Лысенко и проблемах генетики лишь то, чему учили в школе и что можно было прочитать в популярных книжках: Трофим Денисович разгромил лжеученых-идеалистов, которые вместо реше-

ния важнейших для нашего сельского хозяйства проблем «гоняли» каких-то мух-дрозофил. Теперь же мы идем правильным мичуринским путем. Вспоминается и яровизация картофеля, резко поднимавшая урожайность. Конечно, все это было не так примитивно, но в те годы подобные вопросы интересовали меня мало.

Каково же было мое удивление, когда в апреле 1956 года я увидел в «Правде» в необычном для хроники правом верхнем углу на второй странице два коротких сообщения, набранных крупным шрифтом.

В первом сообщалось, что Президиум Верховного Совета СССР освободил от обязанностей заместителя Председателя Совета Министров СССР товарища Лобанова в связи с переходом на другую работу и назначил на его место Владимира Владимировича Мацкевича. Этот зампред ведал делами сельского хозяйства.

Чуть ниже следовало другое сообщение. Его я приведу полностью.

«В Совете Министров СССР. Совет Министров СССР удовлетворил просьбу тов. Лысенко Трофима Денисовича об освобождении его от обязанностей президента Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина.

Президентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина утвержден тов. Лобанов Павел Павлович».

И все. Никаких переходов на другую работу, ничего. И в нынешние времена, не говоря уже о 50-х годах, такая формулировка читается, как полная потеря всех позиций.

Необычное место, выбранное для информации вместо крайнего правого уголка последней страницы, и размер шрифта означали, что сообщению придают определенное значение, что это не перемещение, а изменение политики.

Я был поражен и, едва дождавшись возвращения отца с работы, бросился к нему с расспросами. Деталей разговора я, естественно, не помню, но общий смысл ответа сводился к тому, что Лысенко был замешан в нехороших делах (слово «репрессии» еще не вошло в употребление), правильность его положений оспаривается многими учеными. Поэтому «наверху» решили ограничить его всемогущество. Командовать должны более объективные

люди. Лысенко же пусть работает, доказывает свою правоту в ученых спорах. О существе разногласий между генетиками и Лысенко отец знал мало и, думаю, не слишком над этим задумывался.

Надо сказать, что стереотип «идеализм и буржуазность» в сознании отца, да и в моем, был в то время накрепко приклеен к слову «генетика». Для меня оно было попросту ругательным.

Лысенко ушел в тень, но не сдался. Он выжидал, старался укрепить свои позиции, вербовал сторонников и в ЦК, и в Министерстве сельского хозяйства. В этом деле он действовал профессионально. И помощник отца по сельскому хозяйству Андрей Степанович Шевченко, и Василий Иванович Поляков, ставший впоследствии секретарем ЦК, были «завербованы» им, стали его горячими сторонниками и при каждом удобном случае старались замолвить словечко за Трофима Денисовича.

Один из путей решения зерновой и кормовой проблем, как известно, отец видел в широком внедрении кукурузы. Я не буду касаться «кукурузных дел», скажу только, что любое хорошее начинание, если оно не знает удержу, превращается в свою противоположность, приводит к дискредитации разумной идеи, подчас безвозвратно. Никакие аргументы в защиту кукурузы сегодня на читателя-непрофессионала не подействуют. Известно, что царство кукурузы — в Соединенных Штатах. Там ее любят и умеют возделывать. Наиболее урожайные сорта выведены тоже там. Отец об этом знал. За океан отправилась представительная сельскохозяйственная делегация набираться ума-разума, осваивать передовой опыт. По возвращении они подробно доложили отцу все, что узнали, в том числе и о том, что наибольший урожай дают гибридные семена. Была дана команда срочно закупить их в США и параллельно развернуть эти работы у нас.

Лысенковцы забеспокоились. Ведь успех гибридной кукурузы служил одним из аргументов в пользу их противников. Решили осторожно прощупать Хрущева.

— Ваши теоретические споры меня не интересуют, — ответил отец, — в Америке гибридные семена дают хороший урожай. Послужат они и нам, а в теориях пусть разбираются ученые.

2—3478

Бой был проигран, но Лысенко не думал сдаваться. Он ждал удобного случая, и такой случай подвернулся.

Председатель Ленинградского областного Совета Смирнов, сам по профессии агроном, вернулся из поездки в Австрию. Заграничные вояжи тогда еще были в диковинку, и отец с интересом расспрашивал о впечатлениях, о технических новинках и вообще «какое в свете чудо». Смирнов увлеченно рассказывал о том, что австрийцы сажают рассаду вместе с кубиком земли, смеси перегноя и торфа. Процесс можно механизировать, поднять производительность труда, а главное — рассада не болеет, урожаи повышаются.

Со свойственным ему энтузиазмом отец стал «проталкивать» у нас заграничную идею. Когда кампания набрала силу, к нему пришел то ли Шевченко, то ли Поляков. Дело было на даче в выходной, они нередко заезжали поглядеть на посадки отца, а заодно решали свои дела. Среди других вопросов, обсуждавшихся на поле, гость, как бы невзначай, посетовал отцу на то, что, мол, совсем забыли нашего Трофима Денисовича. Вейсманисты-морганисты не дают ему голову поднять, работать мешают. Сами ничего предложить не могут, вот и вымещают злобу на настоящем ученом, дающем так много сельской практике. Своего не видят и видеть не хотят, признают только то, что приходит из-за границы. Свежий пример — торфоперегнойные горшочки, все их расхваливают, признают, что они дают значительный эффект, а на днях приходил Трофим Денисович, много интересного рассказывал. У него есть хорошие предложения и как урожай поднять, и как надои увеличить.

Принес, кстати, любопытную статью. Жаловался. Он, оказывается, еще несколько лет назад предлагал внедрить в практику овощеводов торфоперегнойные горшочки. Куда только ни обращался. Везде получил отказ. Еще над ним и посмеялись. А пришла та же идея из-за границы — ее все на руках носят. Не ценим мы своих ученых. Все стремимся пристроиться в хвост буржуазной науке. Опять все мухами занимаются, о том, как урожаи поднять, народ накормить, у них голова не болит.

Гость достал из портфеля оттиск статьи и передал ее отцу. Действительно, там речь шла о торфоперегнойных горшочках, на фотографии они были точь-в-точь такие

же, как австрийские. Брешь была пробита. Отец недовольно бурчал что-то о нашем преклонении перед иностранщиной, о необходимости поддержки советских ученых и тут же распорядился предоставить Лысенко все условия для творческой деятельности, оградить его от несправедливых нападок.

— Спорить — пусть спорят, — заключил он, — но условия для работы должны быть у всех.

Большего и не требовалось. Остальное было делом техники. Аппарат прекрасно освоил методы раздувания угодных ему указаний и торможения самых настойчивых директив, если они приходились не по нутру. Не сразу, постепенно Лысенко возвращал утраченные позиции. Он писал записки в ЦК, обещал быстрые результаты, стал снова штатным оратором на совещаниях. Его сторонники в сельхозотделе ЦК умело замазывали просчеты. Но если хоть одно слово этого авантюриста подтверждалось — восхвалениям не было границ. Об очередном успехе отцу твердили наперебой. Голоса сомневающихся, не говоря уж о критиках, просто не были слышны.

Очередной благоприятный для лысенковцев случай не заставил себя ждать. Происшествие было мелким, но зато оно наглядно показывает, какой психологический эффект может иметь любая мелочь, если ее хорошо «приготовить» и умело «подать».

Заспорили два академика — Н. В. Цицин и Т. Д. Лысенко, чья пшеница урожайнее. Отец всегда интересовался селекционной работой, знал наизусть основные параметры новых сортов, с удовольствием посещал сортоиспытательные станции, был знаком со многими селекционерами-практиками — авторами новых сортов пшеницы, подсолнечника, картофеля. И в этом он проявил живой интерес, даже позвал обоих в гости на дачу.

Каждый из спорящих приводил массу доводов в защиту своей позиции. Разобраться, кто прав, кто виноват, было невозможно. Тогда отец решил схитрить и предложил соревнование. Неподалеку от нашей дачи, за Москвой-рекой, было поле. Отец взялся договориться с председателем колхоза, чтобы тот под его ответственность на один сезон выделил его спорящим. Каждый засеет свою половину, будет вести агротехнику, как счи-

тает нужным, а урожай покажет, кто прав. На том и порешили. Вспахали, удобрили, засеяли.

По выходным дням, когда было тепло, отец садился на весла, а мы размещались в лодке. Отец любил эти гребные прогулки. От Усова, где мы жили на даче, до Ильинского, где расположилось опытное поле, недалеко — путешествие занимало минут сорок. За лодкой отца в отдалении следовала лодка с охраной, сидевший на корме начальник дежурной охраны зорко наблюдал за обстановкой. Держались охранники на почтительном расстоянии, поскольку отец их близко не подпускал и грубовато ставил на место:

— Что вы за спиной толчетесь, нюхаете? Держитесь подальше, дышите свежим воздухом.

Наконец мы у цели, высаживаемся на левом берегу. На поле, как правило, отца ожидали Лысенко или Цицин. Неподалеку на пригорке размещался дом отдыха Московского Комитета партии «Ильинское». Там проводили выходные дни руководители Московской партийной организации. После возвращения в Москву из Киева в 1949 году отец привык во время прогулок заходить в «Ильинское», собирал там компанию, и все вместе шли по полям, обсуждая дела, а то и просто, по выражению отца, «зубоскаля». Не оставил он этой привычки и после перехода в ЦК.

Словом, посещение опытного поля подчас бывало многолюдным. Понятно, что всех интересовало, кто же выйдет победителем. Вначале по всем признакам побеждал Цицин — на его половине растения были мощнее, зеленее. Но тут Лысенко одержал психологическую победу. В одно из воскресений, когда отец в очередной раз приехал и появился на поле, он подзадорил Лысенко:

— У Цицина-то пшеница лучше.

Лысенко молча ходил среди растений, сначала на своей половине, потом у соперника. Вырвал несколько штук с корнем, внимательно осмотрел и не согласился. Он заявил, что у него урожай будет, какой обещал, а у Цицина ничего не получится, потому-де, что растения перекормлены, а значит, зерна не будет. Осенью предсказание подтвердилось, и авторитет Лысенко в глазах отца неизмеримо вырос.

Конечно, это лишь фрагменты, запомнившиеся мне,

да и не самые значительные. На деле все обстояло гораздо сложнее.

Теперь Лысенко мог приняться за своих противников. То и дело звучали жалобы на зажим ученых со стороны идеалистов-вейсманистов. Все настойчивее подчеркивались успехи Лысенко и бесплодность буржуазной лженауки. И отец бросался в бой, вставал на защиту «настоящих» ученых. Так Лысенко снова стал всесильным.

Должен сказать, что по мере укрепления отцовской веры в правоту Лысенко я, напротив, все больше сомневался. То тут, то там в научных журналах появлялись статьи с описанием основных постулатов теории наследственности, публиковались результаты опытов с носителями наследственной информации — генами. Я недоумевал, как эта теория может считаться идеалистической, если она оперирует чисто материальными объектами?

Несколько раз я затевал разговор с отцом на эту тему. Но время было упущено, он уверовал в Лысенко и в моих аргументах не нуждался. И не только в моих. Его пытались убедить академики И. В. Курчатов, М. А. Лаврентьев, П. А. Капица и другие. Однако усилия эти были бесплодны. С одной стороны, «специалисты сельского хозяйства» сплоченно стояли за Лысенко, обещали скорые результаты. Они их уже просто видели, щупали руками, показывали самому Хрущеву. Противостояли же им, по мнению отца, неспециалисты сельского хозяйства: математики, физики. С их доводами он считаться не хотел.

Помню, однажды я попал на прием в Кремль и оказался рядом с академиком Лаврентьевым. К тому времени я уже понял, кто прав, а кто лжет. Сомнений у меня не было. Я, что называется, рвался в бой. Известна мне была и позиция Лаврентьева, и то глубокое уважение, которое испытывал к нему отец. Они были хорошо знакомы еще по Киеву, а после организации Сибирского отделения Академии наук СССР отец отзывался о Лаврентьеве просто восторженно. Я решил, что нашел союзника, и в разговоре для затравки произнес общие фразы об истинности формальной генетики и ошибочности позиции Лысенко. Реакция была неожиданной. Лаврентьев, посмотрев на меня, как на провокатора, пробормотал:

— Я этим больше не занимаюсь.

И отошел.

Я остался на месте как громом пораженный. Через некоторое время мне попалась в руки книга биолога Жореса Медведева, описывающая всю (сейчас хорошо известную) историю становления Лысенко и гибели биологической науки. Отпечатанный на машинке экземпляр и по сей день хранится на полке в моей библиотеке. Когда я прочитал ее, у меня волосы встали дыбом. Я решил во что бы то ни стало открыть глаза отцу, донести до него истину, да и просто спасти его от позора. Долго перебирал я аргументы, искал неотразимые доводы, выжидал подходящего момента. Несколько раз начинал разговор, казалось, бесспорной посылкой:

— Зачем тебе вмешиваться? Пусть ученые разберутся сами, тем более что полученные результаты подтверждают существование гена, его просто видели.

Но ничего не выходило. Отец мрачнел, сердился и «отбривал» меня:

— Ты инженер, ничего в этом не смыслишь. Тебя подговорили, а ты как попугай повторяешь чужие слова. Специалисты, люди знающие, говорят обратное.

В его аргументации была своя логика, и от этого становилось еще обиднее. И все же я не мог понять его. Он поддерживал дух соревнования в других направлениях науки и техники. Конструкторы предлагали, боролись, и их правоту определял только конечный результат. А здесь отец почему-то был непреклонен, последним его непробиваемым аргументом было обвинение в идеализме и ссылка на проникновение к нам буржуазной идеологии.

Ему часто приходилось сталкиваться с учеными, приходившими со своими проблемами в ЦК. Его очень беспокоило положение, когда именно он обязан был принимать окончательное решение в поддержку той или другой стороны, выделять немалые ресурсы на осуществление очередного проекта. Принимать решения с закрытыми глазами он терпеть не мог и обычно искал среди ученых человека, на объективность которого мог бы всецело положиться. Больше всего он боялся оказаться инструментом для достижения чьих-то, пусть и чисто научных, целей. Приглядывался он к ученым долго. Наконец остановился на Игоре Васильевиче Курчатове.

Впервые они тесно соприкоснулись в апреле 1956 года,

во время визита в Великобританию. Общались они больше всего на крейсере, по пути туда и обратно.

Игорь Васильевич удачно сочетал в себе знания ученого с мудростью государственного деятеля. В сферу его интересов входили не только вопросы, связанные с военным и мирным применением ядерной энергии, но и, казалось, совсем далекие от его профессии науки — философия, биология, космология.

Тогда, в 56-м году, огромный интерес вызвала прочитанная им в английском атомном центре в Харуэлле лекция о возможностях мирного применения атомной энергии. Впервые он рассказал об исследованиях, проводившихся в Советском Союзе. Ведь раньше эти сведения хранились за семью печатями.

Не меньшее внимание англичан привлекла и черная, «лопатой», борода академика. В те далекие времена, когда наши страны только начинали вновь сближаться, борода считалась неизменным атрибутом образа русского. За исключением Булганина, носившего небольшую «профессорскую» бородку, вся делегация оказалась бритая. А тут такая борода. Всю поездку за Курчатовым, стоило ему появиться на улице, ходили толпы.

После возвращения домой общение отца с Курчатовым стало очень тесным. Встречались они в рабочем кабинете отца. Не раз Курчатов бывал у нас на даче. Оказалось, идеи их совпадают. Игоря Васильевича беспокоили перспективы развития науки, его неуемная натура требовала большего простора. Как-то во время одного из визитов к нам на дачу Курчатов посетовал на то, что отцу все больше приходится заниматься научными проблемами, принимать ответственные решения. А ведь для этого требуются глубокие знания, и не только специальные. Необходимо проникновение в кухню ученых, сказал он, и тут же предложил свои услуги в качестве консультанта по науке. Видно было, что это не экспромт, а хорошо продуманная, выношенная идея.

Отец не любил, когда ему что-либо навязывали. А особенно навязывались. Я ожидал вежливого отказа. Однако все произошло иначе. Какое-то время отец молчал, видимо, обдумывая ответ, а потом заявил, что Курчатов попал в точку. Он и сам давно раздумывал на эту тему и не раз вспоминал Игоря Васильевича. По словам отца,

его останавливали два обстоятельства: Курчатов — это вся наша атомная программа, а это дело упускать никак нельзя. Кроме того, Игорь Васильевич — ученый, академик, а роль консультанта — чиновничья.

«Я думал об этом,— возразил тогда Курчатов,— и предложил консультировать на общественных началах.— Он улыбнулся.— Бесплатно, продолжая работать в своем институте».

Ответ отцу понравился. Решение было принято. Договорились, что Игорь Васильевич немного отдохнет и приступит к своим новым обязанностям.

К сожалению, судьбе было угодно распорядиться иначе. После отдыха Курчатов не вернулся. Он скоропостижно скончался. Отцу сообщили это печальное известие на дачу по телефону. Он распорядился об организации похорон на Красной площади и, положив трубку, задумчиво проговорил:

— Отличный был человек. Жаль, что не удалось вместе поработать. Очень я рассчитывал на него...

Фантазия в таких делах — вещь ненадежная. Но мне кажется, что, осуществись этот план, и Лысенко стало бы очень трудно, а скорее, и невозможно дурачить отца дальше. Теперь же на пути у него препятствий не было. Сколько раз я с сестрой Радой* пытался донести до отца правду, но неизменно наталкивались на глухую стену непонимания.

Последнее столкновение произошло летом 1964 года. Я его очень хорошо запомнил. Был теплый вечер. Мы сидели на террасе, выходившей на Москву-реку. На небольшом плетеном столике отец разложил бумаги, не успев посмотреть их за день. Вид у него был усталый. Вокруг (каждый со своим делом) разместились Рада, я и Алексей Иванович Аджубей. Такое совместное сидение было делом обычным. Внезапно оторвавшись от лежащей перед ним папки, отец, ни к кому особенно не обращаясь, произнес какую-то фразу о достижениях Лысенко и кознях антинаучных идеалистов вейсманистов-морганистов.

---

* Рада Никитична Аджубей — моя родная сестра, по образованию биолог, заместитель главного редактора научно-популярного журнала «Наука и жизнь». Замужем за журналистом Алексеем Ивановичем Аджубеем.

Мы толком не поняли, к чему он сказал это, но не ответить не могли. Рада и я стали осторожно доказывать, что генетика — такая же наука, как и другие, никакого идеализма в ней нет. Тезис же Лысенко, что гена никто не видел, — абсурд. Атом тоже никто не видел, а атомная бомба есть. Этот довод казался мне несокрушимым. Изредка вставлял слово Алексей Иванович.

Разговор очень рассердил отца. Хотя дома он никогда не кричал, не ругался и голоса не повышал, сейчас же распалился и повторял в повышенных тонах свои старые аргументы: нас-де используют нехорошие люди в своих целях, а мы, не зная дела, повторяем чужие слова. Наконец он окончательно вышел из себя и заявил, что не потерпит носителей чуждой идеологии в своем доме, а если мы будем придерживаться ее, то чтоб мы не смели попадаться ему на глаза. Словом, получился скандал. Вместо прогулки, рассерженные и расстроенные, мы разошлись по своим углам. Рада с мужем уехали домой.

Что же произошло? Оказывается, перед самым отъездом с работы к отцу пришли «специалисты» по сельскому хозяйству. Они принесли ворох жалоб на «идеалистов», не дающих жить и работать «настоящим» ученым, а особенно Трофиму Денисовичу. Не забыли упомянуть нас: мол, подпевают им и Рада с Сергеем, не со зла, конечно, а по недомыслию...

За последнее время кое-кто из окружения отца специально выбирал время, когда он особенно уставал, и выливал ушат помоев на идеологических «перерожденцев», сбивающих страну с пути истинного. Эти ловкачи не без основания рассчитывали вызвать раздражение, бурную реакцию отца, которую тут же можно было соответствующим образом использовать. К сожалению, это часто удавалось. В случае, о котором идет речь, отец был слишком утомлен для немедленной реакции, и потому только молча выслушал и расстроенный уехал домой. Весь вечер все это копилось, кипело и в результате выплеснулось на нас. Утром о вечернем инциденте не вспоминали. Отец, видимо, стыдился своей несдержанности, но цели своей Трофим Денисович достиг. Надолго были перекрыты любые наши попытки втянуть отца в разговор о генетике, а после октября спор потерял практический смысл.

В последующие годы я не заговаривал с отцом о Лысенко, не желая доставлять ему лишние неприятности, поскольку теперь его точка зрения ни на что не могла повлиять. Тем не менее он, видимо, не стал менять ее в корне. Иногда гости задавали ему этот неудобный вопрос, и он, правда, без особого запала, не ругая уже «вейсманистов-морганистов», защищал Лысенко как практика, много сделавшего для нашего сельского хозяйства.

...Вернусь к февральскому Пленуму 1964 года. Кроме доклада министра сельского хозяйства было выслушано еще множество содокладов по различным аспектам, связанным с ведением сельского хозяйства. Выступал на Пленуме и отец. Последний раз.

Многих свидетелей уже нет в живых, другие молчат, но, если собрать воедино крупицы информации от разных людей, так или иначе причастных к событиям того периода, можно с уверенностью сказать: в период января — марта 1964 года в Секретариате ЦК сформировалась оппозиция Хрущеву, в которой объединились Подгорный, Брежнев, Полянский и Шелепин. Цели этих людей окончательно ясны не были, роли, видимо, не распределены, но работа началась.

Нужно было выявить настроение членов ЦК, секретарей обкомов, руководства армии. В памяти свеж был урок 1957 года, когда Пленум ЦК встал на сторону потерпевшего, казалось, окончательное поражение Хрущева. Процесс предстоял кропотливый, таивший немалую опасность в случае провала плана. Некоторые участники и свидетели того периода уже в наши дни рассказали о происходившем в 1964 году.

Так, например, бывший председатель КГБ Владимир Ефимович Семичастный в беседе с одним из журналистов сказал, что подготовка к снятию Хрущева началась месяцев за восемь до отставки. Ему, как он заявил, это стало ясно с самого начала, поскольку без него этого никто не начал бы.

Другой свидетель, Петр Ефимович Шелест, приводит точную дату — 14 марта. Он рассказывал:

— Это был день моего рождения. Я нахожусь в особняке... Поздравить приехали Подгорный и Брежнев. Основательно посидели за столом и выпили изрядно. Разговор вертелся в основном вокруг положения дел в стране...

Подгорный и Брежнев вели себя неуверенно, чувствовалось, что их что-то тревожит. Они говорили о трудностях взаимоотношений в верхах, о несработанности центрального аппарата... Жалобы Подгорного и Брежнева на судьбу были, по сути дела, лейтмотивом всей нашей беседы.

Уже тогда у меня зародилось чувство тревоги, неловкости. Не знал я, что за всем этим... в последующие месяцы. Какую роль предстоит сыграть мне в смене руководства партии, государства? Мысли подобной не было, но чувствовал тревогу. Не сознавал ее. Еле уловимо все же предчувствовал... Не очень доверяли. Прощупывали.

Видимо, для тех месяцев подготовки слово «прощупывали» — ключевое.

Велась незаметная, но настойчивая работа: поездки, разговоры. Все это сопровождалось непомерным раздуванием культа отца: все чаще мелькали его портреты на улицах Москвы и других городов, его непрерывно цитировали, на него ссылались по любому поводу. На экраны выпустили фильм «Наш Никита Сергеевич». Сделан он был в «лучших» традициях недавнего прошлого, с неумеренными славословиями и назойливыми восторгами. Фильм показали отцу. Он просмотрел его молча, не похвалил, но и не запретил. Подготовили выпуск красочных альбомов с фотографиями Хрущева: до войны, на войне, после войны. Часть из них успела выйти, часть так и не увидела света. В каждом выступлении к месту и ни к месту упоминался отец. Тон этой кампании задавали Брежнев, Подгорный, Шелепин, а уж им вовсю подтягивали остальные.

Отец между тем совершал ошибки одну за другой, слишком вяло сопротивляясь развязанной кампании восхваления. Он не нашел в себе сил хлопнуть кулаком по столу и потребовать ее прекращения. Человек слаб...

Конечно, все это началось не вдруг. Помню, в 1962 или 1963 году, летом, по дороге в отпуск, отец решил по старой памяти проехать по областям Украины. Он хотел посмотреть поля перед уборкой, посетить промышленные предприятия. Это вошло в привычку. Да и просто — тянуло его на украинские просторы. Ведь тут прошли лучшие годы жизни. На этот раз в программу поездки

входил осмотр недавно сооруженной Кременчугской ГЭС. Рядом вырос целый город с малоблагозвучным именем КремГЭС.

Из Киева поехали на машинах. Впереди Хрущев с Подгорным и руководителями республики, а за ними целый «хвост». Я был далеко сзади. День, помню, выдался солнечный, жаркий. Подъехали к городу, утонувшему в зелени. Вдруг я поразился: на придорожном указателе надпись по-украински — «Місто Хрущов».

Несколько лет назад по инициативе отца было принято решение не присваивать городам имен живых политических деятелей. Многие сопротивлялись, особенно почему-то Ворошилов, но постановление было принято.

Мы не раз слышали, как отец с возмущением вспоминал предвоенные годы, когда появилась мания «коллекционирования» городов и сел, названных по собственной фамилии. Целое соревнование — и Молотов, и Молотовск, и Ворошиловград, и Кировабад — чего только тогда не выдумывали.

Машины остановились у здания горкома. Я пробился поближе, по реакции окружающих вижу — отец промолчал. Напрягшиеся было лица местного начальства расплылись в улыбках. Осмотрели город, съездили на плотину, поговорили в горкоме. Отец будто и не видел надписи. Наконец приехали на пристань, дальше предстояло плыть на пароходе до Днепропетровска. Отчалили. Все собрались в салоне, предстоял обед.

Отец начал с благодарности, ему очень приятно, что город назвали его именем, поблагодарил за честь. Все закивали, наперебой стали говорить о заслугах отца, как много он делает для страны, для народа, как все его любят.

Я окончательно перестал что-либо понимать. С момента въезда в город меня преследовало чувство неловкости. Я ожидал, что отец запротестует, и такое начало меня обескуражило.

Но это было только начало.

— Вы разве не читаете постановления ЦК или считаете не обязательным их выполнять?! — продолжал отец. — Я настоял на запрещении присваивать городам имена руководителей. А тут моя фамилия! В какое положение вы меня ставите?!

Последовал разнос. В газетах на следующий день давалась информация о посещении Первым секретарем ЦК КПСС Н. С. Хрущевым города КремГЭС.

К сожалению, так было не всегда.

Неблагополучие в делах всегда вызывает неудовлетворенность, заставляет искать виновных. Не обошло это поветрие и отца. Нам трудно сегодня судить о степени обоснованности принимавшихся тогда решений о кадровых перемещениях, об их причинах и поводах. Одно не вызывает сомнений — высшие партийные круги принимали их сквозь зубы, симпатии были не на стороне Хрущева. Состоявшийся 9—13 декабря 1963 года Пленум ЦК после принятия решения о широкой химизации сельского хозяйства — именно в ней, по примеру Америки, отец видел единственный путь решения продовольственной проблемы — без обсуждения принял решения и по кадровым вопросам. Он освободил Председателя Совета Министров Украины В. В. Щербицкого от обязанностей кандидата в члены Президиума ЦК КПСС. На его место был избран П. Е. Шелест. Отец Шелеста близко не знал, его очень продвигал Подгорный. После недавнего переезда в Москву Подгорный стал быстро входить в силу, и на последних октябрьских торжествах именно он делал доклад. А это свидетельствовало о многом.

Истинной причины снятия Щербицкого мы не знали. Говорили, что Хрущев был очень недоволен докладом о состоянии дел в народном хозяйстве Украины, который Щербицкий сделал во время последнего посещения им Киева. Много говорили и о том, что серьезную роль в его перемещении сыграли его заместители. С ними отец работал на Украине и к их мнению прислушивался. После Пленума Щербицкий недолгое время возглавлял Совет Министров республики и вскоре уехал секретарем в одну из областей. Всеобщее недовольство этим решением стало почти открытым, поскольку Щербицкий считался хорошим хозяйственником и способным руководителем.

Следом за Щербицким пришла очередь Мазурова. Шестого января отец вместе с Кириллом Трофимовичем направились по приглашению В. Гомулки и Ю. Циранкевича в Польшу с неофициальным визитом. В середине зимы отец, по настоянию врачей, обычно брал отпуск дней на десять. Поляки пригласили его на несколько дней

поохотиться, и он взял с собой Мазурова, желая, как всегда, совместить отдых с делами: помочь установлению более тесных прямых экономических связей между Белоруссией и Польшей. Да и вообще к Мазурову он относился с симпатией и уважением.

В середине января я, взяв отпуск, встречал их на границе. Еще пару дней отец намеревался провести в Белоруссии. Его поселили на даче в Беловежской Пуще. Во время одной из прогулок Мазуров долго рассказывал, какими ему видятся пути развития народного хозяйства республики. О чем конкретно шла речь, я не слушал, хотя все время и держался рядом. Таких разговоров при мне происходило множество. Помню только, что отцу мысли Мазурова не понравились, и он стал поправлять его. Мазуров не согласился — вышла размолвка. Расставались они недовольные друг другом, тем не менее корректно, по-дружески. Каково же было мое удивление, когда на Белорусском вокзале отец вдруг сказал членам Президиума ЦК, встречавшим его, что ему очень не понравился Мазуров. Они, мол, с ним долго говорили, но предложения его не выдерживают критики. Надо думать о его замене. Эти слова были для всех неожиданны, правда, и возражений не последовало.

Что происходило дальше, я не знал. Видимо, отец остыл, еще раз обдумал разговор и от своих намерений отказался. Во всяком случае, разговоров об освобождении Мазурова больше не возникало. Без сомнения, слова отца немедленно донесли Мазурову, и после этого он никак не мог числиться в сторонниках Первого секретаря.

Такие шаги не прибавляли популярности отцу в партийном и в государственном аппарате.

Тем временем жизнь шла своим чередом. Как всегда, на неотложные дела, связанные с актуальными хозяйственными и политическими вопросами, накладывались встречи, приемы, поездки. Зимой и весной отец побывал в Венгрии, на Украине, в Ленинграде. В Москве он проводил все меньше времени. Нити центрального руководства все больше переходили в руки Брежнева и Косыгина. В отсутствие отца они чувствовали себя увереннее и свободнее. Его возвращения становились все менее желательными, поскольку он мешал им проводить свою линию. Отец вмешивался во все вопросы — и большие и маленькие. Такая опека их, естественно, раздражала.

* * *

Мне кажется, историки недооценивают встречу отца с Кеннеди в Вене. Многие пишут о том, что отец якобы поучал молодого американского президента, время прошло в бесплодных спорах, и Кеннеди отбил атаки Хрущева.

В Вене, насколько я уяснил, произошло главное — знакомство. Отец вернулся после встречи с прекрасными впечатлениями о собеседнике. Он оценил его как достойного партнера, сильного государственного деятеля, а еще и как просто обаятельного человека, который ему понравился.

В одной из бесед у них возникла дерзкая по тем временам идея организации совместного советско-американского полета на Марс. Мир тогда бредил космосом, мы и американцы соревновались за первенство высадки на Луне. Совместный проект, по их мнению, давал многое для укрепления доверия. Оба они одобрили идею, но дальше дело не пошло. Ни у нас, ни у них не была подготовлена почва.

В последующие годы отец не раз возвращался к мысли о реализации проекта, неизменно наталкиваясь на сопротивление военных: ведь в случае претворения идеи в жизнь пришлось бы открыть американцам наши военные секреты, продемонстрировать ракеты, а в мирных космических кораблях многие технические решения одинаковы с боевыми ракетами. Нажать на военных, преодолеть этот серьезный барьер отец пока не решался — слишком сильна была инерция установившихся понятий. С аналогичной ситуацией, видимо, сталкивался и президент США.

Помню, незадолго до трагических событий в Далласе, гуляя вокруг дома на Ленинских горах, отец вновь и вновь возвращался к манившей его идее. Однако выстрел оборвал жизнь Кеннеди, а с его преемником отец обсуждать эту проблему не захотел. К Кеннеди он испытывал человеческую симпатию и доверие, а в жизни отца внутренние симпатии и антипатии всегда занимали большое место. Он мог преодолеть их как политик, но почеловечески неизменно оставался во власти своих пристрастий.

Вот так же ему полюбился Ван Клайберн — откры-

тостью, талантом, своей обаятельной улыбкой. Отец несколько раз ходил на его концерты, пригласил пианиста в воскресенье на дачу. Навсегда у него сохранились самые теплые воспоминания о милом молодом американце.

* * *

Начиналась весна, а с ней и сев. Хороший урожай был необходим. Неудачи прошлых лет заставили покупать зерно за границей, ухудшилось и качество выпекаемых изделий. Отец считал закупку зерна за границей единичной, экстраординарной мерой, которая никак не должна была повториться. Должны же мы в конце концов научиться выращивать хлеб. Ссылки на неурожай из-за плохих погодных условий он не принимал вообще.

— Это оправдание для бюрократов, отписка, — обычно говорил он. — В такой огромной стране, как наша, каждый год где-то засуха, где-то заливает, но в других-то местах урожай хороший. Так что всегда можно найти оправдание собственной бесхозяйственности, свалить все на солнце или дождь. И не приходите ко мне с такими объяснениями. Урожай зависит от того, как мы все работаем.

Были, конечно, и другие проблемы. Вот так, в очередных заботах незаметно пришел апрель. 17-го числа отцу исполнялось 70 лет.

День этот был радостным, как все юбилеи, но и трагичным: волна раздуваемого культа отца достигла невероятных масштабов. Особенно чутко на все «перегибы» реагировала мама, но... молчала. Замечали мы, что и отцу не по душе бурные славословия, но и он молчал, не желая портить праздник.

Поздравления в тот день начались с утра. Весь дом проснулся от грохота — охрана затаскивала в столовую большой радиотелекомбайн производства рижского завода. На боку металлическая табличка с дарственной надписью — подарок от товарищей по работе в ЦК и Совете Министров. Этот подарок был исключением. Отец заранее предупредил, что он категорически требует не делать ему подарков к юбилею, особенно от советских организаций.

— Нечего тратить народные деньги. Никаких подарков, — категорично отрезал он.

На этот счет была дана специальная директива ЦК, в которой разрешалось присылать только поздравления. Распространялся этот запрет и на членов семьи, но мы, конечно, директиве не последовали. Пренебрегли ею и члены Президиума ЦК.

Весеннее утро было солнечным. К 9 часам утра стали съезжаться с поздравлениями гости: родственники, члены Президиума и секретари ЦК. Другого времени не было — оставшийся день был отдан официальным мероприятиям и расписан по минутам.

Резиденция, где мы располагались, представляла собой двухэтажный особняк, предназначенный для жилья и небольших приемов.

До 1953 года отец, Маленков, Булганин и многие другие члены Президиума ЦК жили с семьями в большом доме на улице Грановского. Ворошилов, Микоян и Молотов жили тогда в Кремле. Жизнь в многоэтажном доме тяготила отца. В Киеве мы занимали одноэтажный особняк (до революции он принадлежал преуспевавшему аптекарю), окруженный большим садом. Там можно было погулять, посидеть на лавочке, подумать, отдохнуть.

Не изменил своей привычке гулять после работы отец и в Москве. Часто он вытаскивал на прогулки Маленкова, жившего под нами. Шли по улице Калинина, на Красную площадь, вокруг Кремля. Иногда заходили в Александровский сад или, изменив маршрут, возвращались по улице Горького.

После смерти Сталина по заказу Маленкова был сделан проект правительственных особняков-резиденций на окраине города, на Ленинских горах, над Москвой-рекой. Маленков показал проект отцу, тот сначала засомневался — не дороговато ли, но потом согласился. Предполагалось, что в новые дома переедут все члены Президиума ЦК. Однако на переезд решились не все. Молотов, Ворошилов и еще кто-то поселились на улице Грановского.

На первом этаже резиденции размещались официальные помещения: большая столовая и гостиная. Там же два двухкомнатных жилых блока. Кабинет и спальня хозяев дома помещались на втором этаже.

Приехавших с поздравлениями становилось все больше. Вновь прибывающие проходили в гостиную, собира-

лись кучками, обменивались новостями, шутили. Никто не курил, поскольку отец не выносил табачного дыма.

Виновник торжества запаздывал. Наконец улыбающийся, нарядно одетый отец появился на залитой солнцем дубовой лестнице. Гости двинулись навстречу. Рукопожатия, пожелания здоровья и счастья — словом, все, как обычно, независимо от ранга юбиляра. Брежнев расцеловал отца. Понемногу суета улеглась. Отец пригласил всех в столовую. Большой стол был празднично накрыт. В другие дни, даже торжественные, редко набиралось гостей на половину стола, сегодня мест не хватало, люди теснились, усаживались на углах.

Эта комната была свидетельницей многих событий — и семейных, и государственных. Именно здесь, вернувшись из Кремля, до поздней ночи обсуждали члены Президиума ЦК события карибского кризиса. Отсюда отец диктовал свои послания президенту Кеннеди. Правда, в самый кульминационный момент он ночевал в своем кабинете в Кремле.

Сюда же осенним вечером 1963 года позвонил Андрей Андреевич Громыко и сообщил о покушении на президента Соединенных Штатов. Взволнованный отец попросил срочно связаться с послом США, узнать подробности. Ответа долго не было. Отец в нетерпении перезвонил Громыко, тот ответил, что заказали Вашингтон.

— Я же просил позвонить американскому послу. Ведь это быстрее,— поправил его отец.

Через несколько минут стало известно, что президент Кеннеди скончался. Тут же было принято решение о направлении советской делегации в США. Возглавил ее Микоян...

А сегодня здесь был праздник.

Брежнев, как Председатель Президиума Верховного Совета СССР, начинает первым, он зачитывает поздравление, подписанное собравшимися здесь членами и кандидатами в члены Президиума Центрального Комитета партии, секретарями ЦК.

«Дорогой Никита Сергеевич!

Мы, Ваши ближайшие соратники, члены Президиума ЦК, кандидаты в члены Президиума ЦК, секретари ЦК КПСС, особо приветствуем и горячо поздравляем Вас,

нашего самого близкого друга и товарища в день Вашего семидесятилетия. (**Все зааплодировали.**)

Мы, как и вся наша партия, весь советский народ, видим в Вашем лице, дорогой Никита Сергеевич, выдающегося марксиста-ленинца, виднейшего деятеля Коммунистической партии и Советского государства, международного коммунистического и рабочего движения, мужественного борца против империализма и колониализма, за мир, демократию и социализм. (Аплодисменты.)

Ваша кипучая политическая и государственная деятельность, огромный жизненный опыт и мудрость, неиссякаемая энергия и революционная воля, стойкость и непоколебимая принципиальность снискали глубокое уважение и любовь к Вам всех коммунистов, всех советских людей. (**Аплодисменты.**)

Мы счастливы работать рука об руку с Вами и брать с Вас пример ленинского подхода к решению вопросов партийной жизни и государственного строительства, быть всегда вместе с народом, отдавать ему все свои силы, идти вперед и вперед к великой цели — построению коммунистического общества.

От всей души желаем Вам, Никита Сергеевич, доброго здоровья, многих лет жизни и новых успехов в Вашей огромной и чудесной деятельности. (**Бурные аплодисменты.**)

Мы считаем, наш дорогой друг, что Вами прожита только половина жизни. Желаем Вам жить еще по меньшей мере столько же, и столь же блистательно и плодотворно. Сердечно обнимаем Вас в этот знаменательный день.

Тут стоят подписи Ваших верных друзей и соратников, сидящих за этим столом, и к ним присоединяются многие и многие по всей стране».

Леонид Ильич расчувствовался, смахнул слезу и обнял Никиту Сергеевича. Все подходили, чокались, говорили подходящие к случаю фразы. Наконец прошли все, и Брежнев вручил юбиляру красивую папку с только что прочитанным адресом, подписанным в соответствии с алфавитом и табелью о рангах:

Л. Брежнев	Л. Ефремов
Г. Воронов	К. Мазуров
А. Кириленко	В. Мжаванадзе

Ф. Козлов
А. Косыгин
О. Куусинен
А. Микоян
Н. Подгорный
Д. Полянский
М. Суслов
Н. Шверник
В. Гришин
Ш. Рашидов
П. Шелест
Ю. Андропов
П. Демичев
Л. Ильичев
Б. Пономарев
В. Поляков
А. Рудаков
В. Титов
А Шелепин

Эта папка не давала покоя ее авторам до самой смерти юбиляра...

Перечитал приветствие и вспомнилось, что в то время фамилии всех членов Президиума ЦК, без исключения, печатали строго по алфавиту. Поэтому во всех перечислениях отец оказывался в конце. Сегодняшний порядок, когда первым ставится Генеральный секретарь, как и сам этот титул, введен был уже Брежневым.

Вручение адреса как бы подвело черту под официальными поздравлениями. Началась обычная, присущая таким случаям суета. По очереди вставали соратники отца, с которыми пройден такой непростой путь. Потоком лились поздравления, пожелания, здравицы. Часа через два пришла пора расходиться: впереди официальные поздравления в Кремле, а вечером предстоял большой прием.

На юбилейные торжества приехали руководители социалистических стран, секретари ЦК братских коммунистических партий. Прибыл и президент Финляндии Урхо Кекконен. Его связывала с отцом давняя дружба.

Многие привезли с собой ордена. Так что к концу церемонии пиджак утомленного речами и рукопожатиями отца изрядно потяжелел.

На следующий день все вошло в обычную рабочую колею. Праздник остался в прошлом, нужно было думать о будущем.

В Москве в те дни находилась польская делегация во главе с Гомулкой. 19 апреля поляки отправились домой, а 25-го с визитом прибывал президент Алжира Ахмед Бен Белла. После первомайских праздников отец вместе с ним уехал в Крым. Проводив оттуда гостей, он хотел немного отдохнуть и из Ялты на теплоходе отправиться

с официальным визитом в Египет. Его ждали на торжественный пуск Асуанской плотины.

Отец считал дружеские отношения с арабскими странами чрезвычайно важными. Казалось, наш союз с арабским миром складывался прочно, поскольку основу ему заложил удачный внешнеполитический маневр Хрущева, во многом способствовавший прекращению в период суэцкого кризиса в 1956 году военных действий западных стран против молодой Египетской республики.

Отец гордился своим успехом. Любил вспоминать о своих переговорах с тогдашними руководителями Великобритании и Франции сэром Антони Иденом и Ги Молле, приведшим к молниеносному окончанию войны и выводу войск из зоны Суэцкого канала.

События 1956 года перевернули арабский мир. Раньше эти страны традиционно ориентировались на Западную Европу и о Советском Союзе знали так же мало, как и мы о них. Провал карательной акции, направленной против молодых офицеров в Египте, сменил ориентацию большинства стран региона. Отец развивал достигнутый успех. В арабские страны пошло сначала чехословацкое, а затем советское оружие, расширялась экономическая помощь. Вся наша военная мощь демонстративно приводилась в движение при возникновении угрозы союзникам на Ближнем Востоке.

Правда, разрыв дипломатических отношений с Израилем отец санкционировал с большой внутренней неохотой. Выбирать тут не приходилось. Он предпочел укрепить дружбу с многомиллионным арабским миром. Нужно сказать, что отец часто возвращался к мыслям о возможных путях примирения враждующих сторон, не раз говорил об этом и с Насером.

Встав на сторону арабов, он тем не менее не раз вспоминал с симпатией о своих встречах с Голдой Меир в Москве.

— Когда-нибудь и там наступит мир. Все перемелется, — бывало, философски замечал он.

Вершиной развития дружбы с Египтом было соглашение о строительстве высотной Асуанской плотины и Хелуанского металлургического комбината. Эти шаги продемонстрировали всем арабам, кто их настоящие друзья. В нашей стране не все одобряли ближневосточную поли-

тику отца. Раздавались голоса о растранжиривании народных денег, о неоправданности нашей экономической и военной помощи.

В условиях оформляющейся оппозиции в ЦК эти настроения можно было умело использовать. На разговоры о зря выброшенных на помощь слаборазвитым странам миллионах отец обычно приводил пример Афганистана. Мы даем королю десятки миллионов, говорил он, помогаем ему строить дороги, предприятия, развивать сельское хозяйство. Зато мы имеем спокойную границу. На ее укрепление понадобились бы миллиарды. Так что, оказывая помощь, мы имеем прямую выгоду.

К описываемому периоду относится и попытка реализации идеи объединения всех арабов в едином государстве — Объединенной Арабской Республике. К государственному слиянию арабских стран отец относился скептически. Он предостерегал Насера от поспешных шагов в интеграции с Сирией, считая, что разница в политических свободах и экономическом развитии скоро приведет к конфликту.

Отец гордился нашими достижениями на Среднем Востоке, в значительной мере числя их на своем счету, и теперь хотел увидеть все сам. Поездке на Ближний Восток долгое время препятствовало одно серьезное обстоятельство. Коммунистические партии в большинстве арабских стран были запрещены, действовали в подполье, а многие коммунисты находились в тюрьмах. В течение всей подготовки к визиту этот вопрос неоднократно поднимался. Наше руководство ставило условие: без решения вопроса о коммунистах, томящихся в тюремных застенках, визит состояться не может.

Наконец Насер заверил, что заключенные будут освобождены. Отец сделал вид, будто его удовлетворили данные заверения, последняя преграда к визиту была снята.

В поездку отец решил взять и меня. В Крым я с ним поехать не мог, задерживала работа и потому прилетел перед самым отъездом. Вся делегация была в сборе: А. А. Громыко, М. П. Георгадзе, А. А. Гречко, П. А. Сатюков, А. И. Аджубей и другие.

Делегация отправлялась в путь на небольшом теплоходе «Армения». Он уже стоял у причала Ялтинского

порта. Этот отъезд Хрущева с государственным визитом мало отличался от любого другого, разве что южным солнцем и голубым морем. Провожал нас Брежнев.

В предотъездной суете мне бросилась в глаза непонятная перемена в поведении Леонида Ильича. Его всегда отличала широкая располагающая улыбка, готовая сорваться с языка шутка. На сей раз он был мрачен, даже отцу отвечал односложно, почти грубо. Остальных же просто не замечал. А ведь еще несколько недель назад при встрече он расцветал, широко раскрывал объятия, за чем неизменно следовали пахнущие дорогим коньяком и одеколоном поцелуи.

Я был в недоумении. Наконец объяснение нашлось. Брежнев обижен на отца предполагаемым в скором времени перемещением с поста Председателя Президиума Верховного Совета СССР в ЦК. Отказаться он не мог и теперь переживал.

Эта примитивная версия владела мною многие годы. Только в последнее время, когда стали известны многие обстоятельства тех лет, все стало выглядеть в ином свете. Очевидно, к маю окончательно оформилось решение избавиться от Хрущева. Оставалось, видимо, продумать детали и возможные сроки. Тогда, в Ялте, Брежнев, вероятно, не смог скрыть своего истинного отношения к отцу.

Конечно, в тот солнечный день я не слишком задумывался о причинах дурного настроения Брежнева.

Корабль отвалил от причала, и путешествие началось. Отец с помощниками засели за бумаги, остальные члены делегации наслаждались майским солнцем или занялись своими делами. Всякого рода игры были в то время не приняты. Отца побаивались, а он не любил игр, считая их пустым времяпрепровождением. Ни футбол, ни домино, ни карты никогда не занимали его внимания и время. В его присутствии коллеги, за редким исключением, тоже не проявляли интереса к подобным развлечениям. Предпочитали беседу. Темами были строительство, сельское хозяйство или военные проблемы, в зависимости от обстоятельств и компании. Другое дело, когда отец уходил к себе.

Мне невольно вспомнилось недавнее прошлое. Тогда отец присутствовал на маневрах Черноморского флота.

Наше опытное конструкторское бюро тоже демонстрировало свои достижения, и я находился среди участников. Все внимательно следили за пусками, заинтересованно обсуждали доклады гражданских и военных специалистов. Затем объявили двухчасовой перерыв. Отец привычно собрал свою объемистую коричневую папку, позвал помощника и отправился в каюту.

— Пойду, почитаю почту и поработаю над постановлением по флоту,— бросил он.

Отец ушел. На палубе остались Брежнев, Подгорный, Кириленко, Гречко, Устинов, министры, адмиралы, конструкторы. У Леонида Ильича спало напряженно-внимательное выражение. Глаза его повеселели.

— Что ж, Коля, — обратился он к Подгорному, — забьем козла?

Принесли домино. Брежнев, Подгорный, Кириленко и Гречко отдались любимому занятию. К возвращению отца стол очистили.

«Армения» пересекала Черное море в направлении к проливам. Все, кроме отца, отдыхали. К вечеру мы входили в проливы. Сопровождавшие нас корабли Черноморского флота, отсалютовав, легли на обратный курс.

Весь следующий день отец готовился к предстоящей встрече. На палубе вокруг легкого столика собрались члены делегации, советники, помощники. Проблем было много, но главной темой были более чем неаккуратные платежи египтян, их безалаберность. Наши корабли неделями ждали в портах разгрузки. Возникли и другие нелегкие проблемы. Военных беспокоило положение в египетской армии. Несмотря на современное вооружение, ее боеспособность оставалась крайне низкой.

Наконец путешествие подошло к концу. На пирсе Александрийского порта нас встречал президент Гамаль Абдель Насер и другие высшие руководители республики. По всему многокилометровому пути до Каира делегацию восторженно приветствовали толпы египтян.

Насер понравился отцу своей напористостью, искренним желанием преобразовать страну. Правда, многое в его позиции настораживало отца: и расплывчатость положений арабского социализма, и планы создания гигантского арабского государства.

Переговоры проходили сложно, даже в борьбе. Засе-

дания затягивались, нарушался отведенный протоколом регламент. На одной из встреч Насер просил еще и еще оружия, отец соглашался удовлетворить его запросы, но настаивал на мирном сосуществовании с соседями. Не раз казалось, что согласованное решение найдено, оставалось последнее слово, последняя формулировка... И тут все начиналось сначала.

Споры, впрочем, не влияли на взаимное дружеское расположение, и когда раскрывались двери комнаты переговоров, руководители обеих стран появлялись с ослепительными улыбками на лицах.

В конце концов противоречия были преодолены.

Из Каира наш путь лежал в Асуан. Кнопку подрыва перемычки Асуанской плотины должны были нажать вместе Насер и Хрущев. На торжества открытия плотины собрались руководители дружественных арабских стран. Отец хотел воспользоваться благоприятным случаем и обсудить с ними тенденции политического и экономического развития региона. Наконец долгожданное событие произошло. Насер и Хрущев одновременно нажали на кнопку, раздался взрыв, и воды Нила хлынули в котлован. Всем присутствующим были вручены памятные золотые медали. Еще в день приезда президент Насер объявил о награждении отца высшей наградой Объединенной Арабской Республики орденом Ожерелье Нила, которым отмечали лишь за особые заслуги, и то чрезвычайно редко. Этим жестом нам хотели продемонстрировать глубокое уважение к нашей стране, подчеркивались особые отношения между государствами арабского региона и Советским Союзом.

Сопутствовавшие этому награждению обстоятельства вызвали много кривотолков. А поскольку они были прямо связаны с последующими событиями, остановлюсь на них подробнее.

В соответствии с принятым международным этикетом и в знак особо дружеских отношений между странами необходимо было произвести адекватное награждение хозяев. Возникла проблема: каким советским орденом можно наградить президента Насера и вице-президента, главнокомандующего вооруженными силами маршала Мухаммеда Амера.

Такие вопросы возникали и раньше. С руководителя-

ми братских стран было проще. Они придерживались социалистической ориентации, идеологическая основа у нас была единой, и легко находился эквивалент ордену Карла Маркса или Георгия Димитрова.

В случае капиталистических или развивающихся стран все усложнялось. В первую очередь ни мы, ни они не хотели награждения знаком, связанным с нашими идеологическими, коммунистическими принципами. Отец несколько раз возвращался к вопросу об учреждении нового ордена со статутом, отражающим заслуги в укреплении дружбы между народами и государствами. Но надолго его внимание на этом вопросе не задерживалось. Он не был сторонником увеличения числа наград и, как только разрешалась возникшая проблема, терял интерес к новому ордену.

Когда посетивший нас с государственным визитом император Эфиопии Хайле Селассие I наградил Председателя Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилова высшим орденом империи, все встали в тупик. Ведь не наградишь же монарха орденом Ленина или Красного Знамени. Наконец нашли выход из положения. Вручили ему орден Суворова I степени. Вспомнили, что высокий гость руководил борьбой своего народа с итальянскими фашистами.

Вот и сейчас Никита Сергеевич поинтересовался, какая наша награда соответствует ордену Ожерелье Нила? Из Президиума Верховного Совета СССР ответили: «высшая». Такой наградой, не несшей впрямую идеологической нагрузки, у нас было звание Героя Советского Союза. Вспомнили прецеденты, когда это звание было присвоено Фиделю Кастро и Яношу Кадару.

Поэтому отец, долго не раздумывая, принял представление о присвоении звания Героя Советского Союза президенту Насеру и — по предложению маршала Гречко — маршалу Амеру. Андрей Андреевич Громыко, человек дотошный и чувствующий нюансы в международных отношениях, одобрил решение.

В Москву ушла соответствующая шифровка, и вскоре был получен положительный ответ в виде Указа Президиума Верховного Совета СССР за подписью Брежнева. Привезли и запечатанный сургучными печатями сверток с наградами.

В торжественной обстановке отец вручил ордена Насеру и Амеру. Казалось, вопрос исчерпан, международный этикет и ритуал соблюдены.

Но не тут-то было.

Неожиданно начались неприятные разговоры о том, что Хрущев, мол, путешествуя за границей, самовольно раздает ордена по принципу «ты — мне, я — тебе», игнорируя при этом Президиум ЦК и Президиум Верховного Совета СССР. К этому добавлялись слухи о якобы дорогих подарках, полученных отцом от правительства ОАР.

Я долго раздумывал, останавливаться ли мне в своих воспоминаниях на подобных щекотливых моментах. Ведь это тот случай, когда ничего нельзя доказать, а любое оправдание и опровержение выглядят даже в глазах дружески настроенного читателя более чем подозрительными. Легче было бы отмолчаться. Тем не менее я решил не уходить от обсуждения возникших тем летом кривотолков. Сегодня я убежден: это была очень тонко рассчитанная акция, направленная на дискредитацию отца, подготавливавшая общественное мнение и выяснявшая расстановку сил.

Суть первой части выдвинутых впоследствии обвинений сводилась к двум пунктам. Отцу инкриминировали, что он публично объявил о награждении, не дожидаясь согласия Президиума ЦК, а, кроме того, президент Насер вообще недостоин этой награды. Разобраться в справедливости первого обвинения сейчас довольно трудно. Прошло много лет, и восстановить события по часам попросту невозможно. С одинаковой легкостью через четверть века очевидцы, в зависимости от своих симпатий и антипатий, могут поддержать или отвергнуть эту версию. Мне эта проблема представляется надуманной: во-первых, и раньше бывали прецеденты, а во-вторых, министр иностранных дел, находившийся в составе делегации, и протокол МИД подтвердили адекватность наград. Остальное — уже детали, чисто бюрократическая процедура. Как я уже говорил, указ последовал без возражений.

Достоин или не достоин глава дружественного государства награды, соответствующей его рангу, вопрос, на мой взгляд, обывательский. Межгосударственные отношения строятся не на базе личных симпатий или антипатий, а сообразуются с высшими национальными интере-

сами. В таком контексте вопрос, достойны ли Насер и Амер звания Героя Советского Союза или нет, очевидно, некорректен. Важно другое — правильной ли была политика Советского Союза на Ближнем Востоке, направленная на поддержку арабских стран? А уж ответив на это, легко решить, нужен ли был ответный жест на награждение Председателя Совета Министров СССР высшим орденом принимающей стороны, адекватное награждение признанных в то время лидеров арабского мира.

Но логика логикой, а слухи распространяются по иным законам и иначе расставляются акценты. Автору распространявшейся версии нельзя было отказать ни в уме, ни в ловкости. Чувствовался высокий профессионализм.

Еще сложнее вопрос о ценных подарках. Здесь, как водится, все всё знают, «никого не проведешь». Философия примитивна: все берут, а если кто-то не берет, значит, уже столько набрал, что больше некуда.

Однако же я вынужден разочаровать «доброжелателей»: ни тогда, ни раньше в нашем доме ценных подарков не хранилось. За этим следила мама. Все ценности сдавались в ЦК чаще нераспакованными или после беглого осмотра отцом. Он сам к ценным вещам и украшениям относился в высшей степени равнодушно, чем сильно отличался от Кириченко и Брежнева, которых могла привести в восторг красивая побрякушка. Куда девались эти вещи потом — не знаю. Одно время хотели устроить музей, но, памятуя о музее подарков Сталину, отец категорически отверг предложенную идею. Все где-то оприходовалось и оседало. То и дело среди хранящихся у меня маминых бумаг попадаются описи сданных вещей.

Конечно, в доме накопилось множество адресов, сувениров, шкатулок, рисунков. Особенно много было макетов шахтерских ламп. Их дарили отцу все и по любому поводу — помнили его бывшую профессию. И сейчас с десяток таких ламп стоит у нас дома на полках. В резиденции на Ленинских горах для сувениров на первом этаже были сооружены два больших шкафа — витрины с зеркальными задними стенками. После отставки отца они остались там вместе со всем содержимым.

В условиях подготовки смены власти слух о том, что

Хрущев нечист на руку, был, без сомнения, очень выгоден. Распространением его занимались профессионалы. Он тщательно поддерживался, культивировался и подновлялся новыми «фактами», как только прежние переставали работать. Причем не прекратилось это и после отставки отца.

Прошло какое-то время. Тяжелые события ушли в прошлое, быт устоялся. Жил отец в Петрово-Дальнем. Для его нечастых поездок была выделена машина из кремлевского гаража. Это был «ЗИМ» — единственный подобный автомобиль устаревшей марки во всем гараже. Там стояли машины членов Политбюро — «ЗИЛы», «Чайки», «Волги». Рассказывали, что появились «мерседесы», «кадиллаки», другие престижные иномарки, но сам я, впрочем, их не видел, поскольку в то время меня туда уже не пускали.

Водители жаловались на «ЗИМ»: старый, ломается часто, а запчастей нет, ищут по всему Союзу.

Так вот, у этого «ЗИМа» был... частный номер. В гараже использовались разные номера — и сменные, и постоянные, но государственные, и только один частный...

...Вернусь к поездке в Египет.

После торжеств в Асуане президент Насер пригласил отца на рыбную ловлю в Красном море. 14 мая на президентской яхте «Аль-Гумхурия», стоявшей в Рас-Бенасе, кроме самого президента Насера, вице-президента маршала Амера и других высших руководителей Объединенной Арабской Республики, отца и членов советской делегации собрались: президент Алжира Бен Белла, президент Ирака маршал Ареф, президент Йемена маршал ас-Саляль и другие «рыбаки».

На следующий день, вдали от берега, журналистов и чужих ушей, на яхте, велись откровенные разговоры о мире и войне в регионе, о проведении согласованной политики, о будущем арабского мира, о намерениях этих стран создать федерацию. На политическом горизонте, казалось, уже маячило Великое арабское государство, объединяющее всех арабов. Я упоминал, что отец относился к этой идее скептически, не скрывал он своих

опасений и здесь, но обещал всяческую поддержку новым прогрессивным режимам со стороны Советского Союза.

Рыба осталась цела, поскольку за весь день удочки забросили от силы пару раз, и то лишь затем, чтобы показать северному гостю красноморскую экзотику.

На следующий день вернулись в Асуан. Визит катился без происшествий, в соответствии с хорошо разработанной программой.

Наконец в понедельник 25 мая отец самолетом вернулся в Москву, а 15 июня отбыл с новым визитом в Скандинавские страны. Хрущев опять отсутствовал. У тех, кто готовил его отставку, руки были развязаны. Все нити управления государством и партией сходились к ним.

На середину июля была назначена четвертая сессия Верховного Совета СССР шестого созыва. На ней предполагалось рассмотреть два вопроса, которые и на неискушенный взгляд не могли вызвать драмы, разыгравшейся за кулисами в период подготовки сессии.

Первым пунктом стоял вопрос о мерах по выполнению Программы КПСС в области повышения благосостояния народа: а) о пенсиях и пособиях колхозникам; б) о повышении заработной платы работникам просвещения, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и общественного питания и других отраслей народного хозяйства, непосредственно обслуживающих население; в) о переходе на пятидневную рабочую неделю.

Вопрос вносился Центральным Комитетом КПСС и Советом Министров СССР. Докладчиком был Хрущев. Инициатива в постановке этой проблемы принадлежала ему.

Вторым вопросом повестки дня шло утверждение Указов Президиума Верховного Совета СССР. Своей привычной формулировкой, кочующей из сессии в сессию, он казался и вовсе незначительным. Однако основные страсти разыгрались именно вокруг него. На этой сессии Верховного Совета отец наконец собрался окончательно оформить решение о переходе Брежнева с поста Председателя Президиума Верховного Совета СССР в ЦК.

Я постараюсь восстановить последовательность развития событий, какой она мне представляется сегодня. Конечно, некоторые мои предположения могут быть ошибочны, и я буду благодарен всем, кто сочтет возможным исправить неточности.

В апреле 1963 года тяжело заболел Козлов, но отец еще надеялся на его возвращение к работе. Однако дел было слишком много, и в июне 1963 года Брежнева вновь избрали секретарем ЦК, поручив ему некоторые вопросы, находившиеся в ведении Козлова, в первую очередь оборонную промышленность. При этом он сохранил пост Председателя Президиума Верховного Совета. От Брежнева ждали временной помощи в конкретном вопросе до выздоровления Козлова. Но, видимо, именно с этого момента начал образовываться блок Брежнев — Подгорный или Подгорный — Брежнев.

Александр Николаевич Шелепин в то время, насколько я понимаю, ничего общего ни с тем ни с другим не имел, более того, очевидно, недолюбливал этих украинских выдвиженцев Хрущева.

К концу 1963 года отец убедился, что Фрол Романович Козлов к работе не вернется. Нужно было подобрать ему преемника. После долгих колебаний выбор его остановился на Брежневе. Таким образом, к началу 1964 года Леонид Ильич сосредоточил в своих руках большую власть в ЦК, сохраняя пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Видимо, в этот период и зародилась идея отстранения Хрущева.

По всей вероятности, тогда же возник и блок с Шелепиным. Каждый здесь преследовал свои цели, но обойтись друг без друга они уже не могли. К делу привлекли старого друга Шелепина — председателя КГБ Владимира Ефимовича Семичастного. Началось осторожное прощупывание настроений членов Президиума ЦК. Однако, по моему мнению, Брежнев еще колебался. Должность Председателя Президиума Верховного Совета СССР его устраивала, а неопределенность развития событий в деле устранения Хрущева, очевидно, страшила.

Весной, видимо, в апреле, отец окончательно объявил о своем намерении подыскать на пост Председателя Президиума Верховного Совета другую кандидатуру. Он

ничего не подозревал: одному человеку совмещать два таких поста тяжело, а Брежневу предстоит все силы отдать работе в ЦК.

Предложений о конкретном кандидате у него на тот момент не было — должность в основном представительская, на нее нецелесообразно назначать делового человека, способного приносить пользу в другом месте. С другой стороны — глава государства. Этот пост должен занять человек с непререкаемым авторитетом, хорошо известный и в партии, и в народе.

Наконец его выбор остановился на Микояне. Уважаемое в стране и известное в мире имя, да и в следующем году ему исполнится 70 лет. Силы уже не те, здесь же он будет на месте.

Когда отец обнародовал свою точку зрения, Брежнев, видимо, отбросил последние сомнения. Отныне он — активный участник в акции по устранению Хрущева.

На июльской сессии должен был решиться вопрос о замене Брежнева Микояном. Последовавшие события показали, насколько важным и притягательным оставалась для Леонида Ильича должность Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Как только Брежнев набрал силу, он пожертвовал своим главным союзником Николаем Викторовичем Подгорным (сменившим Микояна в 1965 году) и наконец смог опять именоваться Председателем Президиума Верховного Совета СССР.

К началу лета инициативная группа сформировалась. Одним из основных исполнителей стал председатель КГБ Семичастный. Без него, как нетрудно понять, все могло лопнуть. В 1957 году, когда в первый раз хотели сбросить отца, не последнюю роль в провале этой затеи сыграл генерал И. А. Серов, тогдашний председатель КГБ, сохранивший верность ЦК и его Первому секретарю. Семичастный, конечно, был в курсе всех планов.

В июне, в преддверии сессии Верховного Совета, Леонид Ильич одолевал Семичастного различными предложениями устранения Хрущева. Как свидетельствует Семичастный, они были далеко не джентльменского характера.

Перед возвращением отца из поездки в Объединенную Арабскую Республику Леонид Ильич был одержим идеей отравить его. Семичастному его замысел пришелся не по

душе. В отстранении Хрущева от власти он участвовал охотно. Это сулило быстрый взлет. Ведь он входил в когорту Шелепина, чьи люди были расставлены на ключевых постах. Однако уголовщиной он заниматься не собирался. Семичастный возражал Брежневу, выискивал разнообразные контраргументы.

Вот как вспоминает об этом сам Владимир Ефимович:

— Было мне предложено Брежневым: «Может, отравить его?» Тогда я сказал: «Только через мой труп. Ни в коем случае. Никогда я на это не пойду. Я не заговорщик и не убийца... Потом, обстановка в стране не такая и такими методами нельзя идти».

Вопрос: Как же отравить?

Семичастный: Кто-то должен был. Службе я своей должен был приказать... Поварам.

Вопрос: Поставить тем самым себя под угрозу?

Семичастный: Да, дурацкое дело. Я тогда приехал, возразил... В конце концов Брежнев согласился, что идея отравить Хрущева неосуществима.

Говорят, что через несколько дней у Брежнева появился новый план — устроить авиационную катастрофу при перелете из Каира в Москву.

— Самолет стоит на чужом аэродроме, в чужом государстве. Вся вина ляжет на иностранные спецслужбы,— убеждал он.

— С Хрущевым летает преданный ему экипаж. Первый пилот — генерал Цыбин, вы знаете, начал летать с ним еще подполковником в сорок первом. Прошел всю войну. Да и как вы все это представляете? Мирное время. Кроме Хрущева в самолете Громыко, Гречко, команда и, наконец, наши люди — чекисты. Этот вариант абсолютно невыполним,— собеседник отказался наотрез.

Брежнев на осуществлении своего плана больше не настаивал. Советская делегация благополучно возвратилась в Москву. Никто не знал о состоявшемся разговоре. Однако Брежнев не успокаивался, открытие сессии Верховного Совета неумолимо приближалось.

В начале июня отец собирался в Ленинград. На 9-е число там была запланирована однодневная встреча с президентом Югославии Иосипом Броз Тито. Отец выехал днем раньше, решил познакомиться с ходом жилищ-

3—3478

ного строительства в Ленинграде, подготовиться к встрече, да и очень хотелось съездить в Петродворец, взглянуть на восстановленные фонтаны.

Тогда Брежневу пришла идея устроить автокатастрофу. Но и тут он, очевидно, не нашел поддержки.

Из Скандинавии Никита Сергеевич возвращался за неделю до открытия сессии. У Леонида Ильича совсем не оставалось времени.

В этом цейтноте появилось последнее, отчаянное предложение: арестовать Хрущева в момент его возвращения из Швеции и поместить в охотничьем хозяйстве «Завидово», неподалеку от Калинина. Везти такого пленника в Москву Брежнев опасался. Однако и это предложение не встретило одобрения ни у Семичастного, ни у других участников затеи. Они предпочитали более верный и менее авантюрный путь.

К сожалению, свидетельство Семичастного об этом факте лаконично. Он лишь отметил:

— Это длилось долгое время... Так был же вариант и такой, когда, понимаешь, он приехал из Швеции: остановить поезд где-то в районе Завидово, арестовать и привезти. Был и такой вариант...

В это же время начались активные переговоры с членами Президиума ЦК, секретарями обкомов, министрами, военными. С одними говорили открыто, других лишь осторожно прощупывали, третьих решили до поры не посвящать в дело. Ведь любая утечка информации грозила пустить все прахом. Дата окончательного решения не была определена. В одном сходились все — завершить дело надо к концу этого года.

Брежневу пришлось смириться с потерей президентского кресла.

Большое беспокойство вызывало и другое обстоятельство. Необходимо было принять все меры по дискредитации Хрущева в стране, лишить его последних остатков популярности в народе. И, кажется, все для этого делалось. В регионах, с руководителями которых уже удалось найти общий язык, из магазинов исчезли продукты, предметы первой необходимости. Выстраивались многочасовые очереди за любыми товарами, в том числе и за хлебом. По́лки должны были заполниться снова

только после устранения от власти «источника всех бед», буквально на следующий день.

В этом свете вызывала опасения повестка дня предстоящей сессии Верховного Совета, открывавшейся в понедельник, 13 июля.

Отец давно вынашивал вопрос об установлении пенсий колхозникам. Это был не только экономический, но и крупный политический шаг. Тем самым они приравнивались к рабочим, обретали равный со всеми социальный статус. Одновременно он хотел решить и другой больной вопрос: увеличить мизерные ставки учителям, врачам и работникам, занятым в сфере обслуживания.

И пенсии, и прибавки были невелики особенно по нынешним меркам, но и на них средства отыскать было очень трудно. В начале года отец проводил многочасовые разговоры со специалистами, руководителями ведомств. В результате деньги наскребли, и он готовил обстоятельный доклад к предстоящей сессии.

Отменить или затормозить принятие этих решений было невозможно. Слишком долго и подробно готовился вопрос. Подходящего предлога не находилось. Брежнев и его «команда» нервничали. Ход их рассуждений, очевидно, был прост: «Хрущев, сделав доклад, опять свяжет свое имя с мероприятиями, обеспечивающими улучшение условий жизни многим людям. Это поднимет его популярность, сильно подмоченную недавним повышением цен на продукты. Как себя поведут люди при его устранении, предсказать трудно...»

Эти опасения были не слишком обоснованны, но они, вероятно, были. Тем не менее изменить им ничего не удалось. Вопрос остался в повестке дня.

Иначе сложилось с предложением отца установить два выходных дня в неделю. Этот вопрос не менее тщательно прорабатывался с начала года. На первых порах особых возражений не было, ведь почти весь мир к тому времени строил свой трудовой распорядок таким образом. Но в июне вдруг возникли почти неразрешимые трудности. Отцу стали доказывать, что переход на пятидневную неделю внесет дезорганизацию в работу многих отраслей народного хозяйства. В качестве основных аргументов приводились возможные затруднения на предприятиях с непрерывным характером производства: в

металлургии, химии, нефтехимии. Высказывались опасения, что, несмотря на сохранение продолжительности рабочей недели в часах, общий объем выпуска продукции при переходе на пятидневку может упасть.

Давление на Хрущева оказывалось планомерно со всех сторон: ведомства, аппарат Совета Министров и аппарат Секретариата ЦК. Отец спорил, выдвигал контрдоводы, поколебать его не удавалось. Особенно рьяным противником перехода на новую неделю был секретарь ЦК А. П. Рудаков, отвечавший за работу промышленности.

До сессии оставалась неделя. Отец вернулся из Скандинавии и засел за окончательную подготовку доклада. Этого дела он никогда не доверял помощникам. На первом этапе отец обычно диктовал стенографисткам черновые мысли, часто вразброс. Расшифрованный текст «приглаживали» помощники с привлечением необходимых, в зависимости от темы выступления, специалистов по международным, промышленным, военным, сельскохозяйственным и другим вопросам.

Затем текст возвращался к отцу и начиналось редактирование. Он перекраивал композицию доклада, надиктовывал или выбрасывал отдельные куски, и так до тех пор, пока не добивался четкого выражения своих мыслей. На этом его активное участие в работе заканчивалось — теперь помощники со специалистами подбирали подходящие примеры, цитаты и представляли окончательный вариант. Отец его внимательно читал, вносил последние коррективы, и текст готов.

Правда и другое. Очень часто в своих выступлениях он не любил придерживаться «бумажки», вообще отходил от написанного текста. Отец любил повторять одну из заповедей Петра I, запрещавшую читать речи по писанному, «дабы дурость каждого видна была». Такой стиль делал его выступления живыми, образными, позволял чутко реагировать на конкретную обстановку и выявлять реакцию слушателей.

Справедливости ради надо отметить, что иногда в запале выступления им высказывались и незрелые мысли, возникшие спонтанно в процессе произнесения речи. В этих случаях при подготовке текста к печати отцу приходилось устранять огрехи.

Все это, конечно, не касалось так называемых протокольных выступлений: при встречах и проводах иностранных делегаций, выступлений на приемах и других подобных мероприятиях. Эти речи, как и во всем мире, готовили соответствующие службы и представляли их отцу для окончательного зачтения уже в готовом виде.

Вот и сейчас он «дошлифовывал» свое предстоящее выступление на сессии Верховного Совета.

Рудаков решил пойти в обход. Ему удалось уговорить Аджубея попытаться воздействовать на отца. Не знаю уж, какие аргументы оказались для Алексея Ивановича решающими, но он согласился.

Тем летом отец часто ночевал на даче, расположенной неподалеку от совхоза «Горки-II», в сосновом бору на берегу Москвы-реки. Построили этот дом для Председателя Совета Народных Комиссаров Алексея Ивановича Рыкова, но об этом говорили глухо, вполголоса. Потом дачу занимал Молотов.

Отцу понравилась обширная территория, с длинной прогулочной дорожкой вдоль забора, без заметных подъемов и спусков, которые становились для него все более чувствительными. По этой дорожке отец обходил территорию каждый вечер, возвращаясь с работы. Завершалась прогулка на лугу, отделявшем территорию дачи от Москвы-реки.

Если на даче в Усово, где до последнего времени жил отец, пространство между забором дачи и рекой не было огорожено и заполнялось в солнечные дни массой москвичей, приехавших позагорать и искупаться, то в доставшейся в наследство от Молотова даче проходы на луг с двух сторон были перегорожены колючей проволокой. Правда, состояние её было не лучшим: то тут, то там зияли огромные дыры.

Охрана регулярно обходила периметр дачи по этому коридору. Рваная колючая проволока служила своеобразной приманкой для бродивших по окрестным лесам парочек. И тут в самый «интересный момент» из густых кустов появлялся человек в форме и требовал документы. Обычно дело кончалось мирным исходом: ретированием «нарушителей» и красочным рассказом бдительного стража в дежурке.

Однажды здесь, в кустах, у самой кромки берега

Москвы-реки, охрана задержала любопытную парочку. В ответ на требование предъявить документы молодой человек долго отнекивался, но когда понял, что выхода нет, показал удостоверение сотрудника посольства Великобритании.

Обе стороны были в шоковом состоянии. С перепугу охрана задержала обоих, хотя «злоумышленники» вразумительно объяснили, что они приплыли на лодке с пляжа на Николиной горе, где обычно летом отдыхают сотрудники иностранных представительств. Не зная, как поступить, дежурный начальник охраны поспешил к отцу с докладом о возможных намерениях задержанных разведать подступы к «объекту».

Отец улыбнулся:

— А спутница у вашего «шпиона» симпатичная?

— Вполне,— замялся офицер.

— Пусть плывут куда хотят. Не мешайте людям отдыхать. Боюсь, что она интересует вашего «разведчика» значительно больше, чем я,— отмахнулся отец, приостановив «международный конфликт».

Когда мы переехали сюда, луг зарос густой травой. Справа в углу было маленькое болотце. Летом здесь жил коростель. Отец, заслышав этот знакомый с детства голос, останавливался, вслушивался, и лицо его расплывалось в улыбке. Эта птица была нашей достопримечательностью. У кромки леса на лугу стояла круглая зеленая беседка, а в ней плетеный стол и такие же кресла. Летом по выходным отец читал здесь бумаги или газеты. Тут же собирались и частые гости. Помню, в один из приездов в СССР гостивший у нас на даче Фидель Кастро фотографировал здесь нашу семью.

На этом лугу отец решил устроить свое опытное сельскохозяйственное угодье. Вдоль дорожки высадили кусты калины. Отец очень любил и ее белые цветы по весне, и красные грозди ягод осенью. Слева и справа от дорожки разбили грядки. На них росли разные овощи: морковь, огурцы, помидоры, кабачки, салат — словом все, что должно расти на хорошем огороде.

Отдельно располагались грядки с культурами, чемлибо особо заинтересовавшими отца. Помню, вначале это были просо и чумиза. Отец помнил ее еще по Донбассу и решил сам проверить слухи о высокой урожайности

этой китайской гостьи. Чумизу сеяли несколько лет. Каша из нее стала регулярным нашим блюдом. Но сведения об урожайности не подтвердились: подмосковный климат оказался для нее слишком суров.

Место чумизы заняла кукуруза. Рядками высевались разные сорта, посевы делались в разные сроки, поразному обрабатывались. Отец внимательно следил за ростом растений. Это было не просто увлечение. Он хотел сам убедиться, пощупать результат своими руками. Рапортам он доверял мало, зная, как часто урожаи остаются на бумаге. Еще с Украины у него сложилась привычка объезжать поля, чтобы своими глазами увидеть сев, а потом и урожай.

Всякий приезд Первого секретаря ЦК в областной центр местное начальство старалось начать с обеда. После него Хрущев, мол, подобреет. В те времена он ездил по республикам чаще всего в открытой машине. Из нее лучше было видно, что творится на полях, можно остановиться в любом месте, расспросить селян, узнать их мнение, а оно часто оказывалось ценнее официальных сводок.

Бронированным «ЗИС-110», положенным членам Политбюро, он не пользовался. И тот без дела пылился в гараже ЦК.

Испытав несколько «теплых» встреч, отец придумал ответный ход. Он купил огромную чугунную сковороду. Чтоб она не пачкалась в багажнике автомобиля, заказал жестяной футляр. Теперь, подъезжая к областному центру, он не спешил, находил в придорожных посадках место поуютнее и делал привал. Быстро разводили костер, доставали вскоре ставшую легендарной сковородку и жарили яичницу с салом и помидорами. Да такую, чтобы хватило всем — и помощникам, и водителю.

Отец любил в лицах рассказывать о встречах с секретарями обкомов:

— С дороги, Никита Сергеевич, просим к обеду.

Отец хитро улыбался:

— Спасибо, мы только что пообедали. Давайте лучше займемся делом. Поехали по полям, а по дороге вы мне все расскажете.

Конечно, эта хитрость очень скоро стала всеобщим достоянием, но отец и не делал из своей выдумки секрета.

Главного он добился: по приезде в обком начинали с работы, а обедали поздно вечером.

Вернемся к событиям июля 1964 года.

В один из вечеров недели, оставшейся до сессии Верховного Совета, мы гуляли по лугу. Кроме отца, меня и Аджубея был, возможно, кто-то еще.

Алексей Иванович со свойственным ему красноречием и убежденностью доказывал, что переход на пятидневную неделю несвоевремен, не подготовлен и может повлечь за собой серьезные отрицательные последствия. Отец молча слушал.

Хорошо помню этот разговор; я был молод, мне ужасно хотелось иметь два выходных. Постепенно я заметил, что отец начал колебаться. Алексей Иванович находил нужные доводы. Тогда я решил вмешаться и робко возразил. Получилось неуклюже, и отец только отмахнулся:

— Не мешай.

В конце концов он сдался. Алексей Иванович просиял. Третий подпункт первого пункта повестки дня был снят. Он стал активом на послехрущевские времена.

Сессия прошла без происшествий. 15 июля после принятия закона «О пенсиях и пособиях членам колхозов» слово вновь взял отец.

— Товарищи депутаты!

Вы знаете, что товарищ Брежнев Леонид Ильич на Пленуме ЦК в июне 1963 года был избран секретарем Центрального Комитета партии. Центральный Комитет считает целесообразным, чтобы товарищ Брежнев сосредоточил свою деятельность в Центральном Комитете партии как секретарь ЦК КПСС.

В связи с этим Центральный Комитет вносит предложение освободить товарища Брежнева от обязанностей Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

На пост Председателя Президиума Верховного Совета Центральный Комитет партии рекомендует для обсуждения на данной сессии кандидатуру товарища Микояна Анастаса Ивановича. При этом имеется в виду освободить его от обязанностей первого заместителя Председателя Совета Министров СССР.

Думаю, что нет надобности давать характеристику товарищу Микояну. Вы все знаете, какую большую политическую и государственную работу проводил и прово-

дит Анастас Иванович в нашей партии и Советском государстве. Он зарекомендовал себя как верный ленинец, активный борец за дело коммунизма. Его деятельность известна нашему народу на протяжении десятилетий. Она известна не только у нас в стране, но и за ее пределами.

Центральный Комитет партии считает, что товарищ Микоян достоин того, чтобы доверить ему большой и ответственный пост Председателя Президиума Верховного Совета Советского Союза.

Товарищи!

Мы надеемся, что депутаты поддержат и примут предложение Центрального Комитета партии. Я позволю себе до голосования — хотя это может показаться несколько преждевременным — выразить сердечную благодарность Леониду Ильичу Брежневу за его плодотворную работу на посту Председателя Президиума Верховного Совета, а Анастасу Ивановичу Микояну от всей души пожелать больших успехов в его деятельности на посту Председателя Президиума Верховного Совета. (Бурные, продолжительные аплодисменты.)

На этом, собственно, все и закончилось. Депутаты дружно проголосовали за кандидатуру Микояна и приняли постановление:

«Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет:

В связи с занятостью на работе в ЦК КПСС освободить товарища Брежнева Леонида Ильича от обязанностей Председателя Президиума Верховного Совета СССР».

Давно созревшее решение получило юридическое оформление.

Обстановка, с которой столкнулся в Президиуме Верховного Совета Анастас Иванович после назначения на новый пост, ему крайне не понравилась, и он решил навести порядок. Начал с кадров. Начальнику Секретариата Президиума Верховного Совета Константину Устиновичу Черненко было предложено освободить место. Пришлось Леониду Ильичу подыскивать своему приятелю место в ЦК. Большого труда это не составило.

После сессии и окончательного перехода на новое место Брежнева, видимо, раздирали противоречивые

чувства. Очевидно, с одной стороны, он несколько успокоился, поскольку, хотя решение сессии было малоприятным, тем не менее в стане его сторонников прибывало, и недалек, казалось, час торжества. С другой стороны, его, вероятно, не покидало беспокойство: что произойдет, если Хрущев хотя бы заподозрит что-то? Но подготовка к смене власти вступала в решающую фазу, она требовала встреч, разговоров, подключения все новых людей. Менять планы уже было поздно.

После сессии в июле—августе начинался период отпусков. Жизнь замедлялась. Как обычно, Леонид Ильич отправился в Крым...

Отцу же о летнем отдыхе думать пока не приходилось — в конце июля намечался большой праздник в Польше — 20-летие образования народного государства. Несколько раз звонил Гомулка, просил приехать, поскольку визиту Хрущева он придавал особое значение. Отец, конечно же, не мог отказать своему старому другу.

А затем надо было обязательно проехать по восточным районам страны, чтобы самому посмотреть, как на целине готовятся к уборке урожая.

Опять отец уезжал из Москвы, оставив, пока Брежнев был в отпуске, «на хозяйстве» Подгорного. Все, казалось, складывалось для них чрезвычайно благоприятно.

Нужно было максимально использовать лето, поскольку такого случая потом не представится: секретари обкомов, председатели исполкомов уходили в отпуск и съезжались в санатории Крыма и Кавказа. Здесь, не привлекая особого внимания, в непринужденной обстановке, можно было прощупать их настроение. Ведь поездки по областям и республикам могли возбудить ненужное любопытство.

Правда, новый пост второго секретаря ЦК в этом смысле предоставлял обширные возможности — именно на нем лежала работа с обкомами. Но одно дело разговор в кабинете, а другое — за рюмкой хорошего коньяка на юге. В сомнительном случае все можно легко перевести в шутку, заглушить анекдотами. Ведь о чем только не болтают на отдыхе?..

В Крыму Брежневу удалось, насколько это сейчас известно, переговорить со многими. Общая кадровая ситуация складывалась в его пользу — Хрущевым были

недовольны, казалось, все. Партийных секретарей раздражало разделение обкомов и введение сменности. Военных — продолжающиеся сокращения вооруженных сил. Хозяйственники были недовольны организацией совнархозов. Да и вообще многим руководителям тогда пришлось покинуть Москву и разъехаться по разным регионам. Сколачивалось устойчивое большинство недовольных. Хрущев, судя по расстановке сил, не мог иметь поддержки ни в Президиуме ЦК, ни на Пленуме.

Славословия в адрес Хрущева в выступлениях Брежнева, Подгорного и других в это время лились потоком.

К этому периоду относится вторая беседа Шелеста с Брежневым.

Вот как вспоминает об этой памятной встрече сам Петр Ефимович.

— ...Визит Брежнева.

Я отдыхал в Крыму, он неожиданно ко мне приехал. Это было в июле 1964 года.

Он не уговаривал меня, он просто рыдал, ударялся в слезу. Он же артист был, большой артист. Вплоть до того, что, когда выпьет,— взгромоздится на стул и декламацию какую-то несет. Не Маяковского там и не Есенина, а какой-то свой каламбур.

...Он приехал ко мне:

— Как живешь? Как дела?

— Да как живу,— отвечаю,— работа сложная.

— Как тебя, поддерживают?

— Если бы не поддерживали, нечего и делать. Только суму брать и удирать. Демьян Сергеевич Коротченко оказывает большую поддержку. Опытный человек. Секретари обкомов поддерживают.

— А как у тебя взаимоотношения с Хрущевым?

— Как младшего со старшим. А что ты мне такой вопрос задаешь? Ты там ближе, в Москве работаешь.

— Он нас ругает, бездельниками обзывает.

— А может, и правильно?

— Нет, с ним нельзя работать.

— А чего же ты тогда на 70-летии выступал? «Наш товарищ, наш любимый, наш вождь, руководитель, ленинец и так далее». Что же ты не выступил и не сказал: «Никита, с вами нельзя работать!»

— Мы просто не знаем, что с ним делать.

Я решил держаться на расстоянии.

— Вы сами там и разбирайтесь. Мы в низах работаем. Какие нам директивы дают, такие и выполняем... А что вы хотите сделать?— все-таки разрешил я себе проявить сдержанное любопытство.

— Мы думаем собрать Пленум и покритиковать его.

— Так в чем дело? Я — за.

На этом разговор, больше напоминающий осторожный зондаж, прекратился. Брежнев свернул разговор и уехал, видимо, что-то в ответах Шелеста насторожило его.

Вскоре отец уехал в Польшу. За «хозяина» остался Брежнев, продолжавший отдыхать в Крыму.

Как я уже писал, когда отец отдыхал в Крыму или на Кавказе, там часто проводились совместные встречи руководства нашей страны с руководителями социалистических стран, коммунистических партий, приезжали наши ведущие ученые, конструкторы, члены правительства, отдыхавшие поблизости. Проходили такие встречи непринужденно. Все приехавшие были с семьями, ведь собирались отдыхающие. Обычно такие мероприятия проводились в бывшем дворце Александра III в горах над Ялтой.

Очевидно, есть смысл рассказать кое-что об истории крымских дворцов.

До войны в них размещались санатории. При подготовке Ялтинской конференции глав антигитлеровской коалиции в конце войны Ливадийский, Алупкинский и некоторые другие дворцы были срочно приведены в порядок и приспособлены для размещения в них делегаций. Конференция закончилась, а дворцы остались в ведении НКВД. Никто уже не вспоминал старый лозунг «Дворцы должны принадлежать народу».

Ливадийский дворец считался дачей Сталина, хотя он там отдыхал лишь однажды. В Воронцовском, в Алупке, поселился Молотов. Остальные не имели персональной привязки. После смерти Сталина отец вспомнил о старом решении, предписывавшем передать дворцы знати в пользование народу, и провел постановление правительства об использовании их под профсоюзные дома отдыха. Однако они оказались плохо приспособленными для массового отдыха, и вскоре в большинстве из них были устроены музеи. И только Александровский дворец

так и остался на правах государственной дачи. Его решили использовать как резиденцию для приема высоких иностранных гостей. Большую же часть времени он пустовал.

Отдыхая в Крыму, отец иногда заезжал туда, гулял по пустынным аллеям парка. Видимо, во время этих прогулок у него и возникла идея этих встреч. Обычно гости собирались с утра, все вместе гуляли, играли в городки, волейбол. Просто сидели на лавочках, беседуя. Заканчивалось все обедом на открытом воздухе. Без отца такие мероприятия не устраивались. Сначала, видимо, потому, что это была его затея, а потом, очевидно, никто не осмеливался занять его место.

В этом году Леонид Ильич впервые взял инициативу на себя.

Нужно сказать, что, несмотря на общую непринужденность подобных встреч, этикет здесь выдерживался строго. Гости приезжали с семьями, но отдельно от главы семьи ни жен, ни детей сюда, естественно, не приглашали никогда.

Тем летом в одном из ялтинских санаториев отдыхала моя старшая сестра Юлия Никитична. Она была чрезвычайно удивлена, когда получила приглашение на такую встречу, устраиваемую Брежневым. В этом необычном приглашении, видимо, сыграли роль прямо противоположные эмоции. С одной стороны, Леониду Ильичу очень хотелось показать, и, очевидно, в первую очередь себе, что он тут без пяти минут хозяин. С другой — опасаясь Хрущева, он демонстрировал верноподданнические чувства, пригласив Юлию Никитичну.

Сестру буквально поразило поведение Брежнева на приеме. Причем говорила она об этом еще до отставки отца. По ее словам, Брежнев вел себя как полновластный хозяин и был со всеми необычно фамильярен. Таким она его не видела никогда. К концу вечера он даже забрался на стул и стал декламировать стихи собственного сочинения. По всему чувствовалось, что он чрезвычайно доволен собой.

Подобного никто раньше не видел. Резкая перемена в поведении Леонида Ильича вызвала недоумение у многих, но мотивов ее не разгадал никто. Как у нас водится, решили, что он выпил лишнего.

В августе аналогичная история приключилась и со мной. Отца тогда не было в Москве, он уехал на целину, на уборку. По служебным делам я с коллегами поехал в Центр подготовки космонавтов. Приняли нас радушно. Мы ходили по залам, разглядывали тренажеры, разговаривали с космонавтами. Сопровождал нас генерал Николай Петрович Каманин, в то время заместитель начальника Главного штаба ВВС, занимавшийся вопросами подготовки космонавтов. В конце этой экскурсии мы зашли в одну из лабораторий посмотреть тренажер первого пилотируемого корабля «Восток». Внезапно в дверь вбежал запыхавшийся адъютант Каманина:

— Товарищ генерал! Товáрища Хрущева просили позвонить товарищу Брежневу. Только что звонили из ЦК.

Представьте мое удивление: ведь никогда прежде Леонид Ильич мне не звонил — кто я и кто он?.. Я быстро прошел с адъютантом в кабинет Каманина и набрал номер телефона Брежнева в ЦК.

Он поднял трубку:

— Вот что,— услышал я,— Никиты Сергеевича нет, а завтра открытие охоты на уток. Мы все едем в Завидово, приглашаю и тебя. Ты поедешь?

— Конечно. Спасибо, Леонид Ильич. В субботу вечером буду там,— обалдело ответил я, пораженный предложением.

Я не ожидал от члена Президиума ЦК личного приглашения на утиную охоту! Отец, бывало, брал меня, но исключительно в виде «бесплатного приложения». Иногда привозил с собой сына и Дмитрий Степанович Полянский. Но одно дело поехать на охоту с отцом, а тут вдруг приглашают на равных. Не скрою, такое приглашение мне очень польстило.

Когда я вернулся в лабораторию, Каманин смотрел на меня влюбленными глазами.

— Наверное, Леонид Ильич вам частенько звонит?— спросил он.

Я не знал, что ответить, и пробормотал:

— Да. Нет... Не очень...

В то время я не слишком задумывался над этим звонком, приняв его за простой знак внимания и симпатии.

Вернувшись в Москву, отец спросил меня:

— Ну как поохотился? Мне по телефону Брежнев сказал, что он тебя не забыл и пригласил с собой в Завидово.

Видимо, этот звонок был еще одним шагом, чтобы «задобрить» отца. Другого объяснения я, признаться, не нахожу.

Однако едва ли утиная охота была главной целью, привлекавшей в тот сезон в Завидово Брежнева, Подгорного, Полянского и других «охотников».

В уютных домиках, вдали от чужих любопытных глаз и ушей, они имели большие возможности обработать тех, кого после долгих колебаний решились посвятить в свои планы.

Вот что говорит об этом Геннадий Иванович Воронов, в то время член Президиума ЦК, Председатель Совета Министров РСФСР:

— Все это готовилось примерно с год. Нити вели в Завидово, где Брежнев обычно охотился. Сам Брежнев в списке членов ЦК ставил против каждой фамилии плюсы (кто готов поддержать его в борьбе против Хрущева) и минусы. Каждого индивидуально обрабатывали.

Вопрос: Вас тоже?

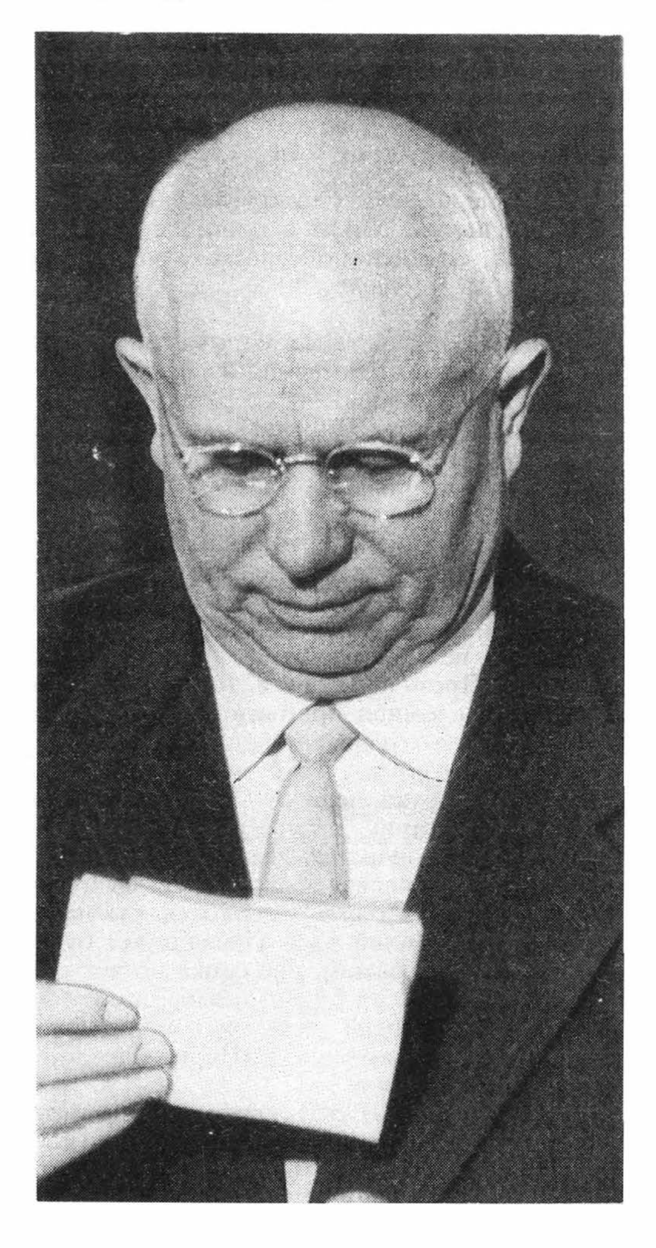
— Да. Целую ночь!

Нити вели не только в Завидово, но и в Крым, и на Кавказ, и в другие уголки страны.

Тогда я, понятно, не подозревал, что судьба уготовила мне роль одного из активных если и не участников, то зрителей надвигавшихся событий.

Глава II

ОКТЯБРЬ



Кончилось лето. Стало прохладнее, на деревьях зажелтели листья. Ушли в прошлое хлопоты об урожае 1964 года, поездки по сельскохозяйственным районам. Закончились и намеченные на 1964 год зарубежные поездки.

Осенью отец надеялся отдохнуть, как-то собраться с мыслями и наметить планы на будущее. Замыслы были обширные: в ноябре — декабре должен был состояться очередной Пленум ЦК, на котором ожидали принятия важных решений. Одним из центральных вопросов было положение в сельском хозяйстве. За истекшее десятилетие производство сельскохозяйственных продуктов возросло, но эффективность была далека от тех наметок, к которым стремился отец. Закупленные за границей комплексные фермы не обеспечивали в наших условиях выхода продукции, обещанного фирмами.

Другой не менее важной проблемой была кадровая политика. Президиум ЦК КПСС старел — возраст большинства его членов приближался к шестидесяти, а сам отец только что отпраздновал семидесятилетие. Все чаще и чаще он возвращался к мысли: а кто же придет на смену, в чьи руки передать управление страной и партией? Умер Сталин, и пути разошлись, начались споры, разногласия. Кончилось все открытой схваткой. Подобного допускать нельзя, считал отец, выход один — законодательно установить сменность руководства и гласность. Если каждый член Президиума будет знать, что ему отводится, скажем, два срока по четыре года между съездами партии, он будет больше думать о деле, смелее действовать, меньше оглядываться по сторонам. Да и подрастающее поколение в ЦК, в обкомах будет видеть для себя перспективу.

Очередной, XXII съезд уже принял решение о сменности партийного руководства, но это только первый шаг. Нужно идти дальше, затвердить те же принципы в новой Конституции. Давно принято решение о подготовке ее

новой редакции, создана комиссия, а взяться за это дело все некогда, постоянно отвлекают сиюминутные, требующие немедленного решения дела.

Самое подходящее время для работы над новой Конституцией — отпуск. Там, на мысе Пицунда, меньше будут отвлекать «пожарными» вопросами. Конечно, телефон не выключишь и присылаемые бумаги отнимают время, но разве можно это сравнить с московской суетой. Да и думается там, под соснами, лучше.

Я слышал о планах отца. На Пленуме для начала собирались расширить состав Президиума ЦК. За последние годы выросла молодежь: Шелепин, Андропов, Ильичев, Поляков, Сатюков, Харламов, Аджубей. Очень инициативные товарищи. Они живо откликаются на новые предложения, на лету улавливают мысль, развивают ее, сразу же вываливают ворох предложений. С ними интереснее, живее идет работа. По существу, в решении многих партийных и государственных дел они играют не меньшую роль, чем члены Президиума, и целесообразно оформить сложившееся положение — обновить Президиум ЦК. К тому же эта молодежь и должна прийти на смену. Но все это следовало еще и еще раз обдумать.

К сожалению, в отпуск удастся поехать не раньше октября. С весны откладывается смотр новой ракетной техники, а Малиновский нажимает — нужно принять решение о постановке на вооружение новых межконтинентальных ракет. Смотр новых видов ракетного оружия на одном из полигонов после многократных переносов был окончательно назначен на сентябрь. Вместе с Хрущевым должны были поехать секретари ЦК, отвечавшие за оборонную промышленность: Брежнев, Кириленко, Устинов. На полигоне их ожидали министры, командующие военными округами, конструкторы.

К сентябрю вся подготовка была закончена, утрясались последние детали — кто будет сопровождать высокое начальство. А поскольку количество желающих во много раз превышало число мест, списки придирчиво проверяли в ЦК и куратор оборонной промышленности Иван Дмитриевич Сербин безжалостно вычеркивал лишние фамилии.

Мне очень хотелось попасть в число счастливчиков, ведь на всех прежних смотрах я был среди демонстрато-

ров новой военной техники. Недавно завершилась разработка новой межконтинентальной ракеты. Сейчас решалась ее судьба. Будут выслушаны мнения сторонников и оппонентов и принято окончательное решение о запуске в серию.

К своей радости, я остался в списках. Началась предотъездная суета. Однако судьбе было угодно распорядиться иначе. За несколько дней до отъезда у меня разболелась нога. Я поначалу не придал значения такому пустяку. Но через пару дней уже ходил с трудом. Пришлось обратиться к медицине.

— Ни о какой командировке не может быть и речи!— замахал руками врач.— Мы должны положить вас в больницу.

После недолгих препирательств вопрос о больнице отпал, решили, что лечить меня будут дома. Но я уже и сам понимал, что в таком виде на полигоне делать нечего.

Мои коллеги улетели, пожелав скорого выздоровления, а дня через два вслед за ними отправился и отец. Я лежал в постели, читал книги и с грустью смотрел в окно — стояла ясная солнечная осень. Изредка звонил телефон, и я кое-как ковылял к нему.

Так прошло несколько дней. Известий с полигона не было, да и не могло быть — все находились там. Чувствовал я себя все лучше и через несколько дней намеревался выйти на работу.

В доме на Ленинских горах я с семьей занимал на первом этаже две комнаты с ванной, они представляли как бы отдельную квартиру, дверь которой выходила в коридор. Напротив располагалась обширная столовая.

Вся семья редко собиралась за столом вместе. Каждый был занят собственными делами и ел в удобное для него время. Только вечером, когда отец возвращался с работы, все вместе пили чай, делились новостями. Затем отец брал бумаги, пересаживался на свободное от посуды место и начинал читать. Семейное чаепитие заканчивалось, начиналась вечерняя работа. Все потихоньку, чтобы не мешать, расходились по своим комнатам или молча усаживались здесь же, на диване и в креслах, с газетами или книгами.

У меня был отдельный городской телефон и местный

телефон связи с дежурным офицером охраны особняка. Телефоны, которыми пользовался отец, располагались на специальном столике в углу гостиной, по соседству со столовой. Там стояли аппараты городской и междугородной правительственной связи, а также обычный городской телефон и прямой телефон в дежурную комнату охраны. Звонил отец по ним редко, только в неотложных случаях, считая, что рабочее время кончилось и надо дать людям отдохнуть, а не загружать их делами, которые можно выполнить в течение рабочего дня. Он не любил, когда не соблюдался принятый распорядок рабочего дня и кто-либо засиживался на работе допоздна. Это ему напоминало ночные бдения в сталинские времена.

— То, что вы задерживаетесь по вечерам, говорит не о рвении, а о вашем неумении как следует организоваться, — часто повторял он.— Рабочий день кончается в семь часов. После семи сходите в театр, погуляйте, а не просиживайте штаны в кабинете. Иначе назавтра вы не сможете полноценно работать.

Зная это, домой к нам звонили по делам чрезвычайно редко, только в экстренных случаях. Каждый звонок телефона правительственной связи в нашем доме был маленьким событием, и все присутствующие прислушивались к разговору, стараясь из отрывочных фраз понять, что же случилось.

Поэтому, когда однажды вечером во время моей болезни зазвонила «вертушка», я удивился: ведь отца нет в Москве, и это все знают.

В трубке раздался незнакомый голос:

— Можно попросить к телефону Никиту Сергеевича?

— Его нет в Москве,— ответил я, недоумевая, кто же это звонит на квартиру. Тот, кто может звонить по этому телефону, прекрасно знает, где сейчас находится отец.

— А кто со мной говорит?— последовал вопрос.

В голосе чувствовалось разочарование.

— Это его сын.

— Здравствуйте, Сергей Никитич,— заторопился мой собеседник, — с вами говорит Галюков Василий Иванович, бывший начальник охраны Николая Григорьевича Игнатова*. Я с лета пытаюсь дозвониться до Никиты

* Игнатов Н. Г. — в то время Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР, а ранее член Президиума ЦК КПСС.

Сергеевича, мне надо ему сообщить очень важную информацию, и никак мне это не удается. Наконец я добрался до «вертушки», решился позвонить к нему домой, и опять неудача.

Я очень удивился: о чем может говорить бывший начальник охраны Игнатова с Хрущевым, что у них может быть общего? Ситуация была необычной.

— Выслушайте меня,— заторопился Галюков, опасаясь, и не без оснований, что я положу трубку,— мне стало известно, что против Никиты Сергеевича готовится заговор! Об этом я хотел сообщить ему лично. Это очень важно. О заговоре мне стало известно из разговоров Игнатова. В него вовлечен широкий круг людей.

«Час от часу не легче,— подумал я.— Это, наверное, сумасшедший. Какой может быть заговор в наше время? Чушь какая-то!..»

— Василий Иванович, вам надо обратиться в КГБ к Семичастному. Подобные дела в их компетенции, тем более что вы сами работаете там. Они во всем разберутся, если будет надо, доложат Никите Сергеевичу,— сказал я, радуясь, что нашел выход из создавшегося положения. Однако радоваться было рано.

— К Семичастному я обратиться не могу, он сам активный участник заговора вместе с Шелепиным, Подгорным и другими. Обо всем этом я хотел лично рассказать Никите Сергеевичу. Ему грозит опасность. Теперь, когда вы сказали, что его нет в Москве, я не знаю, что и делать!

— Позвоните через несколько дней. Он скоро вернется, — я попытался успокоить его.

— Мне это может не удасться. Просто счастливый случай, что я добрался до «вертушки» и мне удалось остаться в комнате одному. Такое может не повториться, а дело очень важное. Речь идет о безопасности нашего государства,— настаивал голос.— Может быть, вы выслушаете меня и передадите потом наш разговор Никите Сергеевичу?

— Вы знаете, я... немного болен,— мямлил я, пытаясь выиграть время.

Я не знал, что делать. Не хватало мне встрять в подобную историю. Если это сумасшедший, он замучает

меня разговорами, беспочвенными подозрениями, звонками. И зачем я подошел...

Ну а если он нормальный? И вдруг в его сообщении есть хотя бы частица правды? Я, выходит, отмахнулся от него ради собственного покоя? Очевидно, все-таки надо с ним встретиться и разобраться, правда это или игра больного воображения. Конечно, отец терпеть не может, когда домашние суются в его государственные дела. Если я вылезу с такими разговорами, мне может здорово нагореть, несмотря на все его хорошее ко мне отношение. Касайся вопрос новых ракет, удобрений или конвертеров, еще куда ни шло. А тут я, получается, должен буду вмешаться в святая святых — во взаимоотношения среди высшего руководства партии и государства! Эта область совершенно запретна для посторонних.

А вдруг это правда? Надо решать.

На том конце провода Галюков ждал ответа. Еще секунду поколебавшись, я наконец решился:

— Ну хорошо. Скажите ваш адрес, я заеду сегодня вечером, и вы мне все расскажете.

— Нет, нет! Ко мне нельзя. У меня разговаривать опасно. Давайте поговорим где-нибудь на улице. Вы знаете дом ЦК на Кутузовском проспекте? Это дом, где живет ваша сестра Юля. Скажите, как выглядит ваша машина, я буду ждать на углу.

— У меня машина черного цвета, номер 02-32. Ждите, я буду через полчаса,— сказал я.

Мы попрощались.

Обеспокоенный, я пошел переодеваться, на ходу убеждая себя, что весь этот разговор — плод больного воображения и мне по возвращении только придется пожалеть о потере нескольких часов. Но на душе было неспокойно...

Быстро переодевшись, я пошел к расположенному у ворот гаражу, где стояла машина. Дежурный офицер привычно распахнул высокие, выкрашенные зеленой краской железные ворота, отделявшие двор от улицы. Все было как обычно. Необычна была только сама поездка, ее цель. Ехать предстояло недалеко, от силы минут пятнадцать, и я стал внутренне собираться, готовясь к разговору...

В то время я не знал, что информация о назревавших

событиях еще раньше дошла до моей сестры Рады. Летом 1964 года ей позвонила какая-то женщина. Фамилии ее она не запомнила. Эта женщина настойчиво добивалась встречи с сестрой, заявляя, что обладает важными сведениями. Рада от встречи всячески уклонялась, и тогда, отчаявшись, женщина сказала по телефону, что ей известна квартира, где собираются заговорщики и обсуждают планы устранения Хрущева.

— А почему вы обращаетесь ко мне? Такими делами занимается КГБ. Вот туда и звоните,— ответила Рада.

— Как я могу туда звонить, если председатель КГБ Семичастный сам участвует в этих собраниях! Именно об этом я и хотела с вами поговорить. Это настоящий заговор.

Семичастный в те времена дружил с Алексеем Ивановичем Аджубеем, мужем сестры, бывал у них в гостях.

Вся эта информация показалась Раде несерьезной. Она не захотела тратить время на неприятную встречу и ответила, что, к сожалению, ничего сделать не может, она — лицо частное, а это дело государственных органов. Поэтому она просит больше ей не звонить.

Новых звонков не последовало.

С аналогичными предупреждениями обращался к ней и Валентин Васильевич Пивоваров, бывший управляющий делами ЦК. По поводу его звонка Рада даже советовалась со старым другом нашей семьи, в то время возглавлявшим Четвертое главное управление Минздрава профессором Александром Михайловичем Марковым. Он посоветовал не придавать этой информации значения, сочтя ее за плод повышенной мнительности Пивоварова. Рада воспользовалась авторитетным мнением и выбросила этот случай из головы.

Как теперь известно, поступала такая информация и в ЦК. Об этом через много лет рассказал бывший начальник охраны Никиты Сергеевича полковник Никифор Трофимович Литовченко. Она поступала к первому помощнику отца Г. Т. Шуйскому, который ее предусмотрительно «топил». К тому времени Шуйский проработал с Хрущевым уже около двадцати лет, почти со Сталинграда, но, видимо, в тот момент решил сменить ориентацию...

Я ехал по Бережковской набережной Москвы-реки.

Небо было закрыто тучами. Временами срывались отдельные капли дождя. Начинались сумерки. Вот и поворот у гостиницы «Украина». Через несколько минут стал виден большой, облицованный кремовыми плитками дом ЦК. На углу маячила одинокая мужская фигура в темном пальто и глубоко надвинутой шляпе.

Я остановил машину.

— Вы Василий Иванович Галюков?

Человек кивнул в ответ и оглянулся. На вид ему было лет пятьдесят.

— Я — Хрущев. Садитесь.

Он осторожно сел на переднее сиденье рядом со мной. Я тронул машину.

— Что же вы хотели рассказать? Я вас слушаю.

Мой пассажир нервничал. Несколько раз он оглянулся, внимательно посмотрел в заднее стекло и нерешительно предложил:

— Давайте поедем куда-нибудь за город. В лесок. Там спокойнее.

Невольно и я глянул в зеркало, но ничего подозрительного не заметил. Как обычно, по Кутузовскому проспекту несся поток машин.

— Что ж, за город так за город. Поехали на кольцевую, а там что-нибудь придумаем.

Молчим. Вот путепровод через кольцевую дорогу. Сворачиваем направо, проезжаем под мостом, и уже мелькают по обе стороны подмосковные леса. На ум приходили головокружительные эпизоды из детективов. Никогда бы не подумал, что самому придется участвовать в чем-то подобном. Слева проплыла обширная автомобильная стоянка, где пристроились несколько легковушек и большой грузовик с плечевым прицепом — видимо, водитель решил тут заночевать. Переглянулись с Василием Ивановичем — нет, тут слишком людно, нам нужно уединение. Двинулись дальше. Прошло уже около получаса, скоро будет Киевское шоссе.

Справа показался проселок, ведущий в молодой сосняк. Свернули на него. За поворотом появилась большая поляна. Начинало смеркаться, а низкие тучи придавали окружающему безобидно-мирному пейзажу некую таинственность.

Наконец я остановил машину. Мы вышли и двинулись по тропке. Тропка узкая, идти рядом было неудобно — ноги то и дело попадали в заросшие травой ямки.

Галюков начал разговор. Вот что он рассказал.

— В бытность Николая Григорьевича Игнатова членом Президиума ЦК я состоял при нем, занимая должность начальника охраны. Вы меня, наверное, не запомнили, а я вас хорошо знаю. Бывал с «хозяином» на даче у Никиты Сергеевича и вас там видел.

Вообще-то с Игнатовым жизнь меня столкнула давно, я у него начал работать порученцем еще в 1949 году. В 1957 году Николая Григорьевича избрали секретарем ЦК и членом Президиума, а я стал начальником его охраны. Отношения у нас были не просто служебные, а, я бы сказал, дружеские. Сопровождая его в поездках, я был как бы его компаньоном и собеседником, на мне он «разряжался», говорил подчас то, что не сказал бы никому другому. И я был ему предан.

Когда Николая Григорьевича на XXII съезде КПСС не избрали в Президиум ЦК, мы вместе с ним переживали это, мягко говоря, неприятное событие. Кроме всего прочего, ему теперь не полагался начальник охраны, а я, конечно, привязался к нему за долгие годы.

— Не переживай,— успокаивал меня Игнатов,— я тебя пристрою. Уходи из органов. Свое ты уже отслужил, пенсию заработал. Остались у меня друзья, найдется тебе хорошее место.

Так я в 1961 году вышел на пенсию и начал работать в Комитете заготовок старшим референтом. Потом пришлось подыскивать новое место. Позвонил я Николаю Григорьевичу, и он пообещал помочь. Игнатов в то время был уже Председателем Президиума Верховного Совета РСФСР, и в скором времени подыскал мне нехлопотную должность у себя в хозяйственном отделе. Забот там особых не было. Когда Николай Григорьевич ехал отдыхать или в командировку, я обычно сопровождал его. Он любил часть отпуска использовать весной; в Москве еще снег, морозы, а мы едем в Среднюю Азию, там уже настоящее лето. Местные руководители принимали нас по старой памяти по высшему разряду, а это Игнатову очень льстило. Бывало, толкнет меня в бок:

— Смотри, Вася, как меня ценят...

Если не в Среднюю Азию, то на Кавказ махнем — там ему тоже очень нравилось.

Сопровождал я его в поездках на отдых и летом, обычно в августе. На мне лежали заботы по обеспечению комфорта. Николай Григорьевич придавал большое значение тому, где, как и с кем он будет жить. Ему хотелось, чтобы условия не отличались от тех, к которым он успел привыкнуть, отдыхая в качестве секретаря ЦК на госдачах.

Так было и в этом году. Вызвал он меня к себе в кабинет третьего августа. Захожу, вижу, сидит он за столом довольный, вид у него хороший, как после отдыха.

Сказал мне, что решил восьмого ехать отдыхать на Кавказ, и, как бы сомневаясь, спрашивает:

— Может, и тебе поехать со мной?

О том, что он собирается на отдых, я уже знал, он заранее мне поручил все подготовить.

На предложение ехать отдыхать вместе я ничего не ответил, решать ему. Поэтому я только доложил, что для отдыха все подготовлено, что я договорился с директором санатория «Россия» в Сочи об отдельной даче. Обычно мы там останавливались.

На этот раз Николай Григорьевич вдруг вспылил:

— Переговорил, договорился... Что ты там можешь сделать своими разговорами?

Я ничего не понял:

— Может, мне тогда с вами не ехать?

— Там видно будет,— проворчал Игнатов. — Можешь идти.

На этом разговор окончился, мы распрощались суше, чем обычно, и я ушел, не понимая, чем вызвана такая реакция. Вины за мной нет — все сделано как обычно.

Прошло несколько дней. Николай Григорьевич молчит. «За что ж это, думаю, он на меня обиделся?»

Шестого августа мне позвонил начальник секретариата Игнатова и передал указание позвонить Николаю Григорьевичу.

Седьмого утром я ему позвонил, и он как ни в чем не бывало говорит:

— Ты готов? Завтра вылетаем в Сочи.

Такие отъезды для меня были привычными. Я бы-

стренько собрал вещи и на следующее утро позвонил на квартиру Игнатову. Он живет в том же доме, что и я. Забрал я его чемоданы, и вдвоем на игнатовской «Чайке» поехали во Внуково. В тот же день мы были в Сочи.

Расположились на отведенной нам даче — она стояла несколько на отшибе в саду, поодаль от основных корпусов. После обеда отправились гулять по территории санатория. Николай Григорьевич был в хорошем расположении духа, шутил. Дача ему понравилась.

— Вполне ничего дачка, на уровне,— обратился он ко мне и, следуя каким-то своим мыслям, добавил:

— Вообще-то Брежнев и Подгорный перед отъездом предлагали мне поселиться на четвертой госдаче.

— Так что, сказать, что мы займем эту дачу?— спросил я.— А они доложили Никите Сергеевичу? Ведь эти дачи вроде только для членов Президиума. Вдруг он узнает, и будут неприятности?

Игнатов ничего не ответил, и мы молча пошли по дорожке. Николай Григорьевич повернул обратно, а я следовал за ним на полшага позади.

Как бы в раздумье Игнатов бросил мне:

— Всему свое время. А Хруща они не слушаются.

Ругал он Никиту Сергеевича часто, особенно в последнее время, после вывода из состава Президиума, но бывало это после крепкой выпивки и по поводу каких-то конкретных решений. Игнатов считал, что на месте Никиты Сергеевича он все сделал бы иначе. Однако, что бы он ни говорил о Хрущеве, чувствовалось, что он его побаивается. А тут явно намекает, что с Хрущевым можно вообще не считаться,— это была новая нотка.

— Надо решить вопросы с продуктами и катером. Какие будут указания? Вы мне в Москве ничего не говорили,—уходя от этой темы, спросил я.

— Все в порядке. Я уже договорился с Семичастным и о катере, и о продуктах, и о подключении «ВЧ» к нашей даче. Спроси у дежурного: они получили распоряжение,— хохотнул Игнатов, глядя на мое вытянувшееся от удивления лицо.

Раньше у Игнатова с Семичастным не было никаких отношений. Более того, Игнатов терпеть его не мог, ругал за всякую оплошность, хотя в то же время боялся Семичастного, зная его хорошие отношения с Хруще-

вым, а особенно дружбу с Аджубеем. О том, чтобы обратиться с просьбой к Семичастному, еще год назад не могло быть и речи.

«Что же произошло?» — недоумевал я. Позвонил дежурному по санаторию и дежурному по КГБ — оба ответили, что все распоряжения о снабжении продуктами и катере получены.

Я доложил Игнатову.

Он был очень доволен.

— Есть же такие хорошие люди — Шелепин и Семичастный. Они мне ни в чем не откажут.

Такая перемена в отношениях между этими людьми тоже была непонятна. Почему плохо скрываемая вражда сменилась такой сердечностью? Тут явно что-то было не так... Потом Игнатов попросил меня узнать, кто еще из членов ЦК отдыхал поблизости.

Из дачи я позвонил секретарю Сочинского горкома партии, сказал ему, что Николай Григорьевич Игнатов отдыхает в санатории «Россия» и интересуется, кто из товарищей отдыхает в Сочи. Такой вопрос был обычным: каждый вновь прибывший в первую очередь интересовался соседями.

Секретарь горкома всегда был в курсе дела. Он тут же ответил мне, что в соседних санаториях отдыхают несколько первых секретарей обкомов, в частности Камчатского, Белгородского и Волынского. Фамилия последнего, кажется, Калита. Я все доложил Игнатову.

— Спасибо, а звонить в горком больше не надо. Сами разберемся,— ответил он.

Прошло несколько дней. Игнатов никем больше не интересовался. Каждый занимался своими делами. Я старался ему особенно глаза не мозолить.

Вдруг мне передают, что он срочно меня разыскивает. Через несколько минут я был у Игнатова.

— Знаешь, мне показалось, что я видел секретаря Чечено-Ингушского обкома Титова. Правда, он был далеко, и я мог обознаться. Позвони в регистратуру санатория, узнай, он это или нет. Если спросят, кто говорит, скажи, звонят из обкома.

Оказалось, что Титов действительно отдыхает рядом в «люксе». Я позвонил к нему в номер, но мне ответили, что он вышел. Я попросил передать, что звонили от

Игнатова, который отдыхает здесь, на даче, и просит товарища Титова позвонить ему.

На следующий день Игнатов довольным голосом сообщил мне, что Титов звонил и он пригласил его в гости.

— Ты организуй все,— сказал он.

Организация застолья была одной из моих обязанностей во время нашего совместного отдыха. Собрались гости. Стол накрыли на веранде. Коньяк, осетрина, икра, шашлык — все как обычно.

Кроме Титова пришел Чмутов, председатель Волгоградского облисполкома, и еще несколько человек, кто, я сейчас и не припомню. Меня тоже пригласили за стол.

В перерывах между тостами Игнатов много вспоминал о своей работе в Ленинграде. Чмутов и другие рассказывали анекдоты о Хрущеве. Все громко смеялись. Ничего подозрительного в этой встрече не было — собрались, выпили, поболтали и разошлись.

Игнатов остался доволен встречей. Несколько раз во время прогулок он возвращался к разговору о Титове.

— Очень хороший человек, Титов, нужный нам, стоящий,— говорил Игнатов.

Август близился к концу.

Двадцать девятого Игнатову вдруг позвонил Брежнев. Я присутствовал при этом разговоре.

Брежнев сказал, что раз Игнатов отдыхает в Сочи, то он его просит на пару дней съездить в Краснодар для участия в торжествах по случаю награждения объединения «Краснодарнефтегаз» Северо-Кавказского совнархоза орденом.

Игнатов с готовностью согласился.

— Заодно прощупаю Георгия,— пообещал он (Георгий — это секретарь Краснодарского сельского крайкома партии Г. И. Воробьев, давний знакомый Игнатова). — Леня, у меня были Титов с Чмутовым. Выпили немного, языки поразвязались. Их слова говорят сами за себя. Они отражают общее настроение. Однако меня беспокоит Грузия. Числа десятого сентября вернусь из отпуска и думаю съездить в Тбилиси. Надо там поработать.

— А что тебя в Грузии беспокоит?

— Прочитал я в газетах письмо какой-то стодвадцатилетней колхозницы в адрес Никиты Сергеевича. Это неспроста. Видно, они там не понимают ситуации.

— Только-то? Пусть это тебя не беспокоит, — успокоил его Брежнев.

— Так это твоя работа? Тогда другое дело, — обрадовался Игнатов.— Есть еще кое-что. Говорил с Заробяном из Армении*, он настроен хорошо. Наш человек, Леня, но об одном я тебя прошу, все надо сделать до ноября.

Они еще немного поговорили о погоде, об охотничьих успехах Леонида Ильича, и Игнатов положил трубку. Он радостно улыбался: было видно, что разговор пришелся ему по душе.

— Я забыл сказать,—спохватился Галюков,—сразу по приезде в санаторий Николай Григорьевич предупредил меня, что во время отпуска собирается съездить в Грузию, Армению, Орджоникидзе и еще куда-то.

— Скучно сидеть на одном месте,— пояснил он.

Однако поездка все откладывалась.

— Подожди, не время,— отмахивался он, когда я напоминал, что надо побеспокоиться о билетах.

В Краснодар мы выехали тридцатого августа, на следующий день после разговора с Брежневым. Остановились в крайкомовском особняке. Вечером того же дня приехали гости — Байбаков, Качанов, Чуркин и другие руководители.

Сели ужинать. За ужином разговор крутился вокруг завтрашнего митинга по случаю награждения. Подробно обсуждали процедуру. Наконец все разъехались. Ужином Игнатов остался недоволен. Видимо, настроение ему испортило отсутствие Воробьева, он так и не приехал.

— Гордится. Не едет... — бурчал он.

— Что ж тут такого особенного? Конец августа, самая уборка, а у них туго с планом по хлебу. Наверное, носится по районам,— попытался я успокоить Игнатова, но он только махнул рукой.

Тридцать первого августа состоялся митинг, на котором Николай Григорьевич, как Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР, вручил орден. Как обычно, после митинга был большой банкет для местного партийного и советского актива. Оттуда мы вернулись в

---

* Заробян Я. Н. — первый секретарь ЦК Компартии Армении в тот период.

особняк. С нами в машине ехали Качанов и Чуркин. Они проводили Николая Григорьевича до дверей, распрощались и уехали.

Вскоре подъехал Трубилин — председатель крайисполкома. Они с Игнатовым стали дожидаться Воробьева, который провожал уезжавшего в тот же день секретаря Саратовского обкома Шибаева. Часам к одиннадцати вечера приехал Воробьев. Посидели они втроем в доме несколько минут, и Игнатов с Воробьевым вышли в парк, примыкающий к особняку. Трубилина с ними не было, он остался в доме. Я пошел его искать — он сидел в комнате один, расстроенный. Видно, ему тоже хотелось принять участие в разговоре. Вдвоем с ним мы стали дожидаться возвращения Игнатова с Воробьевым. Выпили по рюмочке коньяку. Я затеял разговор об успехах края, награждении, но Трубилин отвечал вяло, видно было, что мысли его там, в парке. Время тянулось медленно. Прошел час, второй. Игнатов с Воробьевым все гуляли. Для Игнатова это было очень необычно: как правило, он ложился спать в одиннадцать часов, и должно было случиться что-то из ряда вон выходящее, чтобы заставить его изменить своим привычкам.

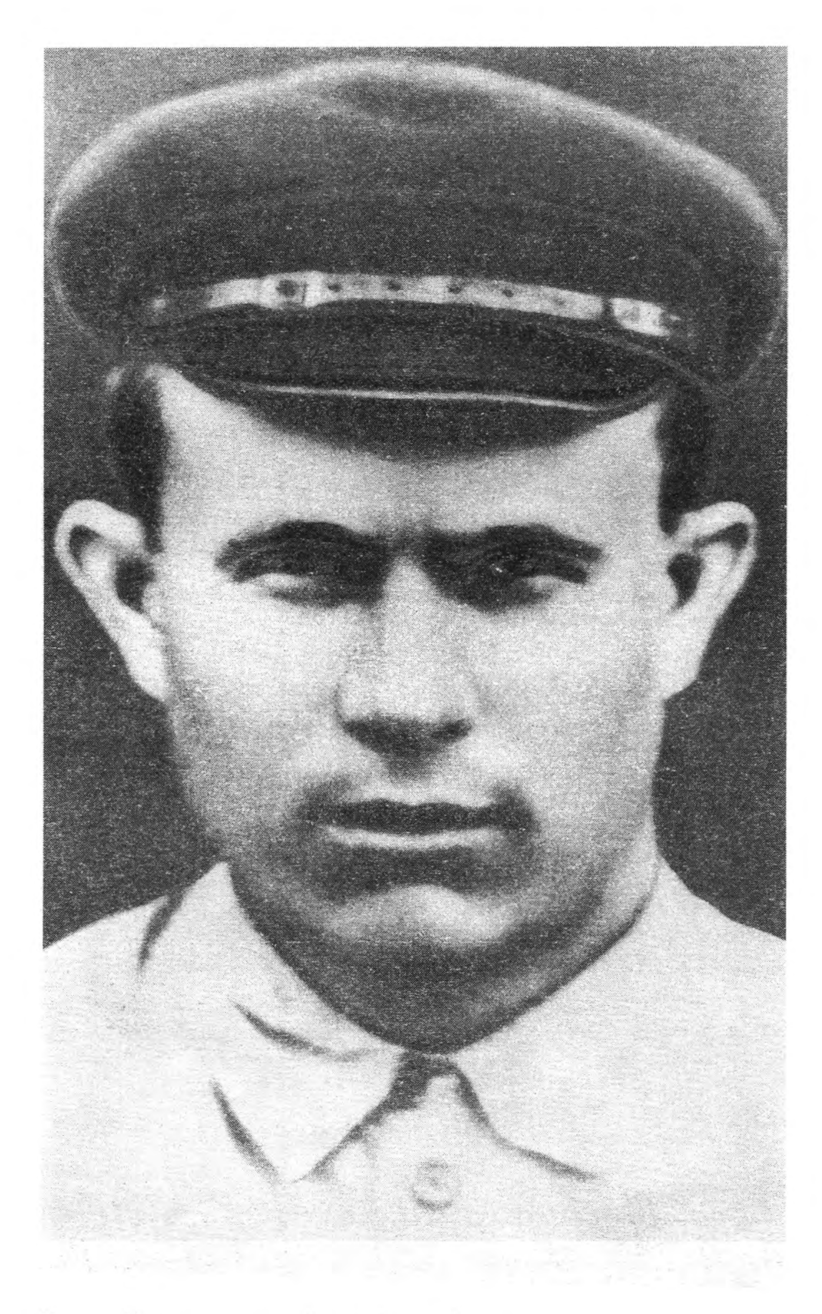
В час ночи Трубилин начал нервничать, несколько раз подходил к двери, ведущей в парк, пытался разглядеть гуляющих. Потом не выдержал и отправился их искать. Вскоре он вернулся, еще более мрачный.

— Все гуляют. Мне завтра работать. Поеду домой спать. С ними я попрощался,— ответил он на мой немой вопрос.

Трубилин вызвал машину и уехал. Я тоже отправился спать, после банкета у меня слипались глаза. Игнатов с Воробьевым продолжали кружить по дорожкам парка.

О чем они говорили, я не знаю. На следующее утро Воробьев приехал опять. Мы только встали. С ним был новый гость — Миронов из Ростова. Чуть позже приехал Байбаков. Все вместе сели завтракать. Байбаков после завтрака заторопился по делам и уехал, а остальные пошли гулять в парк. Завязался оживленный разговор. Мне было видно, как Игнатов что-то доказывает, а остальные молча слушают.

Далеко отойти они не успели — дежурный доложил, что по «ВЧ» звонит Брежнев и просит к телефону Игнато-



Никита Хрущев — учащийся рабфака Донецкого горного техникума. 1923 год



Слушатели рабфака Донецкого горного техникума. В первом ряду третий слева — Хрущев. 1923/24 учебный год



Группа украинских делегатов XIV съезда партии. В первом ряду первый слева — Хрущев. 1925 год



Хрущев среди делегатов от Московской партийной организации на XVII съезде ВКП(б). 1934 год

В президиуме сессии ЦИК Союза ССР. 1936 год



Первый секретарь МК и МГК ВКП(б) Н. С. Хрущев. 1936 год





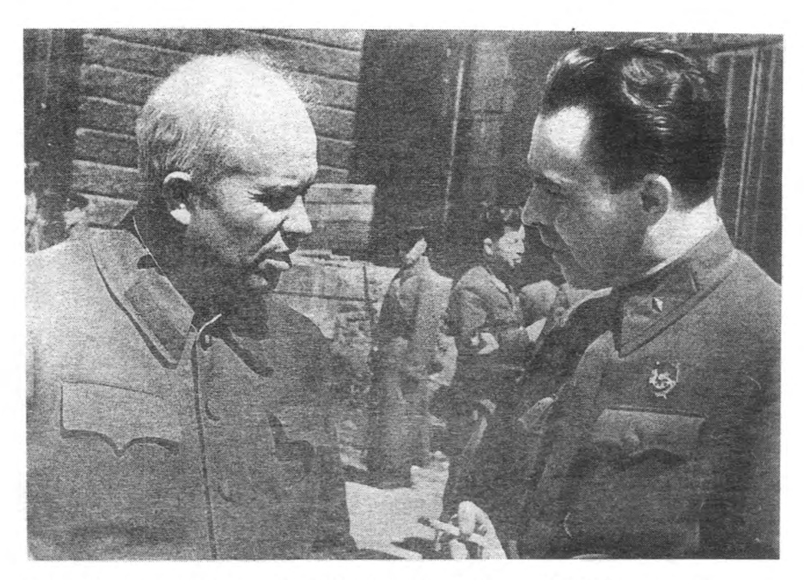
На X съезде ВЛКСМ. Вверху — в президиуме съезда; внизу — среди делегатов



Хрущев беседует с жителями Киева. 1938 год

Встреча с крестьянами Бессарабии. 1940 год

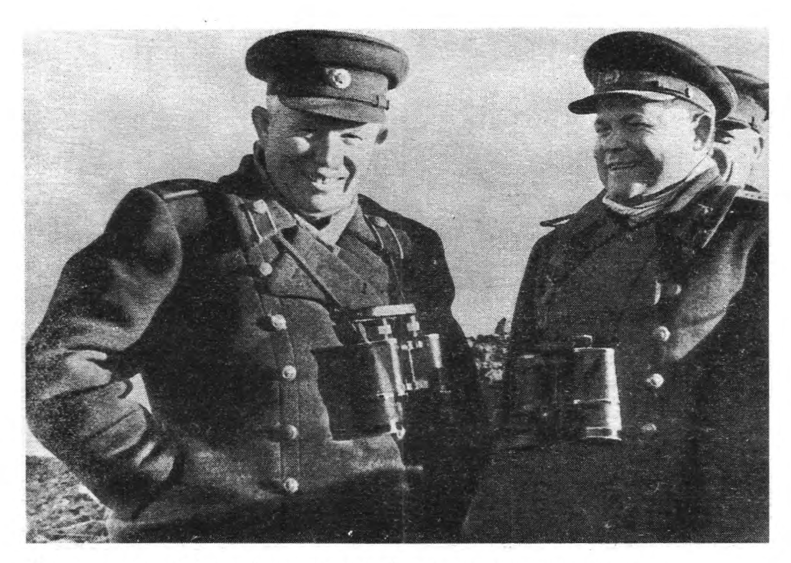




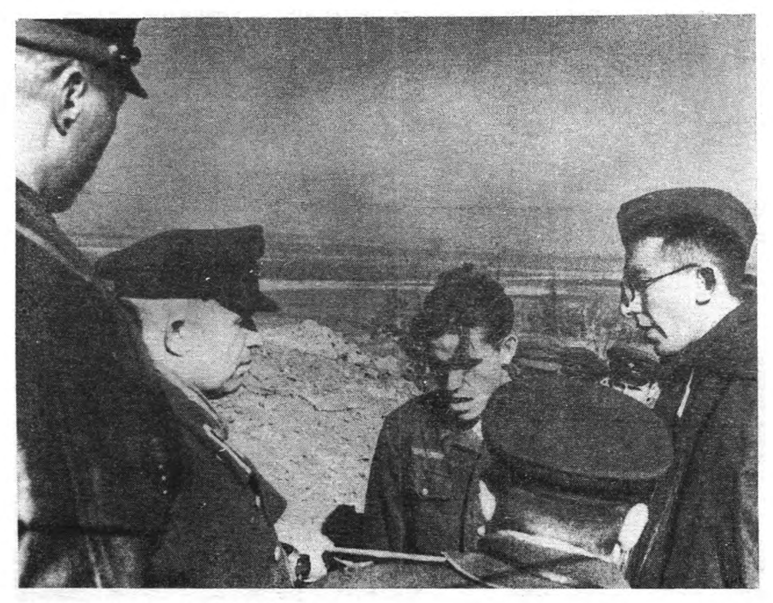
Член Военного совета Юго-Западного фронта Н. С. Хрущев и бригадный комиссар Л. И. Брежнев. Весна 1942 года

Митинг в освобожденном Ростове-на-Дону. Февраль 1943 года





Командующий 1-м Украинским фронтом генерал армии Н. Ф. Ватутин и член Военного совета фронта генерал-лейтенант Н. С. Хрущев. Осень 1943 года



Допрос пленного. 1943 год



На командном пункте. Осень 1943 года



В Сталинграде. Февраль 1943 года



Первый день в освобожденном Киеве. 6 ноября 1943 года



В Киеве вскоре после освобождения. Вместе с Хрущевым украинские руководители Г. Т. Сердюк и М. С. Гречуха

Восстановительные работы в Киеве. Вверху — на улицах города; внизу — на общегородском субботнике. Лето 1944 года



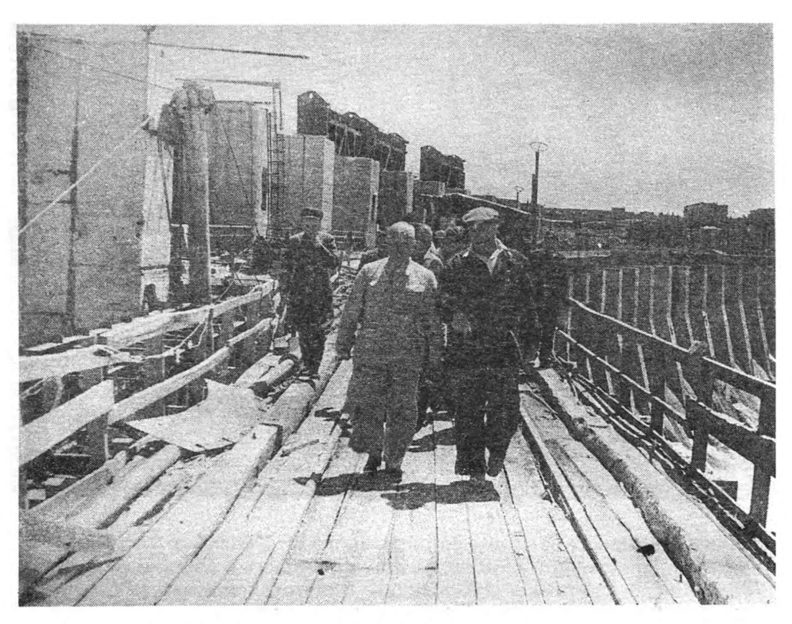
На главной улице Киева — Крещатике. Лето 1946 года

Руководители компартии и правительства Украины на праздновании 1 Мая 1949 года в Киеве. Слева направо: М. С Гречуха, Д. З. Мануильский, Д. С. Коротченко, Н. С. Хрущев





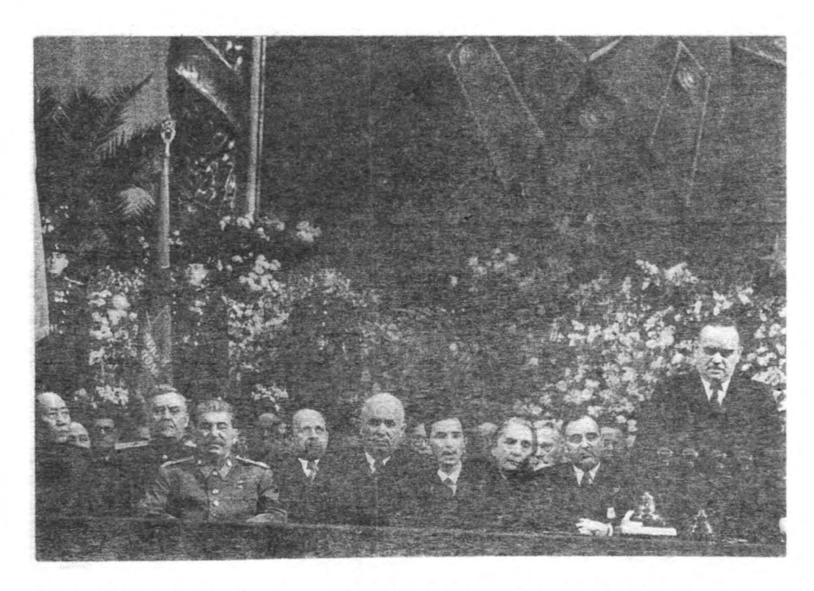
На совещании передовиков сельского хозяйства Украины. 1946 год. Слева от Хрущева — Паша Ангелина, справа — Трофим Лысенко



Восстановление Днепрогэса. Апрель 1945 года



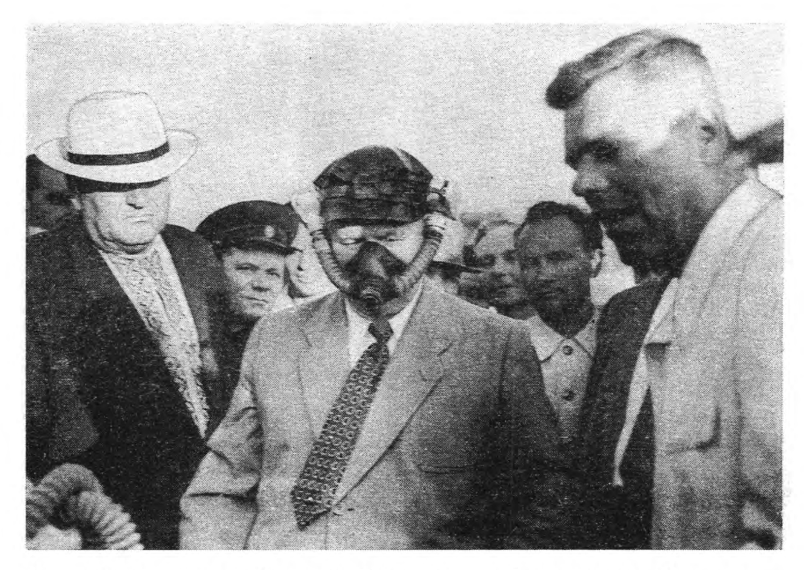
Кремль, 1945 год. Слева направо: А. И. Микоян, Н. С. Хрущев, И. В. Сталин, Г. М. Маленков, Л. П. Берия, В. М. Молотов



Торжественное собрание в Большом театре в связи с 70-летием Сталина, 21 декабря 1949 года. Слева направо, в первом ряду: Мао Дзэдун, Н. А. Булганин, И. В. Сталин, Вальтер Ульбрихт, Н. С. Хрущев, переводчик Ибаррури Игорь Колосовский, Долорес Ибаррури, Георге Георгиу-Деж, Н. М. Шверник



С К. Е. Ворошиловым



На выставке горнодобывающей техники и оборудования. Сталино (Донецк), 1956 год. Слева от Хрущева — А. И. Кириченко

На опытном поле с посевами чумизы


На строительстве Киевской ГЭС


Кукурузные поля на Херсонщине. Крайний справа — первый секретарь ЦК компартии Украины П. Е. Шелест



На подмосковной даче. 1957 год

На встрече с выпускниками военных академий, 1959 год. Слева направо: Н. С. Хрущев, Р. Я. Малиновский, Л. И. Брежнев, М. А. Суслов, А. Б. Аристов, Н. А. Мухитдинов, А. И. Кириченко





Собрание представителей общественности Москвы в связи с 20-летием начала Великой Отечественной войны, 21 июня 1961 года. В президиуме собрания. Слева направо: Л. И. Брежнев, Н. С. Хрущев, К. С. Москаленко, И. Х. Баграмян



В президиуме XXIII съезда КПСС. Октябрь 1961 года



В Кремле, 1960 год. Слева направо: Н. А. Мухитдинов, Ф. Р. Козлов, Н. Г. Игнатов, Е. А. Фурцева, Н. С. Хрущев, Н. В. Подгорный, В. П. Мжаванадзе, А. Б. Аристов, М. А. Суслов, А. Н. Косыгин, Л. И. Брежнев, А. П. Кириленко, Д. С. Полянский



Визит в США, сентябрь 1959 года. Встреча с президентом Д. Эйзенхауэром и вице-президентом Р. Никсоном



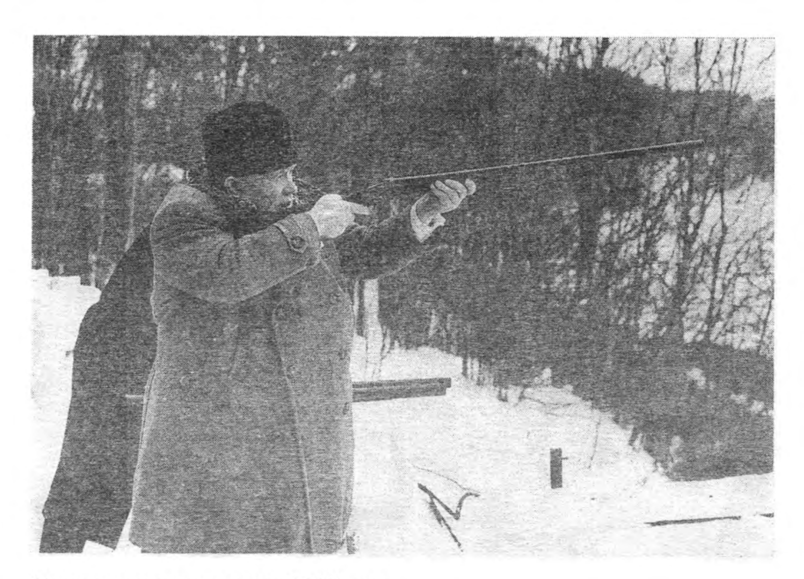
Брежнев, Хрущев, Подгорный. 1963 год

Хрущев и Подгорный. Киев, 1963 год

Завидово (Подмосковье), 1963 год



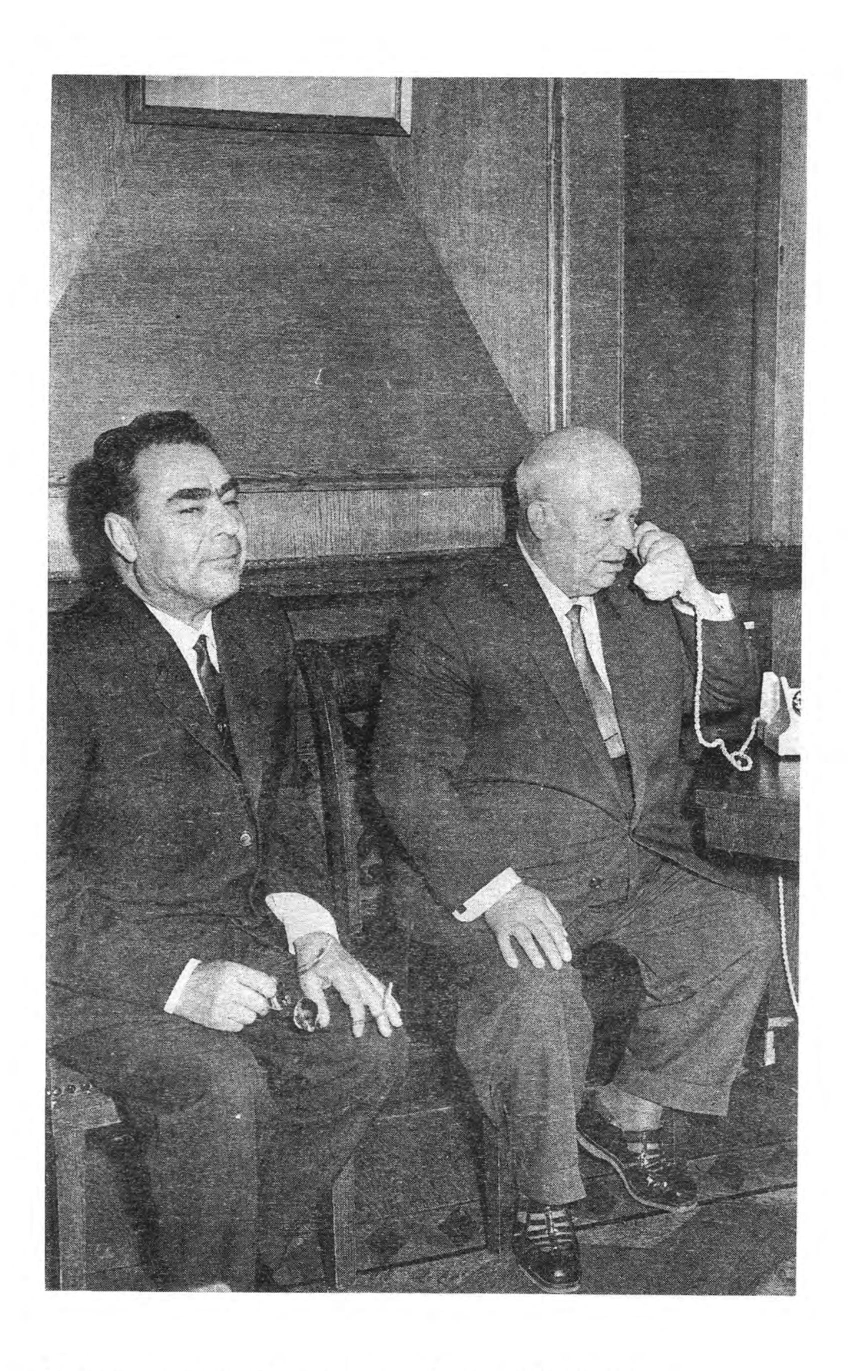
Возвращение с охоты: Хрущев, Брежнев, Косыгин, Полянский, Кириленко, Сергей Хрущев и др.



На стрелковом стенде. 1963 год



Елка в Кремле, 1963 год. Рядом с Хрущевым — его первая учительница Л. М. Шевченко



Во время разговора по радиотелефону с космонавтом

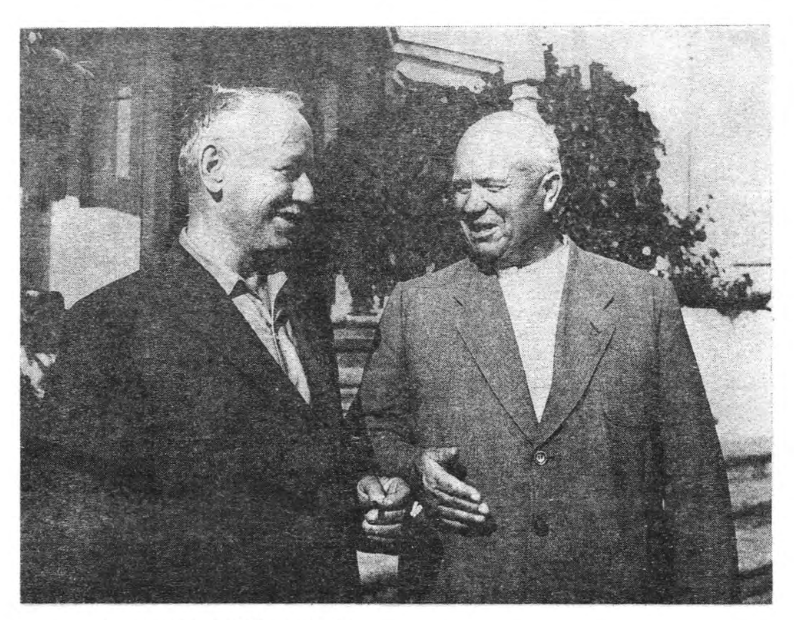


Внуковский аэропорт, апрель 1961 года. Руководители партии и правительства прибыли встретить Юрия Гагарина

Валентина и Юрий Гагарины, Никита Сергеевич и Нина Петровна



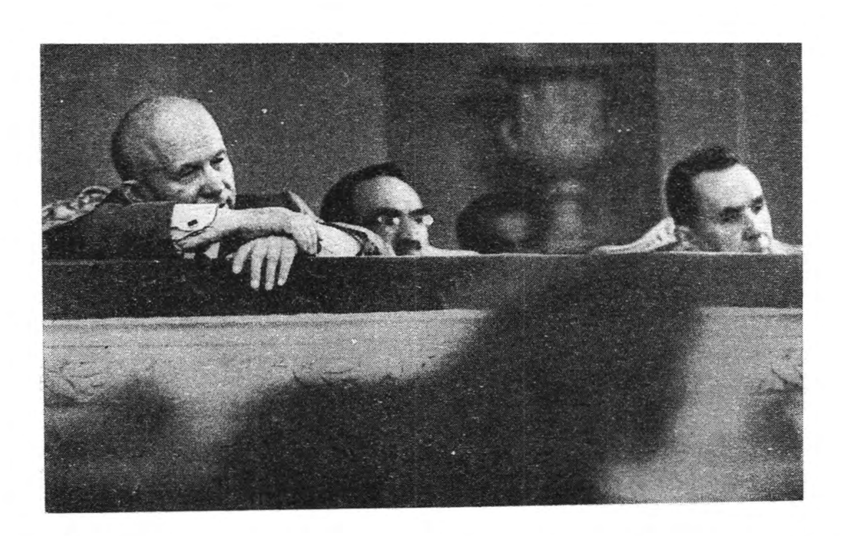
В Кремле. Слева направо: Аристов, Хрущев, Фурцева, Козлов



В гостях у Михаила Шолохова



Хрущев, Фурцева, Косыгин и Егорычев на художественной выставке в Манеже. 1962 год





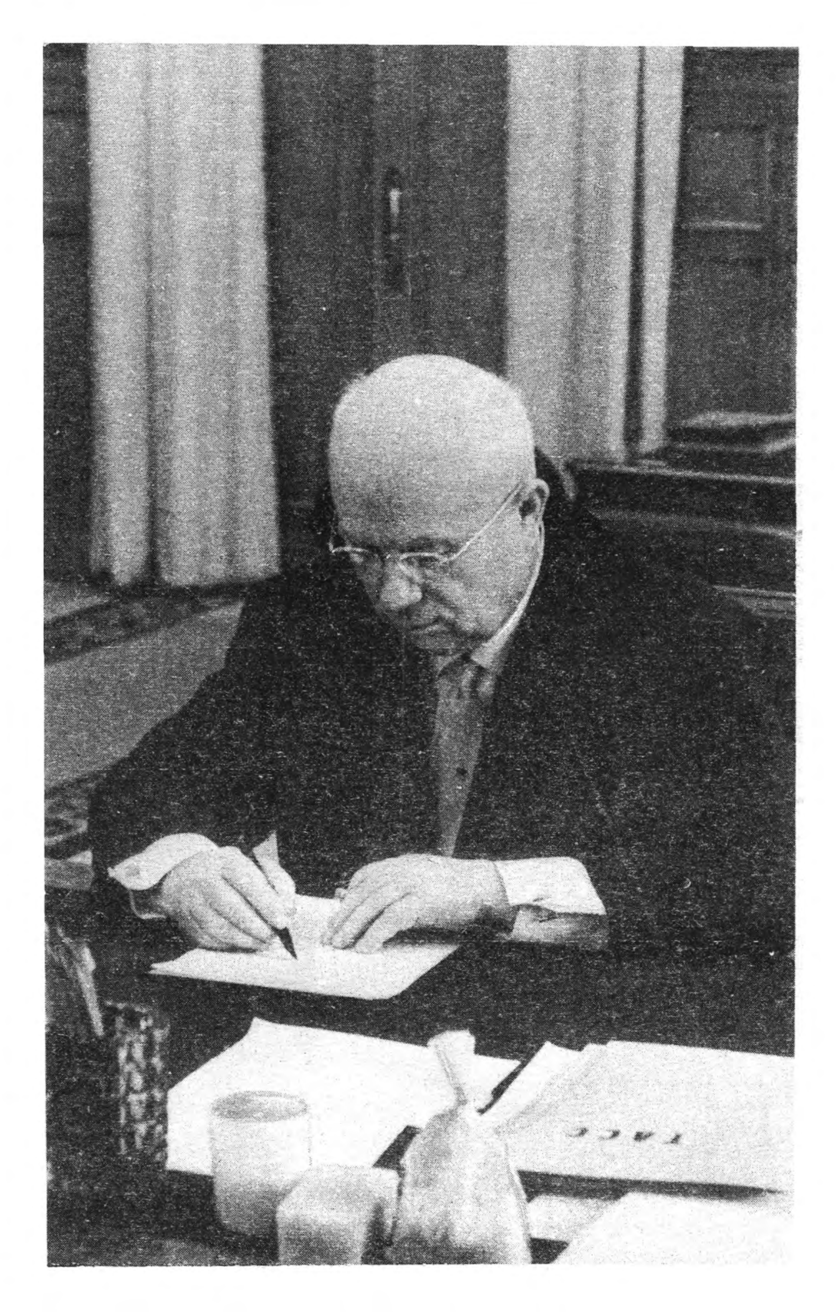
На концерте американского пианиста Вана Клайберна. 1958 год



С Александром Твардовским



С Александром Корнейчуком и Вандой Василевской



Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев в своем рабочем кабинете

ва. Вместе с Николаем Григорьевичем в комнату вошли Воробьев и только что подъехавший Качанов.

Я остался за дверью, но через нее разговор был отчетливо слышен. Говорили о награждении.

Сначала слышался голос Игнатова:

— Спасибо, Леня, все прошло хорошо. Спасибо за помощь, без тебя пришлось бы туго.

Дело в том, что Брежнев помог оформить выделение денег на банкет, так как проведение банкетов за государственный счет было запрещено и запрет этот строго контролировался. Только Брежнев, как второй секретарь ЦК, мог дать такое разрешение.

— У меня здесь Воробьев,— продолжал Игнатов, обращаясь к Брежневу,— мы с ним обо всем переговорили. Говорил я еще и с саратовским секретарем Шибаевым. Сначала не понимали друг друга, но потом нашли общий язык, так что с ним тоже все в порядке, я его обработал.

Они попрощались, пожелали друг другу успехов, и трубку взял Воробьев. Сперва поговорили о награждении. Воробьев поблагодарил Брежнева за высокую оценку их труда, пообещал еще настойчивее добиваться новых успехов. За ним трубку взял Качанов и говорил о том же самом.

После разговора все, оживленные, вышли на крыльцо и стали обсуждать, что делать дальше. Решили сначала заехать в крайком, а оттуда в Приморско-Ахтарский район на рыбалку.

Воробьев по дороге от нас отделился, остался в крайкоме, а с нами поехали Качанов и Чуркин. Все было подготовлено на высоком уровне. На месте уже дожидался накрытый стол, на костре булькала уха. Первым делом выпили и закусили. Все это заняло несколько часов. За столом наперебой рассказывались рыбацкие и охотничьи байки, одна другой невероятней, а былые уловы увеличивались с каждым тостом.

После короткого отдыха отправились на вечернюю зорьку — кто с ружьем за утками, кто со спиннингом.

На следующий день повторилось то же самое, и в Краснодар мы вернулись только под вечер второго сентября.

В особняке дожидался Воробьев. Поговорив с Игна-

5—3478

товым, быстро собрался и куда-то уехал. К ужину он возвратился, а после ужина повторилась старая история — опять они вдвоем гуляли до часу ночи, что-то обсуждая.

На следующий день мы собрались уезжать. Провожали нас Воробьев, Качанов, Чуркин, Трубилин. Прощаясь, Николай Григорьевич пригласил всех в Сочи в ближайшую субботу, шестого сентября, к себе на обед. При этом специально подчеркнул, чтобы приезжали без жен.

Шестого сентября у нас собралось человек двадцать. Были Байбаков, министр культуры РСФСР Попов, приглашенные краснодарцы и другие. Качанов и Трубилин опоздали — задержались в дороге.

Обед затянулся допоздна, было много тостов. Воробьев вспомнил о Ленинграде, о том, какую правильную и принципиальную позицию занимал Игнатов, будучи секретарем Ленинградского обкома. Зацепили и Козлова.

В бытность Игнатова секретарем Ленинградского обкома он «прославился» проведением жесткой линии по отношению к интеллигенции. Тогда много говорили о его грубости и невыдержанности. В ЦК была направлена коллективная жалоба, подписанная многими деятелями литературы и искусства. В результате Игнатов был освобожден от работы и направлен первым секретарем обкома в Воронеж — там-де люди попроще и с работой справиться легче.

Часов в десять вечера обед подошел к концу. Наиболее стойкие остались допивать и доедать, а остальные разбрелись кто куда. Игнатов, оставшись один, подозвал меня и приказал соединить его по «ВЧ» с дачей Подгорного в Ялте.

Пока подзывали к аппарату Николая Викторовича, он зажал рукой микрофон и попросил:

— Давай сюда быстренько Георгия, только так, чтобы другие не увязались.

Я пригласил в кабинет Воробьева. Там уже находился Титов.

Пока я ходил за Воробьевым, Подгорный на том конце провода уже взял трубку. О чем был разговор, не знаю. По-видимому, Подгорный пожелал Игнатову успехов. В ответ Николай Григорьевич многозначительно произнес:

— Главный успех не от нас, а от тебя зависит.

Тут он обратил внимание, что я остался в кабинете, и кивнул мне — можешь быть свободен. Я потихоньку вышел и закрыл дверь.

Происходившее в последние дни — шушуканье допоздна, недомолвки, намеки — все это возбуждало любопытство и настораживало меня. Вот и сейчас выставили. Через дверь разобрать слова было невозможно, да и не хотелось мне оказаться в роли подслушивающего. «В конце концов эти дела меня не касаются»,— решил я и, потоптавшись в коридоре, вышел на крыльцо.

Справа светилось окно кабинета, и сквозь стекло были видны три мужские фигуры, окружившие телефонный аппарат. Я видел, что теперь трубку взял Титов. Голос его слышался довольно хорошо, хотя слова разбирались с трудом.

Мне очень захотелось послушать, о чем же это они говорят с Подгорным, для чего такая конспирация. Обычно Игнатов любил демонстрировать свои близкие отношения с членами Президиума ЦК и громко кричал в трубку: «Здравствуй, Леня!» или «Привет, Коля!».

Только я спустился с крыльца, как заметил приближавшуюся по дорожке фигуру.

— Вася, а где Николай Григорьевич?— окликнул меня незнакомец.

Это был Трубилин. Он не заметил, куда делись Игнатов, Титов и Воробьев, и теперь разыскивал их по парку.

— Вот там все собрались,— показал я Трубилину на освещенное окно кабинета.

Он заторопился в дом, но тут же вернулся.

— Все прячутся. Они все знают, а я ничего не знаю...

— О ком это вы?

Трубилин встрепенулся:

— Не буду говорить, ну их... Я и без них все знаю, ведь все постановления идут через меня...

Бормоча что-то себе под нос, он скрылся в темноте.

Из кабинета вышли Игнатов, Титов и Воробьев. На ходу они вполголоса о чем-то говорили, видимо, обсуждали разговор с Подгорным. Заметив меня на крыльце, они умолкли и начали прощаться. Краснодарцы остались ночевать на соседней даче, а остальные отправились по домам.

Утром, проводив краснодарцев домой, Николай Григорьевич пригласил меня на прогулку. Разговор крутился вокруг вчерашнего приема.

— Видишь, никто за него и тоста не поднял. Это хорошо!— с удовлетворением произнес Игнатов.

— За кого «за него»?— не понял я.

— За Никиту.

Без видимой связи с предыдущим он добавил:

— Титов — хороший человек.

Это была его обычная оценка окружающих: те, кто согласен с Игнатовым, поддерживает его,— хорошие люди, остальные — нехорошие, разных оттенков.

— Ничего, Вася,— успокоил он меня,— подожди немного. И у тебя впереди есть перспектива. Не волнуйся.

Я не стал уточнять, что он имеет в виду, и разговор перешел на рыбную ловлю.

Больше ничего примечательного в Сочи не произошло. Отпуск подходил к концу, и я еще раз напомнил Николаю Григорьевичу, что он собирался заехать в Армению.

— Не поеду. Заробян был у Брежнева в Москве. Пора домой собираться,— ответил он.

В Москву мы вернулись девятнадцатого сентября. В понедельник я был у него на даче, занимался устройством различных хозяйственных дел. Игнатов часто использовал меня в качестве секретаря, и в этот раз, увидев меня, попросил соединить с Кириленко, отдыхавшим в Новом Афоне. Трубку взял дежурный и, узнав, кто спрашивает, ответил, что Андрей Павлович купается в море и к телефону подойти не может.

Этот ответ, к моему удивлению, привел Игнатова в волнение.

— На самом деле купается или говорить не хочет?— бормотал он, ни к кому не обращаясь.

Нервничая, Николай Григорьевич стал названивать Брежневу в ЦК. Трубку «вертушки» взял секретарь:

— Леонида Ильича нет на работе и сегодня не будет. Он заболел.

Тут Игнатов совсем разнервничался. Шагая из угла в угол, он приговаривал:

— Болеет или не болеет? Что это у него за болезнь? Нужная это болезнь или ненужная?..

Почувствовав себя лишним, я вышел.

Вернулся я в кабинет примерно через час. Игнатов сидел в кожаном кресле и умиротворенно улыбался.

— Ничего. Все в порядке. У него просто грипп. Все нормально,— сказал он.

Я не понял: почему грипп у Брежнева — это нормально?.. Но этот разговор добавил к списку необычных событий, происходивших в течение последнего месяца.

Если сложить все эти мелочи вместе, получается подозрительная картина. Недомолвки, намеки, беседы один на один с секретарями обкомов, неожиданная дружба с Шелепиным и Семичастным, частые звонки Брежневу, Подгорному, Кириленко... Почему упоминается ноябрь? Что должно быть сделано до ноября?

Галюков стал пересказывать различные эпизоды, характеризующие отношения Игнатова к моему отцу, — одни относились к прошлым годам, другие произошли совсем недавно.

Дурной характер Игнатова был известен всем, не была секретом и его неприязнь к Хрущеву, он не мог смириться с неизбранием в состав Президиума ЦК. И раньше Игнатов после нескольких рюмок любил поговорить в своем кругу о том, что всю работу в ЦК тянет он, остальные бездари и бездельники, а Хрущев только штампует подготовленные им решения и произносит речи...

Надо все не спеша обдумать и решить, что делать дальше. Пороть горячку в таком деле нельзя.

Я взглянул на часы — гуляли мы почти два часа. Стало совсем темно. Мы повернули к машине.

Я поблагодарил Василия Ивановича за сообщение, заверил, что отношусь к его словам с полным доверием и со всей серьезностью. Пообещал, как только появится отец, сразу же пересказать ему все. На всякий случай попросил номер домашнего телефона — вдруг что-то понадобится. Василий Иванович неохотно продиктовал мне его.

— Сергей Никитич, пожалуйста, звоните мне только в случае крайней необходимости,— нерешительно сказал он.— И прошу вас ничего по телефону не говорить, только условиться о встрече. Мой телефон прослушивается, я в этом убежден. Даже проверял: не платил за телефон

долгое время. По всем законам аппарат должны были отключить, а этого не сделали. Значит, меня подслушивают, — заключил Галюков.

Я опять почувствовал себя участником детективной истории — слежка, подслушивание телефонов, заговоры. Все это было непривычно, жутковато и нереально. До сего времени я жил в убеждении, что КГБ и другие службы находятся в лагере союзников. Им можно доверять, на них можно опереться. Сколько я себя помню, вокруг дома стояла охрана из людей в синих фуражках. Я всегда видел в них своих друзей, собеседников и даже участников детских игр.

И вдруг эта организация повернулась другой стороной. Она уже не защищала, она выслеживала, знала каждый шаг. От таких мыслей по спине начинали бегать мурашки.

В глубине души я надеялся, убеждал себя, что этот дурной сон пройдет, все выяснится и жизнь покатится дальше по привычной колее. И все же что-то говорило: нет, это очень серьезно, и, как бы ни сложились дальнейшие события, по-прежнему уже ничего не будет.

Как выяснилось позднее, и Галюков, и я были одинаково наивны в оценке возможностей КГБ. Его опасения о прослушивании домашнего телефона оказались только частью истины. Телефон правительственной связи на квартире Хрущева тоже прослушивался, а наша встреча с Василием Ивановичем была зафиксирована от первого до последнего шага. И потом мы не могли сделать ни шагу без ведома «компетентных органов».

Но в тот момент, уславливаясь о «конспирации», мы, естественно, ничего не знали. Вернее, Галюков беспокоился, я же, на словах соглашаясь с ним, в душе посмеивался: у страха глаза велики. Впрочем, считал я, осторожность тоже не повредит. И ему будет спокойнее, независимо от того, правда это или нет, — человек пришел с добрыми намерениями.

Пора было возвращаться. Без приключений мы выбрались на дорогу, огляделись: «хвоста» за нами не было. Святая простота!..

Через полчаса я высадил Василия Ивановича напротив его дома, пообещав позвонить, если возникнет необходимость. Еще раз поблагодарил за информацию.

Через несколько минут я въезжал во двор особняка. Дежурный закрыл ворота, и вот я уже отгорожен от внешнего мира. Здесь, внутри, все так знакомо, спокойно и незыблемо. Происшедшее там, за воротами, отсюда казалось совсем нереальным и неопасным.

Отца нет, он приедет через несколько дней, и пока можно заняться другими делами. «Заговорщики» подождут, никуда не денутся. Приедет отец и во всем разберется, все поставит на свои места.

Пришли первые сведения с полигона. Показ военной техники заканчивался, но для конструкторского бюро генерального конструктора Владимира Николаевича Челомея, где я работал, результаты оказались нерадостными. Межконтинентальная баллистическая ракета, разработку и испытания которой мы только что закончили, не выдержала конкуренции со стороны аналогичной ракеты КБ Михаила Кузьмича Янгеля. Эти две ракеты делались параллельно и предназначались для решения одинаковых задач.

Уже в процессе испытаний военные начали отдавать предпочтение ракете Янгеля. Их активно поддерживал Дмитрий Федорович Устинов. Хотя в то время он уже непосредственно не занимался оборонными делами, но авторитет его, как одного из отцов ракетной техники в нашей стране, был чрезвычайно велик, и слово его значило многое. Леонид Ильич Брежнев, к которому после инсульта Козлова вместе с постом второго секретаря ЦК перешло наблюдение за военной промышленностью, по свойственной ему мягкости характера не высказывал определенного мнения. Несколько месяцев тому назад к нему на прием пробился Челомей. С присущим ему красноречием он убедил Брежнева в преимуществах своего детища и получил заверения в полной поддержке. Однако в августе случилось «несчастье». Устинов пошел к Брежневу, они проговорили за закрытыми дверями несколько часов, и мнение Брежнева резко переменилось. Это чувствовалось по недомолвкам и общему отношению к нашему КБ со стороны работников аппарата ЦК, чутко улавливающих любые изменения в симпатиях руководства.

Брежнева связывало с Устиновым давнее знакомство. Впервые они сошлись сразу после войны, когда Брежнев

был секретарем Днепропетровского обкома. На строительных площадках восстанавливаемого города молодой энергичный министр вооружения познакомился с симпатичным секретарем обкома. С тех пор и связывала Устинова и Брежнева если и не дружба, то непреходящее чувство взаимного расположения. Пути их расходились, они не виделись годами, но при встречах с удовольствием вспоминали конец 40-х. Деловой и целеустремленный Устинов подчинял своей воле Брежнева, известного своим податливым характером. Об этом знали все.

О чем же говорили в августе Устинов с Брежневым? Свидетелей не было. Сейчас можно предположить, что главной темой были не челомеевские или янгелевские ракеты: речь, видимо, шла о будущем без Хрущева. Ракетные дела затронули лишь вскользь — пока надо сосредоточиться на главном.

Не подозревая, о чем же шла речь на этой встрече, мы все ломали голову: в чем Устинов убедил Брежнева? (Как выяснилось, мы не угадали: на сей раз Брежнев убеждал Устинова.) Какую позицию займет Леонид Ильич? Челомей нервничал, бесконечно твердил:

— Я знаю характер Леонида Ильича. Он согласится со всем, что ему скажет Устинов. Устинов им командует как хочет, он полностью подчиняет его своей воле.

Технические характеристики ракет были примерно одинаковы, а поэтому чашу весов мог перевесить в любую сторону самый незначительный аргумент.

И вот информация — Хрущев высказался не в нашу пользу. И хотя нашему КБ недавно был дан крупный заказ и будущее рисовалось в розовом свете, неудача с первым опытом создания баллистической ракеты всех опечалила. Однако это были только первые сведения: и Хрущев, и Челомей находились на полигоне. Мы с нетерпением ждали их возвращения, хотелось все узнать из первых рук.

Все эти события отодвинули на второй план проблемы, высказанные Галюковым. Там все сомнительно, а здесь сейчас решается судьба нашего детища, плода упорной работы последних нескольких лет.

Отец за эти дни подзагорел под осенним солнцем пустыни, выглядел посвежевшим. Он был доволен увиденным и, как обычно, спешил поделиться своими впе-

чатлениями. Отец рассказывал о них своим коллегам за обедом в Кремле, а дома его собеседником был я. Работая в КБ, я разбирался в технике, и отец как бы проверял на мне свои впечатления, расспрашивал о деталях.

На полигоне ему показали новый трехместный «Восход», который в ближайшие дни должен будет стартовать на орбиту искусственного спутника, представили его экипаж — Комарова, Феоктистова и Егорова.

Отец был прямо-таки переполнен гордостью за нашу страну, обогнавшую в космосе Соединенные Штаты. Окружающие вовсю поддакивали ему, стремились поддержать иллюзию, что Америка вот-вот останется позади и первая страна социализма станет самой передовой технической державой.

В первый день по возвращении с полигона отец, не заезжая домой, отправился в Кремль. Домой он приехал в шестом часу, оставил в столовой портфель с бумагами и позвал меня:

— Пойдем погуляем.

В последнее время отец сменил кожаную папку, которой пользовался все это время, на черный портфель с монограммой на замке. Этот портфель подарил ему один из иностранных посетителей. Чем-то он ему понравился, и, вместо того чтобы передать его, как обычно, помощникам и забыть о нем, отец оставил портфель себе и не расставался с ним до самой отставки.

Ритуал вечерней прогулки повторялся ежедневно — от дома к воротам, легкий кивок взявшему под козырек офицеру охраны, поворот налево на узенькую асфальтированную аллейку, идущую вдоль высокого каменного забора. Дорожка с обеих сторон обсажена молодыми березками. В углу маленькая лужайка со стайкой березок посредине. Здесь короткая остановка — нельзя не полюбоваться на них. Это тоже вошло в привычку. И опять поворот налево. Справа за забором — соседний особняк, точная копия того, в котором живем мы. Раньше там жил Маленков, после него Кириченко, а сейчас дом пустует. В заборе зеленая калитка, и при желании можно пройти через соседний участок к Воронову и дальше до особняка, занимаемого Микояном.

Сегодня мы проходим мимо калитки и идем дальше, обходя дом справа. Березки уступили место вишневым

деревьям. Весной это пышные шары, покрытые белыми цветами, а сейчас на тоненьких веточках только кое-где торчат одинокие красноватые листочки — осень...

Дом позади, и дорожка начинает петлять по склону над Москвой-рекой — по серпантину можно спуститься до самого берега, а затем вернуться и завершить круг.

Мы гуляем вдвоем — эта привычка выработалась у нас обоих. Так ведется изо дня в день. Иногда присоединяются Рада и Аджубей, реже мама. Наша же пара постоянна. Часть пути шли молча, видимо, отец устал и говорить ему не хотелось.

Я иду рядом, раздумывая: начать разговор о встрече с Галюковым или отложить? Говорить на эту тему не хотелось — можно нарваться на грубое: «Не лезь не в свое дело». Такое уже бывало в разговорах о Лысенко и генетике. Сейчас мое положение еще более щекотливое — никто и никогда не вмешивался в вопросы взаимоотношений в высшем эшелоне руководства. Эта тема запретна. Отец никогда не позволял даже себе высказываться в нашем присутствии о своих коллегах. Я же должен не только нарушить этот запрет, но намеревался обвинить ближайших соратников и товарищей отца в заговоре.

Да и по-человечески мне этого делать очень не хотелось. И Брежнев, и Подгорный, и Косыгин, и Полянский — все они часто бывают у нас в гостях, гуляют, шутят. Многих я помню с детства еще по Киеву. Если все это окажется ерундой, выдумкой малознакомого человека, в чем я все время пытаюсь себя убедить, как я взгляну потом им в глаза, что они будут обо мне думать?

Словом, я решил отложить разговор.

Вместо этого я осведомился о его впечатлениях и о показе техники. Сначала нехотя, а потом все более и более увлекаясь, отец начинает говорить. Глаза его загораются, на лице уже не видно усталости. Ракеты — это его гордость. Он перечисляет типы ракет, сравнивает их характеристики, вспоминает разговоры с главными конструкторами и военными. Отец горд — теперь мы сравнялись по военной мощи с Америкой. Когда он стал Первым секретарем ЦК в начале 50-х годов, США были недостижимы, а американские бомбардировщики могли поразить любой пункт на нашей территории. Теперь же сам президент США Кеннеди признал равенство военной

мощи Советского Союза и Соединенных Штатов. И всего за десять лет! Есть чем гордиться.

Выбрав удобный момент, я спросил:

— А как тебе понравилась наша ракета?

Явно не желая обсуждать проблему, видимо, там, на полигоне, обо всем было много разговоров, отец ответил:

— Ракета хорошая, но у Янгеля лучше. Ее и будем запускать в производство. Мы все обсудили и приняли решение. Не поднимай этот вопрос сызнова.

Я промолчал, хотя было очень обидно за наш коллектив, который столько сил вложил в разработку.

Как бы почувствовав это, отец добавил:

— У вас много хороших предложений. Мы одобрили программу работ. Сейчас Смирнов* занимается оформлением.

Закончилась неделя. В субботу вечером, как обычно, все отправились на дачу. Жизнь текла по давно заведенному привычному ритуалу: в воскресенье утром завтрак, затем отец просмотрел газеты, отметил заинтересовавшие его статьи и пошел гулять.

Снова мы гуляли вдвоем. Дорожка извивалась в густом сосновом лесу. Шли молча, я все выбирал момент, оттягивая начало разговора. Дошли до калитки, через нее вышли за ограду дачи на лужок в пойме Москвы-реки.

Сейчас луг был разрыт. Везде валялись бетонные столбы, лотки, трубы. Сельскохозяйственная делегация привезла из Франции новинку — оросительную систему, вода в которой текла по бетонным лоткам, установленным на столбиках над землей. Отцу это очень понравилось: вода не теряется в почве и арыки не отнимают землю у посевов. Он загорелся новой идеей и решил испытать ее у себя на даче. Сказано — сделано. Была дана команда, и через неделю появились строители. Луг превратился в строительную площадку.

Теперь мы шли по краю леса, и отец с удовольствием обозревал содеянное. Ему уже виделись ровные рядки лотков, на полтора метра поднятые над землей и наполненные тихо журчащей водой. Через мерные отверстия на

* Смирнов Л. В. — в тот период заместитель Председателя Совета Министров СССР, занимался вопросами оборонной промышленности.

каждую грядку попадает нужное количество воды для полива, ни больше ни меньше и без потерь.

Обойдя луг, мы повернули обратно. Неприятный разговор больше откладывать было нельзя, прогулка заканчивалась. Сейчас, вернувшись на дачу, отец примется за бумаги, потом обед, но главное — вокруг будут люди, а мне не хотелось затевать этот разговор при свидетелях.

— Ты знаешь,— начал я,— произошло необычное событие. Я должен тебе о нем рассказать. Может, это ерунда, но молчать я не вправе.

Затем я коротко рассказал о странном звонке и встрече с Галюковым. Отец выслушал меня молча. К середине рассказа мы дошли до калитки, ведущей к дому. Секунду поколебавшись, он повернул обратно на луг.

Я закончил свой рассказ и замолчал.

— Ты правильно сделал, что рассказал мне, — наконец прервал молчание отец.

Мы прошли еще несколько шагов.

— Повтори, кого назвал этот человек,— попросил он.

— Игнатов, Подгорный, Брежнев, Шелепин,— стал вспоминать я, стараясь быть поточней.

Отец задумался.

— Нет, невероятно... Брежнев, Подгорный, Шелепин — совершенно разные люди. Не может этого быть,— в раздумье произнес он.— Игнатов — возможно. Он очень недоволен, и вообще он нехороший человек. Но что у него может быть общего с другими?

Он не ждал от меня ответа. Я выполнил свой долг — дальнейшее было вне моей компетенции.

Мы опять повернули к даче. Шли молча. Уже у самого дома он спросил меня:

— Ты кому-нибудь говорил о своей встрече?

— Конечно, нет! Как можно болтать о таком?

— Правильно,— одобрил он,— и никому не говори.

Больше к этому вопросу мы не возвращались.

В понедельник я впервые после болезни отправился на работу. За ворохом новостей о происходившем на полигоне я совсем забыл о Галюкове. Вечером, когда отец вернулся из Кремля, я был уже дома. Увидев подъезжавшую машину, я вышел навстречу.

Отец, продолжая вчерашний разговор, сразу же начал без предисловий:

— Видимо, то, о чем ты говорил, чепуха. Мы с Микояном и Подгорным вместе выходили из Совета Министров, и я в двух словах пересказал им твой рассказ. Подгорный просто высмеял меня. «Как вы только могли такое подумать, Никита Сергеевич?» — вот его буквальные слова.

У меня сердце просто упало. Этого мне только не хватало: завести себе врага на уровне члена Президиума ЦК! Ведь если все это ерунда, то Подгорный, да и другие, кому он не преминет обо всем рассказать, никогда мне не простят. Все, что я рассказал, можно квалифицировать как провокацию против них.

Начиная разговор с отцом, я опасался чего-то подобного. Боялся, что информация выйдет наружу, но такого я предположить не мог.

Правда, и раньше случались похожие происшествия. Некоторое время назад отец долго меня расспрашивал о сравнительных характеристиках различных ракетных систем. Я рассказал ему все, что знал, стараясь сохранить объективность. Я не хотел выступить апологетом своей «фирмы». На вооружении нашей армии должно быть все самое лучшее, а кто что сделал — вопрос другой. Слишком дорого мы заплатили в 1941 году за субъективизм, чтобы забыть эти кровавые уроки. А через несколько дней, выступая на Совете Обороны со своими соображениями о развитии индустрии вооружений, отец вдруг бухнул: «А вот Сергей мне говорил то-то и то-то»...

Когда мне об этом сообщили, я за голову схватился! И надо же было мне лезть со своим мнением вперед. Можно было сказать, что я, мол, не в курсе дела. Вот и «продемонстрировал» свою эрудицию и рвение в защите государственных интересов. А теперь люди, с которыми мне работать, не простят мне ни одного критического замечания отца в их адрес.

С тех пор я решил больше в такие ситуации не попадать. И вот на тебе — еще хуже, влопался по самые уши и с кем?! С членами Президиума ЦК!!!

— В среду я отправлюсь, как собирался, на Пицунду, по дороге залечу в Крым, проеду по полям в Краснодарском крае, — продолжал отец. — На всякий случай я попросил Микояна побеседовать с этим человеком. Он тебе позвонит. Пусть проверит. Он тоже собирается на Пицун-

ду, задержится тут немного, все выяснит, когда прилетит, мне расскажет.

Я расстроился. Если все это чепуха, то зачем об этом говорить? Ну а если нет, то как же можно выпускать нить событий из рук? Если же поручать расследование Микояну, то как можно было делать это на ходу, в присутствии Подгорного, о котором шла речь как об участнике готовящихся событий? Все получалось на редкость несерьезно и глупо. В любом случае, я оказывался в самом нелепом положении. Однако дело было сделано, и переживать было поздно. На ход событий я повлиять уже не мог.

— Может, тебе задержаться и самому поговорить с этим человеком? — робко предложил я.

Отец поморщился. Было видно, что заниматься этим делом он не станет.

— Нет, Микоян — человек опытный. Он все сделает. Я устал, хочу отдохнуть. И вообще... давай прекратим этот разговор.

— Можно я тоже прилечу на Пицунду? В этом году я в отпуске не был. Поживу там с тобой,— переменил я тему разговора. В конце концов ему виднее, как поступать в подобной ситуации.

— Конечно! Мне будет веселее,— обрадовался он.— Сведешь этого чекиста с Микояном, бери отпуск и приезжай.

Отец улетел в Крым, где провел пару дней, а затем, с заездом в Краснодарский край, прибыл на Пицунду. Я оставался в Москве, решив не проявлять больше инициативы.

Несколько дней прошли в обычных служебных хлопотах. Никто не звонил. Иногда на меня накатывало какое-то предчувствие опасности, но я гнал его прочь — нечего впадать в панику. Свой долг я выполнил — остальное не мое дело.

И вдруг как-то, в один из этих предотъездных дней, у меня на столе зазвонил телефон. Я снял трубку.

— Хрущева мне,— раздался требовательный голос.

Обращение было по меньшей мере необычным, и я несколько опешил.

— Я вас слушаю.

— Микоян говорит,— продолжал мой собеседник.— Ты там говорил Никите Сергеевичу о беседе с каким-то человеком. Можешь его привезти ко мне?

— Конечно, Анастас Иванович. Назовите время, я созвонюсь и привезу его, куда вы скажете,— отозвался я.

— На работу ко мне не привози. Приезжайте на квартиру сегодня в семь вечера. Привези его сам, и поменьше обращайте на себя внимание,— то ли попросил, то ли приказал Анастас Иванович.

— Не знаю, удастся ли его сразу разыскать. Ведь у меня только домашний телефон, его может не быть дома,— засомневался я.

— Если не найдешь сегодня, привезешь завтра. Только предупреди меня,— закончил Анастас Иванович.

Я тут же набрал телефон Галюкова. На мое счастье, он оказался дома и сам снял трубку.

— Василий Иванович, с вами говорит Сергей Никитич, — начал я, умышленно не называя фамилии.— С вами хочет поговорить Анастас Иванович. У него надо быть в семь часов вечера, я за вами заеду без двадцати семь.

В тоне Галюкова было мало радости по поводу моего звонка, а когда я сказал о Микояне, он просто испугался.

— Я бы не хотел, чтобы меня узнали. Меня хорошо знает Захаров*, могут быть неприятности, — пробормотал он.

— Не беспокойтесь. Мы поедем прямо на квартиру в моей машине, я сам буду за рулем. В семь часов уже темно. Охрана меня хорошо знает в лицо, я часто у них бываю, дружу с сыном Микояна — Серго. Они не будут выяснять, кто сидит со мной в машине,— успокоил я его.

Не знаю, подействовали ли на Василия Ивановича мои разъяснения или он понял, что другого выхода у него нет, но больше он не возражал.

Без пяти минут семь мы были у ворот особняка Микояна. Как я и ожидал, выглянувший в калитку охранник узнал меня и, ничего не спрашивая, открыл ворота. Мы подъехали ко входу и быстро прошли в незапертую дверь. Аллея перед домом делала поворот, и от въезда нас не было видно. Прихожая была пуста. Меня это не

* Захаров Н. С. — в октябре 1964 года один из руководящих сотрудников КГБ, в прошлом начальник управления охраны.

смутило, я хорошо знал расположение комнат в доме. Раздевшись, мы поднялись на второй этаж и постучали в дверь кабинета.

— Войдите,— раздался голос Анастаса Ивановича.

Микоян встретил нас посреди комнаты, сухо поздоровался. Одет он был в строгий темный костюм, только на ногах были домашние туфли.

Я представил ему Галюкова.

Обычно Анастас Иванович встречал меня приветливо, осведомлялся о делах, подшучивал. На этот раз он был холодно-официален и всем своим видом подчеркивал, насколько ему неприятен наш визит. Такой прием меня окончательно расстроил — вот первый результат моего вмешательства не в свое дело. А что будет дальше?

Все особняки на Ленинских горах были похожи друг на друга, как близнецы. Даже мебель в комнатах была одинаковой. Так же, как и в нашем доме, стены кабинета Микояна были обиты деревянными панелями под орех. Одну стену целиком занимал большой книжный шкаф, заставленный сочинениями Ленина, Маркса, Энгельса, материалами партийных съездов. В углу у окна стоял большой письменный стол красного дерева с двумя обтянутыми коричневой кожей креслами перед ним. На столе сгрудились четыре телефона: массивный белый «ВЧ», обтекаемый, с только что появившимся витым шнуром «вертушка», попроще — черный городской и без наборного диска — для связи с дежурным офицером охраны. Чуть в стороне на отдельном столике — большая фотография лихого казачьего унтер-офицера в дореволюционной форме, с закрученными черными усами и четырьмя Георгиями на груди — подарок Семена Михайловича Буденного.

Анастас Иванович предложил нам сесть в кресла. Сам устроился за столом. Обстановка была сугубо официальной.

— Ручка есть? — спросил он меня.

— Конечно,— не понял я, полез в карман и достал авторучку.

Микоян показал на стопку чистых листов, лежавших на столе.

— Вот бумага, будешь записывать наш разговор. Потом расшифруешь запись и передашь мне.

После этого он обратился к Галюкову несколько приветливее:

— Повторите мне то, что вы рассказывали Сергею. Постарайтесь быть поточнее. Говорите только то, что вы на самом деле знаете. Домыслы и предположения оставьте при себе. Вы понимаете всю ответственность, которую берете на себя вашим сообщением?

Василий Иванович к тому времени полностью овладел собой. Конечно, он волновался, но внешне это никак не проявлялось.

— Да, Анастас Иванович, я полностью сознаю ответственность и отвечаю за свои слова. Позвольте изложить вам только факты.

Галюков почти слово в слово повторил то, что он говорил мне во время нашей встречи в лесу. Я быстро писал, стараясь не пропустить ни слова.

Пока Галюков рассказывал, Микоян периодически кивал ему головой, как бы подбадривая, иногда слегка морщился. Но постепенно он стал явно проявлять все больший интерес.

Василий Иванович закончил рассказ об уже известных мне событиях и вопросительно посмотрел на Микояна.

— Вы давно работаете с Игнатовым? Расскажите о нем, может быть, вас что-то настораживало раньше? — поинтересовался Микоян.

Галюков начал вспоминать о каких-то фактах многолетней давности, они неожиданно вплетались в недавние события.

— Нужно сказать, что отношение Игнатова к Хрущеву менялось в зависимости от продвижения Николая Григорьевича вверх или вниз по служебной лестнице. А у него постоянно взлеты перемежались падениями. В эти периоды он начинал зло ругать Хрущева. Когда нас перевели из Ленинградского обкома в Воронеж, Игнатов был очень недоволен — из второй столицы его выбросили в рядовую область.

Помню, приехал Никита Сергеевич в Воронеж на совещание по сельскому хозяйству. Он тогда объезжал основные районы, проверял подготовку к севу, беседовал с активом. Вышел Хрущев из вагона, поезд был не специальный, а обычный. Вокруг народ снует, каждый своим делом занят: одни целуются, обнимаются, другие уже

вещички к выходу тащат. Никто на Хрущева внимания не обращает. Только уж если кто совсем на него переть начинает, охранник в штатском вежливо ручкой показывает — мол, обойдите сторонкой. Все это недолго продолжалось.

Местное начальство, конечно, встречать Хрущева приехало: обком, исполком, военные, как принято. Только мы подошли, толпа стала собираться — любопытно, кого это встречают. Тут и узнали Хрущева, зааплодировали, приветствовать стали, выкрики раздались одобрительные. Игнатов все заметил и, когда мы, проводив Хрущева в приготовленную для него резиденцию, садились в свою машину, удовлетворенно отметил:

— Не любят его. Видел, как плохо встречали?

Совещание проходило бурно. На нем были не только воронежцы, но и руководители соседних областей. Никита Сергеевич часто перебивал докладчиков, задавал вопросы, вставлял едкие критические замечания. Другим доставалось, а Воронежскую область он похвалил.

В перерыве, когда Игнатов вышел из комнаты президиума, я поздравил его:

— С успехом вас, Николай Григорьевич. Нас одних Никита Сергеевич похвалил.

— Что ж, я мало труда вложил? — задиристо ответил Игнатов.

— Бывает, работаешь, работаешь, сил не жалеешь, а начальство приедет и по косточкам разложит.

— Хм, попробовал бы он только. Я бы его сам разделал, — отозвался он и отошел.

Или вот в ту же осень отдыхали мы в Сочи, как обычно. Я узнал, что на отдых приезжает Хрущев. Доложил об этом Игнатову и предложил съездить в Адлер на аэродром встретить.

Игнатов меня выругал:

— Хруща-то? Иди ты с ним... Если хочешь, встречай сам.

Надо сказать, что в раздражении он никогда не произносил фамилию правильно, а сокращал презрительно: «Хрущ».

Потом из Воронежа мы перебрались в Горьковский обком. И там Игнатов не мог забыть, что его выдворили

из Ленинграда, по каждому поводу выражал свое неудовольствие.

Стал Хрущев именоваться не просто секретарем ЦК, а Первым секретарем, Игнатов тут же прокомментировал:

— Вот, приставку себе приделал. Ничего, он долго не протянет. Лет пять еще от силы. Возраст у него уже преклонный.

Про пленумы и совещания по сельскому хозяйству отзывался неизменно презрительно:

— Ничего у них не выйдет. Болтовня одна...

Потом все переменилось. Хрущев приезжал в Горький, он тогда предложил отсрочку платежей по займам. Они долго разговаривали с Игнатовым, и того как подменили — начал он Хрущева расхваливать на всех перекрестках. Я думаю, что у них был разговор о переводе Игнатова на работу в Москву.

В 1957 году в первых числах июня Никита Сергеевич пригласил Игнатова (он тогда еще в Горьком был) и Мыларщикова (заведующего отделом сельского хозяйства ЦК КПСС) к себе на дачу посмотреть посевы. Стал он нам показывать грядки с чумизой и кукурузой. Тогда Хрущев увлекался чумизой, надеясь, что ее можно выращивать в наших условиях и получать большие урожаи. Когда выяснилось, что культура эта требует большого ухода и очень капризна, Никита Сергеевич к ней охладел и впоследствии к мысли о широком ее внедрении не возвращался.

Когда Хрущев и Мыларщиков отошли чуть в сторону, Николай Григорьевич поманил меня:

— Скажи Мыларщикову, пусть уезжает, не задерживается. Мне с Хрущевым наедине поговорить надо.

Мыларщиков вскоре уехал.

В это время против Хрущева выступила антипартийная группа. Игнатов был на стороне Хрущева.

Хрущев довольно долго гулял с Игнатовым, о чем-то ему рассказывал, видимо, о ситуации, сложившейся в Президиуме ЦК, говорил о позиции, занятой Молотовым, Кагановичем, Маленковым и другими.

Я с начальником охраны Хрущева следовал за ними чуть поодаль и, естественно, разговора не слышал, только под конец до нас долетела фраза, сказанная Игнатовым:

— ...это дело нужное. Надо его решать.

Видимо, речь шла о Пленуме ЦК, который должен был вот-вот собраться для обсуждения разногласий, возникших в Президиуме. На этом Пленуме, где была осуждена антипартийная группа, Игнатов вошел в состав Президиума ЦК. Он был на седьмом небе от счастья, но пытался не подать вида, как будто ничего иного и не могло произойти. Сразу же он озаботился вопросом, как распределятся портфели в Президиуме и какой пост достанется ему. К Хрущеву с этим вопросом он идти не решился и подключил к выяснению Валентина Пивоварова, он в то время работал секретарем в приемной Хрущева.

Вскоре Пивоваров сообщил Игнатову:

— Прощупал Хрущева. Будешь секретарем ЦК.

Игнатов очень обрадовался. Он рассчитывал занять пост второго секретаря. Просто был уверен в этом. И тут разочарование — вторым секретарем избирают Кириченко, а Игнатов становится секретарем, отвечающим за сельское хозяйство.

Ярости его не было границ.

— Чем я хуже Кириченко? Что я, хуже его разбираюсь?

Благожелательное отношение к Хрущеву опять перешло в плохо скрытую ненависть. Хрущев стал для него как бы навязчивой идеей. Бывало, вглядывается мне в лицо и вдруг говорит:

— Ну и рожа у тебя. Да ты такой же держиморда, как Хрущ.

Другой раз сидит в кресле, молчит и как бы про себя бурчит:

— Он же дурак дураком...

— Вы о ком, Николай Григорьевич? — спрашиваю.

— О Хруще, о ком же еще? И я мог бы так же. Говорили мне, чтобы брал руководство. И надо было.

— Но ведь тяжеловато...— осторожно возразил я.

Этот эпизод привлек внимание Микояна, и он уточнил:

— А когда это было?

— Точно не скажу, помню только, что в 1959 году. Видимо, такая точка зрения сложилась в результате разговоров Игнатова с приятелями: Дорониным, Киселе-

вым, Жегалиным, Денисовым, Хворостухиным, Лебедевым, Патоличевым...

— Товарищ Галюков,— вмешался опять Анастас Иванович,— вы сами говорите, что неприязнь Игнатова к Хрущеву существует давно, а обратились к нам только сейчас. Чем это вызвано? Почему у вас появились сомнения? Когда это произошло?

Василий Иванович был готов к ответу, видимо, он много думал на эту тему:

— Сомнения, подозрения, что что-то происходит, оформились у меня в Сочи, в этом году. Раньше разговорам Игнатова я особого значения не придавал — болтает себе, и пусть болтает. Гуляем, а он ругает Хрущева, остановиться не может. Никак не мог простить, что его на XXII съезде не выбрали в Президиум ЦК, жаловался: «В 1957 году мой Пленум был, без меня они бы не справились. И «двадцатка»* — моя... Сколько я сделал! А он сельское хозяйство запустил. Я бы за два-три года все поднял, он только болтает, а дела нет!»

Летом разговоры стали целенаправленнее. Кроме того, его отношения со многими людьми вдруг резко изменились. До последнего лета Игнатов плохо относился к Шелепину, Семичастному, Брежневу, Подгорному и другим. Доброго слова о них не говорил, а тут постепенно все они перешли в разряд друзей. Сам Игнатов не переменился, значит, изменились обстоятельства, что-то их объединило в одной упряжке. После 1957 года до последнего времени Игнатов при каждом удобном случае злословил по адресу Брежнева: «Занял пост, а что он сделал? Даже выступить как следует не мог. Лазарь на него прикрикнул, он и сознание от страха потерял, «борец»**.

---

* «Двадцатка» — группа из 20 членов ЦК КПСС, которая поддержала Н. С. Хрущева в борьбе с антипартийной группой Молотова, Маленкова и др. и потребовала немедленного созыва Пленума ЦК.

** Вскоре после XIX съезда партии, когда Сталин резко расширил Президиум и Секретариат ЦК, Брежнева избрали секретарем ЦК. После смерти Сталина состав этих органов был сокращен до прежних размеров. Пришлось подыскивать места для «безработных». Брежнева определили начальником политуправления Военно-Морского Флота, что было, без сомнения, не очень почетно для него. Леонид Ильич остро переживал такой поворот своей судьбы. Когда обстановка несколько разрядилась, Никита Сергеевич вспомнил о своем старом соратнике, и

Потом отношение Игнатова к Брежневу стало более ровным, но он ревниво следил за каждым его шагом. Николай Григорьевич все время сохранял надежду на возвращение в Президиум ЦК и лелеял надежду занять пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

В начале этого года, когда стало известно, что Брежнев в скором времени полностью сосредоточится на работе в Секретариате ЦК, Игнатов начал активно обзванивать всех, выясняя, кого планируют на освободившееся место, какие у него шансы. В это время Хрущев находился на Украине, Брежневу Николай Григорьевич звонить не хотел, но постоянно переговаривался с Подгорным. Тот его обнадежил, передав свой разговор с Хрущевым в Крыму. Они тогда затронули вопрос о Председателе Президиума, видимо, у Хрущева к тому времени не сложилось определенного мнения о возможной кандидатуре. На вопрос Подгорного, кто же планируется на этот пост, Хрущев ничего не ответил.

Тогда, как сообщил Подгорный Игнатову, он решил спросить впрямую:

— Может быть, подошел бы Игнатов?

Хрущев ответил неопределенно:

— Посмотрим, посоветуемся.

Основываясь на этом случайном разговоре, Николай Викторович уверял Игнатова, что он убедил Хрущева, и определенно обещал:

— Никита Сергеевич согласился со мной и думает решить вопрос о твоем назначении.

У Игнатова вырвалось непроизвольно:

— Ну а если правда?..

Брежнев вновь занял пост секретаря ЦК. В июне 1957 года на заседаниях Президиума и Секретариата ЦК он оказался среди меньшинства, поддерживающего Хрущева. Дебаты были бурными.

Когда очередь выступать дошла до Леонида Ильича, он начал что-то говорить, отстаивая свою позицию, но слушать его не стали, а Каганович грубо оборвал:

— А ты чего лезешь? Молод еще нас учить. Никто твоего мнения не спрашивает. Мало во флоте сидел? Смотри, обратно загоним — не выберешься.

Расстановка сил на заседаниях была не в пользу Хрущева, и угроза была вполне реальной. Брежнев испугался, силы ему изменили, и после такой отповеди он упал в обморок. Пришлось вызывать врача и приводить его в сознание.

Он и верил и не верил, что давняя мечта может сбыться. И поэтому допытывался у Подгорного, что же еще сказал Хрущев, насколько все это точно?

Подгорный, естественно, ничего добавить не мог, разговор был мимолетным, и больше в поездке к нему не возвращались. Оставил он Игнатова окрыленным надеждой, и тем сильнее было разочарование. Председателем Президиума стали вы, Анастас Иванович. Узнав об этом, Николай Григорьевич целый вечер почем зря честил и вас, и Никиту Сергеевича. В этом году, возвращаясь домой, Николай Григорьевич часто сообщал как бы невзначай: «Долго мы сегодня у Николая засиделись» (имелся в виду Н. В. Подгорный),— и замолкал многозначительно. Иногда бросал: «Был сегодня у Брежнева. Полезно поговорили. Он меня уверял, что все будет хорошо».

Надо сказать, что после того как Подгорного резко критиковали на Президиуме ЦК, Игнатов очень близко с ним сошелся, хотя раньше отношения между ними были прохладными. Взять хотя бы поездку на празднование 150-летия вхождения Азербайджана в состав России. Игнатов очень хотел поехать в Баку руководителем делегации Москвы. Вроде все шло к тому, но в последний момент делегацию возглавил Подгорный. Опять разговорам не было конца. «И чего его черт туда несет!.. Опять мы будем на вторых ролях...» — причитал Игнатов. В Баку ему все не нравилось, особенно доклад Ахундова на торжественном заседании. В нем часто цитировался Хрущев. Игнатов возмущался: «Зачем это Ахундову надо? Зачем как попка за ним повторяет? Совсем ситуации не понимает...»

В Баку нас поселили в одном особняке с Подгорным, но Игнатов с ним почти не общался. Поздороваются только и разойдутся в разные стороны. Подгорный готовился к выступлению, а Игнатову делать было нечего, и, чтобы убить время, он целыми днями гулял вокруг особняка. Ему нужен был слушатель, и я неизменно его сопровождал. На какую бы тему ни начинался разговор, постепенно он стягивался к Подгорному. Казалось, о другом Игнатов не может думать. Чего-то он опасался, часто повторял в раздумье:

— Опасный это человек. Ох, опасный... А что о нем ребята его говорят, охрана?

Я тогда, помню, уклонился от прямого ответа:

— Мы, Николай Григорьевич, об этом не разговариваем. Между собой такие темы не затрагиваем.

— Ладно. Может, оно и правильно. Но человек он опасный. Очень опасный.

Разговор на том и прекратился.

В Баку Николай Григорьевич держался особняком, видно, чувствовал себя обиженным. Он только встретился с Заробяном, просидели часа два, но о чем говорили, я не знаю.

Галюков замолчал, видимо, собираясь с мыслями:

— Еще вспоминаются разрозненные эпизоды. Не могу сказать конкретнее, но Игнатов часто упоминал о недовольстве военных. «И им Хрущ,— говорит,— надоел со своими сокращениями — поперек горла. Они только и ждут, чтоб его...»

Игнатов тогда не договорил, а только со смаком подковырнул большим пальцем.

Анастас Иванович заинтересовался:

— А как вы думаете, кого он имел в виду?

Галюков замялся.

— Не знаю. Он фамилий не называл. Вот с маршалом Коневым они часто встречались. Вместе были в Чехословакии на похоронах Антонина Запотоцкого и там сблизились. После ухода Конева в отставку отношения у них остались теплыми. Они перезванивались, поздравляли друг друга с праздниками, но настоящей близости, дружбы не было. Других я не знаю... Был еще такой эпизод. Перед поездкой в Болгарию Брежнев позвонил Игнатову, по какому вопросу, я уже запамятовал, но одна фраза засела у меня в голове. Уже прощаясь, Игнатов предупредил: «Леня, имей в виду, я был там в 1960 году, мы с Живковым долго говорили наедине. Настроен он критически, даже сказал мне: «Странно ведет себя ваш...» — но продолжать не стал».

Еще один факт.

Когда приезжал к нам президент Индии Радхакришнан, Николаю Григорьевичу позвонил Высотин из отдела международных связей Президиума Верховного Совета СССР и предупредил, что во время поездки по стране он будет сопровождать высокого гостя. Игнатов любил такие поездки, они были для него добрым знаком — о нем

помнят, без него обойтись не могут. Однако на сей раз вышла осечка — следом за Высотиным, вечером, домой Игнатову позвонил Георгадзе. Извинившись, он сказал, что говорит по поручению Микояна:

— Мы планировали вас в поездку с Радхакришнаном. Сегодня обсуждался маршрут, и Анастас Иванович предложил посетить Армению. Если вы не возражаете, то Анастас Иванович хотел бы сам поехать туда с гостями из Индии. Скоро приезжает с визитом афганский король — вот вы с ним и поедете.

Игнатов возражать не стал, но очень расстроился.

На следующий день утром я зашел к нему. Все сидели за столом, завтракали. Тут же, на столе, лежала кипа утренних газет, видно, их только что просматривали. Сын Игнатова, Лев, продолжая прерванный моим приходом разговор, недовольно заметил:

— А в газетах-то не написано, что Микоян сопровождает делегацию... Просто не хотели, чтоб ты поехал. Понимаешь, это вопрос политики.

Игнатов насупился над тарелкой и кивнул головой:

— Да, все непросто. Они хотят меня в тени держать.

Галюков заерзал на стуле и вопросительно посмотрел на Анастаса Ивановича:

— Вы просили рассказывать обо всем, даже о мелочах. Может, это и мелочь, но, мне кажется, она хорошо характеризует общее настроение Игнатова.

Микоян кивнул:

— Рассказывайте все.

Василий Иванович продолжал:

— Или вот такой факт. Игнатов ежедневно пересчитывает, сколько раз в газетах упоминается Хрущев. Если есть фотография, то пристально ее рассматривает. Поглядит, поглядит, да и хмыкнет удовлетворенно: «Что ни говорите, а физиономия его с каждым днем выглядит все хуже и хуже».

В последнее время Игнатов выглядел очень нервным, часто срывался на крик, особенно его беспокоило, почему Никита Сергеевич не уезжает в отпуск. Даже выругался недавно: «И что он, черт, отдыхать не едет?» Мне кажется, этот повышенный интерес к отпуску Хрущева как-то связан со всем происходящим, — добавил Галюков.

— Вы излагайте факты, а выводы мы сделаем сами,— повторил Анастас Иванович.

— Надо сказать,— снова продолжил Галюков,— что Игнатов нелестно отзывается и о других членах Президиума ЦК. Вот, например, Полянского он иначе как «прощелыга» не называет. Воронов для него — человек ограниченный. Косыгину дал кличку «Керенский», часто повторяет, что дела тот не знает, за что ни возьмется — все провалит. Подобным образом он отзывается и о многих других.

Заметив, что Анастас Иванович не проявляет интереса, Галюков переменил тему:

— В последние дни отношение ко мне Игнатова переменилось. Я думаю, что факт моего разговора с Сергеем Никитичем стал ему известен. Очевидно, за нами следили и предупредили Игнатова. Николай Григорьевич стал очень настороженным, никаких откровенных разговоров со мной не ведет и вообще старается держать меня подальше. Конкретные факты привести трудно, но я чувствую, что он мне больше не доверяет.

На днях Николай Григорьевич, собираясь на торжественное заседание по случаю столетия Первого Интернационала, позвонил мне. Это было в четыре часа. Меня на месте не было. Вернулся я домой в семь вечера и, узнав, что Игнатов меня искал, сразу позвонил ему на работу. Он взял трубку. С преувеличенным вниманием Игнатов стал меня расспрашивать, как идут дела, что нового.

Я ответил, что все нормально.

— Я только что приехал с торжественного заседания. Там выступал Никита Сергеевич, говорил он просто замечательно,— заливался Игнатов.

Эти слова резанули мой слух. Такого я давно не слыхал. Последнее время он вообще иначе как «Хрущ» его не называл, а тут — «Никита Сергеевич... говорил замечательно...». Очень мне такой оборот не понравился. Тридцатого сентября я позвонил Игнатову опять. На душе было неспокойно. Николай Григорьевич сам взял трубку.

— Что тебе нужно? — спрашивает.

— Да вот увидел в окнах свет и решил проверить, может, чужие в квартире. Разрешите зайти снять показания со счетчика.

— Ладно, ладно. Завтра сделаешь...— Игнатов, не закончив фразы, повесил трубку.

Он явно хотел от меня отделаться. Ну... вот, собственно, и все.— Галюков вытащил платок и отер вспотевший лоб.

Я отложил ручку и стал разминать затекшие пальцы. Передо мной лежала груда листков, испещренных сокращениями, недописанными словами — я очень торопился, стараясь не упустить ни слова.

В кабинете повисла настороженная тишина.

Микоян сидел, задумавшись, не обращая на нас никакого внимания. Мысли его были где-то далеко. Наконец он повернул к нам голову, выражение лица было решительным, глаза блестели.

— Благодарю вас за сообщение, товарищ...

Анастас Иванович запнулся и взглянул на меня.

— Галюков, Василий Иванович Галюков, — торопливо вполголоса подсказал я.

— ...Галюков,— закончил Микоян.— Все, что вы сказали, очень важно. Вы проявили себя настоящим коммунистом. Я надеюсь, вы учитываете, что делаете это сообщение мне официально и тем самым берете на себя большую ответственность.

— Я понимаю всю меру ответственности. Перед тем как обратиться с моим сообщением, я долго думал, перепроверял себя и целиком убежден в истинности своих слов. Как коммунист и чекист, я не мог поступить иначе,— твердо ответил Галюков.

— Ну что ж, это хорошо. Я не сомневаюсь, что эти сведения вы нам сообщили с добрыми намерениями, и благодарю вас. Хочу только сказать, что мы знаем и Николая Викторовича Подгорного, и Леонида Ильича Брежнева, и Александра Николаевича Шелепина, и других товарищей как честных коммунистов, много лет беззаветно отдающих все свои силы на благо нашего народа, на благо Коммунистической партии, и продолжаем к ним относиться как к своим соратникам по общей борьбе!

Увидев, что я положил ручку, Анастас Иванович коротко бросил:

— Запиши, что я сказал!

От всего этого я несколько оторопел: для кого предназначалась столь выспренная декларация? Галюков гово-

рил о своих подозрениях, а эти слова перечеркивали все сказанное.

Василий Иванович недоуменно посмотрел на Микояна. В глазах мелькнул страх. А я в который раз подумал, что напрасно ввязался в это дело.

Анастас Иванович встал, давая понять, что разговор закончен.

— Если у вас будут какие-то добавления или новости, позвоните Сергею. Когда понадобитесь, мы вас вызовем, — и, повернув голову ко мне, Микоян закончил: — Оформи запись беседы и передай мне. Я третьего улетаю на Пицунду.

— Я тоже поеду туда, хочу догулять отпуск,— ответил я.

— Туда и привезешь запись. Никому ее не показывай, ни одному человеку. Я расскажу обо всем Никите Сергеевичу, посоветуемся.

Анастас Иванович протянул Галюкову руку.

— Сергей отвезет вас.

По ярко освещенной лестнице мы спустились в пустую прихожую. Одевались торопливо, чтобы нас не заметили. Но дом был пуст. Василий Иванович нервничал, пытался скрыть свое волнение и от этого нервничал еще больше. Мы сели в машину.

— Анастас Иванович мне не поверил. Напрасно мы вообще к нему поехали,— огорченно произнес Галюков.

Я стал его успокаивать:

— Вы поступили совершенно правильно. Последние слова носили просто характер общей декларации. До проверки Анастас Иванович не хотел бросать тень на членов Президиума ЦК.

Василий Иванович не стал со мной спорить, но было видно, что он крайне подавлен. Условившись при необходимости созвониться, мы расстались.

Больше я Галюкова не видел. События вскоре понеслись вскачь, и было не до встреч. Я очень беспокоился за его судьбу — наверняка Игнатов все знал и не преминул расправиться с «изменником». А может, его арестовали? Окольными путями я позднее выведал, что неприятности у Василия Ивановича были, но всерьез им не занимались и вскоре оставили в покое. Лишь осенью 1988 года, после публикации в журнале «Огонек» этого отрывка, Василий

Иванович позвонил в редакцию, и мы встретились. Он жив, здоров и работает в аппарате Совета Министров СССР...

На следующее утро я, как обычно, был на работе. Нужно было ликвидировать долги перед отпуском, как всегда, накопилось много дел — завершались одни проекты, начинались другие. И, главное, нужно было успеть оформить стенограмму беседы.

Расшифровать ее — я расшифрую. А как быть дальше? Печатать я не умею, а доверить эту тайну кому-то постороннему невозможно и подумать. Есть у нас, конечно, машинописное бюро, где печатают самые секретные документы. Может, отдать туда? Нет, слишком рискованно. Придется писать от руки. Почерк у меня препаршивейший, но выбора нет.

Разложив свои листочки, я принялся за работу. Писал разборчиво, почти печатными буквами. Дело продвигалось медленно. Я вспоминал каждую фразу, старался не упустить ни слова. Постепенно втянулся, разговор врезался мне в память намертво. Крупные буквы заполняли страницу за страницей. Откуда-то пришло чувство собственной значимости, причастности к решению проблем государственной важности. Тревога последних дней отступила на второй план. Свой долг я выполнил. Сейчас Микоян уже на Пицунде, там они разберутся что к чему и примут все необходимые решения.

Вот и последняя страница. Заявление Анастаса Ивановича я опустил — оно как-то не укладывалось в общий тон сухого перечисления фактов. Ведь пишу я не декларацию, а справку для памяти.

Аккуратно собрал исписанные листы. Получилось хорошо, читается легко, буквы все четкие, разборчивые. Мелькнула мысль: «Надо было бы под копирку сделать второй экземпляр». И тут же ее отбросил: «Зачем? Документ слишком секретный. Мало ли кому он может попасть в руки?»

В тот момент я не мог себе представить реальной судьбы этой записки. Потом пришлось восстанавливать все по моим стенографическим записям, благо хватило ума их не сжечь...

Теперь оставалось только проститься с Челомеем, и можно трогаться в путь. Владимир Николаевич меня

принял немедленно. Он был полон впечатлений от последних встреч на полигоне и остро переживал постигшую нас неудачу. В ней он больше всего винил Дмитрия Федоровича Устинова, для которого не жалел эпитетов. Постепенно страсти улеглись, и разговор перешел на наши повседневные дела.

— Ты должен больше помогать мне,— неожиданно произнес Владимир Николаевич.

Я несколько опешил и стал говорить о наших делах, о предполагаемых решениях, своих задумках.

Челомей перебил меня:

— Нет, я о другом. Хватит тебе сидеть заместителем начальника КБ у Самойлова. Это конструкторское бюро ты должен возглавлять сам. Так лучше для дела, и мне ты сможешь больше помогать. Надо расти.

Как и всякому человеку, мне было лестно такое предложение. Похвалы всегда приятны. К ответу я не был готов — меня моя должность устраивала, и я не задумывался о служебном продвижении, тем более что считал своих начальников людьми достойными и знающими.

В свою очередь я задал вопрос:

— А куда вы думаете назначить Самойлова?

— Найдем куда,— отмахнулся Челомей,— пусть тебя это не волнует.

Но я все же стал настаивать. Чувствовалось, что у Владимира Николаевича решения нет и он начал импровизировать на ходу.

— Назначим его начальником приборного производства. Будет реализовывать твои разработки. И вообще, что ты о нем беспокоишься? Я его работой недоволен, пора менять. Ты на эту должность подходишь куда лучше.

С такой ситуацией я согласиться не мог. Самойлов много лет проработал начальником КБ, с делами справлялся не хуже других, а к тому же был моим другом. Занимать его место я не хотел.

Однако спорить я не стал. О чем бы я ни говорил, что бы ни делал, в подсознании острой занозой сидели разговоры с Галюковым, его предупреждения. Вот и сейчас я подумал: «А интересно, что бы сказал Челомей, знай он то, что знаю я? Продолжил бы он свой разговор?» Здра-

вый смысл и практика взаимоотношений в нашем ОКБ отвечали: нет...

— Владимир Николаевич, какой смысл обсуждать все это перед отпуском? Вот вернусь, и, если вы не передумаете, можно будет возобновить разговор,— ответил я.

— Я уже все обдумал, и решение принято. Так и считай. Вернешься из отпуска, оформим приказом, — отрезал Челомей.

Больше к этому разговору мы не возвращались никогда...

Итак, я — в отпуске.

Позади короткий перелет, и вот уже машина тормозит у знакомых зеленых ворот пицундской дачи. В доме все идет по давно заведенному распорядку. Отец занят послеобеденной почтой. Коротко здороваемся.

— Ты пообедай, а я пока закончу читать. Потом пойдем погуляем,— говорит он и возвращается к тоненьким листочкам с красной типографской шапкой — расшифрованным донесениям послов. Все как обычно.

Через час-полтора дела закончены, и мы выходим на аллейку, тянущуюся вдоль пляжа. Но сначала заходим в соседний дом за Микояном.

Мне не терпится узнать, что же происходит, но вопросов не задаю. Надо будет — сами скажут.

И все-таки, не утерпев, вставляю в их разговор:

— Я привез запись, Анастас Иванович. Что с ней делать?

— Вернемся, отдашь Анастасу,— отвечает за Микояна отец.— Вчера приезжал к нам Воробьев, секретарь Краснодарского крайкома,— продолжил он.— Мы его спросили обо всех этих разговорах с Игнатовым. Он все начисто отрицал. Оказывается, ничего подобного не было. Он нас заверил, что информация этого человека, забыл его фамилию,— плод воображения. Он у нас тут целый день был. Еще пару индюков в подарок привез, очень красивых. Ты сходи на хозяйственный двор, посмотри.

Считая тему исчерпанной, отец вернулся к текущим делам.

Я оторопел. Так значит, они все эти дни не только ничего не предпринимали, но даже не пытались выяснить, соответствует ли истине полученная информация?!

«Поговорили с Воробьевым»,—но если он действительно о чем-то договаривался с Игнатовым, что-то знает, то, без сомнения, им ничего не скажет. Интересно, чего они ожидали: признания в подготовке отстранения Хрущева? Что это? Наивность? Как можно проявлять такое легкомыслие?

Только значительно позже я понял истоки поведения отца. Он не верил, не хотел верить в возможность такого поворота событий. Ведь люди, в адрес которых выдвинуты обвинения, были его друзьями в течение десятилетий! Если не верить им, то кому же верить? К тому же семидесятилетний отец устал, безмерно устал морально и физически. У него не было ни сил, ни желания вступать в борьбу за власть. Пусть все идет своим чередом, я вмешиваться не буду, очевидно, решил он.

...Дорожка была узкой, втроем в ряд не уместиться. Я несколько поотстал и предался своим невеселым мыслям. Начало смеркаться. Стал накрапывать мелкий дождичек. Наконец мы вернулись к даче. Микоян сказал, что пойдет к себе, а после ужина зайдет. Отец пригласил его вечером посмотреть присланный из Москвы новый кинофильм.

Пока они разговаривали, я сбегал в свою комнату и принес папку с записью беседы. Правда, я уже перестал понимать, нужна ли она еще кому-нибудь здесь, на Пицунде. Анастас Иванович, не раскрывая, сунул папку под мышку и ушел к себе.

Итак, свою роль я выполнил до конца, мне оставалось только ждать дальнейшего развития событий, если они, конечно, наступят. Оказалось, однако, что в этот день мне уготовано участие еще в одном, правда, совсем незначительном эпизоде.

Вечером, после окончания фильма, Анастас Иванович попросил меня зайти. Недоумевая, я пошел следом за ним. На даче Микоян жил один. Мы поднялись на второй этаж, и он жестом пригласил меня в спальню. Там он открыл трехстворчатый гардероб и, согнувшись, полез рукой под высокую стопку белья, лежавшую на нижней полке. Повозившись, он достал из-под белья мою папку.

— Все правильно записано, только добавь в конце мои слова о том, что мы полностью доверяем и не сомневаемся в честности товарищей Подгорного, Бреж-

нева и других, не допускаем мысли о возможности каких-то сепаратных действий с их стороны.

Микоян говорил «мы» по привычке, от имени Президиума ЦК. Меня это не удивило.

Мы вышли из спальни в столовую, точно такую же, как и у нас на даче. Даже мебель и чехлы на ней были одинаковы.

— Садись, пиши.

Я присел и начал писать. Анастас Иванович стоял рядом, изредка поглядывая через мое плечо. Закончив писать, я протянул ему рукопись. Он внимательно прочитал последний абзац и удовлетворенно кивнул. Некоторое время он о чем-то раздумывал, потом протянул листы мне назад.

— Распишись.

Я удивился: это же не официальный документ.

— А зачем?

— Так лучше. Ведь ты же записывал беседу.

Никаких оснований возражать у меня не было. На многочисленных стенограммах, которые мне приходилось читать вслух отцу, всегда внизу стояло: «Беседу записал такой-то».

Я взял листок и расписался.

— Вот теперь все хорошо.— Анастас Иванович аккуратно подровнял листы, сложил их в папку и молча направился в спальню.

Я не знал, что мне делать, и, секунду поколебавшись, так же молча последовал за ним. Микоян открыл шкаф и засунул папку под стопку рубашек. Повернувшись, он уловил мой недоуменный взгляд.

— Здесь будет сохраннее,— немного смутившись, пояснил Анастас Иванович,— а вообще этот твой человек, видимо, много навыдумывал. Воробьев вчера полностью все отрицал. Бывает, у людей излишне разыгрывается подозрительность.

Я попытался осторожно заметить, что если сказанное Галюковым — правда, то вряд ли Воробьев — участник всего этого дела — сразу, без каких-то доказательств, признается.

— Ладно, иди домой.— ответил Микоян, явно не желая обсуждений.

Когда я вернулся, отец уже ушел к себе дочитывать вечернюю порцию бумаг.

Утро двенадцатого октября встретило нас теплой, ясной погодой. Невысокое солнце слабо пригревало. На тумбах вокруг дома торчали шапками яркие георгины, алели канны — последние цветы уходящего летнего сезона. О Галюкове и его предупреждениях не вспоминали. Микоян не появлялся, а отец после завтрака и массажа удобно расположился в кресле на открытой террасе плавательного бассейна, выстроенного у самой кромки воды. Тут же стоял плетеный столик с аппаратом «ВЧ».

Я пристроился рядом.

— Что там у нас? — спросил отец помощника, державшего в одной руке толстую папку с полученными сегодня из Москвы документами. В другой у него был тугой портфель с бумагами, ждущими своей очереди; материалы по новой Конституции, докладные записки, проекты постановлений, требующие изучения.

— Ничего срочного, Никита Сергеевич, — ответил Владимир Семенович Лебедев. Сегодня была его очередь докладывать почту.

— Хорошо, сейчас посмотрим. А как дела с материалами по Конституции?

— В ближайшие дни обработаем ваши замечания и представим, — как обычно вежливо улыбнулся Лебедев.

— Мы тут на свободе занялись подготовкой текста новой Конституции. Затянули это дело. Хотелось к Пленуму в ноябре подготовить редакцию для обсуждения. Я надиктовал свои мысли, сейчас над ними работают, — пояснил мне отец.

Моего ответа не требовалось. Я мог слушать доклад молча, пока очередь не доходила до секретных документов. Тогда отец обычно кратко бросал: «Сходи-ка погуляй...»

— Завтра вы принимаете француза Гастона Палевского, государственного министра. Он прилетит вечерним самолетом, — напомнил Лебедев. — Вот справка о нем.

— Хорошо, положите. С гостем поступим так: привозите его часа в два. Мы с ним поговорим, а потом погуляем по парку и пообедаем вместе, — отозвался отец.

Лебедев положил на стол тонкую бумажную папку со справкой, а рядом легли толстые папки: зеленая — с материалами зарубежной прессы, красная — с шифровками

послов и серо-голубая — с бумагами, поступившими из различных ведомств. Сам Владимир Семенович сел рядом на стул и приготовился докладывать. Последнее время помощники все чаще читали бумаги вслух, зрение у отца стало хуже, глаза быстро уставали. Только документы, требующие особого внимания, он читал сам.

Сегодня отец не торопился приступать к просмотру почты. День был не совсем обычным — утром должны были запустить на орбиту космический корабль «Восход» с экипажем из трех человек.

Отец внимательно следил за каждым запуском. Ракетная и космическая техника была его любимым делом, и он всей душой болел за каждый новый шаг, с детской непосредственностью радовался удачам и горько переживал неполадки. Аварийных запусков с космонавтами не случалось, но никто не был от них застрахован. Именно поэтому он запрещал такие запуски приурочивать к праздникам: вдруг произойдет несчастье.

— Работайте спокойно, без спешки, не гонитесь за торжественными датами. Пускайте людей только после тщательной подготовки,— неоднократно повторял он Сергею Павловичу Королеву.

Час запуска был известен, и отец то и дело поглядывал на небольшие прямоугольные карманные часы, подаренные ему Лео Сцилардом, известным американским физиком. Он очень дорожил этими часами и с удовольствием демонстрировал их всем желающим. Часики были заключены в стальной футляр, состоящий из двух половинок, раздвигающихся в стороны. Тогда становился виден циферблат. При открывании и закрывании часы подзаводились, это особенно нравилось отцу, он любил остроумные технические решения. Льстило ему и то, что это подарок от такой мировой знаменитости, как Сцилард.

Отец любил вспоминать слова Сциларда, которые тот сказал, вручая ему часы:

— Я хотел подарить вам какой-нибудь сувенир, доставивший бы вам удовольствие. Не хотелось делать формальный подарок. Эти часы очень удобны, я сам ношу такие — они надежно упрятаны в корпусе и не разобьются, если упадут. Их не надо заводить по утрам. Нам, пожилым людям, бывает тяжело носить наручные

часы, они мешают кровообращению. Надеюсь, вы будете ими пользоваться.

Искренность и сердечность его слов очень тронули отца, запали ему в душу. И сейчас, сидя в кресле, он поигрывал часами, то и дело открывая и закрывая крышки.

— Запуск прошел,— объявил он и посмотрел на телефон. Аппарат молчал.

— Еще рано, наверное, не успели получить информацию.

Обычно сразу после запуска отцу звонил заместитель Председателя Совета Министров, отвечающий за ракетную технику, докладывал о результатах, потом звонил Королев, иногда Малиновский. Каждому хотелось первым сообщить приятную весть и получить свою порцию комплиментов. Сам отец не звонил, не справлялся, как идут дела.

— Пусть спокойно работают. Помочь я им ничем не могу, а звонки начальства только нервируют, люди начинают спешить, могут ошибиться. В этом деле ошибки недопустимы,— объяснял он свою позицию.

На сей раз телефон молчал долго. Отец занялся бумагами, но сосредоточиться не мог. То и дело поглядывал он на массивный белый аппарат. Никто не звонил. Прошло полчаса, сорок минут — молчание становилось все более странным.

Если все благополучно, то космонавты давно на орбите; если произошла задержка или авария, тоже должны были уже сообщить...

Мне стало не по себе. Казалось, о Хрущеве забыли, сбросили со счетов, и никто уже не интересовался ни его мнением, ни его распоряжениями. Что-то зловещее было в этом молчащем телефонном аппарате. Засосало под ложечкой, опять невольно вспомнился Галюков, события последних недель.

«Нет, это неспроста»,— подумал я.

Видимо, у отца тоже появились такие мысли, и он приказал Лебедеву:

— Соедините меня со Смирновым.

— У телефона Смирнов,— через минуту доложил Владимир Семенович.

Связь действовала отлично. Отец взял трубку.

— Товарищ Смирнов,— сдержанно произнес он, — как дела с запуском космонавтов у Королева? Почему не докладываете?

В голосе слышалось раздражение. Смирнов, очевидно, ответил, что с запуском все нормально, космонавты уже на орбите, чувствуют себя хорошо.

— Так почему вы мне не докладываете?

Раздражение перерастало в гнев.

— Вы обязаны были немедленно доложить мне результаты!

Смирнов, видимо, сказал, что не успел позвонить. Он, конечно, уже все знал и не торопился звонить отцу. Для него смена власти фактически произошла...

Несомненно, столь необычное поведение могло бы насторожить отца, но что он мог сделать, будучи здесь, на Пицунде...

— Как это «не успели»?! Я не понимаю вас! Ваше поведение возмутительно! — бушевал отец.

Судя по реакции, Смирнов слабо оправдывался.

— Товарищ Смирнов, учтите, я требую от вас большей оперативности! Вы затягиваете решение вопросов! — отец тут же перешел к другой теме.— На полигоне вам поручили подготовить предложения по новой ракете Королева. Срок давно истек, а предложений нет! Учтите, я вами недоволен!

Отец бросил трубку. Постепенно гнев его остывал. Попросил соединить с Королевым. Тепло поздравил его с очередной победой, пожелал новых успехов коллективу. Успокоившись, занялся текущими делами.

— Чего тебе без дела сидеть,— обратился он ко мне с улыбкой,— почитай-ка ТАСС, а Лебедев пока отдохнет.

Я открыл толстую зеленую папку и начал читать информацию ТАСС, сообщения иностранной прессы. Лебедев потихоньку ушел. Через полчаса он вернулся и сообщил, что вскоре с космическим кораблем будет установлена прямая связь.

— Никита Сергеевич, вы поприветствуете космонавтов?

— Конечно. Им это будет приятно, да и для меня поговорить с ними — удовольствие. Предупредите Микояна, пусть тоже подходит.

— Связь лучше всего организовать из маленького

кабинета, не надо будет подниматься на второй этаж. Журналисты очень хотят сделать снимки. Вы не возражаете? — спросил Лебедев формального разрешения, заранее зная результат.

— Конечно. Когда все будет готово, предупредите меня.

Отец обожал эти телефонные разговоры с космонавтами. Он с детской непосредственностью восхищался техникой, которая позволяет вот так просто, из дачного кабинета, связаться с космическим кораблем. Он гордился этими достижениями, видел в них частичку и своего труда.

— Пусть люди порадуются, ощутят наше внимание. Им там нелегко,— повторял отец, когда к нему обращались по поводу приветствия космонавтам или их торжественной встречи в Москве.

Пришел Анастас Иванович. Они начали обсуждать какие-то дела, ожидая приглашения к телефону. Наконец появился Владимир Семенович Лебедев и доложил, что все готово.

Маленький кабинет — комната площадью около 15 квадратных метров — располагался рядом со столовой на первом этаже. Стены были обшиты панелями из красного дерева. В углу стоял письменный стол, тоже красного дерева, затянутый зеленым сукном, с батареей телефонов на крышке. Обстановку дополняли обтянутые кожей стулья и диван с гнутой спинкой. Из-за мебели в комнате было тесновато. Двери кабинета выходили прямо на большую веранду, обращенную к морю.

Раньше здесь была проходная комната. Последнее время отцу стало трудно подниматься по лестнице, а все телефоны стояли в кабинете на втором этаже. Вот и оборудовали этот кабинетик, чтобы отец мог без помех связаться с Москвой, когда работал на террасе.

Надо сказать, что отец не любил пользоваться кабинетом и обычно пристраивался со своими бумагами на конце обеденного стола в большой столовой на втором этаже или же внизу на свежем воздухе. Но больше всего он любил открытую террасу у плавательного бассейна.

Сейчас комната была забита людьми с фото- и киноаппаратами, по углам стояли софиты, заливавшие все

вокруг ярким светом, по полу тянулись в разные стороны толстые провода.

Отец с Микояном вошли через балконную дверь. Защелкали фотоаппараты, возникла обычная в таких случаях толчея. Дежурный связист доложил, что связь будет установлена через одну-две минуты, и, не выпуская трубки из рук, чуть-чуть посторонился, пропуская отца к креслу, стоящему у стола. Микоян расположился рядом на стуле. Лебедев, вооружившийся фотоаппаратом, присоединился к корреспондентам. Я остался у двери, стараясь не попасть в кадр. Внутри места уже не было.

— Есть связь,— торжественно объявил дежурный.

Отец взял трубку. Защелкали фотокамеры, еще ярче вспыхнули софиты. Началась киносъемка.

Разговор был похож на все предыдущие беседы с космонавтами на орбите. Взаимные поздравления и пожелания успехов перемежались шутками.

— Вот здесь рядом со мной Микоян, просто вырывает трубку,— закончил отец.

К телефону подошел Анастас Иванович. Опять поздравления, пожелания благополучного возвращения.

— Космический корабль выходит из связи, — предупредил дежурный.

Приветствия окончены. Все стали расходиться.

Подошло время обеда. Пообедали все вместе. После обеда отец остался в столовой и занялся своими бумагами. Рядом сидел Лебедев. Я примостился с книгой на диване. Мое внимание привлекли слова Лебедева. Передавая очередной документ, он произнес:

— Это объяснение, которое написал Аджубей.

Я бросил книгу и стал прислушиваться. Отец молча прочитал отпечатанный на машинке текст и отложил листки в сторону.

Я недоумевал: что случилось?

Недавно Аджубей в качестве личного представителя Хрущева побывал в Западной Германии. Эра Аденауэра кончилась, и обе стороны осторожно нащупывали почву для сближения. Одним из шагов навстречу друг другу должна была послужить поездка Аджубея в Бонн. Он был удобной фигурой: с одной стороны, лицо неофициальное, главный редактор газеты, с другой — зять премьера. Все сказанное ему достигнет ушей, которым

информация предназначалась. На эту поездку отец возлагал большие надежды. В случае удачи он сам собирался нанести визит западным немцам.

Любопытство победило, и я задал вопрос вслух:

— Что случилось?

Отец поднял голову.

— Сам еще не понимаю. По разведывательным каналам поступила информация, что Алексей в Бонне наболтал лишнего. Я попросил его написать объяснение в Президиум ЦК. Может, какая-то провокация?..

История, как выяснилось, заключалась в следующем. Результаты советского зондажа с целью установить прямые контакты между двумя странами интересовали всех: ведь разрядка между СССР и ФРГ неизбежно меняла весь политический климат в Европе. Особо пристальное внимание привлекала поездка Аджубея в некоторых братских странах — для них многое зависело от того, как сложатся отношения СССР и Западной Германии.

Хотя руководители дружественных государств постоянно обменивались политической информацией, их разведки следили за каждым шагом Аджубея в Бонне, стараясь не упустить ни единого слова.

Усердие окупилось с лихвой. В одном из донесений говорилось, что в ответ на осторожный зондаж, может ли улучшение отношений между Россией и Западной Германией повлиять на существование берлинской стены, Аджубей якобы ответил, что, когда приедет Хрущев и увидит сам, какие немцы хорошие ребята, от стены не останется камня на камне.

История выглядела подозрительной, но наши друзья сообщили, что разговор записан на магнитофон. Положение создалось чрезвычайно щекотливое...

Обо всем этом Семичастный доложил Президиуму ЦК.

В своем объяснении Аджубей все начисто отрицал. Конечно, не исключено, что пленку подсунули спецслужбы ФРГ, желая вбить клин между нашими странами. Но если информация Галюкова соответствовала истине, то пресловутая пленка подоспела как раз вовремя. Ведь речь шла уже не об Аджубее, а о Хрущеве, который доверил ему проведение столь важной и деликатной миссии.

Эта история так и осталась невыясненной: после от-

ставки Никиты Сергеевича ею никто не занимался. Видимо, игра была сыграна, и боннский эпизод уже никому не был нужен...

...Наступал вечер. Еще один день мирно заканчивался. Отец и Микоян не спеша прогуливались по аллейке вдоль моря. Девятьсот метров туда, девятьсот — обратно. Сзади, стараясь не попадаться на глаза, следовала охрана. Стемнело. На небе в просветах между тучами засветились первые звезды.

Прогулку прервал подбежавший дежурный:

— Никита Сергеевич, вас просит к телефону товарищ Суслов.

Все повернули к даче. Отец с Микояном вошли в маленький кабинет, где стоял аппарат «ВЧ». Я последовал за ними. Охрана осталась в парке.

Отец снял трубку.

— Слушаю вас, товарищ Суслов.

Наступила длинная пауза. Михаил Андреевич что-то говорил.

— Не понимаю, какие вопросы? Решайте без меня,— произнес отец.

Опять пауза.

— Я же отдыхаю. Что может быть такого срочного? Вернусь через две недели, тогда и обсудим.

Отец начал нервничать.

— Ничего не понимаю! Что значит «все собрались»? Вопросы сельского хозяйства будем обсуждать на Пленуме в ноябре. Еще будет время обо всем поговорить!..

Суслов продолжал настаивать.

— Хорошо,— наконец сдался отец.— Если это так срочно, завтра я прилечу. Узнаю только, есть ли самолет. До свидания.

Он положил трубку.

— Звонил Суслов, — обратился он к Микояну. — Якобы собрались все члены Президиума и у них возникли какие-то срочные вопросы по сельскому хозяйству, которые надо обсудить перед Пленумом. Настаивают, чтобы я завтра же прилетел в Москву. Ты слышал, я хотел отложить до возвращения из отпуска, но они не соглашаются. Придется лететь. Ты полетишь?

— Конечно.

— Ну что ж. Надо решить, как быть с завтрашней

встречей, и попросить подготовить самолет... Дежурный! — позвал отец в раскрытую на балкон дверь.

Появился офицер охраны.

— Мы завтра вылетаем в Москву. Анастас Иванович тоже летит. Свяжитесь с Цыбиным, пусть подготовит самолет. Прием француза перенесем на утро. Побеседуем с ним полчаса. Обед отменим. После беседы перекусим и полетим. Заказывайте вылет приблизительно на двенадцать часов, если летчики успеют. Все.

Офицер охраны повернулся и исчез за деревьями.

Мы возвратились на аллейку. Прогулка продолжалась. В воздухе повисло тягостное молчание.

Первым разговор начал отец.

— Знаешь, Анастас, нет у них никаких неотложных сельскохозяйственных проблем. Думаю, что этот звонок связан с тем, о чем говорил Сергей.

Отец вздохнул, обернулся назад и заметил, что я иду за ними следом.

— Шел бы ты по своим делам,— произнес он, обращаясь ко мне.

Я отстал и продолжения разговора не слышал. Только потом мне стало известно, что отец сказал Микояну примерно следующее:

— Если речь идет обо мне — я бороться не стану.

А тогда, оставшись наедине со своими мыслями, я невольно подумал: «Началось...»

...Сегодня, основываясь на воспоминаниях участников описываемых событий, можно с достаточной степенью точности реконструировать происходящее в этот момент в Москве. Речь идет прежде всего о воспоминаниях Семичастного и Шелеста. Семичастный в сентябре отдыхал в Железноводске. В том же санатории жил Демичев, а по соседству, в Кисловодске, находился Шелепин. Они часто встречались, ездили на Домбай, в другие места, не обошли своим вниманием и охоту. Вместе они провели всего неделю. Шелепин и Демичев торопились в Москву, и Семичастный остался один.

Через несколько дней ему по «ВЧ» позвонил Шелепин и потребовал, чтобы он немедленно вернулся в Москву. Владимиру Ефимовичу не хотелось срываться из отпуска, поскольку это случалось уже не впервые, но, как вскоре выяснялось, каждый раз попусту. Брежнев боялся реши-

тельных действий. А когда он узнал, что отцу стало что-то известно о готовящихся событиях, он просто-напросто запаниковал.

Николай Григорьевич Егорычев, в те годы первый секретарь Московского городского комитета партии, вспоминает об этом так:

— Могу лишь добавить, что сам Брежнев в начале октября очень напугался, узнав о том, что Хрущев обладает какой-то информацией на этот счет, и никак не хотел возвращаться из ГДР, где находился во главе делегации Верховного Совета СССР.

Домой Брежнев в конце концов вернулся, но приступать к реализации своих планов по-прежнему опасался. Шли нескончаемые разговоры, перебирались всевозможные варианты исхода, а «дело» с места не двигалось.

Поэтому Семичастный стал допытываться, насколько серьезна перспектива на этот раз. Шелепин был непреклонен.

— На этот раз — все,— отрезал он.

— Хорошо,— отбросил колебания Семичастный, — завтра я буду в Москве.

На следующий день после этого разговора все посвященные собрались на квартире у Брежнева. Были там почти все члены Президиума, секретари ЦК, прилетел из отпуска и Семичастный. Решили звонить на Пицунду Хрущеву, чтобы вызвать его в Москву под предлогом обсуждения вопросов, связанных с предстоящим Пленумом ЦК. Звонить, по общему мнению, должен был Брежнев, но он все не решался взять на себя такую ответственность. «С трудом его уговорили, силой притащили к телефону»,— свидетельствует Семичастный.

И все-таки в последний момент Брежнев испугался и звонить пришлось Суслову.

Нужно учесть, что до самого последнего момента его не привлекали к подготовке этой акции. Видимо, потому, что он не принадлежал ни к «украинской» группировке Брежнева — Подгорного, ни к «молодежной» Шелепина.

Вот что говорит об этом Петр Ефимович Шелест:

— Суслов до последнего времени не знал об этом. Когда ему сказали, у него посинели губы, передернуло рот: «Да что вы? Будет гражданская война...» — только и смог произнести он.

Тем не менее Михаил Андреевич быстро сориентировался в обстановке и в описанном разговоре с отцом был спокоен и непреклонен.

Не только Суслова известили в последнюю минуту. По словам Семичастного, «когда пришли к Косыгину за неделю до этого, то первый вопрос был:

— Как КГБ?

Когда ему сказали, что мы в этом участвуем, он сказал:

— Я согласен.

А Малиновскому сказали за два дня, — свидетельствует Семичастный. — Я уже собрал начальников особых отделов Московского округа. Не стал говорить о существе дела, но предупредил:

— Если в эти дни хоть один мотоциклист выедет из расположения части с оружием, с пулеметом и прочим... имейте в виду — не сносить вам головы... Без сообщения мне ничего никому не позволять предпринимать.

...Министр еще не знал [о готовящихся событиях], командующий округом не знал, а уже все было наготове.

Через два дня Пленум!!!

Представляете?..».

Ничего этого мы на Пицунде, конечно, не знали.

...Отец с Микояном кружили по дорожкам под соснами, а я остался на прибрежной тропинке. Бросил взгляд на море. На горизонте мое внимание привлек силуэт военного корабля. «Сторожевик пограничной охраны», — автоматически отметил я про себя. Во время отдыха отца его резиденция охранялась и с моря. Слева, в нескольких километрах от дачи, у пирса рыбоконсервного завода, постоянно дежурил пограничный катер: вдруг кто-нибудь решит высадиться с моря. Никто на него не обращал внимания, все привыкли, что он там стоит, — это была часть пейзажа.

Занятый мыслями о телефонном разговоре, я автоматически следил за приближающимся кораблем. Стремительные контуры военных кораблей всегда притягивают взор. На сей раз поведение сторожевика было необычным, он не обходил бухту по широкой дуге, чтобы потом резко свернуть к пирсу, а шел параллельно берегу на расстоянии нескольких сотен метров. Прямо напротив дачи корабль застопорил ход и остановился. Тут было слишком глубоко, чтобы бросать якорь, поэтому легкий

ветерок постепенно разворачивал его носом к берегу. Людей на палубе видно не было. В вечерней тишине гулко отдавался скрежет каких-то механизмов.

Все это было очень необычно, а в связи с последними событиями — предупреждением Галюкова, звонком Суслова — выглядело даже несколько зловеще.

Неподалеку я заметил дежурного. Он, как офицер охраны, должен был знать все.

Я подошел к нему и показал на черный силуэт.

— Что это он тут делает?

— Сам не понимаю. Мы запросили пограничную заставу, они ответили, что корабль пришел по распоряжению Семичастного. Я потребовал от пограничников, чтобы они отвели его на обычное место. Здесь ему быть не положено. Его место у пирса.

Быстро темнело. Чернота ночи растворила зловещий силуэт, только ярко светились желтоватые точки иллюминаторов. Через некоторое время корабль ожил, раздались какие-то команды, что-то зазвенело, загрохотало. Потихонечку, как бы нехотя, сторожевик двинулся к пирсу, но пришвартовываться не стал, а остановился чуть поодаль, развернувшись носом к морю.

Цель прихода этого корабля так и осталась неясной. В бурном потоке последующих событий подобная мелочь никого не заинтересовала. Вряд ли кто-то мог предположить, что отец решит вплавь бежать в Турцию или высаживаться с десантом в районе Сухуми.

Но мрачность черного силуэта на фоне безмятежного моря врезалась мне в память. Эта фигура четко вписывалась в ощущение общего душевного беспокойства. «Все в наших руках»,— как бы говорила она.

Видел ли отец этот корабль, или его появление прошло для него незамеченным — никто не знает. Спросить об этом, естественно, никому не пришло в голову.

Погуляв около часа, отец и Микоян разошлись по домам. Я тоже вошел в дачу. Стемнело. Отец стоял у маленького столика в углу столовой и пил «боржоми». Вид у него был усталый и расстроенный.

— Не приставай,— предупредил он, увидев, что я раскрыл рот, собираясь задать вопрос.

Допив воду, он постоял еще некоторое время со стака-

ном в руке, потом осторожно поставил его на столик, повернулся и медленно пошел к себе в спальню.

— Спокойной ночи,— не оборачиваясь, произнес он.

Мне очень хотелось с кем-нибудь поговорить обо всем происшедшем, посоветоваться. Я просто не мог больше хранить все, что знал, в памяти. Надо было на что-то решаться. Не могло быть сомнений, что никто, кроме отца, никаких действий предпринять не может, тем более я, не связанный ни с кем из политических деятелей. Но мне была необходима хоть какая-то иллюзия деятельности.

Отец со мной говорить не хотел, да я и не рассчитывал на это. В его глазах я был мальчишкой, а с мальчишками в таком серьезном деле не советуются. С помощниками или с охраной говорить не хотелось. Неизвестно, что они знают и какую роль играют во всем этом деле. Тем более что за Лебедевым давно утвердилась репутация «правого», человека Суслова*.

Я пошел шататься по комнатам. Забрел к Лебедеву. Он молча паковал бумаги в объемистые портфели. Вид у него был растерянный. Мы обменялись ничего не значащими фразами: отъезд-де неуместен, Никита Сергеевич не успел отдохнуть, а он очень устал. Как бы сговорившись, мы не затрагивали главного. Помявшись у двери, я ушел.

Мелькнула мысль позвонить Серго Микояну. Он мой старый друг, с ним можно всем поделиться. Тем более Анастас Иванович непосредственный участник всего этого дела. Нужно предупредить Серго о происходящих событиях.

Я понимал, что Серго реального ничего не предпримет, он так же беспомощен, как и я. Однако ум хорошо, а два лучше. Я прошел в маленький кабинет и, сняв трубку «ВЧ», попросил соединить с квартирой Микояна в Москве. Серго оказался дома. Я сказал ему, что отец с Анаста-

---

* На деле, как это часто бывает в жизни, все оказалось иначе. В трудный момент Лебедев проявил искреннюю преданность делу отца и ему лично. Он не поступился ничем и в результате был уволен из ЦК, тяжело заболел и вскоре умер. Шуйский же, в котором никто не сомневался, оказывается (как я уже писал), был осведомлен о готовящихся событиях, но скрывал информацию от отца. За это он был «вознагражден»: оставлен на работе в ЦК, где спокойно просидел до ухода на пенсию.

сом Ивановичем срочно летят в Москву, возникли какие-то дела.

— Очень прошу тебя встретить меня,— попросил я,— надо посоветоваться.

Понятно, что я боялся доверить телефону хотя бы крупицу информации.

Серго обещал, впрочем, это ничего не значило. Вечно занятый, он всегда опаздывал, а то и вовсе не являлся на встречу. К этому все привыкли.

Я еще раз повторил:

— Обязательно встречай.

— Да, да, конечно,— беззаботно отозвался он.

Положив трубку, я отправился спать...

Не только нас выбил из колеи звонок Суслова. Как говорит в своих воспоминаниях Семичастный, не находил места себе и Брежнев.

«Через каждый час мне Брежнев звонил:

— Ну, как?

Почему мне? Потому что [Хрущев должен был] заказать самолет через меня, через мои службы.

Только в двенадцать часов ночи мне дежурный... позвонил и сказал, что позвонили с Пицунды и заказали самолет на шесть утра. Чтобы в шесть утра самолет был там.

Я тут же ему позвонил. Рассказал. Вот тогда немножко отлегло у всех».

«Отлегло», поскольку все они — и трусоватый Брежнев, и сухой и осторожный Суслов, и рассудительный Косыгин, и самоуверенный Шелепин — каждый по-своему побаивался Хрущева.

Семичастный вспоминает: «...Он смял таких, как Маленков, Молотов, всех. Ему, как говорят, природа и мама дали дай бог. Сила воли, сообразительность... быстрое мышление, разумное.

Когда я к нему шел докладывать, я готовился всегда дай бог. У Лени я мог... с закрытыми глазами. Можно было пару анекдотов рассказать — и весь доклад».

Все ждали от Хрущева быстрых и решительных ответных действий. Молчание Пицунды пугало. Никто не мог предположить, что отец... пошел спать.

От Семичастного требовали подробной информации, гарантий. А новости от него поступали скупо.

«Мне ...сообщили, что с ним летит Микоян. Хорошо... Я принял все это. Я... не знал, сколько он привезет охраны. Если он додумается, он может что-то еще новое [придумать]. С Малиновским уже был разговор, поэтому дать команды войскам, как главнокомандующий, он уже не мог. [Малиновский заблокировал бы.] Потому что, если беда, все равно притянули бы его, притащили».

Вот в таких драматичных переживаниях в Москве, на Дорогомиловке и Лубянке, тянулась ночь с 12 на 13 октября...

Утро 13 октября — последнее утро «славного десятилетия» Хрущева — встретило нас теплом и покоем. Распорядок дня не нарушился. Внешне отец был абсолютно спокоен. За завтраком он, как обычно, пошутил с женщиной, подающей на стол, посетовал на свою диету. Потом заговорил с помощником о текущих делах.

После завтрака отец просмотрел бумаги, хотя теперь это уже не было нужно ни ему, ни тем, кто эти бумаги направил. Но многолетняя привычка требовала исполнения ритуала. Одно только было необычным — телефоны молчали...

Дежурный начальник охраны доложил, что самолет подготовлен и вылет назначен на час дня. Отец только кивнул головой.

Тем временем па открытой террасе у плавательного бассейна расставили плетеные кресла, принесли фрукты и минеральную воду — готовились к приему гостя.

Делать было мне нечего, на месте не сиделось, и я вышел к морю. Пляж был пуст. Вдали у пирса маячил вчерашний сторожевик.

Отец сидел на террасе у бассейна, где должен был состояться прием, и лениво перелистывал какие-то бумаги.

Помощники стояли чуть поодаль, перекидываясь ничего не значащими фразами.

Наконец на дорожке появилась группа незнакомых людей. Отец уже заметил их. Он не спеша поднялся, надел пиджак, висевший на спинке соседнего кресла, и направился навстречу с улыбкой радушного хозяина.

Обычно до начала официальных разговоров он знакомил гостей с членами семьи, отдыхавшими с ним, пока-

зывал парк и только потом приглашал к разговору о делах. Сейчас он даже не посмотрел в мою сторону.

Продолжая улыбаться, он пожал руку гостю, переводчику и еще каким-то сопровождавшим его людям и жестом пригласил их на террасу. Все расположились вокруг небольшого летнего столика. Лебедев повертелся вокруг, убедился, что все в порядке, и уселся поблизости на случай, если понадобится.

Беседа была короткой. Меньше чем через полчаса гости удалились, а отец пошел к даче. Последний в его жизни официальный прием закончился. Пора было собираться в Москву. Вещи уже увезли на аэродром.

Подали легкий обед — овощной суп, вареный судак. По совету врачей отец последнее время придерживался диеты. Ели молча. С нами за столом сидели, как обычно, помощники и личный врач отца — Владимир Григорьевич Беззубик.

Это был прощальный обед, прощание с дачей, которую отец так любил, с соснами и морем. Всякое прощание навевает грусть, а тут еще полная неизвестность впереди...

Тем временем обед закончился. Пора было ехать.

На крыльце нас дожидалась сестра-хозяйка — «властительница» дачи — с большим букетом осенних цветов. Так она всегда встречала и провожала своих высоких постояльцев. К этому давно привыкли, но сейчас все выглядело иначе, многозначительнее.

— До свидания, Никита Сергеевич, жаль, что мало отдохнули. Приезжайте еще, — произнесла она привычную фразу, протягивая букет.

Отец поблагодарил ее за гостеприимство и, передав букет стоявшему рядом офицеру охраны, сел на переднее сиденье «ЗИЛа».

Машина тронулась. Вот и ворота. У левой створки вытянулся часовой. За воротами к машине бросился какой-то человек.

— Остановите, — приказал отец.

Охранник открыл заднюю дверь.

— Командующий Закавказским военным округом, — представился несколько запыхавшийся генерал. — Разрешите, Никита Сергеевич, вас проводить?

— Садитесь, — равнодушно ответил отец.

Тучный генерал взгромоздился на откидное сиденье.

— Прошу прощения, Никита Сергеевич. Василий Павлович Мжаванадзе в Москве, отдыхает в Барвихе, а товарищ Джавахишвили уехал по районам. Мы не ожидали вашего отъезда и не смогли его предупредить,— стал извиняться генерал.

— И правильно, пусть работает. И вы напрасно приехали,— недовольно буркнул отец.— Уж раз приехали, оставайтесь,— остановил он готового выскочить генерала.

Машина тронулась.

Обычно приезжавшего на отдых отца встречали и провожали первый секретарь ЦК Компартии Грузии Мжаванадзе и Председатель Совета Министров Джавахишвили. Отец всегда ворчал на них:

— Я отдыхаю, а вы попусту тратите рабочее время. Прогул вам запишем.

Однако всерьез никогда не сердился, и эта традиция встреч и проводов сохранялась.

Мжаванадзе отшучивался:

— Отработаем сверхурочно!

На сей раз их не было. Это не было связано со срочностью отъезда, объяснение выглядело неубедительным. Оба — Мжаванадзе и Джавахишвили,— видимо, заранее уехали в Москву для участия в дальнейших событиях. Генерал же должен был компенсировать неудобство ситуации и заодно проконтролировать отъезд отца и Микояна.

По пути генерал информировал гостей о положении в сельском хозяйстве Грузии. Отец молчал, и было непонятно, слушает он или занят своими мыслями.

Наконец приехали в аэропорт. «ЗИЛ» подкатил к самолету. У трапа выстроился экипаж, и личный пилот отца генерал Цыбин отдал традиционный рапорт:

— Машина к полету готова! Неполадок нет. Погода по трассе хорошая.

Его широкое лицо расплылось в улыбке. Отец пожал ему руку, стал легко подниматься по трапу. За ним последовал Микоян. Они оба прошли в хвостовой салон. В правительственном варианте в хвостовом салоне ИЛ-18 убрали обычные самолетные кресла, там устано-

вили небольшой столик, диван и два широких кресла. Это было самое тихое место в самолете.

Отец не любил одиночества, и в полете в «хвосте» всегда собирались попутчики: он что-то обсуждал с помощниками, правил стенограммы своих выступлений, а то и просто разговаривал с сопровождающими. На сей раз было иначе.

— Оставьте нас вдвоем,— коротко приказал он.

И вот мы в воздухе. Самолет полупустой. В салоне помощники обоих государственных деятелей — президента и премьера, охрана, стенографистки. Деловитый Лебедев раскрыл свой необъятный желтый портфель и копается в многочисленных папках. Надо иметь недюжинную память, чтобы не запутаться в этой бумажной массе.

Бортпроводница проносит в задний салон поднос с бутылкой армянского коньяка, минеральной водой и закуской, но через минуту возвращается, неся все обратно. Не до того...

Каждый занят своими делами. Для большинства это обычный перелет — сколько они уже исколесили с отцом по нашей стране и за ее пределами.

В заднем салоне, закрывшись от всех, два человека вырабатывали линию поведения, проигрывали варианты, пытались угадать, что их ждет там, впереди, в аэропорту Внуково-2.

Теплая встреча? Едва ли...

Оцепленный войсками аэродром? Еще менее вероятно. Не те времена. Но что-то, безусловно, ждет...

А от принятых сейчас, здесь, в вибрирующем самолете, решений зависит будущее. И не только их личное, но и будущее страны, будущее дела, которому оба этих старых человека посвятили свою жизнь...

...Самолет начал снижаться. Уже можно было различить отдельные деревья. Наконец мягкий толчок. Посадка, как всегда, отличная. Сколько налетано с Николаем Ивановичем Цыбиным? Хорошо бы подсчитать. И в войну на «дугласах» в любую погоду, и потом на Украине, и из Москвы в разные уголки нашей планеты.

Самолет подрулил к правительственному павильону в аэропорту Внуково-2. Последний раз взревели моторы, и наступила тишина. Внизу — никого. Площадка перед са-

молетом пуста, лишь вдали маячат две фигуры. Отсюда не разберешь, кто это. Недобрый знак...

Последние годы члены Президиума ЦК гурьбой приезжали провожать и встречать отца. Он притворно хмурил брови, ругал встречавших «бездельниками», ворчал: «Что я, без вас дороги не знаю»,— но видно было, что такая встреча ему приятна.

Теперь внизу — никого.

Медленно подкатился трап. Загадочные фигуры тоже приблизились вслед за ним. Теперь их уже можно узнать — это председатель КГБ Семичастный и начальник управления охраны Чекалов. Следом спешит Георгадзе.

Отец, поблагодарив бортпроводниц за приятный полет, спускается по трапу первым. За ним в цепочку растянулись остальные.

Семичастный подходит к отцу, вежливо, но сдержанно здоровается:

— С благополучным прибытием, Никита Сергеевич.

Потом пожимает руку Микояну.

Чекалов держится на два шага сзади, руки по швам — служба. Лицо напряжено.

Семичастный наклоняется к отцу и как бы доверительно сообщает вполголоса:

— Все собрались в Кремле. Ждут вас.

Роли, видно, расписаны до мелочей.

Отец поворачивается к Микояну и спокойно, даже как-то весело произносит:

— Поехали, Анастас.

На мгновение задержавшись, он ищет кого-то глазами. Меня не замечает. Увидев Цыбина, улыбается, делает шаг в сторону, жмет руку — благодарит за полет. Теперь ритуал выполнен.

Наконец кивает на прощание своим спутникам, и они вдвоем с Микояном быстрым шагом идут к павильону. Чуть сзади следует Семичастный, за ним я, а замыкает процессию Чекалов. Он держится на несколько метров сзади, как бы отсекая нас от всего, что осталось в самолете.

Проходим пустой стеклянный павильон. Эхом отдаются шаги. В дальних углах вытягивается охрана. Дежурный предупредительно открывает большую, из

цельного стекла, дверь. Напротив двери у тротуара застыл длинный «ЗИЛ-111», автомобиль отца. На площадке выстроились черные машины: еще один «ЗИЛ» — охраны, «Чайки» Микояна и Семичастного, «Волги».

Хрущев и Микоян садятся в машину. Офицер охраны захлопывает дверцу и занимает место впереди. Автомобиль стремительно трогается и исчезает за поворотом. За ним срываются остальные. Семичастный на ходу запрыгивает в притормозившую «Чайку». Мимо меня пробегает Чекалов.

— Тебя подвезти?

— Нет, спасибо. Меня должны встречать.

— Тогда до свидания.

Он буквально влетает в свою «Волгу» и уносится вслед, только слышится визг покрышек на повороте...

А вот что рассказывает об этой встрече на аэродроме сам Семичастный:

«Я утром звоню Леониду Ильичу.

— Кто поедет встречать?— спрашиваю.

— Никто, ты сам езжай,— отвечает.

— Как же?— запнулся я.

— В данной обстановке зачем же всем ехать?— тянул он.

В общем-то правильно...

— Не поймет ли он?— побеспокоился я.

— Ты возьми [себе] охрану и поезжай,— закончил разговор Брежнев.

Я взял парня из «девятки». Взял себе пистолет, и парень этот взял.

Вопрос: Вы волновались?

— Нет... Зная Хрущева, я был убежден, что он не пойдет на конфронтацию. Понимаешь [не в его стиле], такие шальные вещи. Это просто была с моей стороны перестраховка.

Самолет приземлился, он выходит немного насупившийся.

Они сели в одну машину с Микояном. Я еду за охраной. Спереди у меня сидит охранник... А те [охрана Хрущева в машине впереди] все время головами крутят: что вдруг у меня впереди сидит охранник... Насторожило их.

На середине пути между Внуково и Москвой говорю

своему водителю: «Затормози. Давай на обочину». Пусть едут. У меня же в машине телефон. Позвонил, сказал...»

...Я остался на аэродроме один. Все произошло чрезвычайно стремительно. Серго не видно нигде. Не было его на поле, нет и здесь. Все мои многозначительные просьбы не возымели никакого действия. Обидно. Очень он мне сейчас нужен. Хорошо еше, если он дома.

Я сажусь в машину, волнение последних минут несколько сглаживается. Как будто ничего особенного не произошло. Едем по знакомым улицам. Тротуары полны людей — все ловят последние погожие денечки. Вот и Воробьевское шоссе. Справа возникает желтая громада каменного забора. У микояновских ворот прошу остановиться — надо все-таки найти Серго.

Мне повезло. Он с чем-то возится на втором этаже. Улыбаясь знакомой, немного виноватой улыбкой, Серго произносит:

— Понимаешь, я забыл. А потом было поздно. А добраться тебе было на чем. Так что ничего не случилось?

— Бросай свои дела. Есть важный разговор. Пошли на улицу,— говорю я ему.

Все знают, что у стен есть уши и в помещении говорить нельзя. Правда, я не думал в тот момент, что нас могут подслушать, такая мысль не приходила в голову, просто лучше говорить на свежем воздухе.

— Пошли,— легко соглашается он.

Особняки расположены один за другим: у Микояна — № 34, у нас — № 40. Можно пройти, минуя улицу, через соседние дворы, но тогда нужно искать ключи от калиток. По улице проще.

Я начинаю свой рассказ с разговора с Галюковым и заканчиваю встречей во Внуково, стараюсь не упустить подробностей. Постепенно увлекаюсь, мне даже начинает казаться, что речь идет о чем-то постороннем, меня не касающемся. Тревога, копившаяся последние дни, как будто притупилась. Теперь мы оба знали эту тягостную цепь событий.

Но что же происходит сейчас? У нас могли быть только предположения. Ситуации в Кремле не знал никто.

Прогуливаясь, мы перебирали варианты. В голову пришла мысль позвонить Аджубею. Ведь он главный

редактор «Известий». Возможно, ему что-то известно. Во всяком случае, это была хотя бы иллюзия действий. В дом мы решили не заходить, чтобы не посвящать в это дело родных. Незачем раньше времени поднимать панику. В дежурке охраны набрали номер Аджубея. Звонили мы по телефону правительственной связи, и он сам снял трубку.

Аджубей ответил, что очень занят и приехать никак не может. Я стал его уговаривать. Аджубей отвечал все резче и раздраженнее.

Говорить, в чем дело, по телефону, а тем более — от дежурного, который все слышал, мне не хотелось. И тем не менее я сказал:

— Отца и Анастаса Ивановича срочно вызвали из Пицунды на заседание в Кремль. Мы с Серго беспокоимся: что произошло? Хотели выяснить у тебя.

Аджубей ничего не знал.

— Перезвоните мне через десять минут, я постараюсь узнать,—сказал он.

Через десять минут голос его изменился до неузнаваемости. Никто ему ничего не сказал, только дежурный в Кремле ответил, что действительно идет заседание Президиума ЦК. Повестки дня он не знал.

— Мы с Серго ничего не знаем, но у нас есть некоторые соображения. Если сможешь, приезжай в особняк,— попросил я его.

У Аджубея, видимо, больше не было важных государственных дел.

— Сейчас еду,—пробормотал он.

Через двадцать минут он был у нас.

Я еще раз повторил свой рассказ. Аджубей стал звонить в разные места. Горюнову в ТАСС — ничего не знает; Семичастному в КГБ — нет на месте; Шелепину в ЦК — на заседании; Григоряну в ЦК — ничего не знает.

Аджубей сник. Ясно было, что пользы от него мало и в таком состоянии советоваться с ним бесполезно.

А тем временем происходило следующее. Отец с Микояном без помех доехали до Кремля и прошли в комнату заседаний Президиума ЦК. Как только за ними закрылась дверь, события стали развиваться с головокружительной быстротой.

И снова воспользуюсь свидетельством Владимира Ефимовича Семичастного:

«Когда приехали в Кремль и они зашли в зал, я немедленно сменил охрану в приемной. Заменил охрану на квартире и на даче. Предварительно я успел отпустить в отпуск начальника охраны. Литовченко был такой, полковник.

Оставил за него хлопца молодого, Васю Бунаева. Я его в Кремле прижал в переходах: «Слушай! Сейчас началось заседание Президиума ЦК. Может все быть. Я выполняю волю Президиума и ЦК. Ты, как коммунист, должен все правильно понимать. От этого будет зависеть решение твоей дальнейшей судьбы. Имей в виду — ни одной команды, ни одного приказа, ни одного распоряжения [не выполняй] без моего ведома. Я тебе запрещаю».

Очевидно, имелись в виду возможные приказы Хрущева. Однако таковых не последовало.

Что касается нас, то мы даже не заметили, что в дежурке у ворот появились новые люди. Все проходило внешне буднично.

Вернемся к свидетельству Семичастного: «Я не закрывал даже Кремля для посещения людей. Люди ходили, а в... зале шло заседание Президиума ЦК. Я по Кремлю расставил, где нужно, своих людей. Все, что нужно.

Брежнев и Шелепин беспокоились.

Я ответил: «Не надо ничего лишнего. Не создавайте видимости переворота...»

Время шло.

Так мы ничего и не узнали до самого вечера. Серго ушел к себе. Я бесцельно кружил вокруг дома, хотя ноги гудели от усталости.

Около восьми часов вечера приехал отец. Машина его привычно остановилась у самых ворот. Он пошел вдоль забора по дорожке, это был обычный маршрут. Я догнал его. Несколько шагов прошли молча, я ни о чем не спрашивал. Вид у него был расстроенный и очень усталый.

— Все получилось так, как ты говорил,— начал он первым.

— Требуют твоей отставки со всех постов?— спросил я.

— Пока только с какого-нибудь одного, но это ничего

не значит. Это только начало... Надо быть ко всему готовым...

Отец замолчал.

— Вопросов не задавай. Устал я, и подумать надо...

Дальше шли молча. Прошли круг вдоль забора, начали второй. Вдруг он неожиданно спросил:

— Ты доктор?

Я опешил.

— Какой доктор?

— Доктор наук?

— Нет, кандидат.

— Ладно...

Опять молчание.

Прошли второй круг, и отец свернул к дому. На звук хлопнувшей двери в прихожую вышел Аджубей. В его глазах застыл немой вопрос: что случилось?

Отец молча кивнул ему и стал подниматься на второй этаж к себе в спальню. Он попросил принести туда чай. Никто не решился его беспокоить.

Позвонил Серго. Он появился через несколько минут, но информации у него было еще меньше. Анастас Иванович приехал домой и гуляет с академиком А. А. Арзуманяном. О чем говорят — неизвестно. Серго предложил дождаться отъезда Арзуманяна и поехать вслед за ним, расспросить его дома. Наверняка он и Микоян сейчас говорят о событиях минувшего дня.

Серго ушел к себе. Опять предстояло ждать. Время тянулось нестерпимо медленно. Аджубей попытался дозвониться домой Шелепину. Телефон не отвечал. Позвонил на дачу. Ответа нет. Попытки дозвониться Полянскому и еще кому-то тоже окончились неудачей. Только через несколько дней я узнал, что после отъезда отца все члены Президиума договорились к телефону не подходить: вдруг Хрущев начнет их обзванивать и ему удастся склонить кого-нибудь на свою сторону.

Тем не менее Брежневу было неспокойно. Вечером он снова позвонил Семичастному:

«— Володя, мы только что закончили заседание. Хрущев уходит, куда он поедет?

— На квартиру.

— А если на дачу?

— Пусть едет на дачу.

— Ну а ты?

— А у меня и там, и сям, и везде наготовлено. Никаких не будет неожиданностей.

— А если он позвонит? Позовет на помощь?

— Никуда он не позвонит. Вся связь у меня!.. Кремлевка, ВЧ, а по городским пусть говорят».

Отец был надежно изолирован.

Часов в десять вечера снова пришел Серго с известием, что Арзуманян уехал домой. Мы заторопились, вскочили в мою машину и ринулись из ворот. На полном ходу пересекаю бульвар, тянущийся по Воробьевскому шоссе, и делаю левый поворот. Из темноты деревьев к машине бросается какой-то человек. Проскакиваю мимо него. Он не пытается нам помешать, только внимательно смотрит вслед. Ему важно разглядеть номер.

Наш путь лежит на Ленинский проспект. Там, в большом академическом доме, живет Арзуманян. Проверить, не следует ли кто за нами, не приходит в голову. Все слишком возбуждены. Без помех достигаем цели. Машину оставляем на улице. Теперь надо найти подъезд. Тротуары пустынны. Только впереди на углу маячат две характерные мужские фигуры. Мы проходим мимо, они не препятствуют, лишь пристально вглядываются в лица.

Анушаван Агафонович не удивлен столь поздним визитом. Он возбужден новостями, ему тоже хочется выговориться. Рассаживаемся в столовой вокруг стола. Комната неярко освещена лампой под тяжелым матерчатым абажуром.

Никто не знает, с чего начать.

Молчание нарушает Серго, он здесь свой человек. Серго коротко рассказывает все, что нам известно о происходящем, и спрашивает, о чем конкретно шла речь на сегодняшнем заседании.

— Анастас Иванович просил держать наш разговор в секрете,— нерешительно говорит Арзуманян,— но вам я могу рассказать. Положение очень серьезно. Никите Сергеевичу предъявлены различные претензии, и члены Президиума требуют его смещения. Заседание тщательно подготовлено: все, кроме Микояна, выступают единым фронтом. Хрущева обвиняют в разных грехах: тут и неудовлетворительное положение в сельском хозяйстве, и неуважительное отношение к членам Президиума ЦК,

пренебрежение их мнением, и многое другое. Главное не в этом, ошибки есть у всех, и у Никиты Сергеевича их немало.

Все согласно закивали головой. Аджубей воспользовался паузой:

— Скажите, а что на заседании говорили обо мне?

Арзуманян удивленно поднял голову:

— О вас? О вас ничего не говорили. Дело сейчас не в ошибках Никиты Сергеевича, а в линии, которую он олицетворяет и проводит. Если его не будет, к власти могут прийти сталинисты, и никто не знает, что произойдет. Нужно дать бой и не допустить смещения Хрущева. Однако, боюсь, это трудновыполнимо. Впрочем, нельзя сидеть сложа руки, попробуем что-то сделать.

Его слова вселяли надежду — отец не одинок. Ведь в 1957 году большинство членов Президиума тоже требовали его отставки, но Пленум решил иначе. Теперь же все говорило о том, что надежды эти иллюзорны, опыт 1957 года был учтен, да и основная масса членов ЦК была недовольна многими нововведениями Хрущева.

Мы просидели у Арзуманянов больше часа. Хотелось узнать обо всем как можно подробнее, но Арзуманян и сам знал не слишком много. Основные обвинения, выдвинутые против отца, сейчас известны. Они отражали различные подходы к руководству народным хозяйством. К примеру, Хрущев постоянно выступал за приближение руководства непосредственно к производителям. Для этого он настоял на введении децентрализованной территориальной системы хозяйствования, ввел совнархозы. Он исходил из того, что местные руководители лучше знают нужды и возможности своих регионов, следовательно, будут оперативнее решать возникающие вопросы. Министерства, в большинстве преобразованные в государственные комитеты, пусть лишь надзирают за соблюдением основных принципов государственной политики в своей отрасли. Он предложил разделить обкомы и облисполкомы на промышленные и сельские, так как и тут считал, что руководители должны быть ближе к производству, а в условиях развившегося хозяйства задачи усложнились и трудно найти людей, одинаково хорошо понимающих и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Был принят и ряд других решений.

Естественно, все предложения предварительно обсуждались и были одобрены как Президиумом, так и Пленумами ЦК.

Но сторонники централизованного отраслевого принципа управления народным хозяйством, не высказываясь открыто, оставались в оппозиции нововведениям. И вот сейчас эти разногласия вылились наружу и стали предметом острейшей дискуссии.

Серьезным было обвинение Хрущева в недооценке других членов Президиума ЦК, в нетактичном с ними обращении, пренебрежении их мнением. Все это относилось к взаимоотношениям между людьми в высшем партийном органе, и непосвященным трудно судить о правомерности и обоснованности сказанного. Чего не бывает между людьми. Тем не менее здесь, видимо, была значительная доля истины: я сам неоднократно бывал свидетелем того, как отец, не стесняясь окружающих, выговаривал тому или иному члену Президиума за упущения в курируемых им вопросах.

Да и другие претензии соответствовали истине, но были, на мой взгляд, непринципиальны в серьезном споре. Их было много. Можно только привести примеры.

Стараясь приблизить руководство к производству, отец настойчиво выселял Министерство сельского хозяйства из Москвы, стремясь при этом заставить чиновников чуть ли не своими руками возделывать опытные делянки. Или присвоение президенту Объединенной Арабской Республики Насеру и вице-президенту Амеру звания Героя Советского Союза, вызвавшее широкое недовольство во всей стране.

Перечисление можно продолжать. И хотя все решения принимались коллективно, Президиумом ЦК, автором их справедливо считался Хрущев.

Сейчас эти обвинения одно за другим сыпались на его голову как из рога изобилия. Каждый вспоминал давние и свежие обиды. Были претензии просто надуманные, хотя выглядели они для непосвященных довольно основательными.

Например, отца обвинили в том, что, выезжая с официальными визитами за границу, он брал с собой жену или детей и возил их туда за государственный счет. Однако членам Президиума было хорошо известно, что

инициатором в этом вопросе был не Хрущев, а Министерство иностранных дел, которое поддержал и «эксперт по Западу», еще до войны много поколесивший по миру, Анастас Иванович Микоян. Аргументировалось же предложение тем, что так принято на Западе: присутствие членов семьи делает визит менее формальным, а обстановку более доверительной. Нашему государству это ничего не стоило, так как расходы по приему гостей при государственных визитах несет другая сторона, а в самолете во время спецрейсов пустых мест всегда достаточно. Тем не менее внешне такое обвинение выглядело эффектно и впоследствии получило широкую огласку.

Арзуманян рассказал нам, что наибольшую активность проявляют Шелепин и Шелест. От имени присутствовавших с перечислением ошибок отца выступил Шелепин, он все свалил в одну кучу — и принципиальные вещи, и ерунду.

— Кстати,— обратился ко мне Арзуманян. — Шелепин сослался на то, что вам без защиты присвоили степень доктора наук.

— Так вот в чем дело!— невольно вырвалось у меня.

Присутствующие повернулись в мою сторону.

— Сегодня отец спросил, не доктор ли я. Я ничего не мог понять и стал объяснять ему, что три года назад защитил кандидатскую диссертацию и какая разница между степенью кандидата и доктора наук. Теперь ясно, почему у него возник этот вопрос. Это чистейшей воды выдумка. О докторской диссертации я даже еще и не думал.

Ложь действительно была мелкой, но она очень расстроила меня. Ведь Александр Николаевич Шелепин постоянно демонстрировал мне если и не дружбу, то явное дружеское расположение. Нередко он первый звонил и поздравлял с праздниками, всегда участливо интересовался моими успехами. Этим он выделялся среди своих коллег, которые проявляли ко мне внимание только как к сыну своего товарища, и не более того. Мне, конечно, льстило дружеское отношение секретаря ЦК, хотя где-то в глубине души скрывалось чувство неудобства, ощущение какой-то неискренности со стороны Шелепина. Но я загонял его внутрь, не давал развиться. И вот такое неприкрытое предательство. Воистину все средства хороши...

— Очень грубо вел себя Воронов,— продолжал Арзуманян. — Он не сдерживался в выражениях. Когда Никита Сергеевич назвал членов Президиума своими друзьями, он оборвал: «У вас здесь нет друзей!»

Эта реплика даже вызвала отповедь со стороны Гришина. «Вы не правы,— возразил он,— мы все друзья Никиты Сергеевича». Остальные выступали более сдержанно, а Брежнев, Подгорный и Косыгин вообще молчали. Микоян внес предложение освободить Хрущева от обязанностей Первого секретаря ЦК, сохранив за ним должность Председателя Совета Министров СССР. Однако идею его отвергли...

...Время было позднее, мы откланялись. Оставалось только ждать завтрашнего дня. Слова Арзуманяна несколько успокоили и вселили призрачную надежду.

В то время мы не знали, что отец уже принял решение без борьбы подать в отставку. Поздно вечером он позвонил Микояну и сказал, что, если все хотят освободить его от занимаемых постов, он возражать не будет.

— Я уже стар и устал. Пусть теперь справляются сами. Главное я сделал. Отношения между нами, стиль руководства поменялись в корне. Разве кому-нибудь могло пригрезиться, что мы можем сказать Сталину, что он нас не устраивает и предложить ему уйти в отставку? От нас бы мокрого места не осталось. Теперь все иначе. Исчез страх, и разговор идет на равных. В этом моя заслуга. А бороться я не буду.

Телефон прослушивался, и его слова мгновенно стали известны кому надо. Мы же ничего не знали.

Все утро 14 октября прошло в томительном ожидании. Наконец около двух часов дня позвонил дежурный из приемной отца в Кремле и передал, что он поехал домой. Обычно днем он никогда домой не приезжал, а, экономя время, обедал в Кремле. Я встретил машину у ворот.

Отец сунул мне в руки свой черный портфель и не сказал, а выдохнул:

— Все... В отставке...

Немного помолчав, добавил:

— Не стал с ними обедать*.

Все кончилось. Начинался новый этап жизни. Что будет впереди — не знал никто. Ясно было одно — от нас ничего не зависит, остается только ждать.

— Я сам написал заявление с просьбой освободить меня по состоянию здоровья. Теперь остается оформить решением Пленума. Сказал, что подчиняюсь дисциплине и выполню все решения, которые примет Центральный Комитет. Еще сказал, что жить буду где мне укажут: в Москве или в другом месте.

Что еще происходило на заседании, отец не сказал, а я не хотел травмировать его вопросами. Лишь спустя годы я узнал некоторые подробности.

Говорят, стенограмма заседаний Президиума ЦК от 13 и 14 октября 1964 года не обнаружена. Видимо, она была уничтожена во избежание ее изучения в будущем. Материалы же Пленума ЦК, состоявшегося вечером 14 октября 1964 года, по-видимому, сохранились.

Сохранились фрагменты записей Петра Ефимовича Шелеста, которые он вел по ходу заседания: «Хрущев подавлен. Изолирован. Бессилен что-либо предпринять и все же нашел в себе силы и мужество сказать:

«Я благодарю за то, что все же кое-что сказали положительного о моей деятельности. Рад за Президиум, в целом за его зрелость. В формировании этой зрелости есть и крупинка моей работы». И это говорит человек, выдержавший два дня чудовищных обвинений, человек, находившийся в тяжелейшем моральном и физическом состоянии».

— Всех нас, и меня в том числе, воспитала партия,— говорил, по свидетельству Шелеста, в своем последнем выступлении отец,— в нашем политическом положении только ее заслуга, партии. У нас с вами одна политическая и идеологическая основа, и против вас я бороться не могу. Я уйду и драться не буду. Еще раз прошу извинения, если когда-то нанес кому-то обиду, допустил грубость. В работе все могло быть. Однако хочу сказать, что ряд предъявленных мне обвинений я категорически от-

---

* Как правило, члены Президиума ЦК обедали вместе. Это стало своего рода традицией. Во время этих совместных обедов часто принимались важные решения, обсуждались насущные вопросы жизни страны.

вергаю. Не могу сейчас все обвинения вспомнить и ответить на них. Скажу об одном: главный мой недостаток и слабость — это доброта и доверчивость, а, может быть, еще и то, что я сам не замечал своих недостатков. Но и вы, все здесь присутствующие, открыто и честно мне о моих недостатках никогда не говорили, всегда поддакивали, поддерживали буквально все мои предложения. С вашей стороны отсутствовали принципиальность и смелость. Вы меня обвиняете в совмещении постов Первого секретаря ЦК и Председателя Совмина. Но будем объективны, этого совмещения я сам не добивался. Вспомните, вопрос решался коллективно и многие из вас, в том числе и Брежнев, настаивали на таком совмещении. Возможно, было моей ошибкой то, что я не воспротивился этому решению, но вы все говорили, что так надо сделать в интересах дела. Теперь вы же меня обвиняете в совмещении постов.

Да, я признаю, что допускал некоторую нетактичность по отношению к работникам искусства и науки, в частности, сюда можно отнести мои высказывания в адрес Академии наук. Но ведь не секрет, что наша наука по многим вопросам отстает от зарубежной науки и техники. Мы же в науку вкладываем огромные народные средства, создаем все условия для творчества и внедрения в народное хозяйство ее результатов. Надо заставлять, требовать от научных учреждений более активных действий, настоящей отдачи. Это ведь истина, от нее никуда не уйдешь.

Далее, пишет Шелест, Хрущев аргументированно объяснил предпринятые в свое время меры в связи с событиями на Суэцком канале в 1956 году и в связи с карибским кризисом. В частности, он сказал:

— Вы меня обвиняете в том, что мы увезли оттуда наши ракеты. А что же, мы должны были начать мировую войну?

(Вывод ракет тоже ставился ему в вину, констатирует П. Е. Шелест.)

— Почему же вы меня теперь хором обвиняете в какой-то авантюре по кубинскому вопросу, если все вопросы мы решали вместе?

Возьмем установку пограничной стены в Берлине. Тогда тоже решение вы все одобрили, а теперь обвиняете

меня. В чем же? Говорить можно все. Но вот решить, что сделать конкретно, никто из вас не предлагал и навряд ли может сейчас предложить. Или наши взаимоотношения с руководством Китая. Они довольно сложны, и они еще будут обостряться. Вы столкнетесь с большими трудностями и сложностями через четыре-пять лет. Не теряйте классового чутья, политической и тактической маневренности во всех взаимоотношениях, решении спорных вопросов.

Я понимаю, что это моя последняя политическая речь, как бы сказать, лебединая песня. На Пленуме я выступать не буду, но я хотел бы обратиться к Пленуму с просьбой...

«Не успел он договорить,— пишет Шелест,— с какой просьбой хочет обратиться, как последовал категорический ответ Брежнева: «Этого не будет!» Его поддержал Суслов.

У Никиты Сергеевича на глазах появились слезы, а затем он просто заплакал... Тяжко было смотреть... Я думаю,— предполагает Шелест,— он хотел сказать: «Товарищи, простите меня, если в чем виноват. Мы вместе работали, правда, не все сделали...»

Думаю, другого он бы не сказал. Ведь он был в одиночестве, и все было заранее предрешено.

Но Брежнев боялся, что Хрущеву могут на Пленуме задать вопросы, он на них ответит и разгорятся дебаты. Поэтому он принял решение: никаких вопросов.

Хрущев продолжил:

— Очевидно, теперь будет так, как вы считаете... Что ж, я заслужил то, что получил. Я готов ко всему. Вы знаете, я сам думал, что мне пора уходить, вопросов много и в мои годы справиться с ними трудно. Надо двигать молодежь. Я понимаю, что кое у кого сегодня не хватает смелости и честности... Но речь сейчас идет не об этом. О том, что происходит сейчас, история когда-нибудь скажет свое веское, правдивое слово... А теперь я прошу написать заявление о моем уходе, о моей отставке, и я его подпишу. В этом вопросе полагаюсь на вас. Если вам нужно, я уеду из Москвы.

Кто-то подал голос:

— Зачем это делать?

Все поддержали...

7 - 3478

Доклад для Пленума ЦК готовил Полянский. По идее, должен был выступать Брежнев или, в крайнем случае, Подгорный. Брежнев просто сдрейфил. Подгорный, в свою очередь, тоже отказался:

— Я не могу выступать с этим докладом против Хрущева. Я с ним бок о бок проработал много лет. Как это будет понято? Не могу и все! Я бы выпустил Шелепина, у него язык хорошо подвешен, но он слишком молод.

Тогда и решили: «Давайте выпустим Михаила Андреевича, тем более он наш идеолог...»

Другой, не менее важный свидетель — Семичастный, хотя и не мог по рангу быть на заседании Президиума ЦК, по-своему оценивает ситуацию вокруг второго дня заседания 14 октября:

«Аджубей пишет, что его [Хрущева] освободили «келейно». Как келейно? На Пленуме. Не было дискуссий, но такие вопросы на дискуссию не выносятся. Я ему [Брежневу] во второй день [14 октября] позвонил, вызвал с Президиума и говорю: «Дорвались до критики. Кончайте. Вторую ночь я не выдержу. Леонид Ильич, вы дозаседаетесь до того, что или вас посадят, или Хрущева. Мне этого не надо. Я за день наслушался и тех и других.

Одни переживают — хотят Хрущева спасать, другие призывают вас спасать. Третьи спрашивают, что же ты в ЧК сидишь, бездействуешь? А я делаю вид, что ничего не знаю».

Людей тогда под благовидными предлогами вызвали, чтобы они были под рукой и можно было бы сразу Пленум провести. Они нервничают. Мне идут звонки со всех сторон.

Брежнев взмолился: «Товарищи дорогие, подождите еще. Я сейчас посоветуюсь». Минут через тридцать он мне звонит: «Слушай, успокой всех. Мы так условились: тем, кто не успел выступить, даем три-четыре минуты. Члены Президиума уже все выступили, остались кандидаты и секретари. Пусть каждый выскажет свое отношение. В шесть — Пленум».

«Меня устраивает. Могу объявлять?»

«Давай объявляй».

Затем Владимир Ефимович кратко делится своими впечатлениями о Пленуме, участником которого он был.

«...Я даже не знал, что прений не будет... Я возмутился этим и потом и Шелепину, и Брежневу сказал. Я думаю, они не без царя в голове это сделали. Не знали, куда покатится, как бы не задело и других. Там мог быть разговор... я думаю, эти старики продумали все и, боясь за свои... кости, все сделали, чтобы не открывать прения на Пленуме. Не объяснили толком.

В зале такая кутерьма началась. Я сидел, наблюдал.

Самые рьяные подхалимы кричали: «Исключить из партии! Отдать под суд!»

Те, кто поспокойнее, сидели молча. Так что разговора серьезного, критического, аналитического, такого, чтобы почувствовалась власть ЦК, не было. Все за ЦК решил Президиум и решенное, готовое, жеванное-пережеванное выбросил: «Голосуйте!»

Многое в приведенных свидетельствах, очевидно, субъективно, но, думаю, доверять им можно вполне.

О том, что отсутствие прений на Пленуме было запрограммировано, говорит и Егорычев: «Теперь, по прошествии стольких лет, ясно и то, что Брежнев не зря был против выступлений на Пленуме. Во время прений под горячую руку могло быть высказано много такого, что потом связало бы ему руки. А у Леонида Ильича в голове, очевидно, уже тогда были другие планы».

Хочу отметить еще такой эпизод.

Как рассказывала секретарь ЦК Компартии Украины Ольга Ильинична Иващенко, в начале октября она узнала о готовящихся событиях и попыталась по «ВЧ» дозвониться Никите Сергеевичу. Соединиться ей не удалось. Хрущев был надежно блокирован. На Пленум ее не допустили, как и другого члена ЦК — Зиновия Тимофеевича Сердюка. Боялись, как бы чего не вышло. Вскоре их обоих освободили от занимаемых постов и отправили на пенсию.

...Возвращаюсь к тому октябрьскому дню.

После обеда отец вышел погулять. Все было необычно и непривычно в этот день — эта прогулка в рабочее время и цель ее, вернее, бесцельность. Раньше он гулял час после работы, чтобы сбросить с себя усталость, накопившуюся за день, и, немного отдохнув, приняться за вечернюю почту. Час этот был строго отмерен, ни больше ни меньше.

Теперь последние бумаги — материалы к очередному заседанию Президиума ЦК, изложение доктрины Макнамары, сводки ТАСС — остались в портфеле. Там им было суждено пролежать нераскрытыми и забытыми до самой смерти отца. Он больше никогда не заглядывал в этот портфель...

Длительность нынешней прогулки ничем не ограничивалась, просто надо было убить время, хоть немного освободиться от нервного напряжения последних дней.

Мы шли молча. Рядом лениво трусил Арбат, немецкая овчарка, жившая в доме. Это была собака Лены — моей сестры. Раньше он относился к отцу равнодушно, не выказывая к нему никакого особого внимания. Подойдет, бывало, вильнет хвостом и идет по своим делам. Сегодня же не отходит ни на шаг. С этого дня он постоянно следовал за отцом. В конце концов я не выдержал молчания и задал интересовавший меня вопрос:

— А кого назначили?

— Первым секретарем будет Брежнев, а Косыгин — Председателем Совмина. Косыгин — достойная кандидатура, — привычка отца оценивать людей, примеряя их к тому или иному посту, по-прежнему брала свое.— Еще когда освобождали Булганина, я предлагал его на эту должность. Он хорошо знает народное хозяйство и справится с работой. Насчет Брежнева сказать труднее — слишком у него мягкий характер и слишком он поддается чужому влиянию... Не знаю, хватит ли у него сил проводить правильную линию. Ну меня это уже не касается, я теперь пенсионер, мое дело — сторона,— в уголках рта пролегли горькие складки.

Больше мы к этой теме не возвращались. Вечером к нам пришел Микоян. После обеда состоялось заседание Президиума ЦК уже без участия отца. Микояна делегировали к нему проинформировать о принятых решениях.

Сели за стол в столовой, отец попросил принести чай. Он любил чай и пил его из тонкого прозрачного стакана с ручкой, наподобие той, что бывает у чашек. Этот стакан с ручкой он привез из Германской Демократической Республики. Необычный стакан ему очень нравился, и он постоянно им хвастался перед гостями, демонстрируя, как удобно из него пить горячий чай, не обжигая пальцев.

Подали чай.

— Меня просили передать тебе следующее,—начал Анастас Иванович нерешительно.—Нынешняя дача и городская квартира [особняк на Ленинских горах] сохраняются за тобой пожизненно.

— Хорошо,—неопределенно отозвался отец.

Трудно было понять, что это—знак благодарности или просто подтверждение того, что он расслышал сказанное. Немного подумав, он повторил то, что уже говорил мне:

— Я готов жить там, где мне укажут.

— Охрана и обслуживающий персонал тоже останутся, но людей заменят.

Отец понимающе хмыкнул.

— Будет установлена пенсия—500 рублей в месяц и закреплена автомашина,—Микоян замялся.—Хотят сохранить за тобой должность члена Президиума Верховного Совета, правда, окончательного решения еще не приняли. Я еще предлагал учредить для тебя должность консультанта Президиума ЦК, но мое предложение отвергли.

— Это ты напрасно,—твердо сказал отец,—на это они никогда не пойдут. Зачем я им после всего, что произошло? Мои советы и неизбежное вмешательство только связывали бы им руки. Да и встречаться со мной им не доставит удовольствия... Конечно, хорошо бы иметь какое-то дело. Не знаю, как я смогу жить пенсионе-

ром, ничего не делая. Но это ты напрасно предлагал. Тем не менее спасибо, приятно чувствовать, что рядом есть друг.

Разговор закончился. Отец вышел проводить гостя на площадку перед домом.

Все эти дни стояла теплая, почти летняя погода. Вот и сейчас было тепло и солнечно.

Анастас Иванович обнял и расцеловал Хрущева. Тогда в руководстве не было принято целоваться, и потому это прощание всех растрогало.

Микоян быстро пошел к воротам. Вот его невысокая фигура скрылась за поворотом. Отец смотрел ему вслед. Больше они не встречались.

Глава III

ОТСТАВКА



Итак, отец — в отставке...

За эти несколько дней жизнь изменилась в самой своей основе. Предстояло перестроить все наше существование от начала до конца. И главное — отцу нужно было определить какую-то цель, ведь жизнь на этом не кончалась.

Он привык к тому, что всем нужен, привык постоянно находиться в центре событий, думать, что без него не обойтись. Неважно, на каком посту, неважно, насколько высока и значительна занимаемая должность,— над всем преобладало это постоянное чувство необходимости. Всем был нужен комиссар батальона в гражданскую войну, все нуждались в секретаре райкома, и так на всех ступенях длинной иерархической лестницы, вплоть до самой вершины — Первого секретаря ЦК, Председателя Совета Министров огромного государства.

Время его было спрессовано до предела. Он с самого начала принадлежал к распространенному тогда типу руководителей, старавшихся самолично разобраться во всем, вникнуть в мельчайшие детали, даже узкоспециальные, и, только поняв суть, шедших в дальнейшем напролом, сшибая все препятствия на пути идеи или технического предложения, которому дана путевка в жизнь. Так было и с жилищным строительством, и с целиной, и с ракетами, и с конверторами, и со многим другим.

Отец был человеком своего времени, и доказательство этой не слишком оригинальной мысли я встретил в неожиданном месте: в мемуарах знаменитого британского премьера Уинстона Черчилля сквозь ворох телеграмм, цитат, документов проглядывает его стремление самому разобраться в достоинствах новой пушки, танка, самолета, которые будут применены в схватке с Гитлером. Ведь только ему было дано право принять окончательное решение, а с ним и весь груз ответственности.

Такой подход к делу требовал полной самоотдачи, не оставляя ни минуты свободного времени. Все помыслы

всегда подчинялись одному, сознание постоянно было занято только главными проблемами.

Естественно, нужно обладать недюжинной выдержкой и огромной силой воли, чтобы после столь насыщенной жизни не потеряться в новых обстоятельствах, не скиснуть после потрясения, не поддаться жалости к себе или ненависти к другим.

Со всем этим теперь предстояло столкнуться отцу.

Еще вчера все ждали последнего слова, именно он должен был окончательно решить, какие новые предложения выдвинуть в ООН, сокращать ли армию, расширять ли посевные площади, строить гидро- или тепловые электрические станции, преимущественно развивать химию или металлургию.

А сегодня? Идти гулять или посмотреть телевизор? А может, почитать? Или почистить ружье? Впрочем, едва ли еще доведется попасть на охоту...

Заниматься отцу в эти первые тяжелые дни ничем не хотелось. Слишком был силен нервный шок от последних событий. Одно дело говорить об отставке между прочим, исподволь готовиться к ней, как к чему-то неизбежному, но далекому, и совсем другое — остановиться вот так, на полном ходу, вдруг ощутить свою ненужность...

Ни друзья, ни близкие, старающиеся отвлечь разговорами, подсунуть какое-то занятие, ни транквилизаторы, заботливо принесенные доктором Беззубиком,— ничего не помогает. В мозгу настойчиво долбит одна мысль: не нужен, не нужен, не нужен.

Вот так начиналось его первое утро в отставке — утро 15 октября 1964 года.

Еще никто ничего не знал, по Москве только ползли глухие слухи, но в газетах уже исчезли приветствия за подписью Хрущева, не было ставших привычными телеграмм космонавтам, колхозникам...

В ночь с 14 на 15 октября в особняке была заменена личная охрана отца. За последние дни в дежурной комнате появилось много новых лиц, но и старые знакомцы оставались на прежнем месте. Теперь же можно было действовать в открытую. Все было проведено оперативно и тихо, никто ничего не знал. И только утром мы обнаружили на всех постах незнакомых людей.

Недаром дежурный начальник охраны Василий Иванович Бунаев, прощаясь вечером, с каким-то особым значением пожал мне руку и вполголоса произнес:

— Вот как получилось... Может, больше и не увидимся...

Он, понятно, знал о предстоящей замене.

В сталинские времена охрана всех членов Политбюро, впоследствии переименованного в Президиум ЦК, находилась в подчинении начальника специального управления МГБ. Только он мог распоряжаться ее действиями. Такое положение вызвало немалое беспокойство среди руководства во время подготовки ареста Берии.

Обсуждая практические шаги, Хрущев, Булганин, Маленков и другие столкнулись с положением, когда они полностью находились, в буквальном смысле этого слова, в руках Берии. Ведь только ему, министру внутренних дел, подчинялась их личная охрана, только через него отдавались приказания. Формально Берия мог отдать любой приказ. Все, конечно, чувствовали себя в ловушке.

После устранения Берии личная охрана была передана в распоряжение самих охраняемых. Теперь только они распоряжались ее действиями, только их указания обязаны были выполнять охранники. В КГБ существовало, естественно, управление охраны, но в его ведении остались лишь общие организационные и хозяйственные вопросы. Возможного вмешательства личной охраны отца в ход событий и опасался в последние дни Семичастный. Естественно, первым шагом стала замена людей из состава охраны. Исчезли, были разоружены и выведены в резерв чекисты, проработавшие с отцом много лет. Со временем судьба их устроилась: кое-кто вышел в отставку, кого-то взяли в охрану других руководителей, а некоторые впоследствии снова появились на даче отца. Но это произошло много позже.

В первый же день отставки появление незнакомых лиц вызывало тревогу.

Замолчали многочисленные телефоны. Были отключены не только аппараты правительственной связи — из нескольких городских телефонов действовал только один, работал и телефон связи с помещением охраны. Молчаливые трубки без знакомого басовитого гудка казались мертвыми...

У ворот с самого утра без вызова застыла «Чайка», заменившая привычный «ЗИЛ», который по положению полагался только трем людям в стране: Первому секретарю ЦК, Председателю Президиума Верховного Совета и Председателю Совета Министров. «Чайка» у ворот простояла недолго. В тот же день она исчезла так же незаметно, как и появилась, а еще через полчаса на ее месте оказалась «Волга» — автомобиль «рангом» пониже.

В тот момент эти перемены не привлекли особого внимания, сознание просто фиксировало их: стоит «Чайка» — ушла, появилась «Волга»...

Эта таинственная смена автомобилей прояснилась позднее. Когда с утра первого дня отставки отцу выделили «Чайку», кому-то из начальников вспомнились его неоднократные попытки упразднить или хотя бы сократить персональные автомобили. В свое время эта автомобильная инициатива отца вызвала сильное недовольство среди руководителей всех рангов. Теперь наступил их черед. Передавали нам даже слова одного анонимного начальника: «Хотел нас на «Волги» пересадить? Пусть теперь сам попробует».

В будущем отца ожидало множество подобных мелких уколов.

День начался. Помню, отец спустился к завтраку позже обычного, сегодня уже не надо было выдерживать установленный им самим после смерти Сталина регламент рабочего дня — к девяти утра быть в своем кабинете. Лицо его за ночь осунулось и как-то посерело, движения замедлились. Несмотря на привезенное доктором Беззубиком снотворное, ночь он провел почти без сна.

Позавтракав, как будто не ощущая вкуса пищи, отец вышел во двор. По привычке он обогнул дом и направился к воротам. Навстречу ему спешил незнакомый человек.

— Доброе утро, Никита Сергеевич, — начал незнакомец, остановившись в двух шагах. Его фигура, склонившаяся в полупоклоне, выражала почтение, смотрел он сверху вниз — ростом природа не обидела. Круглое, русское лицо невольно вызывало симпатию.

— Мельников Сергей Васильевич, ваш новый комендант, — представился он. — Вы меня не помните? Раньше я работал в правительственной ложе во Дворце спорта.

Мы там с вами встречались. Какие будут распоряжения? — он, полуобернувшись, показал на черную «Волгу». — Может быть, хотите поехать на дачу?

Всем своим видом Сергей Васильевич демонстрировал готовность услужить, помочь. Однако в нем не было и тени угодливой лакейской суетливости. Сохраняя достоинство, он, как мог, демонстрировал уважение к отставному премьеру.

Отец протянул Мельникову руку:

— Здравствуйте,— вопрос застал его врасплох, мысли были где-то далеко.— Скучная вам досталась должность. Я теперь бездельник, сам не знаю, чем себя занять. Вы со мной с тоски зачахнете,— отвечая своим мыслям, произнес отец.— А впрочем, чего тут сидеть. Поехали.

На дачу отправились втроем: отец, Мельников и я. Нина Петровна еще не прилетела из Карловых Вар, где она в тот момент отдыхала и лечилась.

За окнами машины мелькали знакомые места. У плотно закрытых ворот дачи машина остановилась и нетерпеливо засигналила.

Обычно заранее предупрежденный о приезде отца охранник ожидал, вытянувшись в струнку у распахнутых настежь зеленых створок. Теперь на сигнал через форточку выглянул незнакомый человек. Охрану сменили и здесь. Мельников махнул рукой: открывай, мол.

Тогда половинка ворот приоткрылась, образовав щель, в которую высунулся молодой парень с сержантскими голубыми погонами. Он недоверчиво вглядывался в машину, наконец, узнав отца, облегченно заулыбался и поспешно распахнул ворота. Машина, проскочив по аллее, остановилась около дома.

Отец вылез из кабины, немного потоптался у парадного.

— Пошли гулять по полю. Что нам, пенсионерам, еще делать? Свое отработали,— с наигранным весельем объявил он нам.

За последние годы выработался привычный маршрут: по асфальтированной аллее до ворот и дальше, вниз по склону.

Внизу, в овражке, чуть слышно журчал ручей. Берега его заросли густой травой, тут ее не косили. Через ручей

был перекинут мостик, по нему пролегала дорога от ворот дачи. За ним, слева на пригорке, начиналось поле. Летом сплошной стеной здесь стояла совхозная кукуруза. За этим полем ухаживали особенно тщательно — местному начальству хотелось угодить Хрущеву, вызвать его расположение. Сюда часто наведывались фотокорреспонденты, потом в «Огоньке» или где-нибудь еще появлялся снимок всадника, почти целиком скрытого в кукурузных джунглях.

Сейчас поле было голым. Среди сырых комьев торчали срезанные почти у самой земли пеньки кукурузных стеблей.

Асфальтированная дорога от ворот заворачивала направо к Успенскому шоссе. Мы направились налево по узкой тропе, огибавшей поле.

Мельников поначалу держался в отдалении, как того требовали правила. Однако отец поманил его рукой:

— Идите сюда. У нас секретов нет.

Дальше шли втроем. Отец, вспомнив, какая тут стояла летом кукуруза, все больше увлекаясь, стал говорить о животноводстве, кормовых единицах. На память он приводил цифры, сравнивал урожайность разных культур, тут же переводил все в привесы мяса на один гектар кормов. Рассказывал он захватывающе интересно, убедительно, как-то сами находились „сочные", точные слова и сравнения, примеры разили наповал.

Это был прежний отец, только говорил он сейчас не с трибуны какого-нибудь представительного всесоюзного совещания — единственными слушателями были капитан Мельников да я. Мельников вежливо кивал, поддакивал, задавал вопросы — отцовский энтузиазм невольно заражал. Не часто ведь доводится послушать лекцию о путях развития сельского хозяйства из уст пусть и вчерашнего, но премьер-министра.

В разгар беседы отец вдруг сник, взгляд его потух.

— Никому я теперь не нужен. Что я буду делать без работы, как жить — не представляю,— ни к кому не обращаясь, произнес он.

Мы стали возражать с наигранной бодростью и оптимизмом, расписывали прелести отдыха — прогулки, книги, кинофильмы. Отец угрюмо отмалчивался.

Поле кончилось. Под пригорком с редкими соснами блестела Москва-река.

Возвращались к даче через луг. Совсем недавно мы гуляли здесь с отцом, и я мучительно раздумывал, как рассказать о невероятном сообщении Галюкова. Работы по монтажу ирригационной системы были прекращены, и кругом так и осталась развороченная земля, валявшиеся в беспорядке цементные трубы. И этому проекту отца никогда не суждено было осуществиться.

На какое-то время такие прогулки стали нашим главным занятием. Отпуск у меня продолжался, и я все время проводил с отцом, не желая оставлять его наедине с невеселыми мыслями.

Иногда в оборудованном на даче кинозале показывали новые фильмы, но они не привлекали внимания отца, мысли его были заняты другим, и происходившее на экране проходило мимо, не затрагивая сознания. Некоторый интерес вызвал фильм «Председатель». В нем давалась положительная оценка сельскохозяйственной политике последних лет, подчеркивались наши достижения. В то время этот фильм рассматривался как панегирик деятельности отца. Наверху долго дебатировался вопрос: выпускать ли его на экран?

Мы все ожидали реакции отца, но он ограничился почти равнодушным замечанием:

— Хороший фильм.

Как я уже говорил, Нина Петровна, наша мама, в то время отдыхала в Карловых Варах в Чехословакии. В этом году она поехала туда, как нередко бывало и прежде, вместе с женой Брежнева — Викторией Петровной.

Вернувшись после заседания Пленума, отец забеспокоился.

— Надо вызвать маму,— сказал он нам.— Но как это теперь сделать? Попробуйте дозвониться до нее.

Возникла неожиданная проблема: привычная правительственная связь «ВЧ» не действовала, а так просто было раньше снять трубку, попросить Карловы Вары, телефон Нины Петровны Хрущевой. Пользоваться же обычной связью... никто не умел.

Обратились к охране, в тот момент людей еще не успели заменить, и дежурный через некоторое время со-

общил, что Нину Петровну разыскали и она прилетит на следующий день.

Дежурный сказал нам, что мама очень забеспокоилась, ведь там еще ничего не знали. Ей только сообщили, что все здоровы, а Никита Сергеевич просит ее срочно приехать.

На следующий день — новая проблема, надо встречать самолет. Можно ли послать машину, которая теперь возит отца? Мельников заверил, что все будет в порядке. Самолет прилетел вечером, уже темнело.

Наконец подъехала машина, и из нее вышла мама с большим букетом цветов. Выглядел он как-то неуместно...

— Это мне на аэродроме в Праге чешские женщины подарили,— пояснила она, словно оправдываясь.— Я уже знаю, что произошло.

Мы прошли в дом и вскоре собрались в столовой, где полгода назад, утром 17 апреля, сидели все члены Президиума ЦК и вовсю поздравляли Хрущева. У стены стояла рижская радиола — их подарок.

О происшедшем отец рассказал очень коротко. Выглядел он подавленным.

— Теперь я на пенсии. Вчера был Пленум ЦК, который уволил меня в отставку. Я сказал, что готов подчиниться любым решениям и буду жить, где они сочтут необходимым. Так что готовься к переезду,— вымученно улыбнулся отец, очевидно, вспомнив свою непоседливость и вечные хлопоты, которые доставлял каждый переезд маме.

Как обычно, мама была на высоте. Она никак не проявила своих чувств, была сдержанна и внешне спокойна. Она рассказала, что ее на аэродроме провожали чешские женщины, в том числе и жена Антонина Новотного, желали всего наилучшего и ей и отцу.

Когда отец поднялся в свою комнату, мама рассказала о «забавном» происшествии, приключившимся с ней в последний день в Карловых Варах.

Как всегда, они с Викторией Петровной Брежневой жили рядом. Часто гуляли вместе, несмотря на больные ноги Виктории Петровны. Несколько раз к ним заезжал М. В. Зимянин, бывший в то время послом СССР в Чехословакии, рассыпа́лся перед мамой в любезностях,

привозил сувениры. И вот накануне отъезда зазвонил телефон и телефонистка сообщила, что маму просит товарищ Зимянин. Она тогда ничего не знала и не подозревала о происшедшем, хотя после нашего звонка из Москвы стала очень беспокоиться. Поздоровавшись, Зимянин сказал, что он только что вернулся из Москвы, там состоялся Пленум ЦК, где сняли Хрущева, а он, Зимянин, «врезал» по методам хрущевского руководства. Мама молчала. Ничего не подозревая, Михаил Васильевич поздравил маму с избранием на пост Первого секретаря ЦК Леонида Ильича Брежнева. Мама тем не менее продолжала молчать, и это, видимо, заставило его забеспокоиться. Он стал соображать и наконец понял, что по привычке попросил его соединить с Ниной Петровной Хрущевой вместо Виктории Петровны Брежневой!.. Пробормотав какие-то невнятные слова, он повесил трубку. Надо же такому случиться! Ему хотелось первым доложиться Брежневой, и такой конфуз...

Дни шли за днями, мало отличаясь один от другого. Происходившие события почти не затрагивали отцовского внимания.

Было опубликовано решение Пленума ЦК, официально объявлявшее происшедшие изменения в верхах. Отец только равнодушно раскрыл газету, скользнул взглядом по страницам и, не читая, отложил в сторону.

Несколько раз я заходил к Микоянам. С Анастасом Ивановичем я не разговаривал, но с Серго мы подолгу обсуждали происходящие события. Пытались угадать, что же последует дальше. В доме Микоянов тоже чувствовалась тревога. Вдруг без предупреждения у них затеяли чистку огромных хрустальных люстр, висевших в столовой. Этой работой занимались какие-то незнакомые люди, они сдвинули мебель и долго колдовали под потолком. «Устанавливают подслушивающее устройство», — решили мы с Серго и с тех пор разговаривали только на улице.

Опять возник вопрос о моем докторстве. По рассказу Серго, Микоян на одном из заседаний Президиума ЦК задал вопрос:

— Нам говорил товарищ Шелепин, что Сергею Хрущеву без защиты была присвоена степень доктора наук. Я

спрашивал Сергея. Он удивился и сказал, что об этом не было даже разговора.

Возникло некоторое замешательство. Косыгин подлил масла в огонь:

— Так, в конце концов, Александр Николаевич, кто прав? На чем основывались ваши слова?

Шелепин смешался, стал мямлить, что все это мелочи, но он наведет дополнительные справки. На следующем заседании Шелепин сказал, что он допустил неточность: сыну Хрущева не присваивалась научная степень. Представление якобы было подано в ВАК, но его задержали.

Одна ложь сменилась другой, никакого дела в ВАКе никогда не было, но вопрос этот, естественно, никого уже не интересовал и никогда не поднимался. Тем не менее у меня навсегда осталось ощущение прикосновения к чему-то грязному.

В тот период Президиум ЦК, как выяснилось, обсуждал и другой вопрос, связанный с моей персоной. Мое общение с Галюковым не осталось незамеченным и стало предметом внимания высшего органа нашей партии. Предлагали применить какие-то санкции против нас с Галюковым за то, что мы информировали Хрущева о надвигавшихся событиях и тем самым поставили под угрозу срыва столь тщательно подготовленное мероприятие.

Могли грозить большие неприятности, но, к счастью, предложение не встретило поддержки, поскольку успех был полный и членов Президиума больше волновало будущее. Кто-то из присутствующих даже возразил, что, мол, как можно обвинять сына в том, что он, узнав обо всем, предупредил своего отца? Ведь это естественно.

Вопрос умер сам по себе. Вместе со мной спасся и Галюков.

Пока происходили все эти бурные события, трое космонавтов продолжали летать по орбите. В своем последнем разговоре с ними из Пицунды отец обещал устроить достойную встречу. Теперь полет завершился, космонавтов обследовали на космодроме, а их торжественный прием в Москве откладывался со дня на день.

Наконец в газетах объявили: встреча состоится на следующий день, кажется, в субботу, 23 октября. Ритуал был известен — торжества на аэродроме, парадный

проезд кортежа по Москве, митинг на Красной площади и заключительный прием в Кремле. Все, как и раньше, но только... без Хрущева.

С утра началась трансляция с Внуковского аэродрома. Мама включила телевизор, теперь — единственное окно во внешний мир. Раньше отец не любил смотреть телевизор, да и просто у него не хватало на это времени. Вот и сейчас он сидел с книгой в соседней комнате. Однако не читалось, встреча космонавтов волновала его.

Когда полковник Комаров, командир экипажа, отдавал рапорт, Хрущев не выдержал и присоединился к зрителям. Сидел он недолго и, буркнув: «Не хочу смотреть», — пошел гулять. Обошел несколько раз вокруг дома, однако успокоиться не мог. Мы продолжали сидеть у экрана. Как раз в этот момент кортеж прибыл на Красную площадь, все поднимались на Мавзолей.

Внимание отца неожиданно привлек стоявший у ворот автомобиль. Сергей Васильевич Мельников о чем-то разговаривал с шофером. «Поехали на дачу», — обратился он к Мельникову. Они сели в машину и уехали. Естественно, никто, кроме Мельникова, не знал, куда поехал Хрущев. Как обычно, дежурный тут же сообщил по спецсвязи, что Хрущев выехал из особняка. Маршрут неизвестен.

Пока машина двигалась по Бережковской набережной, сообщение стремительно преодолевало инстанцию за инстанцией. У Бородинского моста поворот направо — к Красной площади, налево — на дачу. Куда повернет автомобиль, не знал никто...

Ничего не подозревая, через несколько минут на экранах телевизоров мы увидели, как за спиной Брежнева возник дежурный и зашептал ему что-то на ухо. Брежнев изменился в лице и нагнулся к соседу. Стоявшие на трибуне зашевелились, никто уже не слушал оратора. Шелепин поспешил за спины руководства в специально оборудованную комнату на верхнем этаже Мавзолея, где рядом с традиционным в этих случаях столом с закусками на столике сгрудились телефоны. Нужно было принять меры, чтобы не допустить появления Хрущева на Красной площади. Кто знает, что может прийти в голову этому импульсивному человеку!..

Замешательство было недолгим, вскоре, видимо, при-

шло успокоительное известие — машина с отцом свернула налево, он ехал на дачу...

К концу дня ничего не подозревавший отец вернулся домой. Прогулка освежила и успокоила его. Однако реакция на переполох, вызванный неожиданным отъездом, не заставила себя ждать. Не прошло и часа, как в доме появился Мельников. Вид у него был расстроенный.

— Никита Сергеевич, вам предложено с завтрашнего дня переехать на дачу и временно не возвращаться на городскую квартиру,— отводя глаза в сторону, вполголоса произнес Сергей Васильевич, обращаясь к сидевшему за обеденным столом со стаканом чая отцу.

— Хорошо,— последовал равнодушный ответ.

Мы уже стали привыкать к этой, столь невяжущейся с привычным образом отца, бесцветной реакции на непрекращающиеся уколы. Казалось, ничто его больше не волнует — на дачу так на дачу, в Сибирь так в Сибирь.

Сидевшая рядом мама заволновалась:

— Как же так, завтра уехать и не возвращаться? Ведь мы даже вещи собрать не успеем!

Отец никак не реагировал на эти слова, а Сергей Васильевич пояснил, что это распоряжение касается только отца. Члены семьи могут бывать здесь, когда им угодно, пока нам не будет предоставлена другая квартира в городе.

Итак, отцу приказано покинуть Москву. Эта уловка была вполне естественной, ведь дорога в город с дачи занимает около часа. Возможность появления отставного премьера в нежелательном месте, таким образом, резко уменьшалась.

На следующий день мы переехали на дачу в Горки-II. Отец оставался там безвыездно до переезда в Петрово-Дальнее, если не считать редких поездок в поликлинику.

В ноябре 64-го состоялся очередной Пленум ЦК. Именно на нем отец предполагал обсудить новую Конституцию. Теперь Пленуму предстояло принять совсем другие решения.

Небезынтересно проследить судьбы некоторых активных участников октябрьских событий. В те годы я старался не упустить ни слова, относящегося к людям, сыгравшим столь недобрую роль в судьбе моего отца. Там намек, здесь рассказ. Информация, собираясь по крупи-

цам, постепенно складывалась в отчетливую картину. В одних случаях сведения, доходившие из разных мест, подтверждали друг друга. в других — расходились. Тогда приходилось выбирать. Ведь официально узнать о событиях, происходивших в «верхах», было совершенно невозможно. Так что не исключено, что в описании отдельных деталей я могу и ошибиться. Но только в деталях. Далеко не все получили то, на что первоначально рассчитывали.

Одной из ключевых фигур в организации смены руководства был Александр Николаевич Шелепин. Его дальнейшая судьба, пожалуй, представляет наибольший интерес. После ухода отца в отставку Леонид Ильич Брежнев, занимавший кресло второго секретаря ЦК, автоматически стал Первым секретарем. Главной задачей было смещение Хрущева, и никто не хотел создавать предпосылок для возможных разногласий. Они, естественно, возникли бы при любой другой кандидатуре на высший пост в партийной иерархии. Ведь каждый в душе считал достойным себя. В такой ситуации неизбежны были столкновения между группировками, а сейчас, в первые дни и месяцы без Хрущева, как воздух необходимо было единство. В такой обстановке большинство выступало за естественную смену: Первого секретаря сменил второй, а Председателя Совета Министров — его первый заместитель.

Однако такая замена устраивала далеко не всех. В первую очередь Шелепина. Свое избрание членом Президиума ЦК Шелепин рассматривал лишь как первый шаг на пути к высшему положению в партии.

Внешне все складывалось как будто благоприятно. Брежнев — фигура переходная. Пока без него не обойтись, но придет время, и, стоит только прикрикнуть построже, он добровольно уступит кресло. Так или почти так, очевидно, рассуждал Шелепин в конце 1964 года.

На многих важных постах в государстве были расставлены давние его друзья и сторонники: Семичастный контролировал КГБ, в руках Тикунова было Министерство охраны общественного порядка РСФСР, да и на других постах, рангом помельче, были свои, и они только ждали команды.

Однако в главном Шелепин просчитался. Его роль в октябре 1964 года хорошо известна, цели тоже не состав-

ляли ни для кого секрета. Его заранее опасались, а это было почти поражением. Каждый его шаг контролировался, и внутренне весь Президиум вскоре объединился против него. Все возможные попытки произвести новую смену руководства были заранее обречены на неудачу, но Шелепин, видимо, не понимал этого и с надеждой смотрел в будущее.

Постепенно, с течением времени почва под ногами начала колебаться — у него умело выбивали одну опору за другой. А ведь поначалу казалось, все шло хорошо.

Сразу после октября ближайший сторонник Шелепина, председатель КГБ Семичастный, резко укрепил свои позиции: в благодарность за участие в октябрьских событиях ему было присвоено воинское звание генерал-полковника. Получил генеральские погоны и кое-кто из его помощников. Однако это была лишь оптимистическая прелюдия к печальному финалу. На посту председателя КГБ Семичастного через три года сменил Андропов. Все было сделано без лишнего шума и почти не привлекло к себе внимания.

Как говорили в те дни, однажды на площадь Дзержинского приехал член Политбюро ЦК* товарищ Суслов. Его сопровождал секретарь ЦК, отвечавший за связи со странами социалистического содружества, — Юрий Владимирович Андропов. Должна была состояться встреча с активом комитета. Ни та ни другая сторона не подавали вида, что происходит что-то из ряда вон выходящее.

Только что закончилось заседание Политбюро ЦК, где приняли решение об освобождении Семичастного. Как вспоминает Шелест, формальным поводом послужил побег на Запад дочери Сталина Светланы Аллилуевой. Семичастный, оправдываясь, доказывал, что он категорически возражал против ее поездки в Индию, решение принял Косыгин. Его, однако, не стали слушать.

И вот теперь Михаил Андреевич должен был выполнить непростую миссию — объявить принятое решение аппарату КГБ и представить нового председателя. И в ЦК, и в КГБ нервничали. Кто знает, что предпримет Семичастный в ответ на свое освобождение. Ведь в его руках сосредоточена огромная власть. В миниатюре си-

* В 1966 году Президиум ЦК КПСС был переименован в Политбюро ЦК.

туация напоминала положение, сложившееся почти полтора десятка лет назад. Правда, в распоряжении председателя КГБ теперь уже не было войск, но в его руках оставалась охрана Кремля, Центрального Комитета. На всякий случай по распоряжению ЦК войска Московского гарнизона были приведены в повышенную готовность.

Председательствующий предоставил слово Михаилу Андреевичу Суслову. Раздались жидкие аплодисменты. Суслов поднялся на трибуну.

Вначале он пространно говорил о сложной международной и внутренней обстановке, необходимости постоянного укрепления бдительности. Привычные слова лились без запинки. Но вот Суслов заговорил о том огромном значении, которое Центральный Комитет придает деятельности органов государственной безопасности.

— Центральный Комитет решил укрепить руководство органов и назначить на пост председателя комитета кандидата в члены Политбюро ЦК товарища Андропова, — произнес Суслов слова, ради которых приехал сюда.

На мгновение он запнулся и взглянул в зал. Ответом ему было настороженное молчание. Присутствующие переваривали давно ожидаемую и все-таки неожиданную новость. Оцепенение длилось недолго. Где-то в глубине зала раздались робкие аплодисменты, и вот они уже понеслись лавиной, поскольку никто не хотел отстать от соседа.

Затем говорил Андропов. Потом еще кто-то, но все это уже не имело никакого значения: главное было сделано.

Семичастный занял пост заместителя Председателя Совета Министров Украины. Отсюда он уже не мог оказывать никакого реального влияния на события в Москве.

Интересно также, что впервые после Берии председателем КГБ стал кандидат в члены Политбюро, вскоре переведенный в члены Политбюро.

В 1953 году по инициативе отца было принято решение изменить роль МВД (тогда не было разделения на МВД и МГБ), сузить его функции и возможности, сделать его более управляемым. Отец старался ограничить власть всесильных органов, чтобы они не могли больше встать над государством и партией.

МГБ было выделено из МВД и преобразовано в комитет, меньший по статусу в сравнении с министерством. Председателем тогда назначили генерала И. А. Серова. Ни он, ни его преемники Шелепин и Семичастный, несомненно, не помышляли о возможности войти в состав высшего политического руководства страны. Впрочем, могущество КГБ от этого не страдало.

Для Министерства обороны и Министерства иностранных дел было установлено то же правило — их руководители не могли состоять в высшем партийном синклите.

Отец аргументировал свои предложения просто: в руках министра обороны и председателя КГБ сосредоточена огромная сила. Она должна применяться строго в соответствии с принятыми Президиумом ЦК и правительством решениями и направляться на их выполнение. Руководители этих ведомств должны быть подотчетны Президиуму ЦК. Иначе они могут использовать служебное положение в своих групповых интересах в случае расхождения во мнениях в руководстве.

Об этом говорит в своих воспоминаниях сам Семичастный: «...затем в КГБ он Андропова сунул и сделал членом Политбюро. Чего не было раньше и что было ошибкой. Нельзя делать эти органы [бесконтрольными]. В любое время можно написать записку на Малиновского, на Громыко, на их службы, и после уж никто не проверит.

Если раньше отдел ЦК мог моего заместителя вызвать, то сейчас не вызовет, потому что председатель — член Политбюро. Откуда он знает, от кого исходит то или иное указание? Он и отвечать, по существу, не станет, а только скажет: «Мне председатель, член Политбюро дал задание...», и все, он вне зоны критики...»

Таким образом, Брежнев возвращался к традициям сталинской эпохи.

Конечно, затронутый вопрос чрезвычайно сложен и щекотлив, могут существовать и веские контрдоводы. Но мне хотелось напомнить аргументацию отца, связанную с этой серьезной проблемой.

С переводом Семичастного изменения в КГБ, конечно же, не завершились. Странной оказалась судьба полковника Чекалова, начальника управления охраны, встречавшего нас на аэродроме 13 октября. Едва примерив пого-

ны генерал-майора, он отправился продолжать службу в Тамбов на малопрестижной должности заместителя начальника областного управления. Проработал Чекалов там недолго. Случилось несчастье. Здоровый, еще моложавый мужчина во время утренней зарядки на местном стадионе вдруг почувствовал себя плохо. Кончилось это, по словам Семичастного, так: «...пришла сестра, укол сделала, и парень умер...».

Многие руководящие работники КГБ после кратковременного взлета отправились кто куда: кто в отставку, а кто на укрепление кадровых подразделений различных министерств.

Перестановки делались не вдруг, не в одночасье, исподволь. Практически не был пропущен ни один сотрудник КГБ, пусть в самой малой степени не заслуживший абсолютного доверия руководства.

Одновременно занялись и органами внутренних дел. С министром охраны общественного порядка РСФСР Вадимом Степановичем Тикуновым, тоже бывшим комсомольским работником, обошлись иначе. Могущественное союзное Министерство внутренних дел при Хрущеве было преобразовано в республиканские министерства охраны общественного порядка. При этом говорилось, что по мере продвижения к коммунизму его функции все более будут переходить к общественности.

Некоторое время после освобождения отца структура оставалась прежней. Но вот однажды Тикунова вызвали в ЦК. Беседа свелась к нескольким пунктам: надо исправлять допущенные ошибки. Роль органов МВД необходимо поднимать. Есть мнение вернуться к старому названию и восстановить союзное Министерство внутренних дел. Тикунов с готовностью согласился, предложение ему импонировало.

Его тут же попросили написать свои предложения в ЦК, ведь если будет создано союзное министерство, оно сможет выполнять и функции МВД РСФСР. Вряд ли целесообразно иметь рядом в Москве два министерства. На этой позиции ему и было предложено построить свою записку.

Через несколько дней записка с проектом реорганизации была готова. Тикунов ожидал решения, ничуть не сомневаясь, что он возглавит новое министерство. Прав-

да, слегка беспокоило затянувшееся молчание. Никакой реакции на записку почему-то не было. Никто больше не вызывал Тикунова в ЦК, казалось, там потеряли к этому вопросу всякий интерес.

Но вскоре все разъяснилось самым неожиданным образом.

Однажды утром, развернув газету, Тикунов, думаю, с немалым удивлением прочитал Указ Президиума Верховного Совета СССР об упразднении Министерства охраны общественного порядка РСФСР и об образовании МВД СССР. «Министром внутренних дел СССР назначен Николай Анисимович Щелоков».

Тикунов бросился в ЦК. На сей раз встреча была неизмеримо холодней. Его удивленно укорили за горячность, поскольку именно Тикунов сам предложил, исходя из государственных соображений, образовать МВД СССР и упразднить МООП РСФСР. Какие же могут быть претензии? Ведь решение базируется на его собственноручной записке...

После немой сцены, напоминающей финал «Ревизора», Тикунов отправился в резерв...

По свидетельству Семичастного, услышав о кандидатуре Щелокова, они с Шелепиным «подняли шум», но было уже поздно. На заседании Политбюро ЦК Брежнев поставил вопрос на голосование, и, хотя на этот раз и не единогласно, предложение все-таки прошло.

Перестановки продолжались. Постепенно соратники Шелепина, как их тогда называли, «комсомольцы», покидали завоеванные с таким трудом при Хрущеве московские посты и разъезжались по стране, а то и по свету. Некоторые из них получили высокий ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла и отправились по назначению.

Александр Николаевич Шелепин понимал, что при таком раскладе сил он вскоре может оказаться в одиночестве, как говорится, генералом без армии, но изменить или хотя бы приостановить начавшийся процесс не мог. Коллеги по Политбюро ЦК были едины в своем противодействии.

Вскоре наступила очередь и самого Шелепина. Подвернулся удобный случай: уехал послом в Данию еще один «комсомолец» — Н. Г. Егорычев, работавший до этого секретарем Московского городского комитета

партии. Его место занял председатель ВЦСПС Виктор Васильевич Гришин.

Появилась вакансия. По традиции, пост председателя ВЦСПС должен был занимать член Политбюро или кандидат в члены Политбюро ЦК. Его предложили Шелепину. Из здания ВЦСПС на Ленинском проспекте, естественно, труднее влиять на решения, готовящиеся в ЦК на Старой площади. Александр Николаевич, очевидно, понимал, что это еще одно поражение, но поделать ничего не мог. Все коллеги по Политбюро единодушно поддержали его кандидатуру, и прямой отказ мог привести к худшим последствиям. Однако Александр Николаевич не смирился. Он — самый молодой член Политбюро, время работает на него, надо только потерпеть, дождаться, когда обстановка станет более благоприятной. А пока нужно оправиться от неудач и снова подготовить почву.

Как и в 1964 году, он стал искать влиятельную фигуру, которую можно было бы, самому оставаясь в тени, подтолкнуть на сколачивание оппозиции теперь уже Брежневу. Если в 1964 году таким лицом был Игнатов, то сейчас внимание Шелепина привлек Микоян. Анастас Иванович уже не был членом Политбюро и, видимо, по мнению Шелепина, представлял собой идеальную кандидатуру. Вероятно, Шелепин не сомневался, что после вывода из состава Политбюро Микоян недоволен и настроен враждебно к новому руководству. А на этом уже можно было сыграть. Кроме того, Микоян широко известен в партии и в стране, к его мнению прислушиваются. В случае же провала легко будет спрятаться в его тени.

Самому идти к Микояну было опасно. Неизвестно еще, как воспримет Анастас Иванович предложение. Мог попросту выгнать или того хуже — выдать, рассказав о визите кому не следует. Да и сам факт разговора едва ли останется в тайне: охрана, собственная или Микояна, без сомнения, доложит о странном свидании. Предстояло найти посредников и, конечно же, аргументы, способные произвести впечатление на Микояна. Зная крайнюю щепетильность Анастаса Ивановича, в качестве затравки было решено использовать недавний ремонт дачи Брежнева, обошедшийся в несколько миллионов рублей. Если он «клюнет», можно будет перейти к обсуждению

политических вопросов, прощупать его настроения и дальше действовать по обстановке.

Но дело сорвалось в самом начале. Опытный и осторожный, Микоян сразу почувствовал неладное и повел себя настороженно. Большие расходы на переоборудование дачи он не одобрил, но попытки обсуждения и критики действий Брежнева начисто отмел. По рассказу Серго Микояна, выступавшего в роли посредника в этих переговорах, ответ его отца сводился к следующему: «Конечно, нехорошо, что Леонид Ильич расходует такие средства на свою дачу. Поступать так нескромно, и я его действия не одобряю. Тем не менее это дело его совести. В целом же принципиальных разногласий по проводимой сейчас внутренней и внешней политике между нами нет, я с ней согласен и считаю линию в целом правильной».

Подводя итог, Микоян добавил, что человек он не молодой, свое отработал. Активной политической деятельностью больше не занимается и не собирается к ней возвращаться.

Как видно, Шелепин ошибся в главном. Возможно, Микоян и был обижен своей отставкой, но карьера заговорщика его никогда не манила. О возвращении в состав Политбюро он уже не помышлял, еще менее был расположен стать орудием в чужих руках. Разговоры эти остались в тайне. Микоян никому не рассказывал о них в то время.

Не исключено, что Шелепин обращался не только к Микояну и проводил зондаж в разных направлениях. Едва ли отказ Микояна от сотрудничества заставил его отказаться от своих планов. Другие попытки Шелепина добиться реализации заветных намерений остаются по сей день тайной. С уверенностью можно сказать одно — к успеху они не привели...

Шли годы. Столь мощная в 1964 году коалиция «комсомольцев» распалась. Мечты о высших партийных и государственных постах становились все более зыбкими и расплывчатыми. Работа в ВЦСПС не клеилась, вызывая только раздражение своей явной бесперспективностью. Однако «железный Шурик», как, бывало, называли Шелепина, не хотел сдавать позиции. И тогда он решился на отчаянный шаг — личный разговор с Брежневым. Шелепин хотел любой ценой добиться возвращения

в аппарат ЦК. А чтобы разговор не прошел бесследно, он подготовил письменное заявление в адрес Политбюро. Суть его заключалась в следующем.

Не имея специального экономического образования, он, Шелепин, не может полноценно работать председателем ВЦСПС и приносить ту пользу, которую мог бы приносить на другом поприще. В связи с этим он обращается в Политбюро ЦК с просьбой освободить его от занимаемой должности и перевести на работу в аппарат Центрального Комитета. Естественно, как член Политбюро, он с полным основанием рассчитывал на кресло одного из секретарей.

Леонид Ильич внимательно выслушал все аргументы и, пообещав подумать, положил переданное ему заявление в свою папку. Беседа закончилась ничем.

Тем не менее вскоре после этой безрезультатной встречи снова вспыхнула надежда. Брежнев заболел. Поползли слухи, что он не сможет вернуться к работе.

В первую очередь Шелепин решил переговорить с Сусловым. Он представлялся естественным союзником в возможных столкновениях с Кириленко, занимавшим неофициальную должность второго секретаря ЦК. Именно с этого поста в 1964 году Брежнев переместился на место Хрущева. Без сомнения, и Андрей Павлович был готов к возможным переменам.

Шелепин зашел к Суслову. Конечно, предпочтительнее было провести этот щекотливый разговор где-нибудь в неофициальной обстановке, но повода все не находилось. Пришлось довольствоваться официальной встречей в кабинете секретаря ЦК.

Быстро покончив с текущими вопросами, Шелепин осторожно перешел к главному, сказав, что его, как, очевидно, и Суслова, больше всего волнуют судьбы партии, поступательное движение страны. Во многом это зависит от того, кто стоит во главе Центрального Комитета. Сейчас Леонид Ильич серьезно болен. Неизвестно, сможет ли он вернуться к исполнению своих служебных обязанностей, по крайней мере, в ближайшее время. К тому же все мы смертны. А может быть, стоило бы посоветоваться, подумать о замене?

На это Суслов холодно ответил, что если имеется в виду болезнь Леонида Ильича, то сведения неверны. Бреж-

нев чувствует себя значительно лучше. Так что затронутая тема по меньшей мере неуместна.

Это была очередная неудача. Оставалось надеяться на молчание Суслова.

Однако надежды оказались тщетными. Уже на следующий день Суслов поехал навестить больного Брежнева и все доложил. Леонид Ильич ничего не ответил, но информацию запомнил крепко, решив, очевидно, дождаться удобного случая. И такой случай вскоре представился.

В Великобритании должен был собраться всемирный форум профсоюзных деятелей. Решено было, что советскую делегацию возглавит Шелепин. Случайно или умышленно, но никто не обратил внимания на одно щекотливое обстоятельство в биографии тогдашнего председателя ВЦСПС: ранее он возглавлял КГБ. Никто не задался вопросом: как в связи с этим встретит британская общественность нашу делегацию?

Естественно, с первого же дня пребывания профсоюзной делегации в Англии разразился скандал. Тон задала пресса. Как может бывший начальник тайной полиции возглавлять профсоюзное движение? Эта тема перепевалась на все лады. Начались демонстрации с требованиями выдворения Шелепина из Великобритании. Обстановка все более накалялась. В результате Шелепина досрочно отозвали на родину.

Встреча в Москве была холодной. И все-таки никто здесь не воспринимал происшедший скандал так остро, как в нашем посольстве в Лондоне. В привычной московской сутолоке английская командировка стала далекой и почти нереальной. Хотелось думать, что о ней никто и не вспомнит.

Звонок из ЦК вернул Шелепина к реальности. Ему сообщили, что на следующем заседании Политбюро одним из вопросов повестки дня будет отчет о поездке в Англию.

Заседание Политбюро началось как обычно. Председательствовал Брежнев. По рассказам очевидцев, вопросов было много — одни решения принимались без дискуссий, другие вызывали краткие обсуждения.

Наконец наступила очередь Шелепина. Александр Николаевич кратко рассказал о происходившем на кон-

грессе и подчеркнул, что шумиха вокруг советской делегации была инспирирована определенными кругами с провокационными целями.

Началось обсуждение. Все говорили по очереди, но в каждом выступлении был один, главный стержень: руководитель делегации не справился с ответственным поручением и провалил важное международное мероприятие.

Обсуждение закончилось, было принято решение, констатирующее нашу неудачу, возлагавшее ответственность на руководителя делегации Александра Николаевича Шелепина. За резолюцию проголосовали единогласно.

Однако Брежнев на этом не остановился. Обстановка в ВЦСПС, по его мнению, сложилась явно ненормальная. Во многом это зависит от руководства и лично от товарища Шелепина. Время показало, что он плохо справляется с порученной работой. Впрочем, он и сам так считает.

Брежнев раскрыл лежавшую перед ним папку. Внутри было заявление Шелепина в Политбюро с просьбой перевести его на партийную работу, которое он когда-то неосмотрительно передал Брежневу!

Леонид Ильич медленно зачитал первую половину заявления. Но дойдя до фразы с просьбой о переводе в ЦК, дальше читать не стал и поднял голову:

— Кто за то, чтобы удовлетворить просьбу товарища Шелепина?

Он обвел взглядом присутствующих.

— Большинство,— констатировал Леонид Ильич, и Политбюро перешло к рассмотрению следующего вопроса...

Через несколько дней Шелепин был официально освобожден от обязанностей председателя ВЦСПС и назначен на мелкую должность заместителя председателя Комитета по трудовым ресурсам. Один из самых молодых членов Политбюро, он еще не достиг пенсионного возраста и нуждался в трудоустройстве. Очередной Пленум ЦК вывел его из состава Политбюро. Политическая карьера Шелепина на этом закончилась...

Не многим лучше сложилась судьба и Николая Григорьевича Игнатова.

Он, конечно, не сомневался, что его кипучая деятельность будет вознаграждена и с устранением Хрущева он

вернется в состав Президиума ЦК. Ведь именно на нем лежала тяжелая и опасная миссия связи со многими членами ЦК, разъяснения им смысла готовящихся изменений. Нужно было добиться согласия едва ли не каждого, чтобы в случае обсуждения на Пленуме все заняли общую позицию. К счастью, завершилось все удачно. После избрания в члены Президиума можно будет начать борьбу за пост Первого секретаря ЦК. Брежнев ему не помеха.

Однако жизнь рассудила иначе. Стремления Игнатова занять доминирующую роль в партии и государстве были известны многим, так же как и его склонность к интригам. Игнатов сыграл предназначенную ему роль, и теперь, по логике, следовало от него отделаться.

О его неприязни к Хрущеву знали все. Знали, что после отстранения в 1960 году от работы в ЦК она переросла в ненависть. Любые антихрущевские высказывания в устах Игнатова выглядели вполне естественно. Если бы «деятельность» Игнатова выплыла наружу, его легко можно было представить одиночкой, единственным закоперщиком антихрущевской акции. Вряд ли Хрущев станет заниматься расследованием всерьез — это не в его характере. Да и Игнатов — фигура слишком мелкая. В худшем случае его снимут с должности, и дело с концом.

Опасения оказались напрасны — все удалось как нельзя лучше. На октябрьском Пленуме после отставки отца решили только главные вопросы: кто займет освободившиеся посты Первого секретаря ЦК и Председателя Совета Министров. Основные же перемещения отложили до ноября. В ноябре присутствие Игнатова на Пленуме стало крайне нежелательным. Он мог затеять публичную ссору. А проблем хватало и без него.

Решение пришло само собой. В Таиланд и Камбоджу отправлялась правительственная делегация, и главой ее утвердили... Игнатова. Он пытался было возражать, но потом смирился.

Уезжал Николай Григорьевич мрачнее тучи, и хотя где-то теплилась надежда, что выбрать могут и заочно, но умом он понимал — все пропало. Об итогах Пленума Игнатов узнал в Бангкоке: членом Президиума избрали Шелепина, освободили от секретарства Ильичева и Поля-

кова, вывели из ЦК Аджубея и только о нем ни звука, как будто его и не существовало.

Москва встретила неприветливо. Игнатов мрачно пожал руки встречавшим. Вопросов никаких не задавал. Как только закончилась официальная процедура, он сел в поджидавшую «Чайку» и уехал домой.

Посчитаться с обидчиками ему не удалось. Он так и не смог оправиться от перенесенного потрясения. Одна за другой стали липнуть болезни. Лекарства не помогали, организм отказывался бороться. Игнатов умер в 1966 году. Похоронили его у Кремлевской стены.

Так сложилась судьба некоторых участников тех памятных событий.

Вернемся в осенние дни 1964 года.

Хотя у каждого из нас переживания были еще остры, у отца постепенно начали складываться новые привычки. По утрам он просматривал газеты, но теперь уже не отмечал, как бывало прежде, статьи из внутренней и международной жизни, которые следовало изучить, осмыслить. Газеты откладывались в сторону, и начиналась прогулка по парку, вниз, к Москве-реке. Впереди был бесконечный день.

— Надо научиться как-то убивать время,— часто повторял он в эти дни.

Из обширной библиотеки отец отобрал груду книг — раньше на них попросту не хватало времени. Сейчас его было хоть отбавляй, но чтение не увлекало: слишком остры были недавние переживания, страницы перелистывались машинально. Книга откладывалась в сторону, и он опять начинал свою нескончаемую прогулку.

Как всегда, жизнью дома руководила мама. Она успевала везде, следила, чтобы все были накормлены, чтобы отец надел свою неизменную чистую белую рубашку, а вещи не расползлись с привычных мест. Все это она делала с надежной, доброй улыбкой на круглом лице. Казалось, что никакой катастрофы не произошло — просто Центральный Комитет принял очередное решение, на сей раз об отставке ее мужа, и она, как всегда, приняла его к исполнению. Мама привыкла беспрекословно подчиняться этим решениям, всегда регламентировавшим нашу жизнь. Только через много лет, когда отца уже не было в живых, она как-то рассказала мне о

своих переживаниях, о долгих ночных монологах, адресованных Брежневу. Вот так, за своей спокойной приветливостью она лучше нас умела скрыть переживания.

Сила маминого характера проявилась еще в молодости. Совсем юной гимназисткой она стала красной разведчицей и с замиранием сердца пробиралась через позиции белых. И в последние годы, будучи женой главы великой державы, она всегда умела найти единственно правильную линию поведения буквально со всеми — от рабочего до президента.

Вот и в эти трудные дни она как-то незаметно взяла управление на себя, и все без лишних слов приняли это как должное.

Отца никто не навещал. Раньше казавшийся неиссякаемым поток посетителей резко сократился. Одним теперь незачем было ехать к Хрущеву, поскольку нужно было срочно устанавливать новые связи; другие, а их было большинство, просто боялись, и не без оснований. Каждый посетитель подвергался строгой проверке, и, хотя никто не спрашивал у него документов, уже на следующий день на стол Семичастного ложилась подробная справка: что за человек приезжал к Хрущеву, кто его родители, друзья, чем он занимается, каких придерживается взглядов и может ли этот контакт представлять опасность...

В одно из воскресений я пригласил на дачу своих друзей и сослуживцев — Валерия Самойлова, Юру Дятлова и Володю Модестова. Они и раньше часто бывали у нас. Мне хотелось как-то развеять отца, отвлечь от грустных раздумий.

Отец, когда приехали гости, оживился, и все вместе мы отправились гулять. С прежним пылом отец показывал недавно построенную на даче гидропонную оранжерею. Гидропоника, выращивание овощей без грунта в питательном растворе, была его последним увлечением. Когда зашли в оранжерею, глаза отца загорелись, он опять был таким, каким мы его привыкли видеть.

— Только гидропоника позволит наладить круглогодичное снабжение наших городов овощами. Иначе эту проблему не решить. Весь мир сейчас строит такие хозяйства. Мы должны добиться, чтобы свежие овощи зи-

мой перестали бы быть деликатесом,— с жаром доказывал он слушателям.

Гости вежливо кивали головой, поддакивали, щупали зеленые огурцы и розовеющие томаты. В самый разгар лекции отец вдруг осекся, замолчал, глаза его потухли.

— Теперь это уже не мое дело. И вы в этом мало понимаете. Пошли обедать,— и он круто повернулся к выходу.

После обеда гости разъехались по домам, а в понедельник в организацию, где мы все работали, пришел запрос с указанием фамилий наших вчерашних гостей и требованием сообщить о них самые подробные сведения...

Хрущева боялись. Поверженный, он казался опасным, все ждали от него чего-то неожиданного, каких-то непредсказуемых действий. Никто не хотел поверить, что он, смирившись со своей участью, ничего не собирается предпринимать. Очень трудно было представить отца с его кипучей энергией пенсионером, не помышляющим о политической деятельности. Каждого посетителя рассматривали как возможного «связника» — вот Хрущев установит контакт со сторонниками, вырвется из своего уединения и с триумфом въедет в Москву, как Бонапарт в Марсель!

Ничего более далекого от действительности и представить было нельзя. Отец был слишком подавлен, а главное, тогда, в октябре, он принял решение: если коллеги хотят его отставки — он уйдет.

Он снова и снова повторял:

— То, что мои товарищи, правы они или нет, смогли потребовать моей отставки — отставки Первого секретаря ЦК и Председателя Совмина,— главное достижение всей моей деятельности. Это означает, что удалось восстановить ленинские нормы внутрипартийной жизни. Разве могли мы себе представить что-либо подобное во времена Сталина? Да от нас бы и мокрого места не осталось! Теперь же мы можем свободно говорить друг другу все, что думаем. И если бы я ничего больше не сделал, то ради одного этого стоило жить.

Даже отставку отец рассматривал как свою победу, как победу курса, который он провозгласил на XX съезде партии в 1956 году.

В связи с этой нервозной атмосферой подозрительности вспоминается один эпизод. Случилось это в начале декабря 1964 года.

По делам службы мне потребовалось поехать в Ленинград. Выписал я себе командировку и с коллегами — Семеном Абрамовичем Альперовичем, нашим ведущим специалистом, и Алексеем Дмитриевичем Александровым — сел в «Красную стрелу».

Приехав наутро в Ленинград, отправились по делам. Все вопросы решили быстро, и после обеда проблемы больше не существовало, впрочем, не успели уладить мелкую формальность. Отложив ее на завтра, пошли устраиваться в гостиницу. Обошли все известные адреса, но везде получили стандартный ответ: «Мест нет». Хуже всего был холод — десять градусов мороза в сочетании с влажным ветром с Балтики стоили всех двадцати пяти. Спас нас товарищ по работе — Яша Кавтеладзе, бравый капитан-лейтенант. Встретив нас на набережной Фонтанки, он затащил всех к себе. Тем самым мы выпали из поля зрения тех, у кого из поля зрения выпадать не полагается, чем вызвали немалый переполох...

Завершив дела, мы возвратились в Москву. И тут же попали в атмосферу какого-то нервного шушуканья. Оказалось, Семену Борисовичу Пузрину, подписавшему наши командировки, объявили взыскание за потерю бдительности. У Альперовича долго допытывались, зачем мы поехали в Ленинград, была ли в этом настоятельная необходимость, почему не поехали раньше и, главное, не заметил ли он необычного в моем поведении. Обеспокоенный Семен тут же все пересказал мне.

В ближайшие месяцы я больше в командировки не ездил...

Жизнь на даче текла без происшествий, связи отца с внешним миром оказались напрочь оборванными. Периодически наезжал Владимир Григорьевич Беззубик, прописывал успокоительное, беседовал о жизни, рассказывал о последних событиях и со словами «время — лучший лекарь» уезжал, не забывая напомнить, что наведается через несколько дней.

Внезапно уединение отца нарушило переданное через Мельникова приглашение приехать в ЦК. С ним хотел

говорить сам Брежнев. Отец был еще очень подавлен. Для дискуссии сил у него просто не было. При встрече Брежнев сообщил, что принято решение об установлении отцу персональной пенсии в размере 500 рублей в месяц, до этого он получал зарплату Председателя Совета Министров. Решение определяло и место жительства.

Предоставлялись квартира в Москве и дача, а также выделялась в пользование автомашина из кремлевского гаража. Резиденцию на Ленинских горах и дачу в Горках-II следовало освободить. Оговаривались и некоторые другие бытовые вопросы.

Сообщив все это, Леонид Ильич поднялся, давая понять, что аудиенция окончена. Отец кратко поблагодарил, они сухо попрощались. И с тех пор никогда не встречались.

У нас наступила суета с переездом на новое место. Квартиру подобрали быстро. Теперь нам предстояло жить в доме 19 по Староконюшенному переулку, близ Арбата. Когда-то в этой квартире жил Шолохов. Дом был старый, построенный в 30-х годах для работников ЦК ВКП(б), вслед за «домом на набережной». В нем не было даже мусоропровода. Квартира была не очень комфортабельной, но отец, всегда нетребовательный к собственным удобствам, осмотрел ее только для проформы и дал согласие. Да и неизвестно, мог ли он выбирать. Кроме того, его вообще мало интересовало теперь, где и как он будет жить.

Немедленно начать переезд было невозможно, поскольку требовался ремонт. Мы отлично понимали, что квартиру должны оснастить системой прослушивания, а на это, понятно, нужно время. Тут уж ничего не поделаешь. У служб сразу возникли осложнения: где ставить приемную аппаратуру, ведь слушать придется не день и не месяц, а, возможно, много лет. Здоровье у отца хорошее. Пришлось службам отобрать одну комнату у живший двумя этажами ниже семьи Бурмистенко, бывшего секретаря ЦК Коммунистической партии Украины, погибшего при выходе из окруженного фашистами Киева в 1941 году. Там оборудовали дежурку для охранников отца и разместили приемную аппаратуру.

С дачей получилась небольшая заминка. Охрану отца поручили девятому управлению КГБ, обеспечивающему

безопасность членов Президиума ЦК. В распоряжении «девятки» находились и правительственные дачи. Отец попытался было отказаться от охраны, ссылаясь на свое положение пенсионера, но его попытки ни к чему не привели.

Начальник, с которым зашла речь об этом, не преминул уколоть отца:

— Что вы, Никита Сергеевич. Без охраны вам невозможно. Вы даже не представляете, сколько вокруг людей вас ненавидят. Мы отвечаем за вашу безопасность.

Хрущев махнул рукой и больше к этому вопросу не возвращался, только иногда грустно шутил:

— Сразу и не поймешь, кого от кого охраняют. То ли меня от окружающего мира, то ли его от меня.

Так как управление охраны занималось обеспечением членов Президиума ЦК, в его распоряжении, естественно, были лучшие дачи. На одной из них пока жил отец. Но ни одна из этих дач не подходила, по мнению руководства, для отставного Хрущева. Следовало подобрать что-нибудь попроще.

Наконец решение нашлось. Вслед за отцом в 1964 году освободили от занимаемых должностей и некоторых работников аппарата, наиболее тесно с ним общавшихся. Постигла такая судьба и управляющего делами Совета Министров СССР Степанова. Дачу, которую он освободил, и выделили отцу. Оставалось только передать ее из ведения Совета Министров СССР в КГБ и оборудовать прослушивающей аппаратурой.

В конце декабря мы поехали смотреть новую дачу. Переезд должен был состояться сразу после новогодних праздников.

Дача понравилась отцу. Одноэтажный, покрашенный зеленой краской бревенчатый дом стоял на высоком, поросшем соснами берегу речки Истры, неподалеку от места ее впадения в Москву-реку. Вокруг дома сосны были давно вырублены, и освободившееся место занял яблоневый сад. Между яблонями вились дорожки, обрамленные с обеих сторон цветочными грядками. Под самыми окнами росли кусты сирени и жасмина. От ворот к дому вела асфальтированная дорога. Перед крыльцом она заканчивалась прямоугольной площадкой.

Внутри дом оказался просторным и уютным. Мама

распределила наше многочисленное семейство по комнатам. Большую бильярдную решили приспособить под столовую, тут может собираться вся семья — дети, внуки, племянники, места хватит на всех.

Осмотрев дом, все оделись и вышли во двор. Сергей Васильевич Мельников хотел показать службы и участок. Слева от крыльца стояло несколько строений: оранжерея с высокой трубой. Скат застекленной крыши оранжереи обращен к дому, и сквозь квадратики стекла видны почерневшие стеллажи для цветов. Внутрь заходить не стали.

— За оранжереей — летняя кухня,— показал Сергей Васильевич на маленький щитовой домик,— вернее, это просто холодный дом, внутри две комнаты, одна совсем маленькая, а другая побольше. Вон там, ближе к воротам, еще домик, он теплый, туда проведено отопление.

Взглянув на меня, Сергей Васильевич, видимо, вспомнил, что мне на даче комнаты не досталось, и продолжил:

— Мы там хотели организовать дежурку для охраны, и остается еще комната. Ее можно было бы отдать Сергею.

Осмотрели и этот дом, в нем было три комнаты и небольшая застекленная веранда. Меня предложенное помещение вполне устраивало. Однако мне так и не удалось вселиться в домик, чему причиной были особые обстоятельства, которых при первом посещении Сергей Васильевич наивно не учел. Когда мы начали переезд и я, было, направился со своим скарбом в свой «приют», Мельников преградил мне дорогу и, краснея от смущения, стал объяснять, что этот домик, оказывается, считается служебным помещением и, по мнению руководства, я в нем поселиться не могу.

В свою очередь, не понимая, в чем дело, я начал настаивать, ссылаясь на предыдущий разговор, но в конце концов, решив не унижаться, повернул обратно.

Вскоре все разъяснилось. Впрочем, об этом можно было догадаться и раньше. Мы еще в то время не осознали до конца, что отец — лицо, находящееся под наблюдением. Естественно, мы не сомневались, что на даче установлены микрофоны, а где стоят приемные устройства и магнитофоны, никто не задумывался. Это как-то нас не интересовало. Выяснилось, что аппаратура размещена

в этой дежурке, и мое постоянное присутствие, возможность заходить туда в любое время по своему желанию, без сомнения, затрудняли службу.

Должен сказать, что аппаратура работала весьма посредственно, а подслушивание велось халатно, особенно в последние годы жизни отца. Сменившие Мельникова охранники часто, вместо того чтобы включать магнитофоны на запись, путались в кнопках и включали их на воспроизведение. Тогда из стены в комнате отца слышались приглушенные напевы, инструментальные пьесы, эстрадные записи — микрофоны превращались в динамики.

Пару раз я позволил себе пошутить. Услышав музыку и изобразив удивление, предлагал поискать загадочные источники звука. Через мгновение наступала тишина...

После осмотра новой дачи мы вернулись к себе на так называемую девятую дачу.

Я уже писал, что в нелегкий период перехода к новой жизни наиболее частым и желанным гостем отца стал его врач Владимир Григорьевич Беззубик. За последние годы они привыкли друг к другу. Доктор наблюдал отца не только в Москве, он сопровождал его в поездках по стране и за рубеж. Так они и подружились. Нужно сказать, что к многочисленным врачам, в том числе и к знаменитостям, отец относился внимательно, но с некоторой долей иронии. Ему довелось услышать много советов, и он усвоил главную истину — врач должен успокоить больного, независимо от того, знает ли он диагноз или даже не догадывается. Поэтому он и напускает на себя ученый вид и не говорит, а вещает — ведь пациент не простой.

Беззубик был мудрее. Он быстро раскусил своего подопечного и взял иной тон — дружескую откровенность. Если он не понимал до конца причин заболевания, то открыто признавался в этом, сохраняя, конечно, предписанную профессией дистанцию между врачом и пациентом, обсуждал альтернативные варианты и не предписывал лечение, а советовал.

Такой стиль вызывал откровенную реакцию со стороны отца. Постепенно они стали дружными собеседниками, обсуждавшими самые разные темы, порой очень далекие от медицины. Отец любил беззлобной шуткой

подковырнуть Владимира Григорьевича. Тот отвечал с юмором, но в его словах был всегда заложен глубокий смысл. Отец воспринимал эти беседы очень серьезно. Словом, одним своим присутствием Беззубик действовал на отца благотворно. Теперь же отец особенно нуждался в нем. Вместе с Владимиром Григорьевичем в дом входила уверенность и душевное тепло. В моем представлении — это забытый ныне домашний врач, друг, хранитель тайн, человек, на которого можно опереться в трудную минуту.

Нужно сказать, что, работая много лет с отцом, Беззубик всегда оставался бессребреником. Он не только не «пробился» в академию, но не «выбил» себе даже профессорского звания. Владимир Григорьевич считал неприличным делать карьеру таким путем, поэтому так и остался доцентом.

В эти трудные дни конца 1964 года Беззубик прикладывал все усилия, чтобы вывести отца из шока, снять стресс. Они подолгу беседовали, он назначал то одно, то другое снотворное, какие-то транквилизаторы. Однако лекарства не действовали. Очевидно, только время могло изменить ситуацию. Отец молча гулял, думал о своем, обходя раз за разом вдоль забора территорию дачи. Вместе с ним, иногда рядом, иногда следом, ходили и мы с Мельниковым.

Молчание угнетало. Мы пытались отвлечь отца от его мыслей, затевали разговоры о каких-то нейтральных московских новостях, но отец не реагировал. Иногда он нарушал молчание и с горечью повторял, что жизнь его кончена, что он жил, пока был нужен людям, а сейчас жизнь стала бессмысленной. Бывало, на глаза его наворачивались слезы. Мы, конечно, волновались, но Владимир Григорьевич просил нас не пугаться. «Это одно из последствий потрясения»,— объяснял он. И снова продолжались бесконечные прогулки, отец по-прежнему был замкнут...

В этих переживаниях пришел новый, 1965 год.

Все уже было готово к переезду, но новогодний праздник мы провели на старом месте — в огромной мрачноватой столовой девятой дачи. Ее стены были в сталинском стиле до потолка обшиты дубовыми панелями. Здесь почти ничего не изменилось со времени ухода предыду-

щего хозяина, разве что из простенков, где висели портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, убрали портрет последнего. Образовалась эдакая бросающаяся в глаза проплешина. Вдоль стен стояли неудобные диваны, затянутые черной кожей, а посредине — стол, человек на 30—40. В столовой находился камин из серого мрамора, который запрещалось зажигать из соображений пожарной безопасности, как обычно, надуманных.

31 декабря собрались все члены нашей большой семьи — это был первый за многие годы семейный Новый год.

Отец всегда любил гостей. До самой отставки по выходным в доме у нас всегда кто-то был — партийные работники разных рангов, военные, конструкторы, а иногда и американский посол.

После смерти Сталина отец предложил открыть Кремль для народа. Тогда одним из первых массовых мероприятий стали молодежные новогодние балы в Георгиевском зале Кремлевского дворца. А когда построили Кремлевский Дворец съездов, там, как я уже писал, стали устраивать новогодние приемы. Отца всегда тянуло к людям, жизни, движению. Одной из первых акций нового руководства после отставки Хрущева была отмена новогоднего приема. Правда, к нам это уже не имело отношения, в список гостей отец попасть не мог.

И хотя в тот год нам было не до праздника, все принарядились, стремились казаться бодрыми и веселыми. Дождались одиннадцати часов и расселись по своим местам. Все наше многочисленное семейство не заняло и половины огромного, как взлетная полоса, стола. Выпили за уходящий год, за то, чтобы новый, 1965 год был счастливее. Отец сидел спокойно, безучастно взирая на происходящее.

Телефоны на даче стояли в гостиной, соседствующей со столовой. Все они бездействовали, работал только городской. Поздравительных звонков было мало. К телефону бегал я, в большинстве случаев звонили мои друзья. Иногда отцу передавали поздравления какие-то старые знакомые из далекого прошлого — сослуживцы по Донбассу, мамины товарищи по электроламповому заводу. Но отца к телефону не приглашали.

Поэтому я очень удивился, когда, в очередной раз подняв трубку, услышал чей-то знакомый голос:

— Никиту Сергеевича попрошу.

Мысли мои были настроены на «другую волну», и я не стал особенно ломать голову над тем, кто этот необычно храбрый абонент. Осведомляться же, кто звонит, я не счел возможным и, слегка растерявшись, крикнул в открытую дверь:

— Папа, тебя!

Отец поднял голову и какое-то мгновение не трогался с места. Казалось, он раздумывает, идти или пе идти к телефону, и вообще, кто это мог позвонить. Но вопроса не задал, медленно поднялся и, шаркая по-стариковски ногами, пошел к телефону. (Такая у него теперь стала походка. Правда, вскоре опа выправилась, и шаг отца обрел былую легкость.)

— Алло,— отец взял трубку.

Мы прислушивались к тишине.

— Спасибо, Анастас!— раздался помолодевший, почти прежний голос отца.— И тебя поздравляю с Новым годом. Передай мои поздравления семье... Спасибо, бодрюсь. Мое дело теперь пенсионерское. Учусь отдыхать... — пытался пошутить он.

Вскоре разговор закончился. Как будто в одночасье помолодевший отец показался в дверях.

— Микоян звонил, всех поздравляет,— отец сел на свое место.

Постепенно глаза его снова потухли. Звонок старого друга лишь ненадолго взбодрил его. Мы все обрадовались за отца: для него этот звонок небольшая, но радость. Значит, не все вычеркнули его из своей жизни. Порадовались и за Анастаса Ивановича: чтобы позвонить отцу, требовалось определенное мужество.

Звонок этот не прошел незамеченным. На следующий день информация о разговоре была направлена Семичастным Брежневу. Тот не оставил ее без внимания — Анастасу Ивановичу продемонстрировали крайнюю степень неудовольствия.

Больше отца не поздравил никто из тех, кому было что терять...

Пробило двенадцать часов. Откупорили бутылку

шампанского. В этот момент в дверь стали заходить женщины, работавшие по дому: повариха, официантка, уборщицы. Они принесли пирог, который испекли к Новому году, поставили его перед отцом. Он несколько оживился, налил всем по бокалу шампанского. Пришедшие женщины сказали, что пришли попрощаться — их переводят в другие места, но теплые чувства к отцу они сохранят и запомнят его как доброго и хорошего человека, с которым было приятно работать.

К концу этой взволновавшей всех нас речи у них на глазах появились слезы, прослезился и отец. До сих пор наша семья хранит самые теплые чувства к этим женщинам. При жизни мамы они нередко заходили к ней и поговорить, и помочь по хозяйству. Теперь же с оставшимися в живых мы изредка встречаемся на Новодевичьем кладбище, у могилы отца.

Так, прощанием, и закончился новогодний праздник. Через полчаса все разошлись...

В начале 1965 года мы окончательно переехали на новое место. Весь тот год и отец, и мы привыкали к его новому положению пенсионера. Вдобавок ко всему из-за нервного потрясения он тяжело заболел. Поначалу врачи даже подозревали рак поджелудочной железы, но диагноз не подтвердился — это было только воспаление. Беззубик назначил лечение, отец ему прилежно следовал, и все обошлось, если не считать строжайшей диеты и полного отказа от спиртного до конца дней. Но и до этого отец не злоупотреблял спиртным, хотя и не был ханжой: не прочь был по праздникам выпить рюмку-другую хорошего коньяка. Подаренная на юбилей в апреле 1964 года бутылка коньяка 70-летней выдержки, который он тогда только попробовал и по достоинству оценил, так и простояла в буфете до 1971 года и была допита на поминках...

Постепенно отец стал успокаиваться, интересоваться происходящими событиями, подыскивать себе занятие.

Обычным пенсионерским развлечением, кажется, считается рыбная ловля. Оно и понятно — максимум потери времени при минимуме затрат и хлопот. Этим делом отец никогда не увлекался. Помнится, только в Киеве пару раз мы перебирались с дачи, стоявшей на обрывистом правом берегу Днепра, на низкий, левый. Компания была большая, шумная. Прихватывали с собой сеть,

тогда еще на эту снасть запрета не было. С шумом и гамом заводили ее на лодке подальше в реку, выметывали и начинали тянуть. Уловы у рыбаков были невелики, но за вечер на ведро ухи набиралось. Разжигали костер и допоздна не смолкали разговоры. Бывало, запевали украинские песни. Эти пляжи, сеть и рыбы, удирающие из нее в последний момент, запомнились мне на всю жизнь.

Теперь все наперебой советовали отцу рыбачить. К советам он отнесся скептически, но решил попробовать. В кладовке отыскалась коробка с лесками и блеснами — давний подарок Вальтера Ульбрихта, я принес удилище и катушки. Несколько дней отец занимался снастями, читал специальные книжки. Наконец все было готово, и он отправился на Истру. По берегам то тут то там сидели рыболовы. Отца они не узнали, и он без помех расположился на приглянувшемся месте.

Закинул удочки и стал ждать. Как и полагается, клевало редко и плохо. Он вытаскивал, проверял наживку, закидывал снова. Не помню, поймал он что-нибудь или вернулся без улова, но эксперимент закончился неудачно — отца раздражало это бессмысленное сидение.

— Сидишь, чувствуешь себя полным дураком! Так и слышится, как рыбы под водой над тобой потешаются. Не по мне это,— подвел он итог своим впечатлениям.

Больше на рыбалку он не ходил и только, гуляя по берегу, осведомлялся у рыбаков об успехах. Удочки так без дела и простояли до конца его жизни. Сейчас они так же мирно стоят у меня...

Особой проблемой его нового существования стал отрыв от внешнего мира. Обилие информации из многочисленных ее источников — государственных, партийных, хозяйственных, дипломатических, разведывательных, доверительных, нашей и зарубежной прессы — сменилось тонким и тщательно процеженным ручейком новостей газет, телевидения, радио. Это была единственно доступная связь с жизнью, текущей за забором дачи. Раньше он называл нас бездельниками, заставая у телевизора. Теперь времена изменились, и отец посмеивался: «Мое дело пенсионерское, пусть «они» там решают, а я посмотрю, что сегодня в программе, что нам покажут». Выходя на прогулку, он не расставался с маленьким приемником «Сокол». С утра по старой привычке прочитывал газеты

от первой до последней страницы, часто неудовлетворенно хмыкал:

— Жвачка... Разве можно так писать? Какая это пропаганда? Кто в это поверит?

Информации отцу явно не хватало. Он разыскал подаренный ему еще в 50-е годы американским бизнесменом Эриком Джонсоном всеволновый приемник «Зенит» и стал слушать западные «голоса». Новости не радовали. Постепенно упразднялись все его нововведения. Одним из первых шагов стал возврат к централизованному управлению народным хозяйством. Председатели ликвидированных совнархозов потянулись в Москву в министерские кресла. Места всем не хватало, приходилось срочно изыскивать необходимые площади. Внимание Косыгина привлекли строящиеся жилые дома на только что пробитом проспекте Калинина. Было дано указание переоборудовать их под новые ведомства. Переделка проектов влетела в копеечку, ведь функционально жилье и присутственное место несовместимы. Перед затратами не остановились, новорожденные министерства требовали своего, настал их час.

В Петрово-Дальнем отец жил не один. В поселке было еще несколько дач. Там жили заместители Председателя Совета Министров М. А. Лесечко и И. Т. Новиков, министр финансов А. Г. Зверев. При встречах они всячески демонстрировали отцу свое уважение, но, видимо, не очень зная, как и о чем с ним теперь говорить, по старой привычке начинали полудокладывать, полурассказывать о своих служебных делах, словно ожидая распоряжения или совета. Отца тяготили и эти встречи, и эти разговоры. Он старался избегать контактов со своими бывшими подчиненными.

Дачный поселок обслуживался небольшим клубом с кинозалом, где регулярно, два раза в неделю, демонстрировались новые кинофильмы. Но туда отец практически не ходил. Дачи в поселке были отделены друг от друга глухими зелеными заборами с деревянными воротами, выходящими на общую асфальтированную дорогу. Ворота поселка охраняла бабушка из вневедомственной охраны, а у наших дачных ворот службу несли офицеры и сержанты Комитета государственной безопасности. Отсюда начинались отцовские прогулки.

Через несколько лет после переезда отец стал гулять с палочкой. Многочисленные палки и трости — инкрустированные и вычурные, в разное время подаренные ему, он отверг — тяжелы. Сделал себе свою, любимую, из алюминиевой трубки, изогнув ручку полукругом и обмотав ее синей изоляционной лентой. У него с собой всегда был раскладной алюминиевый стульчик с полотняным полосатым сиденьем, таких так много в спортивных магазинах, — вдруг захочется присесть или сердце зашалит, теперь это случалось все чаще. Обычно стульчик нес в зубах Арбат, немецкая овчарка, сопровождавшая отца во всех его прогулках. Если Арбат не в настроении, приходилось нести самому. На груди у отца вечно болтался неизменный бинокль — подарок канцлера Аденауэра. К сожалению, этот бинокль, как и многие другие памятные вещи отца, пропал, и следы его затерялись, видимо, навсегда.

На опушке леса между соснами стояла скамейка — любимое место отдыха отца.

С опушки открывается вид на ближние поля. Они начинались сразу за забором и тянулись до самой Москвы-реки. Засевали их то овсом, то ячменем — урожай крохотный. В пойме, где полив дешев, а необъятный московский рынок рядом, надо выращивать овощи. Будет огромный доход. Так считал отец. Бесхозяйственность его расстраивала и сердила. Сначала он высказывал все это нам, потом не выдержал и начал следить за передвижением людей по полю. Хотелось ему высмотреть местное начальство. Наконец однажды повезло — кто-то приехал на «газике». Отец пошел на поле и попытался вразумить то ли директора совхоза, то ли бригадира — тот толком не представился. Однако из затеи ничего не вышло.

— Нам спускают план, что где сажать и сеять, и следят за его выполнением. Так что тут не до советов, знай поворачивайся, — получил он в ответ, и больше с тех пор с советами не лез, по-прежнему продолжая сетовать на вопиющую бесхозяйственность.

А если хотелось поглядеть, что делается за высоким деревянным забором, то можно подняться на невысокую «ужиную горку». Так ее назвали младшие внуки из-за обилия ужей, вылезавших греться на солнышке. Здесь, на

«ужиной горке», отца как-то заприметили отдыхающие из соседнего дома отдыха. Дом отдыха был самый рядовой, так что беспокоиться о последствиях своих встреч с отставным Хрущевым его постояльцам не приходилось. Сначала перекликались через забор, а потом отец попросил проделать в этом месте калитку в заборе. Обычно все гурьбой располагались на опушке на лавочке, фотографировались. И сейчас иногда случайный собеседник вдруг с гордостью показывает мне фото с отцом в центре и толпой отдыхающих вокруг. Отец рассказывал им о минувших событиях: войне, Сталине, XX съезде, аресте Берии или комментировал современные международные дела. Все слушали затаив дыхание — когда еще удастся услышать лекцию по внутренней и внешней политике из уст человека, который совсем недавно эту политику делал.

Задавали вопросы. Отец охотно и пространно отвечал. Но если спрашивали о Брежневе, его окружении или его политике, Хрущев отшучивался:

— Я теперь пенсионер. Мое дело — гулять, а не критиковать. Пусть они сами разбираются,— и переводил разговор на другую тему.

Такие встречи скрашивали его одиночество. С этими людьми он мог свободно говорить, расспрашивать об их делах, о жизни, да и сам в их лице находил благодарных слушателей. Вскоре посещения Хрущева стали входить в программу культурных мероприятий дома отдыха. Нужно сказать, что злых, провокационных вопросов почти не было, а если кто и задавал неудобный вопрос, то опыт политического деятеля позволял отцу быстро найти достойный ответ. На такие вопросы он никогда не обижался. Темы отцовских рассказов повторялись, но когда я как-то спросил его, не надоело ли ему повторять одно и то же, он хитро прищурился и ответил:

— Наше дело стариковское. Ведь все это умрет со мной, а так, может, кто и запомнит. То, что я рассказываю, эта та история, которую сейчас хотели бы спрятать подальше. Но правду не закопаешь, она все равно вылезет...

Продолжу рассказ о доме, о вещах и о думах, которые они навевают.

Войдя через двойную (с тамбуром) двухстворчатую с

застекленным верхом дубовую дверь, мы попадаем в прихожую. Сразу от входа направо комната, где жили моя сестра Лена с мужем Евреиновым Виктором Викторовичем, молодым химиком, работавшим в институте академика Николая Николаевича Семенова. В отличие от других моих сестер она вышла замуж уже после отставки отца, и Витя не мог рассчитывать на помощь в карьере. Сейчас он доктор химических наук, работает в том же институте. Мы с ним частенько встречаемся.

Комната небольшая, темноватая. У левой стены две кровати изголовьями к стене и разделенные тумбочкой, в правом дальнем углу — трельяж светлого дерева, а у самой двери, тоже справа, с другой стороны от окна, трехстворчатый шкаф. В комнате тесновато. Рядом с комнатой Лены дверь вела в небольшой коридорчик, из него, свернув налево, можно было попасть в кладовку, заставленную стеллажами, на которых лежали всякие припасы и не очень нужные вещи.

Налево от входа шел коридор. В его конце за двухстворчатой стеклянной дверью была расположена небольшая и очень светлая проходная комната. Из-за выходивших в нее трех дверей жить в ней было затруднительно. Поэтому на диване, стоявшем в углу, ночевали нечастые гости. Над диваном висела в золоченой раме большая картина Глущенко «Днепр весной», написанная в розово-голубых тонах. Ее подарила отцу дочь Юлия на семидесятилетие.

После 1971 года мама отдала ее обратно Юле, а теперь, когда их обеих нет в живых, картина затерялась где-то в Киеве.

У большого во всю стену трехстворчатого окна стоял огромный дубовый стол, заваленный письмами, фотографиями и другими бумагами. Это было мамино царство.

Отцу писали много: и соотечественники, и из-за рубежа. Письмами сам он практически не занимался — их разбирала мама, и она же читала отцу те, которые, по ее мнению, представляли интерес.

После прогулок и встреч отец, не торопясь, возвращался домой, в свою комнату, где он провел последние семь лет жизни. Она была невелика — около пятнадцати квадратных метров; две стены почти полностью занимали окна, выходившие на веранду и в сад.

Слева в углу, сразу за дверью, стоял большой «присутственный» сейф, покрашенный под дуб в «лучшем» канцелярском стиле, то есть аляповато разрисованный коричневыми разводами. Его попросил установить отец, думаю, сам не зная зачем, скорее, по многолетней привычке: сейф должен быть, там хранятся секретные документы и оружие. Сейчас он был пуст, даже партбилет хранился в столе, поскольку открывание дверцы сейфа требовало недюжинных усилий.

На сейфе стояла деревянная картинка. На желтом фоне инкрустация черным деревом, изображавшая девушку, сидящую под деревом с протянутой рукой, а за ее спиной юноша с луком и колчаном со стрелами. Подарок Джавахарлала Неру. Рядом на стене висела акварель в зеленых тонах — вид на речку и рисунок художника Бори Жутовского — черный мишка с красной божьей коровкой. Он подарил его отцу на 75-летие. Художник Жутовский подвергся вместе с Эрнстом Неизвестным уничтожающей критике со стороны отца в Манеже, но не затаил зла — понимал, что дело тогда было не в Хрущеве. После отцовской отставки он стал одним из немногих, кто регулярно, хотя и не часто, навещал отца.

У единственной глухой стены стояла изголовьем к стене кровать. С одной стороны кровати — тумбочка с ночником, с другой — овальный столик индийской работы с инкрустацией слоновой костью в виде павлина. Тоже подарок Неру. На столе стоял магнитофон, сначала киевского завода, а затем, когда он сломался, это место занял его прообраз — западногерманский «Ухер». На пленке записана программа утренней гимнастики. Впоследствии магнитофон весьма успешно использовался для диктовки мемуаров.

Рядом на столе — английский проигрыватель в деревянном африканском ящике — подарок Кваме Нкрумы, президента Ганы. Когда-то отец был с ним в теплых отношениях. Рядом лежали пластинки с записями песен Руслановой, Зыкиной, Штоколова и других. Было много пластинок с украинскими народными и современными песнями. Отец любил их слушать и обязательно зазывал гостей в свою комнату угоститься музыкой. Причем, не зная меры, предлагал слушать еще и еще.

Джаз и современная музыка ему просто-напросто не нравились. Не нравился ему и Муслим Магомаев, кумир того времени. Он считал его стиль исполнения излишне манерным.

В углу, у двери на террасу, стояла древняя радиола минского радиозавода. Хрипя, она с трудом «ловила» только Москву. В углу, в простенке между окнами,— светлого дерева трельяж, на нем электробритва фирмы «Браун», которой отец брился последние годы, одеколон, лекарства — все, что так необходимо в повседневной жизни.

У окна, выходящего в сад, стоит красно-желтое кресло — подарок президента Урхо Кекконена. Спинка кресла при нажиме откидывается, подножник приподнимается, и можно занять полулежачее положение. В этом кресле так удобно читается или дремлется с сибирской кошкой на коленях. Рядом с креслом — столик на гнутых металлических ножках. И столик, и широкий длинный подоконник за спиной завалены книгами. В отставке отец много читает, наверстывает упущенное в период, когда он находился в гуще событий и было не до литературы.

Книги со стола и подоконника, лежавшие там в день последнего отъезда в больницу, я собрал, и они стоят у меня дома на отдельной полке. Книги очень разные: это и «Записки Степняка» Эртеля, и «В камышах Балхаша» Шахова, и «Праздник, который всегда с тобой» Хемингуэя, «Пароль скрещенных антенн» Халифмана, «Промышленная гидропоника» Бентли, «“Совершенно секретно”. Только для командования. Стратегия фашистской Германии в войне против СССР. Документы и материалы». Об этой книге отец неоднократно вспоминает в своих мемуарах, рассказывая о начальном периоде войны. И дальше — «Военная стратегия» под редакцией маршала Соколовского, два тома Остапа Вишни, «Судебные ораторы Франции XIX века», «Народное хозяйство СССР в цифрах и фактах», рекламный проспект самолетов ОКБ А. Н. Туполева и другие издания.

Я, кстати, в то время дружил с сыном академика Туполева, Алексеем, мы жили в одном доме.

Отец всегда очень интересовался авиацией, раньше часто посещал ОКБ, где его знакомили с последними разработками. И как-то в конце 60-х он попросил меня:

— Интересно, что сейчас нового у Туполева? Раньше я все знал, а теперь отстал. Попроси Алешу дать мне посмотреть какой-нибудь альбом по новым машинам.

Не знаю, на что он рассчитывал, но просьба его Алексея очень обеспокоила. Отказать моему отцу он не мог в силу старых дружеских отношений с его собственным отцом, а выполнить просьбу побаивался.

Нашелся выход из положения — через пару дней он передал мне красочный буклет Авиаэкспорта с фотографиями пассажирских самолетов ОКБ Туполева, которые отец, конечно, прекрасно знал. Когда я показал ему брошюру, он полистал ее, лицо его погрустнело и он только сказал:

— Передай Алеше спасибо.

Брошюру он положил на подоконник и так и не прикасался к ней до самой смерти.

Вообще, круг чтения отца был в это время довольно широк. Больше всего он любил классику, а особенно «Войну и мир». Ее он перечитывал несколько раз, каждый раз находя там для себя что-то новое. Кстати, это одна из немногих книг, которую он любил почитать перед сном, когда еще был у власти. Очень нравились ему Лесков, Куприн. Прочитал он и «Сагу о Форсайтах» Голсуорси.

Конечно, за эти годы он прочитал и многое другое: мы старались привозить ему новинки на свой вкус, но наши склонности часто не совпадали. Иногда он сам заказывал ту или иную книгу, как правило, тоже из классики. Привозил я ему и «запретные» книги. Как-то достал «Доктора Живаго» Пастернака. Отец читал его долго — шрифт был очень мелкий, «слепой», бумага тонкая, почти папиросная. Не могу сказать, что книга ему не понравилась, но и обсуждать ее, цитировать отдельные места, как это бывало с Лесковым и Куприным, он не стал. И только как-то на прогулке сказал:

— Зря мы ее запретили. Надо было тогда мне самому ее прочитать. Ничего антисоветского в ней нет...

В связи с этим эпизодом хочу внести некоторую ясность в трагическую историю с Борисом Пастернаком. В 50-е годы всех чрезвычайно возмутил сам факт передачи книги в западное издательство. Этот поступок, сегодня совершенно обыденный, сразу настроил отца против Па-

стернака. Надо помнить и в какое время все это происходило. Да, недавно прошел XX съезд, но в сознании укоренилось прочно: иностранец — это враг. И отношение к нему должно быть соответственное. А дальше все покатилось по накатанной сталинской дорожке. «Идеологи» только подливали масла в огонь, рассказывая всякую несуразицу, подсовывая доносы.

Мне запомнились какие-то разрозненные факты.

Помню несколько машинописных страниц — надерганные цитаты из «Доктора Живаго», которыми доказывалась антисоветская направленность книги. Естественно, эта выжимка, как и всякий тенденциозный подбор цитат, доказывала то, к чему стремились составители. Чем-чем, а цитатами мы можем доказать любую нелепицу. Прочитав эти листки, отец, видимо, санкционировал акцию против Пастернака.

Одним из активнейших, хотя и не единственным, борцов с Пастернаком был Семичастный. В своих заметках Владимир Ефимович затрагивает трагическую историю с «Доктором Живаго». Не могу ничего сказать обо всей его статье, но ссылка на то, будто Хрущев самолично диктовал доклад Семичастного, вставляя туда брань в адрес Пастернака, представляется маловероятной. Вообразить отца, вставляющего свои оценки в чужой доклад, мне чрезвычайно трудно. Да и память подсказывает иное. Многого я не помню, да и, честно говоря, о Пастернаке я имел тогда более чем смутное представление.

Все эти события отразились в моем сознании как некий фон и только позднее стали значительными.

Однако один эпизод, характеризующий настроение «комсомольских» кругов, мне запомнился.

На дачу приехал Аджубей, он только что общался с Семичастным, кажется, на футболе. Оттуда привез новую присказку.

— Знаете, Никита Сергеевич,— хохотнув, обратился он к отцу,— сейчас ходит выражение: в Москве есть три несчастья — рак, «Спартак» и Пастернак.

Реакцию отца я не помню, знаю только, что анекдоты он не любил.

...Нынешнее признание отца в своей неправоте запоздало на много лет. Однако в тот тяжелый период он, пусть и в самый последний момент, все-таки прекратил

травлю поэта. Получив письмо от Бориса Леонидовича, он сказал примерно следующее:

— Довольно. Он сам признал свои ошибки. Прекратите.

А ведь все шло к тому, что ретивые активисты с той же легкостью, с какой они резали брюки у «стиляг», выслали бы из страны Пастернака.

Вообще взаимоотношения отца с деятелями искусства были далеко не так однозначны, как это пытаются представить сегодня многие комментаторы. Хочу рассказать об одном эпизоде, когда ревнителям нашей «чистоты» не удалось добиться задуманного.

Шел очередной Московский международный кинофестиваль. Тогда еще не сложилась традиция отдавать главные призы только нашим фильмам. Жюри присудило первый приз ленте «Восемь с половиной» великого итальянского кинорежиссера Федерико Феллини. Решение естественное и справедливое. Но у наших «идеологов» оно вызвало чрезвычайно бурную реакцию. Особенно негативную позицию занял секретарь ЦК по пропаганде Леонид Федорович Ильичев.

Аргументация была проста и сводилась к обычной формуле: фильм далек от реалистических традиций и заражает буржуазной идеологией наше здоровое и стерильное общество. Вывод напрашивается традиционный: фильм запретить, главного приза не давать, жюри разогнать.

Легко представить масштаб скандала: что там Манеж...

Устроить все, как обычно, решили руками отца.

Ильичев доложил ему о «провокации». Предложил посмотреть фильм и дать ему объективную партийную оценку. Фильм отец посмотреть согласился, и его прислали вечером на дачу, где в столовой был оборудован кинозал. Обычно о показе фильмов на даче широко оповещалась вся семья, сейчас же отец не позвал никого.

В тот день я случайно заехал на дачу. В доме никого не видно. На вопрос, где отец, мне ответили, что он смотрит фильм, присланный из ЦК, а не из кинопроката, как обычно. Я заглянул в зал. Бросил взгляд на экран и ужаснулся.

Нужно признать, что я, как и Ильичев, предполагал, что реакция отца на фильм будет крайне негативной.

Произведения такого рода требуют определенной подготовки, опыта, и рядовому зрителю бывает достаточно сложно разобраться в замысле автора, залы подчас остаются полупустыми. Не скрою, и мне фильм показался непростым.

Ситуация была нелегкой. Я прошел в зал, сел на диван рядом с отцом, выждал несколько минут и стал нашептывать: какой Феллини гениальный режиссер, какой фурор произвел его фильм в мире, что он символизирует... Тут я запнулся. А отец взорвался:

— Иди отсюда и не мешай. Я не для своего удовольствия здесь сижу,— прошипел он.

Расстроенный, я ушел.

Вскоре сеанс закончился. Отец вышел в парк, и мы отправились на прогулку.

— Как тебе показался фильм? Это знаменитый режиссер... — начал я.

— Я тебе сказал, не приставай,— оборвал меня, теперь уже беззлобно, отец,— мне надо было его посмотреть. Ему дали главный приз на фестивале. Ильичев против и просил меня посмотреть.

— И что?— заикнулся я.

— Я ничего не понял, но международное жюри присудило приз. Я здесь при чем? Они лучше понимают, для этого они там и сидят. Обязательно надо мне подсовывать... Я уже позвонил Ильичеву, сказал, чтобы они не вмешивались. Пусть судят специалисты.

Я вздохнул с облегчением: номер не удался. Разговор перешел на другую тему, и больше к Феллини мы не возвращались.

Роль и место Ильичева в развитии нашей идеологии в те времена далеко не однозначны и даже загадочны. Ведь в отличие от Хрущева, Козлова, Брежнева, Суслова и многих других он разбирался в искусстве. Не так давно по телевизору показывали, как академик Ильичев дарил Советскому фонду культуры свою коллекцию живописи. И она состояла далеко не из одних социалистических реалистов...

Заговорив о кино, я вспомнил, как резко отрицательно отец отзывался о фильме «Кубанские казаки». Он его

просто ненавидел за лакировку, за столы, ломящиеся от яств...

...Но вернусь к кругу чтения отца.

Что еще читал он?

Прочитал он Солженицына «В круге первом» и «Раковый корпус», а также «1984» Оруэлла. Эти книги ему не понравились.

Как это ни удивительно, но отец не любил читать мемуары. Я неоднократно пытался его приохотить к этому виду литературы, привозил книги Черчилля, де Голля, дневники Валуева, записи Витте, но отец только листал их и отнекивался, откладывая на потом это чтиво, столь почитаемое пенсионерами.

На воспоминания военных, публиковавшихся в те годы, он реагировал резко отрицательно. Это же относилось и к фильмам о войне. Ему тяжело было вспоминать об ужасах тех лет, прочитанные страницы восстанавливали перед его мысленным взором картины разгрома, которому подверглась страна. Главное же, он считал, что и мемуары, и художественная литература о войне (ее он тоже не жаловал) не отражают правды, искажают истину то ли в угоду автору, то ли в угоду времени.

Однако как человек, прошедший отступление и наступление, Киев и Барвенково, Сталинград и Курскую дугу, он не мог не вспоминать о войне. Она жила в его душе до самой смерти. Поэтому он так глубоко переживал доходившие вести об «измене» боевых товарищей. В разговорах не один раз обращался к ним, посвятил отдельный раздел в своих мемуарах.

Началось все с генерала Павла Ивановича Батова, полвойны провоевавшего с отцом. Кто-то рассказал отцу, что Батову на одном из собраний, посвященных годовщине то ли Победы, то ли Советской Армии, задали вопрос о роли Хрущева в войне и конкретно: был ли Хрущев в Сталинграде?

Генерал замешкался на секунду и нетвердо проговорил, что он не знает, был ли Хрущев в Сталинграде, и вообще не знает, где он был во время войны!..

Впрочем, подобная «забывчивость» была закономерна — ведь теперь фамилия Хрущева вычеркивалась отовсюду. Иван Христофорович Баграмян с трудом отстоял

возможность просто упомянуть Хрущева как члена военных советов фронтов, где им пришлось вместе воевать.

Во многих «свидетельствах» того времени немало выдумки или полуправды об отце. Тут отличились многие. И даже Георгий Константинович Жуков. В своем многостраничном труде он дважды упомянул Хрущева: мол, первый раз он заехал к отцу, поскольку у него можно было хорошо поесть. А ведь они впервые встретились на фронте в июне 1941 года под Львовом и расстались, пройдя Сталинград и Курскую битву, только после форсирования Днепра, когда Георгий Константинович пошел на Берлин. Он так и не выполнил своего «обещания» отцу — привезти после окончания войны в Киев плененного Гитлера в железной клетке.

Другое упоминание об отце у Жукова — ранение генерала Ватутина, который якобы закрыл собой Хрущева. Жуков, сменивший Ватутина на посту командующего 1-м Украинским фронтом через день после ранения, не мог не знать, что отца там вообще не было. Сколько усилий тогда приложил отец, чтобы отстоять здоровье своего друга. У Ватутина началось заражение крови, гангрена, и помочь могли только антибиотики, а тут как назло Сталин запретил лечить Ватутина американским пенициллином — мало ли что империалисты могли туда намешать. Потом было уже поздно...

Отец предложил похоронить Николая Федоровича не на кладбище, а в парке, в самом центре Киева.

— Пусть киевляне никогда не забывают, кто привел к ним освободительную армию,— доказывал тогда отец.

Правда, до конца своих дней отец считал, что Жуков писал свои мемуары не сам. Он, конечно, ошибался.

Больше других на мемуарном поприще отличился генерал Штеменко, которого, правда, не жаловал и отец, считая его бездарным подхалимом.

— Он только карты умел Сталину носить, — частенько повторял он.

Все эти умолчания, мелкие уколы попадали в цель. Отец переживал, но старался не подавать виду. Помню, только однажды он не выдержал, когда уже в конце жизни, в 1970 году, у одного из охранников увидел на груди незнакомый значок. Тот пояснил, что это памят-

ный знак в честь 25-летия Победы и его выдавали всем, кто в войну служил в армии.

Отец ничего не сказал, но то, что его «забыли», глубоко засело в душе. Он несколько раз возвращался к этой теме. Наши уговоры не обращать внимания не имели результата...

Да и вообще, возможностей уколоть отца, возвести на него любую напраслину в то время было предостаточно. Ведь ответить публично он не мог. Я уже писал о всяких небылицах о нем. Однако авторам казалось все мало, и они придумывали все новые «факты» и распускали их по свету.

Недавно историк Александр Николаевич Колесник рассказал мне, что начиная с 1965 года в стране широко распространялась фальшивка: якобы мой брат Леонид — военный летчик — во время войны сдался в плен и выдал какие-то военные тайны. Дальше «события», оказывается, развивались так: в конце войны он попал в наши руки, его, как предателя, ждало неминуемое и справедливое наказание. Тогда Хрущев пошел к Сталину вымаливать своему сыну жизнь. Сталин, как полагается, с презрением отверг его притязания: «Я не стал помогать своему сыну-герою, а твой — предатель, пусть ответит перед народом...»

В этой истории ясно прочерчены истоки антисталинизма Хрущева, зато вождь предстает в торжественном и благородном виде.

К счастью, этот подлый слух остался не известен отцу.

Подлинная история моего брата проста и трагична, как и судьба миллионов подобных ему людей, начавших войну в июне 1941 года.

В свои двадцать три года Леня — летчик-бомбардировщик — с первых дней войны был на фронте. В конце 1941 года его ранило. Вскоре нам сообщили, что он награжден орденом Красного Знамени. После госпиталя всеми правдами и неправдами Леонид перевелся из бомбардировочной авиации в истребительную. Бомбардировщики казались ему слишком медлительными. Печальный финал его жизни слишком типичен: в одном из первых же боевых вылетов на истребителе его сбили. Внизу были болота: ни от самолета, ни от летчика не

осталось и следа. Только посмертный орден Отечественной войны... Произошло это в 1943 году на Воронежском фронте. Вместо стандартной «похоронки» командующий фронтом прислал отцу — он воевал неподалеку — письмо-соболезнование. По сей день оно хранится у нас. Выросли дети брата. Сын Юрий пошел по стопам отца — стал летчиком-испытателем. Дочь Юлия закончила факультет журналистики и поступила на работу в Агентство печати Новости. Мы пытались потом найти место гибели Леонида — так и не удалось.

...Вернусь к описанию комнаты отца. У двери стоял трехстворчатый гардероб, фанерованный под красное дерево. Там хранились личные вещи отца. На шкафу лежал красивый деревянный ящик с тремя пистолетами: «парабеллум», «вальтер» и еще какой-то. Это — подарки органов КГБ к семидесятилетию. Патронов к ним у нас не было. После отставки Мельникова сменивший его начальник охраны Кондрашов как-то предложил отцу сдать оружие, но тот так посмотрел на него, что вопрос этот больше не поднимался. На стене в комнате висела маленькая картинка Налбандяна, изображавшая Ленина в ссылке. Пол был застелен красивым белым ковром, поверх которого отец попросил положить полотняную дорожку.

Напротив комнаты отца расположилась мама. Раньше там была небольшая терраса, через которую можно было, минуя дом, спуститься из бильярдной в сад. Предыдущие владельцы закрыли ее, утеплили, и получилась небольшая светлая в два окна комната.

Чтобы пройти в большую комнату, бывшую бильярдную, а теперь столовую, надо было из коридора свернуть направо. Там мы попадали в широкий темный «предбанник» длиной метра три-четыре. Здесь стоял длинный шкаф-стойка для ружей с раздвигающимися фанерованными под дуб дверцами.

У отца никогда не было какого-то увлечения в активный период его жизни. Исключение составляла охота. На охоте он отдыхал. Ездил охотиться регулярно, когда работал и в Киеве, и в Москве. Не охотился только в начале 50-х годов. Сталин не любил, чтобы его соратники собирались вместе. Тогда эта охота могла дорого стоить всем участникам.

Отец обожал перебирать свои ружья. Их у него было десятка два — подарки генералов, возвращавшихся после войны домой через Киев, презенты зарубежных гостей.

На охоте или когда приезжали знающие толк в оружии люди отец любил похвастаться своими ружьями. Тут же выкладывались и ружья гостей. Все они придирчиво осматривались, каждый присутствующий прикладывался, примеривался. После осмотра ружьями, бывало, менялись. Отец не жадничал и, если видел, что ружье гостю понравилось, сам предлагал обмен,обычно в пользу гостя.

Потом он посмеивался:

— Ты видел, как он рад, что ему удалось меня надуть?

После отставки отец на охоту уже не ходил. Изредка он вынимал ружья, разглядывал, любовно гладил стволы. Почистив и обильно смазав, ставил обратно. В 1968 году отец решил раздарить свою коллекцию.

— Пусть достанется хорошим людям. И память у них обо мне сохранится. А то их после моей смерти разворуют, — сказал он как-то — и как в воду смотрел.

Подарил он ружье мне, подарил внукам, врачу, своим охранникам. После смерти отца осталось в основном нарезное оружие — красиво оформленные винтовки и карабины разных калибров и из разных стран. Расставаясь с нами, начальник охраны предупредил меня:

— Ты на винтовки получи разрешение или сдай. А то могут быть неприятности. Прекрасный повод, если комунибудь надо будет к тебе придраться. Без всяких можно получить пять лет.

Когда мы пришли в себя после похорон, я скрупулезно переписал номера всех винтовок и написал заявление министру внутренних дел Щелокову с просьбой разрешить мне хранить это оружие дома как память об отце. Узнав номер телефона, я дозвонился до приемной и изложил свое дело. Николай Анисимович сам поднял трубку:

— Приходи завтра к пяти часам, — сказал он.

В пять я был на улице Огарева, 6. Прошел через «генеральский» подъезд. Меня уже ждали и проводили без пропуска.

Щелоков принял меня очень тепло и любезно. Рас-

спрашивал об отце, произнес в его адрес какие-то теплые слова, интересовался здоровьем мамы. Затем перешли к делу. Он прочитал мое письмо и сказал, что подумает:

— Позвони через неделю. Не беспокойся, все решим по-хорошему.

Через неделю в ответ на мой звонок секретарь передал, что Николай Анисимович ждет меня. В назначенный день и час я явился, и был вскоре принят. Министр был любезен, как и в прошлый раз, но в просьбе моей отказал:

— У тебя почти два десятка винтовок. Да ими взвод вооружить можно. Ты пойми правильно, мы их оставить у тебя не можем. Они должны храниться в более надежном месте.

Я возразил, что место надежное, в моем доме живут члены Политбюро. Их тщательно охраняют.

— А кроме того, их можно привести в негодность — просверлить стволы — это уже не оружие,— закончил я.

Щелоков не согласился.

— Мы их сдадим в музей, а тебе сделаем альбом с фотографиями. Будут в полной сохранности,— заключил он и вызвал каких-то сотрудников.

Мне было обидно до слез, но делать было нечего.

Зашли генерал и полковник.

— Сейчас поедете с Сергеем к нему на квартиру. Заберете винтовки. Они пойдут в музей,— распорядился Щелоков и добавил:— Только сделайте все аккуратно.

Через пять минут мы были на месте. Забравшись на антресоли, я стал спускать им ружья в кожаных футлярах, оптические прицелы.

— Ну вот и все,— я передал последнюю десятизарядную американскую мелкокалиберку.

— Так,— задумчиво проговорил генерал и, на что-то, видимо, решившись, добавил:— Вынимайте ружья из чехлов. Чехлы оставьте себе, оптические прицелы тоже.

— Но как же?..— удивился я, поскольку речь шла о музее.

— Обойдутся,— отрезал генерал.— Это хранить не запрещается. А они денег стоят.

Вид у него был мрачный, происходившее ему явно было не по душе.

— Мы сейчас перенесем все в нашу машину, а вы ска-

жите дежурной, что мы с вами едем на охоту,— подвел итог генерал, выполняя указание министра.

Расписку мне обещали дать на следующий день. Ни ее, ни обещанный Щелоковым альбом с фотографиями я так и не получил. Звонить ему больше я не стал. Уже потом до меня дошло, что ему просто захотелось заполучить ружья отца себе, а может быть, и подарить их Брежневу, который ими в свое время не раз любовался...

...Напротив шкафа с ружьями в нише стоял огромный, добротный дубовый шкаф. В нем хранилась военная форма отца — и старая фронтовая, и новый мундир, который он сшил к 40-летию Советской Армии. Тогда в мундире генерал-лейтенанта он покрасовался на торжественном заседании и сфотографировался со мной на память.

— Видно, последний раз,— как-то грустно сказал он, уходя переодеваться. Это был действительно последний раз.

Вспоминается, как в тот период маршал А. А. Гречко вдруг придумал присвоить отцу звание Маршала Советского Союза.

— Вы — Председатель Совета Обороны, наш начальник, — хитро повел разговор Андрей Антонович,— а у нас, военных, свои порядки. Как-то нехорошо подчиняться младшему по званию. Вот если у вас будет маршальское звание, тогда другое дело.

Отцу предложение не понравилось, и он ответил довольно грубо:

— Сейчас мирное время и войны не предвидится. Так что я с вами и в генеральском звании справлюсь. А, не дай бог, начнется война, тогда и будем присваивать кому что надо. И не лезьте ко мне с ерундой.

Гречко заулыбался, глядя на него сверху вниз со своего почти двухметрового роста, и превратил все в шутку. Они с отцом были старыми приятелями и по войне, и по Киеву, где Андрей Антонович командовал военным округом.

...Здесь же, в предбаннике, стоял круглый столик и на нем 16-миллиметровый звуковой проектор. Когда выяснилось окончательно, что отец в клуб ходить не будет, я разыскал долго стоявший без пользы югославский кинопроектор, немецкий экран и оборудовал в большой ком-

нате импровизированный кинозал. Фильмы брал в прокатной конторе, оказалось все достаточно просто. Иногда иностранными киноновинками меня снабжали друзья. Особенно понравились отцу «Птицы» Уолта Диснея и исторический фильм «Шестое июля» по сценарию Михаила Шатрова. Незадолго до этого внучка Юлия привозила Шатрова к нам на дачу. Отец долго гулял с ним, хвастался посадками на огороде. Отец приободрился, было видно, что гость ему нравится и он старается сделать ему приятное. Михаил Филиппович подарил отцу экземпляр журнала «Театр» со своей пьесой, с приличествующим случаю посвящением и пригласил его в «Современник» на спектакль «Большевики».

В те времена отец в театр ходил редко — он стал плохо слышать и не всегда разбирал реплики актеров. Его это раздражало. Доставлял неудобство и интерес к нему со стороны публики — он себя чувствовал каким-то диковинным экспонатом. Словом, культурных мероприятий в его жизни на пенсии было маловато. Изредка отец выбирался на художественные выставки в Манеж, однажды съездил в Бородино.

На сей раз он с удовольствием принял приглашение. Спектакль ему понравился. Антракт и некоторое время после спектакля мы провели в кабинете директора. Отец благодарил актеров, развлекал их своими воспоминаниями.

Тогда-то, после этого похода в театр, он попросил меня достать фильм «Шестое июля». Фильм ему понравился, он сказал, что тут история изображена правдиво. Потом он еще несколько раз перечитывал пьесу в подаренном Шатровым журнале.

Нужно сказать, что посетителей у отца бывало немного. Пару раз приезжал Роман Кармен с женой Майей и дочерью Аленой. Они долго сидели на опушке. Отец ему много рассказывал. Тогда отец сказал, что жалеет о своих словах в Манеже, резкостях, допущенных на совещаниях, признался, что пошел на поводу у наших идеологов Суслова и Ильичева.

В 1970 году Юля привезла к отцу Владимира Семеновича Высоцкого. Они провели вместе почти целый день. О чем шел разговор, я не знаю, в тот день Высоцкий не пел отцу и гитары у него с собой не было. Да и кажется

мне, что исполнительский стиль Высоцкого вряд ли пришелся бы по душе отцу.

Не могло состояться у них и разговора о «бульдозерной» выставке. Отец полагался на силу убеждения и голосовые связки. Призывать на помощь технику для доказательства преимуществ реалистических направлений в живописи ему не могло прийти в голову. Эта техника использовалась для борьбы с неугодными направлениями в искусстве уже в послехрущевские времена.

Кто еще вспоминается из гостей отца?

Несколько раз заезжали Стелла и Петр Якиры. В довоенные годы отец был близок с их отцом, тяжело переживал арест и гибель Ионы Якира. Он очень обрадовался появлению у него детей старого друга, переживал за преследующие их несчастья, сочувствовал, но сам ничем помочь не мог.

Подолгу в Петрово-Дальнем гостила Вера Александровна Гостинская, старая польская коммунистка. Отец, общаясь с ней, рассказывал о пережитом, таким образом совмещал беседу с работой, записывая на магнитофон свои воспоминания. Она же со своей стороны подбадривала его вопросами. Да и вообще их многое связывало. В конце 20-х годов Хрущевы и Гостинские жили в одной коммунальной квартире на Ольгинской улице в Киеве. Потом судьба разметала их. Вскоре Вера Александровна получила свой «сталинский» срок и пошла мыкаться по лагерям. В 50-е годы заключенных освободили, без документов погрузили в железнодорожный состав и отправили на родину. На границе поезд задержали — ни у кого не было паспортов, ни советских, ни польских, не говоря уже о визах. Только справки об освобождении. Так они простояли голодными несколько дней. Лишь обращение в ЦК КПСС разрешило проблему, и им, бывшим активистам Польской компартии, удалось вернуться на родину.

Иногда гостила у отца и Кристина Берут, дочь покойного первого секретаря ПОРП.

Появились и новые друзья. Среди них был профессор Михаил Александрович Жуковский, известный советский эндокринолог. Поначалу он лечил внука Ваню, жившего с дедом. Со своей неуемной энергией Михаил Александрович засыпал Никиту Сергеевича вопросами, внимательно выслушивал ответы, что-то записывал. Не раз и отец

ездил к нему в гости. Сейчас Жуковский бережно хранит сувениры, подаренные ему отцом.

Более частыми посетителями были наши друзья, в основном мои и моих сестер. Они гуляли с отцом, подолгу сидели с ним у костра, слушали его рассказы. Эти посетители, не имевшие касательства к политическим сферам, не вызывали беспокойства властей.

Но с иными же не церемонились. Так перекрыли дорогу пилоту отца генералу Цыбину, не рекомендовали поддерживать связь с отцом и бывшему начальнику его охраны Литовченко. Забыли дорогу к отцу и те, кому на самом деле ничего не могло грозить. Очень многие не рискнули посетить своего опального друга, с которым проработали не один десяток лет. Как-то приехал в Москву на съезд горняков старейший, еще по Донбассу, товарищ отца Евграф Иванович Черепов. Они учились вместе на рабфаке в Юзовке, вместе работали в Исполбюро рабфака. Позвонил по телефону в Петрово-Дальнее, поговорил, но приехать отказался, ссылаясь на недостаток времени — надо навестить дочь и скорее домой, дела не ждут...

Часто мне задают вопрос: приезжал ли к отцу Микоян?

Невозможно забыть о принципиальной позиции, занятой Анастасом Ивановичем на заседании Президиума ЦК в октябре 1964 года. Там ему пришлось проявить немалое мужество. Тогда в ответ на предложение Микояна оставить за отцом один из занимаемых им постов кто-то из присутствующих (по словам Серго Микояна, Шелепин), не считаясь хотя бы с возрастом Анастаса Ивановича, грубо отрезал: «Ни за что!!! Вы бы поменьше говорили, а то неровен час, и за вас возьмемся».

Угроза не возымела действия, и Микоян с достоинством сказал что-то вроде того: «Мы здесь не пирог делим, а решаем судьбу нашего государства, великого государства. Деятельность Хрущева — это большой политический капитал партии. Прошу мне не угрожать». Но тем не менее, к сожалению, он к отцу не заезжал. Изредка они перезванивались. Потом и звонки прекратились.

Конечно, Микоян, сам находясь в опале, может быть, менее жесткой, чем отец, не хотел рисковать. Это нормально. Каждый человек склонен заботиться о себе и

своей семье. Но, я уверен, если бы речь снова зашла о защите принципиальных позиций или самого Хрущева, Анастас Иванович бы не раздумывал. А подвергаться риску, да и неизвестно какому, ради выпитой со старым другом чашки чая?..

Когда Микоян начал писать воспоминания, для помощи в работе ему выделили секретаршу. Анастас Иванович жил на даче один, жена его давно умерла, у сыновей свои семьи, и эта женщина постепенно взяла на себя и заботы по дому. Несомненно, в ее функции входило и наблюдение за поведением подопечного.

Дружба Микояна с Хрущевым не устраивала новое руководство. Слишком велик был авторитет каждого из них, чтобы позволить им общаться: кто знает, что могли замышлять опальные политики. А потому их, видимо, решили разлучить самым простым, но надежным способом — сплетней.

Как рассказывал мне Серго Микоян, Анастасу Ивановичу донесли, что якобы шофер отца заявил шоферу Микояна, что каждый раз, садясь в машину, Хрущев начинает на чем свет стоит ругать Микояна. Сама ситуация была физически нереальна, поскольку водители встречаться не могли: отца возила машина из кремлевского гаража, а Микояна — из гаража Президиума Верховного Совета. Кроме того, отец никогда на моей памяти слова дурного в адрес Анастаса Ивановича не произнес. И тем не менее слушок этот сыграл свою роль: Микоян обиделся на отца и практически перестал ему звонить. Сам же отец никому не звонил, не желая ставить и собеседника, и себя в неудобное положение — вдруг его звонок нежелателен. Возможно, были и еще какие-то слухи или сплетни, дошедшие до Микояна. Так или иначе, но после отставки Микоян с отцом не встречались.

Тех, кто так и не навестил отца в Петрово-Дальнем, можно понять. Ведь в то время вообще старались забыть, что Хрущев существовал. В Крыму даже переименовали старинное село Никита, где находится Никитский ботанический сад, в Ботаническое, чтобы не напоминать проезжавшему мимо по дороге на дачу Леониду Ильичу о его предшественнике.

Все это отец переживал молча.

После отставки, естественно, перестали общаться с

9 3478

ним и зарубежные друзья. Так что легко представить горячую радость отца, когда ему как-то привезли ящик яблок джонатан с теплой запиской от Яноша Кадара и его жены Марии. Отец любил эти яблоки. Кадары об этом знали и раньше неизменно присылали ему осенью посылку. И вот Кадар, испытавший на себе сталинскую тюрьму, решил пренебречь негласным запретом новых руководителей.

Помню еще одного визитера, чей визит, правда, не состоялся.

Перед началом своей избирательной кампании, приведшей его в президентское кресло, Ричард Никсон посетил СССР. Во время пребывания в Москве он приехал в Староконюшенный переулок, на квартиру отца, но его не застал. С очередной почтой привезли на дачу визитную карточку Никсона и записку, в которой он выражал сожаление о несостоявшейся встрече и просил о возможности увидеться до отъезда в США. В тот момент Никсон уже покинул Москву и вопрос о встрече сам по себе отпал. Но все-таки было видно, что отцу стал приятен этот знак внимания со стороны американского государственного деятеля, хотя он и был о Никсоне весьма невысокого мнения.

Насколько мне известно, неблагоприятное впечатление о нем сложилось со времен их первой встречи. Отцу запал в голову некорректный вопрос о типе топлива, используемого в советских ракетах, заданный Никсоном во время их беседы на кухне на американской выставке.

Отец возмущался:

— Ну о чем с ним говорить? Тогда на кухне он выступал не как государственный деятель, а как мелкий шпион. Он, вице-президент США, спрашивал меня, Председателя Совета Министров СССР, какие виды топлива мы применяем в своих межконтинентальных ракетах! Понятно, я ему это не скажу, не на его же уровне выведывать: на твердом топливе мы летаем, на жидком или на еще каком-то. Для этого существуют специальные службы. Нужно же думать, какие ты задаешь вопросы.

В то же время отец считал Никсона хитрым политиком. Словом, как бы то ни было, несостоявшийся визит Никсона доставил отцу удовлетворение. Но, как уже сказано, гости были редкостью, и потому единственным

окном в мир стал для него телевизор, как это и водится у пенсионеров.

На дачу перевезли радиотелекомбайн, подарок президента Египта Насера. Телевизор в нем был черно-белый, но с очень четким изображением. Перед экраном стояло удобное кресло со скамеечкой для ног. Кроме телевизора в комбайн были вмонтированы приемник и магнитофон. Именно на него отец начал диктовать свои мемуары. Обожая всякие усовершенствования, он сконструировал из деревяшек педаль, с помощью которой останавливал пленку, чтобы собраться с мыслями. На комбайне громоздился один из наших первых цветных телевизоров «Темп». Зная, как отец любит всякие технические новинки, я как-то задумал порадовать его цветным телевизором. Забегая вперед, могу сказать, что идея оправдала себя — до конца дней это была одна из его любимых «игрушек».

Нас ежегодно одолевали заботы, что подарить отцу на 17 апреля? Ведь у него практически все необходимое есть, а безделушек, украшений, побрякушек он не любил. Вот я и решил приурочить ко дню рождения покупку телевизора. Отец пожурил меня за напрасную трату денег, но по глазам было видно, что он остался доволен. Первые дни он с почти детской радостью и восхищением рассматривал многоцветную розу, которую тогда давали на экран в виде заставки, звал всех полюбоваться оттенками цветов.

Рядом с телевизором на ширму отец повесил большую политическую карту мира — по ней он уточнял места событий, услышанных в последних известиях. Особенно его интересовали преобразования в Африке, рождение новых независимых государств. Этот процесс начался еще при нем. Он переживал, как собственные, проблемы освобождавшейся Африки. С президентом Ганы Кваме Нкрумой и президентом Алжира Бен Беллой у него в свое время сложились теплые дружеские отношения.

Остро переживал отец гибель Патриса Лумумбы. Степень его чувств в какой-то мере характеризует такой факт. Во время событий в Конго отец, будучи в отпуске, заехал в Киев. Собралось местное руководство, и, когда беседа перешла с обсуждения хозяйственных вопросов на

посторонние темы, Ольга Ильинична Иващенко пошутила, повторив распространенную тогда присказку:

Был бы ум бы
у Лумумбы,
Был бы Чомбе
ни при чем бы.

Отец любил шутки и сам умел пошутить, а тут нахмурился, лицо стало злым. Он стал говорить о положении в Конго, о том, что Лумумба умный руководитель, но время его еще не пришло, экономически и политически Конго не созрело. Так что шутка не удалась...

...Прошла зима. Время слегка сгладило переживания отца. Постепенно в жизни установился определенный распорядок, возникли новые привычки и увлечения.

Вставал отец в семь часов утра, делал зарядку под магнитофонную запись, завтракал. В последние годы несколько утренних часов отдавал диктовке мемуаров, затем следовала прогулка с Арбатом, чтение газет, журналов, книг. После обеда опять диктовка. Вечером — телевизор, ужин, чтение и сон.

Нужно сказать, что после отставки он с трудом осваивался с самыми обыденными правилами и привычками, оставшись, по сути, человеком 20-х годов, — до ухода на пенсию он жил в другом измерении.

В первые дни он вдруг забеспокоился: как ему ездить в город на еженедельные заседания партийной ячейки. Я не понял. Переспросил.

— А разве сейчас ячейки не заседают каждую неделю? Как же решаются текущие вопросы? — удивился отец.

Он числился в партийной организации аппарата ЦК, и за все эти годы ни на одно собрание его ни разу не пригласили.

Удивляли его самые обыденные, по нашим меркам, факты. Причем иногда трудно было предугадать, что может задеть отца. Особенно болезненно переживал он факты взяточничества, бюрократизма, лени. Один из охранников в разговоре упомянул, как, нарушив правила движения, ему пришлось откупиться, дать милиционеру трешку. На отца это произвело неизгладимое впечатление. Много раз он возвращался к этому происшествию, рассказывал о нем посетителям и горько заключал:

— Разве можно себе представить! Люди, поставлен-

ные охранять закон, берут взятки! Как же мы будем строить коммунизм?..

Когда охранник увез с соседней стройки какие-то материалы к себе на дачу, отец не мог успокоиться:

— Как это мог сделать он, офицер КГБ?.. Куда мы придем?

Хорошо, что он ничего не знал о деяниях своих бывших соратников...

И все-таки отец понемногу приходил в себя. Его потянуло к какому-нибудь занятию. Он вспомнил о гидропонике. Еще до отставки ему рассказали о возможности выращивания растений без почвы на питательных растворах. Он загорелся — тут ему виделось одно из решений проблемы снабжения больших городов овощами, в первую очередь Москвы. Добавил энтузиазма и Фидель Кастро, рассказавший о больших гидропонных хозяйствах, которые достались Кубе в наследство от американцев.

— Это у вас просто золотой клад,— позавидовал тогда отец.

В результате отец потребовал разработать и у нас программу строительства в Подмосковье сети гидропонных тепличных овощных хозяйств. В качестве эксперимента небольшую теплицу на даче премьера тоже переоборудовали под гидропонику. Отец с гордостью демонстрировал гостям огурцы, выросшие на лотках, заполненных камнями.

Сейчас он вернулся к когда-то увлекшей его идее.

Моя сестра Лена, всю жизнь увлекавшаяся цветами и умевшая выращивать даже орхидеи, купила отцу книгу М. Бентли «Промышленная гидропоника». Отец ее досконально изучил. (Сейчас она стоит у меня на полке со страницами, испещренными множеством подчеркиваний, галочек и других значков.) Освоив теорию, отец принялся за сооружение лотков, составление смесей. Полиэтиленовая пленка еще только входила в обиход — перед самой отставкой отец со свойственной ему энергией пробивал пуск первых заводов. Поэтому теплицу делать было не из чего и открытые лотки стояли на террасе. Камнями и раствором отец заполнил и цементные вазы, стоявшие у дома. Все мы принимали в этом деле посильное участие. Посадили огурцы и помидоры. Особого результата не

добились. Техника гидропоники — это уже промышленность, с точными дозировками, автоматикой. В домашних условиях заниматься ею трудно. Просуществовало у отца гидропонное хозяйство недолго — года два и постепенно сошло на нет. На смену пришли обычные грядки.

Весной отец решил попрактиковаться в фотосъемке. Когда-то в молодости он занимался фотографией, и до войны у него была «лейка». Сохранилось только несколько фотографий того времени, поскольку все наше имущество осталось в 1941 году в Киеве и, конечно, пропало.

В 1947 году на киевском заводе «Арсенал» вместо производства оружия освоили выпуск фотоаппаратов на вывезенном из Германии оборудовании. Один из первых новых аппаратов подарили отцу. Тогда он только что с трудом оправился от тяжелейшего воспаления легких и его отправили отдыхать, впервые за истекшее десятилетие. Там он снова приобщился к фотоискусству. Однако отпуск кончился, и аппарат опять остался без дела. Оказавшись в отставке, отец вспомнил о своем давнем занятии. Я накупил фотопринадлежностей. Отец вооружился «Зенитом» и занялся поиском фотосюжетов. Первую пленку он проявлял в ванной сам. Получилось неплохо.

Однако возня с химикалиями не пришлась ему по душе, и он охотно откликнулся на мое предложение отдавать пленки на обработку в мастерскую.

Вскоре на смену фотографиям пришли слайды, и тут отец по-настоящему увлекся фотографированием природы. То он обнаруживал чудесную цветущую ветвь, то гроздь яркой рябины, то заснеженную изящную сосну; долго выбирал нужную точку, радовался своим удачам.

Свои достижения он неизменно демонстрировал детям, внукам, гостям. В большой комнате занавешивались окна. Отец доставал немецкий полуавтоматический диапроектор. Долго колдовал над ним. Подбирал слайды. Наконец начинался показ, и, нужно сказать, слайды были качественные. Он научился выбирать композицию.

И все-таки фотодело по-настоящему не захватило отца. Скорее это было простое времяпрепровождение.

В те дни он часто с грустью повторял: «Сейчас у меня одна задача: как-то убить время».

А когда прошло несколько лет и отец неоднократно перефотографировал все вокруг, фотография ему окончательно надоела. Он забросил фотоаппарат, и доставал его только в особых случаях, когда приезжали гости. Тут он фотографировал сам и фотографировался с посетителями.

Самое большое удовольствие отцу доставляли костры. В любую погоду, даже если шел дождь, спрятавшись под бежево-зеленоватой накидкой*, в которой он напоминал французского полицейского, отец собирал по лесу хворост, зажигал костер и часами смотрел на огонь. Костер напоминал ему далекое детство, ночное, коней, печеную картошку, родную Калиновку. По выходным рядом сидели все мы, но чаще всего его единственным спутником был неизменный Арбат.

С приходом весны отец нашел себе постоянное занятие в огороде. Появилась полиэтиленовая пленка, и он принялся за теплицы. Собрал валявшиеся на территории дачи водопроводные трубы, согнул их, покрасил, забил в землю. Каркас теплицы был готов. Работал он самозабвенно, не умея ничего делать вполсилы. К огороду привлекались все: дети, внуки, гости, молодые парни из охраны. Начальник охраны Мельников тоже активно включился в эту деятельность — гнул трубы, копал землю. По-другому вел себя его заместитель Лодыгин — тот в работах сам не участвовал и в свое дежурство запрещал подчиненным помогать отцу.

Теплицы установили у дома. В них вызревали отличные помидоры и огурцы. Растил их отец по науке: он завел себе сельскохозяйственную библиотечку, следил за новостями в этой области. Внизу, на лугу, на открытых грядках росли укроп, редис, картошка, тыквы, подсолнухи и, конечно, кукуруза.

Трудно было отцу справиться только с грачами. Ря-

* Эту накидку отцу подарил г-н Буссак, крупный французский предприниматель, специализировавшийся на ткацком производстве, владелец реакционной, «правой», как тогда докладывали отцу, газеты «Орор».

Повстречавшись во время визита отца во Францию, они почувствовали взаимную симпатию, и их контакты продолжались. К праздникам Буссак присылал отцу сувениры: то бутылку вина, то еще что-то. Так попала к нему и накидка. Отцу она очень понравилась своей рациональной простотой, и он не расставался с ней до последних дней.

дом с огородом на деревьях расположилась их колония, и они с интересом следили за посадками. Как только всходила кукуруза и подсолнухи, грачи рано утром спускались с деревьев, выдергивали ростки, склевывали зерна, а стебельки оставляли лежать ровными рядками на грядках. Война с ними велась с переменным успехом. Предложение использовать оружие, перестрелять грачей из ружья отец отверг сразу. Ему было жалко птиц. Поэтому он пытался защититься пассивными способами: сооружал над проклюнувшимися ростками заграждения из колючих веток, ставил пугало. На пугало грачи внимания не обращали, а между ветками пробирались с ловкостью кошки.

Тем не менее «врагами» они с отцом не стали. Он любил живность. Как-то подобрал выпавшего из гнезда грачонка, выкормил его. Тот стал совсем ручным. Везде летал за отцом, ел из его рук. Теперь они гуляли втроем: отец, Арбат и грач. В доме еще жили сибирская кошка, канарейка, которыми поначалу занимались внуки, а потом подбросили деду. В саду стояли ульи с пчелами — хозяйство Лены.

Дел становилось все больше и больше. Не хватало дня, да и не все отец мог сделать сам. Силы уже были не те. За неделю накапливались дела, их отец заготавливал к ожидаемому приезду детей. В субботу каждому выдавалось задание, урок, как он говорил. Не всем это нравилось. Внук Юра, полковник, летчик-испытатель, с удовольствием помогал в слесарных делах, а от сельхозработ был отставлен навсегда после того, как выполол на грядке все огурцы, оставив сорняки.

Алексей Иванович Аджубей стал прихварывать. У него развился радикулит, и он, к сожалению, не мог выполнять физическую работу. Стало неважно и со слухом, то он не услышит, как отец его зовет, то сам, задав вопрос, уйдет, не дослушав до конца. Постепенно бывать у нас Аджубеи стали реже,завели собственную дачу.

Лена и ее муж Витя, «отлынивая» от отцовских уроков, прикрывались пчелами. Их улей стоял возле дома, и пчелы требовали ухода. Понятно, что и я всячески увиливал, поскольку занятия огородом восторга у меня не вызывали.

Отец видел наши уловки, посмеивался и не обижался,

хочешь не хочешь, работали мы дружно. Наш «бригадир», гордясь своим слесарным образованием, командовал:

— Я вам покажу, как это надо делать. Инженерами называетесь, а трубы ни согнуть, ни скрутить не можете.

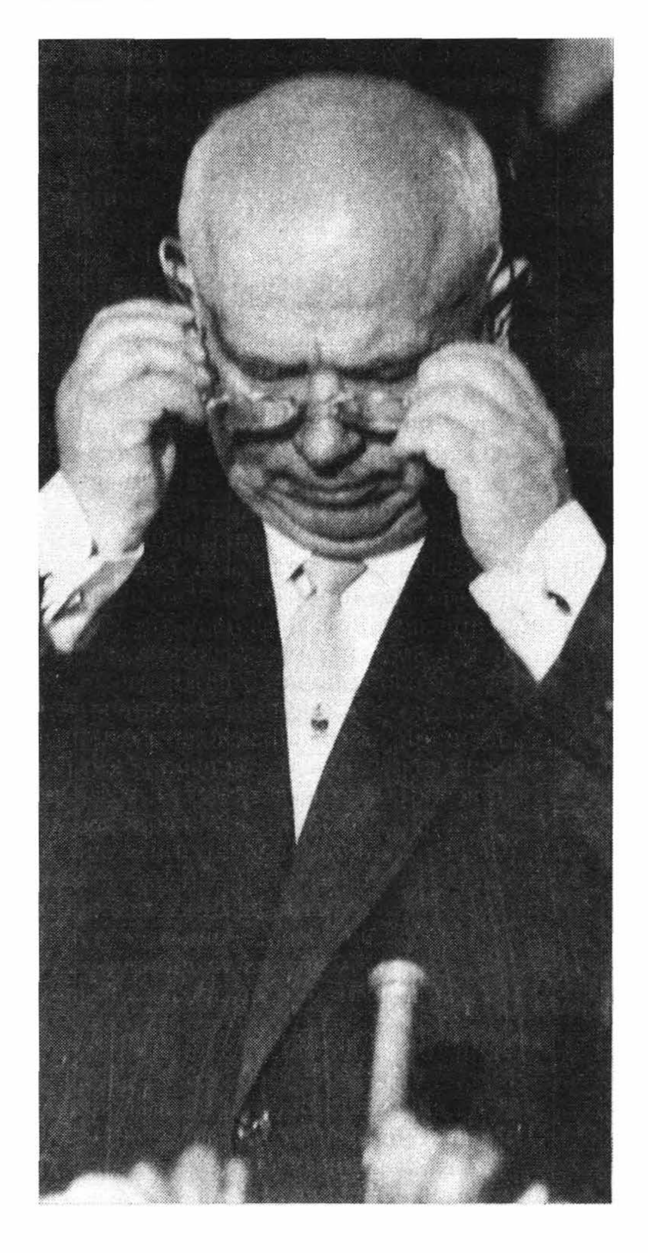
В конце концов он завел себе набор слесарных инструментов, разжился паклей, льном, краской и работал, как заправский слесарь. Конечно, и тут не щадил себя. Целыми днями таскал и свинчивал трубы, решив провести водопровод к огороду вниз, на луг. Помогать ему новое начальство охранникам в то время уже запретило, и молодые парни со своего «поста» наблюдали, как отец тащит очередную трубу.

* * *

...Сразу после смерти отца дачу в Петрово-Дальнем снесли. Сейчас там, говорят, построили пансионат...

Глава IV

МЕМУАРЫ



Воспоминания отца изданы на шестнадцати языках и читаются в мире уже около двадцати лет. Не существует только советского издания. И это при том, что у нас в архиве ЦК лежит полный текст — на магнитофонных бобинах более 200 часов надиктованных материалов. За прошедшие годы никто из официальных лиц не поинтересовался ими. Характернейший пример нашего отношения к собственной истории — бездумного и наплевательского.

История создания этих воспоминаний, политиканская возня вокруг них власть предержащих полны самых неожиданных поворотов едва ли ни с первого дня работы отца над мемуарами и вплоть до выхода книги на Западе.

...Первые разговоры о мемуарах начались еще в 1966 году, когда отец стал поправляться после болезни. В то время никто, конечно, в том числе и отец, не представлял себе ни их содержания, ни объема, ни той роли, которую им суждено будет сыграть в нашей жизни. В тот момент нам хотелось переключить внимание отца на какое-то дело. Никому и в голову не могло прийти, какую бурю вызовет его решение начать работать над воспоминаниями. Впрочем, отец был не первым, чье обращение к истории вызвало беспокойство.

В свое время «неистовые ревнители» от госбезопасности докладывали ему, что маршал Жуков начал писать воспоминания. Они предлагали выкрасть их, помешать дальнейшей работе.

Отец отреагировал иначе:

— Ну и что? Пусть пишет. Сейчас ему делать нечего. Ничего не предпринимайте, пусть делает то, что считает нужным. Все это очень важно для истории нашего государства. Жукова освободили за его проступки, но это никак не связано ни с его предыдущей деятельностью, ни с сегодняшней работой над мемуарами.

Предлагая отцу заняться воспоминаниями, мы резонно рассчитывали на такую же позицию «наверху». Но не тут-то было...

На наши разговоры отец поначалу не реагировал, иногда отшучивался, но чаще отмалчивался. Не было даже его обычного «не приставайте!». Шло время, жизнь входила в новую колею. Как-то муж Юли — журналист Лева Петров снова завел разговор о мемуарах. Для «затравки» мы решили соблазнить отца положительным примером — приохотить его к чтению мемуарной литературы. К тому времени я активно включился в эту «деятельность». Разыскал и привез мемуары Черчилля и де Голля. Увы, усилия наши эффекта не дали.

Дни шли за днями. Почти все, с кем теперь встречался отец, знакомые и незнакомые, в разговоре обычно задавали вопрос, пишет ли он свои воспоминания. Услышав отрицательный ответ, начинали сокрушаться, в один голос убеждая отца, что это «преступление», ведь его память держит уникальные факты, которые должны стать достоянием истории.

В конце концов дело сдвинулось с мертвой точки, в августе 1966 года Лева привез магнитофон, и отец начал диктовать. Стояла теплая погода. Они вдвоем садились в саду и приступали к разговору.

Плана мемуаров не было, поскольку грандиозность этой работы мы не могли даже вообразить. Да и, по сути дела, это была еще не работа, а лишь прикидка, просто запись рассказов отца, которыми он так щедро делился с посетителями. Но так продолжалось недолго. Работа из любительской быстро стала превращаться в профессиональную.

Сначала отец не хотел диктовать в доме из-за прослушивающей аппаратуры. Поэтому на первых пленках его слова часто заглушаются ревом пролетающих самолетов. Впоследствии он «плюнул» на прослушивание и продолжал диктовать в помещении.

Первая запись посвящена карибскому кризису. Тогда это была совсем недавняя история. Всех волновало драматическое развитие событий, едва не приведших к столкновению двух держав. Да и сегодня они не потеряли своей актуальности. Лева настойчиво просил рассказать именно об этом историческом эпизоде. Он забрал пленку домой, расшифровал ее и через неделю привез отредактированную запись. Она отцу не понравилась. Лева не обработал запись, а, слушая магнитофон, по сути дела,

переписал все заново. То есть это был уже как бы не Хрущев, а Петров по мотивам Хрущева. Пропали оттенки, в корне изменился стиль, а изложение некоторых фактов оказалось искаженным до неузнаваемости.

Нужно сказать, что работать с изначальным текстом отца сложно. Диктовка — не разговор и не выступление, где Хрущев интересно, образно излагает свои мысли. Это — результат многочасового сидения один на один с магнитофоном. А вращение катушки к тому же торопит, задает свой темп. Поневоле начинаешь торопиться, нервничать. Появляется много сорных слов, то пропадает сказуемое, то теряется подлежащее, то слова встают не в должном порядке. При редактировании надо все собрать, не исказив текст, сохранив смысл и нюансы. Работа требует огромного терпения и времени. Куда легче и быстрее все переписать своими словами. Так Петров и поступил.

Забегая вперед, скажу, что вскоре вся работа по расшифровке и редактированию свалилась на меня. Я успел обработать 1500 машинописных страниц. Постепенно выработался определенный темп. За день, не разгибаясь, оказалось возможным обработать не более 10 страниц. И хотя я очень старался, результаты, по мнению отца, были не слишком удачны.

Прочитав расшифрованный текст, отец категорически забраковал редакцию Левы. Теперь ему стала помогать мама. Она умела печатать на машинке, одновременно редактируя текст. Дело пошло лучше, качество повысилось, но скорость продвижения работы отца не устраивала: до конца жизни в таком темпе обработать надиктованный текст не представлялось возможным.

Тогда-то к работе над мемуарами подключился и я. Первоначально предложил отцу обратиться в ЦК и попросить выделить в помощь машинистку и секретаря.

— Ведь это не частное дело. В мемуарах должен быть заинтересован ЦК. Это история,— убеждал я его.

Обращаться туда он отказался:

— Не хочу их ни о чем просить. Если сами предложат — не откажусь. Но они не предложат — мои воспоминания им не нужны. Только помешать могут.

Решили, что работать будем самостоятельно и помощи просить не станем.

Сразу возникли новые проблемы, и первая из них, где найти доверенную и опытную машинистку. Ведь нужна была уверенность, что материалы не пропадут и не попадут в чужие руки. Задача оказалась не из легких. Своими сомнениями я поделился с друзьями — Семеном Альперовичем и Володей Модестовым. Обсудив ситуацию, мы нашли такого человека — Леонору Никифоровну Финогенову. Она тогда работала у нас на предприятии в выпускном цехе, часто выезжала с нами в командировки на полигоны. Отличный специалист и честнейший человек. Я обратился к ней с этим предложением, и Лора согласилась. Осталось решить технические вопросы. Машинку я купил в магазине на Пушкинской улице. Четырехдорожечный магнитофон «Грюндиг» у меня был. Мы только приспособили к нему наушники. Работать решили у меня на квартире, поскольку я считал невозможным выпустить пленки из своих рук.

Помню, осенним вечером, видимо, 1967 года Лора пришла ко мне домой на улицу Станиславского. Долго приспосабливали магнитофон и машинку, чтобы было удобно включать-выключать звук и синхронно печатать. Опыта такой работы ни у нее, ни у меня не было. Подгонка заняла немало времени. Наконец все устроилось и работа началась.

Несмотря на свою высокую квалификацию, Лора явно отставала от текста. К тому же некоторые слова звучали неотчетливо. То и дело приходилось останавливаться, возвращаться назад. Через час стало ясно, что так дело не пойдет. В таком режиме можно напечатать несколько десятков, на худой конец — сотню страниц. У нас же впереди многие сотни и даже тысячи. Мы приуныли.

Время незаметно подкатилось к ночи. Для первого раза мы решили остановиться. Пошли пить чай. Разговор все время вертелся вокруг волновавшей нас темы. Выхода не было — работу приходилось переносить на дом к Лоре, поскольку там у нее будет больше времени.

В начальный момент работы над мемуарами «кому следовало» пока еще не интересовались нашими персонами, и перебазирование оргтехники в Реутово не привлекло постороннего внимания.

С того дня дело пошло быстрее. Отец диктовал по

нескольку часов в день. Лора печатала быстро и все-таки не успевала за ним. Я совсем задыхался. Редактировал, правил каждую свободную минуту дома и на работе, в будни и в выходные, с утра до позднего вечера. Но как бы то ни было, я не поспевал за ними и все же торопил Лору. Боялся, что не успеем. Что-то подсказывало: не может все идти так гладко.

Отец диктовал по памяти, не пользуясь никакими источниками. И даже не потому, что подбор литературы был затруднен чисто технически. С этим бы я кое-как справился. Но отец привык к живой практической работе с людьми и «рыться не имел охоты в пыли бытописания земли». Надеялся он только на себя, на свою память, и, нужно признать, она у него была феноменальна. Как он мог удержать в голове такое количество информации: событий, мест, имен, цифр? И донести их до слушателя почти без повторов и путаницы?

Постепенно отец привык к работе со мной, и в тексте диктовки все чаще появлялись обращения ко мне:

— Я говорил о поездке в Марсель и забыл фамилию сопровождавшего правительственного чиновника. Сейчас вспомнил — Жокс. Я правильно его назвал? Да, да, Жокс. Когда будешь править, вставь в нужном месте.

Или:

— На съезде Болгарской компартии ко мне подошел член румынской делегации, забыл его фамилию (далее следует описание его внешности). Надо посмотреть и вставить фамилию.

Требовали проверки номера армий в военном разделе. Ошибок тут было немного. Отец был точен на удивление. Это можно объяснить одним — события тех лет глубоко врезались в память. Верны были и цифры, и имена, и даты.

Ошибался он, когда по памяти пытался восстановить последовательность событий во время какого-нибудь государственного визита. Так было, скажем, с рассказом о поездке с Булганиным в Бирму в 1955 году. Отец пытался восстановить, кто и где их принимал, откуда и куда они поехали. Обычно человек вообще таких вещей не помнит, а отец держал канву в памяти, безбожно путая, в каком городе их встречали национальной греблей, а в каком — парадом со слонами. Расставить все по местам предстоя-

лю мне, что я и делал, сверяя текст с опубликованными в прессе отчетами.

Работы было много. Отец работал серьезно, помногу. Он диктовал по три—пять часов в день, утром и после обеда.

— У меня лучше получается, когда есть слушатель. Видишь перед собой живого человека, а не дурацкий ящик,— не раз сетовал он.

Однако слушатели находились далеко не всегда. Правда, когда они появлялись, а это обычно были старые знакомые, пенсионеры, приезжавшие на неделю или побольше, дело шло быстрее и лучше. Тогда на пленке слышен был диалог. Наедине же с «ящиком» речь становилась менее живой, с запинаниями, долгими паузами. Наиболее продуктивно отцу работалось осенью и зимой. Летом на первый план выдвигались огородные дела и диктовка велась урывками.

К каждой теме отец серьезно и подолгу готовился, обдумывая во время прогулок, что и как сказать. Наиболее драматические события жизни врезались в память намертво. Пересказывал он их по многу раз. Сюда относятся и поражение под Барвенковом в 1942 году, и арест Берии, и смерть Сталина, и XX съезд, и другие. В рассказах о них он практически не отклонялся ни на шаг от первоначального варианта, и рассказ 1960 года звучал так же и в 1967 году, хотя отец и жаловался: «Старею, память начинает отказывать».

Надиктовывая километры магнитной ленты, отец все больше мучился — какая же судьба ждет его воспоминания?

— Напрасно все это. Пустой труд. Все пропадет. Умру я, все заберут и уничтожат или так похоронят, что и следов не останется,— не раз повторял он во время наших воскресных прогулок.

В доме мы на эти темы никогда не разговаривали, памятуя о лишних ушах. Я успокаивал отца как мог, хотя в душе склонен был согласиться с ним. Я понимал, что, если сегодня все тихо, это вовсе не значит, что так будет всегда.

На всякий случай мы решили подстраховаться: продублировать пленки и текст и хранить их отдельно в надежных местах. Казалось, проблема решена, но мы слиш-

ком хорошо знали возможности профессионалов в таких делах. Абсолютно надежных мест не бывает. Во время одной из бесед на прогулке нам пришла идея поискать сохранное место за границей. Отец сначала сомневался, опасаясь, что там рукопись выйдет из-под нашего контроля, может быть искажена и использована во вред нашему государству. С другой стороны, сохранность там обеспечивалась надежнее. После долгих взвешиваний «за» и «против» отец все-таки попросил меня обдумать и такой вариант. Естественно, это решение мы хранили в строжайшей тайне. Но, честно говоря, в те дни я не представлял себе даже приблизительного плана действий...

Что же составляло предмет работы?

С самого начала отец заявил, что не собирается описывать свою жизнь, начиная с детства. Хронологических повествований он терпеть не мог, они навевали на него тоску.

— Я хочу рассказать о наиболее драматических моментах нашей истории, свидетелем которых мне пришлось бывать. В первую очередь о Сталине, о его ошибках и преступлениях. А то я вижу, опять хотят отмыть с него кровь и возвести на пьедестал. Хочу рассказать правду о войне. Уши вянут, когда слушаешь по радио или видишь по телевизору жвачку, которой пичкают народ. Надо сказать правду — так сформулировал он свою программу.

Поначалу он не собирался освещать период своей службы на высших партийных и государственных постах, считая это то ли нескромным, то ли ненужным по каким-то неведомым мне причинам. Я доказывал, что его собственная жизнь, события, происходившие после Сталина, не менее интересны и важны для истории. Отец не возражал, отмалчивался. Да и в то время этот спор был беспредметен — он только приступил к выполнению намеченного.

Начал отец с 30-х годов, с периода своей работы на Украине и в Москве. Потом он перешел к рассказу о подготовке к войне, ее трагическом начале, об отступлении под ударами немцев. То, что он говорил, сильно расходилось с официально признанной в то время версией истории первого периода войны, с многочисленны-

ми, весьма сомнительными публикациями на эту тему. Его же описания трагических и героических событий 41-го года поражали меня как читателя. Я старался не упустить ни слова, ни в коей мере не исказить мысли автора. Для меня отец был единственным правдивым источником информации. И теперь сохранение этих воспоминаний для будущих поколений становилось делом моей жизни...

За войной последовал послевоенный период: восстановление хозяйства на Украине, голод, интриги, появление в Киеве Кагановича и его отзыв оттуда, перевод отца в Москву, «ленинградское дело», несостоявшееся «московское дело» и многое, многое другое.

Материала накопилось чрезвычайно много. Мы стали невольно путаться: о чем был разговор, о чем не был. Решили как-то упорядочить работу. Целую неделю я составлял план — своеобразный перечень вопросов, о которых, на мой взгляд, следовало говорить в первую очередь. В воскресенье мы его обсудили, отец забрал листочки, чтобы все обдумать на досуге. Через неделю у нас был первый вариант плана. По нему и работали в последующие годы, вычеркивая выполненные пункты, а то и вписывая новые, изначально забытые.

Предполагалось осветить все основные моменты современной жизни: целину и проблемы сельского хозяйства, развитие промышленности, пути реорганизации народного хозяйства, вопросы обороны — формирования армии и военной промышленности, способы демократизации нашего общества, проблему отношений отца с интеллигенцией. Не забыли мы и международные дела: борьбу за мир, первые встречи с западными государственными деятелями в Женеве, различные контакты и визиты, проблему мирного сосуществования, вопросы разоружения и запрещения ядерного оружия.

Хотя отец работал по плану, но в силу своего характера очень часто увлекаясь, он уходил далеко в сторону, по аналогии вспоминая о событиях, далеких от заданной темы. К сожалению, не все намеченное удалось реализовать. Так и остались не зафиксированными мысли отца о путях демократизации нашего общества, его идеи об установлении предельных сроков пребывания на государственных и партийных постах, о выборности и глас-

ности работы государства и партии, установлении конституционных гарантий прав граждан, исключающих повторение террора 30-х годов.

Не получился и раздел о творческой интеллигенции, в котором отец хотел дать оценку событиям, происходившим в последний период его пребывания у власти. Очень ему хотелось объяснить мотивы своего поведения. Но времени не хватило. Последняя запись незадолго до смерти была как раз посвящена этому вопросу, но оставила его неудовлетворенным...

Вообще работа велась слаженно и продуктивно. Наша троица — отец, Лора и я — хорошо сработалась. И хотя не все задуманное удалось изложить, все же сделано было многое. Общее время надиктованных материалов приближается к двумстам часам.

Ну а куда же делись многочисленные в нашей семье журналисты? О Леве Петрове я уже говорил. Он и дальше помогал отцу. Правда, длилось это сотрудничество недолго. Лева тяжело заболел, и вскоре его не стало. Юля занималась своими маленькими дочерьми, да и по профессиональному складу она была далека от политической журналистики.

Рада в мемуарные дела не вмешивалась. Делала вид, что их просто не существует — ни магнитофона, ни распечаток. Она всецело была занята журналом. В свои не слишком частые наезды в Петрово-Дальнее она уютно устраивалась на диване под картиной, изображающей разлив весеннего Днепра. Там она вычитывала гранки, правила статьи для «Науки и жизни». Рядом с ней блаженствовала кошка. Отец обижался на такое невнимание к его деятельности.

К тому времени я втянулся в прежде не знакомый мне труд, увлекся им, считал работу над мемуарами своим делом. Я постоянно думал о них, приставал к отцу с предложениями и советами. Мне мерещились красиво изданные тома. Так что ко всякому вмешательству в мою новую «епархию» я бы отнесся ревниво, как к вторжению непрошенного гостя. Потому-то индифферентность сестры меня устраивала.

Особое отношение у отца было к Алексею Ивановичу. Кажется, поначалу именно с ним связывал он свои надежды, видя в нем основного помощника. Это было впол-

не естественно. В недавнем прошлом Аджубей постоянно сопровождал отца в поездках, вместе с другими видными журналистами входил в рабочую группу при Первом секретаре, помогавшую ему в составлении выступлений, документов, проектов новых законов. Да и сам он — бывший главный редактор газеты «Известия» — много писал, считался способным журналистом. Теперь они оба в опале, и кому, как не зятю, помочь тестю в его «литературной» деятельности.

Поначалу все шло к тому. Алексей Иванович активно поддерживал идею работы над мемуарами. Правда, сам помощи не предлагал, но в ту пору дело только затевалось. Со временем его отношение стало меняться. Упоминать о мемуарах он перестал, разговоров о них с отцом стал избегать. Видимо, он решил проявить осторожность, поскольку развитое политическое чутье подсказывало ему опасность такого сотрудничества. В те годы, в середине 60-х, Алексей Иванович еще не потерял надежд на возобновление политической карьеры. Он несколько отошел от шока после ноябрьского Пленума ЦК (1964 г.) и искал путей возвращения к активной деятельности. Все свои надежды он связывал с Шелепиным. Еще недавно совсем было поникший Алексей Иванович снова расправил плечи. Приезжая в Петрово-Дальнее, он вызывал то одного, то другого на улицу и таинственно сообщал:

— Скоро все переменится. Леня долго не усидит, придет Шелепин. Шурик меня не забудет, ему без меня не обойтись. Надо только немного подождать.

Действительно, такие слухи циркулировали во множестве, и этот вариант развития событий вовсе не казался невероятным. Аджубей подкреплял свои слова ссылками на разговоры со своими приятелями по комсомолу — то на Григоряна, то на Горюнова. Однажды даже таинственно сообщил, что встречался с самим Александром Николаевичем.

Я и верил, и не верил этим словам. В одном не сомневался — без Хрущева Аджубей Шелепину просто не нужен.

Можем ли мы осудить Алексея Ивановича за его стремление вернуться на политическую арену? Думаю, нет. Ведь ему тогда было чуть больше сорока лет. Есте-

ственно, в такой ситуации он счел за благо несколько отдалиться от отца и сделать это так, чтобы его шаг заметили.

Таким образом, участие в работе над мемуарами могло ему только навредить. Вскоре выяснилось, что Брежнев совсем не переходная фигура и знает, как удержать власть в руках. Вопрос прихода к власти Шелепина отпал, но тут произошли новые события, которые не оставили у Алексея Ивановича и мысли о возможном участии в работе над воспоминаниями. Затронули они всех нас, и отца, и меня, и в какой-то степени оказали влияние на судьбу мемуаров.

Летом 1967 года, когда о Хрущеве, казалось, прочно забыли, его имя вдруг опять взбудоражило мир. Ничего особенного не произошло, просто американцы решили сделать биографический фильм о бывшем советском лидере. У нас же это было квалифицировано как провокация, почти как антисоветская вылазка.

Дело в том, что к 1967 году Брежнев уже с трудом переносил даже простое упоминание о Хрущеве. Люди такого склада, с одной стороны, добрые и слабые, с другой — тщеславные, по-особому относятся к своим дурным поступкам, по-своему переживают их. Совершив их, они переносят всю свою ненависть на жертву, пытаясь тем самым доказать и себе, и окружающим собственную правоту. Упоминание имени отца в какой-то степени мешало упрочению его собственной «роли» в истории — ведь многое из того, что в тот момент приписывал себе Леонид Ильич, началось задолго до него, все ощутимее теряя набранный поступательный ход. Естественно, подобные настроения начальства передавались и подчиненным.

В этой обстановке и разразился скандал после выхода на Западе фильма о Хрущеве.

У нас в стране этого фильма пока никто не видел, была только информация о нем. Говорили, что он построен на съемках на даче, отец в нем дает несколько интервью, одно страшнее другого. Мне удалось посмотреть этот фильм, к сожалению, уже после смерти отца.

Как и следовало ожидать, ничего сенсационного или крамольного в нем не было. Он построен исключительно на архивных материалах, фото- и кинодокументах. Весь сыр-бор разгорелся из-за двух-трех минут в конце: там показывают отца, сидящего в «буссаковской» накидке у костра, рядом Арбат. Отец что-то рассказывает. Звучание голоса приглушено, на него наложен дикторский текст — что-то о годах юности, потом о Кубе... Таких сцен у костра в жизни отца было множество.

Я в ту пору занимался киносъемкой и постоянно таскал с собой восьмимиллиметровую камеру. Многие из гостей тоже приезжали с фотоаппаратами и кинокамерами. Я уж не говорю об отдыхающих из соседнего дома отдыха — фото с отцом на память входило в «культурную программу». При желании пленки легко могли попасть за рубеж. Ничего предосудительного в этом не было. Скажем, если бы меня попросили, я бы и сам мог снять этот фрагмент.

Но в фильме была не моя съемка.

В тексте могли быть использованы фрагменты записей до 1964 года: отец тогда частенько рассказывал о донбасском периоде своей жизни, своем друге шахтерском поэте Пантелее Махине. Впрочем, это могли быть и современные записи. Он любил при гостях вспоминать о своей молодости. Карибский кризис — тоже была его любимая тема.

Реакция на фильм не заставила себя ждать. Отца не трогали и ничего у него не спрашивали. Гнев обрушился на окружающих. Первым на ковер вызвали начальника охраны Мельникова.

Мельниковым давно были недовольны. Считали, что он слишком «прохрущевский» человек, старается угодить ему во всем, где может,— помогает, словом, делает все, чтобы скрасить Хрущеву жизнь. Его поведение было не в духе времени. Фильм явился хорошим поводом для расправы. Его обвинили в потере бдительности — как он мог допустить интервью отца иностранному журналисту? То, что никакого, не только иностранного, но даже советского журналиста на даче ни разу не было, никого не интересовало.

В результате Мельников был снят со своей должности и уволен из органов КГБ. Я с ним потом встретился. Он работал комендантом в доме отдыха, постарел, поседел, плохо видел. А последний раз я его видел на похоронах отца. Он пришел проститься.

Место Мельникова занял Василий Михайлович Кондрашов — совсем другой человек, более «современный» работник. Он старался уколоть отца по мелочам, на его просьбы стандартно отвечал, что узнает у начальства. Через несколько дней обычно следовал ответ:

— Нельзя. Вам не положено.

Возможно, это и не было чертой его характера: просто он строго выполнял инструкции, памятуя о судьбе своего предшественника. Замена начальника охраны должна была, по замыслу начальства, предостеречь отца, напомнить ему, в чьих руках сегодня и сила, и власть.

Однако отец сделал вид, что происшедшие изменения его не касаются. Даже в разговорах с нами он почти не затрагивал этой темы. На работу над мемуарами эта акция властей влияния не оказала. Отец не только не забросил диктовку, но заработал с удвоенной энергией.

Пик работы над мемуарами пришелся на зиму 1967/68 года. Брежнев к тому времени уже набрал силу и начал внимательно следить за отражением своей личности в зеркале истории. «Малая земля» и «Возрождение» были еще, видимо, в отдаленных планах, но первые ростки нового культа уже вызрели.

Донесение, что Хрущев диктует свои мемуары, чрезвычайно обеспокоило Леонида Ильича. Решено было заставить отца прекратить работу. Но как?

Рассматривались, наверное, разные варианты. Устроить обыск на даче? Изъять записи силой? Нельзя. Скандала не оберешься. Прославишься на весь мир держимордой, а Хрущева выставишь мучеником. Что же делать? Оставалось одно — встретиться с Хрущевым и убедить его прекратить писать мемуары, а что есть — отдать в ЦК. Не удастся убедить — заставить. Припугнуть, в конце концов.

Самому встречаться с бывшим патроном Брежневу не хотелось. Хватило встречи в 1965 году.

Вызвать к себе Хрущева, провести с ним беседу и попытаться покончить с мемуарами Брежнев поручил А. П. Кириленко, своему первому заместителю в ЦК, человеку грубому и нахрапистому. Этот спуску никому не даст. К нему присоединили А. Я. Пельше, председателя КПК, чтобы он оказал давление одним своим присутствием: с Комитетом партийного контроля не шутят. Третьим был П. Н. Демичев. Он в прошлом был близок к Хрущеву, так что при необходимости сможет разрядить обстановку, а то и убедить Хрущева не делать глупостей. Примерно такое решение было принято весной 1968 года. Оставалось действовать.

В апреле 1968 года, накануне дня рождения отца, я, как всегда, на выходные приехал в Петрово-Дальнее. Отца в доме не было. Мама сказала, что он пошел на опушку посидеть на солнышке.

— Отец очень расстроен. Вчера его вызывал в ЦК Кириленко, требовал прекратить работу над мемуарами, а что есть — сдать. Отец разнервничался, раскричался там, вышел большой скандал. Он сам тебе все расскажет, — продолжала она, — только ты к нему особенно не приставай. Он сильно перенервничал и плохо себя чувствует.

Расстроенный, я отправился вниз по тропинке. На лавочке сидел отец. Рядом лежал Арбат. Отец не заметил, как я подошел, а когда я молча сел рядом, не сразу повернул голову. Мы молчали. Отец выглядел усталым, лицо его посерело и постарело.

Повернувшись ко мне, он спросил:

— Ты уже знаешь? Мама тебе рассказала?

Я кивнул головой.

— Мерзавцы! Я сказал все, что о них думаю. Может быть, хватил лишнего, но ничего — это пойдет им на пользу. А то они думают, что я буду перед ними ползать на брюхе.

Я решил внести ясность.

— Мама мне практически ничего не рассказала. Только то, что тебя вызывал Кириленко и требовал прекратить работу над мемуарами.

— Так и было. Каков мерзавец! — повторил отец и начал рассказывать.

По мере рассказа лицо его оживало, глаза стали злыми, видно было, что он заново переживает каждую фразу, каждую реплику.

Я помнил, что отец плохо себя чувствует, и попытался перевести разговор, как-то успокоить его. Но отец не хотел отвлекаться. Он кипел от возмущения и пересказал мне возмутительную сцену, происшедшую в ЦК, до конца. Впоследствии он неоднократно возвращался к событиям того дня.

Я хорошо запомнил всю эту сцену и даже сделал по свежим следам какие-то заметки. Вот как выглядел его рассказ.

В кабинете Кириленко сидели кроме него самого Пельше и Демичев. Кириленко сразу перешел к делу, без обычных в таких случаях вопросов о самочувствии.

Он заявил, что Центральному Комитету стало известно, что отец уже в течение длительного времени пишет свои мемуары, в которых рассказывает о различных событиях истории нашей партии и государства. По сути дела, он переписывает историю партии. А вопросы освещения истории партии, истории нашего Советского государства — это дело Центрального Комитета, а не отдельных лиц, тем более пенсионеров. Поэтому Политбюро ЦК требует, чтобы он прекратил свою работу над мемуарами, а то, что уже надиктовано, немедленно сдал бы в ЦК.

Закончив говорить, Кириленко обвел глазами присутствующих — видно было, что заявление стоило ему немалого труда. Пельше и Демичев молчали. Кириленко достаточно долго проработал с Хрущевым на Украине и здесь, в Москве, будучи его первым заместителем в Бюро ЦК по РСФСР, знал взрывной характер отца и понимал, какое оскорбление нанесено его словами человеку, четыре года назад занимавшему пост Первого секретаря ЦК и Председателя Совета Министров СССР. Он, очевидно, надеялся, что новое положение пенсионера, даже в мелочах зависящего от них, сделает отца более покладистым и сговорчивым. Словом, заставит подчиниться.

Отец помолчал, потом оглядел своих бывших соратников. В ответ он начал говорить спокойно, все больше и

больше распаляясь. Он сказал, что не может понять, чего хотят от него Кириленко и те, кто его уполномочил. В мире, в том числе и в нашей стране, мемуары пишет огромное число людей. Это нормально. Мемуары являются не историей, а взглядом каждого человека на прожитую им жизнь. Они дополняют историю и могут служить хорошим материалом для будущих историков нашей страны и нашей партии. А коли так, он считает их требование насилием над личностью советского человека, противоречащим Конституции, и отказывается подчиниться.

— Вы можете силой запрятать меня в тюрьму или силой отобрать эти материалы. Все это вы сегодня можете со мной сделать, но я категорически протестую,— добавил он.

— Никита Сергеевич, то, что я вам передал, — решение Политбюро ЦК, и вы обязаны как коммунист ему подчиниться. В противном случае...— настаивал Кириленко.

Отец не дал ему договорить.

— То, что позволяете себе вы в отношении меня, не позволяло себе правительство даже в царские времена. Я помню только один подобный случай. Вы хотите поступить со мной так, как царь Николай I поступил с Тарасом Шевченко, сослав его в солдаты, запретив там писать и рисовать. Вы можете у меня отобрать все — пенсию, дачу, квартиру. Все это в ваших силах; и я не удивлюсь, если вы это сделаете. Ничего, я себе пропитание найду. Пойду слесарить, я еще помню, как это делается. А нет, так с котомкой пойду по людям. Мне люди подадут.

Он взглянул на Кириленко.

— А вам никто и крошки не даст. С голоду подохнете.

Понимая, что Хрущев с Кириленко говорить не будет, в разговор вмешался Пельше, сказав, что решение Политбюро обязательно для всех, и для отца в том числе. Этими мемуарами могут воспользоваться враждебные силы. Это было ошибкой со стороны Пельше.

— Вот Политбюро и выделило бы мне стенографистку и машинистку, которые записывали бы то, что я диктую. Это нормальная работа. Они могли бы делать два экземпляра — один оставался бы в ЦК, а с другим бы я работал,— более спокойно сказал отец. Но, вспомнив о

чем-то, с раздражением добавил:— А то, опять же в нарушение Конституции, утыкали всю дачу подслушивающими устройствами. Сортир и тот не забыли. Тратите народные деньги на то, чтобы пердёж подслушивать.

Всем стало ясно, что разговор надо заканчивать — добровольно отец ничего не отдаст.

На прощание отец сказал, что он, как гражданин СССР, имеет право писать мемуары и это право у него отнять не могут. Его записки предназначены для ЦК, партии и всего советского народа. Он хочет, чтобы то, что он описывает, послужило на пользу советским людям, нашим советским руководителям и государству. Пусть события, которым он был свидетелем, послужат уроком в нашей будущей жизни.

На этом закончился второй после отставки, но, к сожалению, не последний визит отца в ЦК.

Свидание это выбило отца из колеи. Он переживал, опять и опять возвращаясь к обстоятельствам разговора. Диктовку отец забросил, возобновляя работу лишь эпизодически. В 1968 году он продиктовал очень мало. Так что в этом смысле Кириленко добился желаемого результата. Снова отца мучила та же проблема: зачем все это.

В наших разговорах во время прогулок вдали от микрофонов, фиксирующих каждое слово, он опять стал повторять:

— Бессмысленное занятие. Они не успокоятся. Я их знаю. Сейчас не посмеют, а умру — все заберут и уничтожат. Я же вижу, что происходит сегодня. Им правдивая история не нужна.

Я его успокаивал, но сам успокоиться не мог. Надо было отыскать способ, позволявший надежно сохранить материалы до лучших времен. Все возможные варианты хранения пленок и распечаток внутри страны не были абсолютно надежны. Как только за поиски возьмутся профессионалы, а они есть в избытке, все наши дилетантские секреты будут раскрыты.

В обсуждениях с отцом судьбы мемуаров мы вернулись к мысли о надежном укрытии рукописи за границей. Тогда же впервые возникла мысль, что в случае чрезвычайных обстоятельств или изъятия материалов в качестве ответной меры их нужно будет опубликовать. Публикация окончательно решала проблему их сохранности и,

естественно, сильно снизила бы стремление отобрать и уничтожить материалы. Что, спрашивается, искать, если книгу можно запросто купить в магазине? Ведь весь тираж не скупишь. Никаких секретных фондов не хватит — на Западе дефицита с бумагой нет.

Несколько успокоившись после бурной беседы в ЦК, отец принялся за огород. Приближался май, пора было готовиться к посевной.

Тем временем мне удалось нащупать пути передачи копии материалов за рубеж. Дело оказалось проще, чем я представлял себе. Однако кроме технического был и моральный аспект. Шел уже не 1958 год, но еще далеко не 1988-й. Всего десять лет назад метались молнии в Пастернака, передавшего свою рукопись итальянскому издателю. Недавно осудили Синявского и Даниэля. Отец не одобрял этого судилища, но... В голову приходили и более далекие события, вспоминалось письмо Федора Раскольникова, обнажившее ужасы сталинского режима. Не будь оно опубликовано во Франции, мы бы многого тогда не узнали. А письма и статьи Ленина?.. Они ведь тоже часто публиковались за границей.

Тем не менее стереотип был силен: коль скоро книга опубликована на Западе — это жест враждебный.

Отец был смелее меня, считая, что мемуары Первого секретаря ЦК — это исповедь человека, отдавшего всю свою жизнь борьбе за Советскую власть, за коммунистическое общество. В них правда жизни, предостережения, факты. Они должны дойти до людей. Пусть сначала и там, но когда-нибудь и здесь. Конечно, наоборот было бы лучше, но как дожить до этих времен?

Решившись на этот шаг, мы фактически переходили от легальной деятельности к «нелегальной». Мне было немного не по себе. Неизвестно, чем это могло кончиться: арестом, ссылкой? Думать о последствиях не хотелось, надо было действовать.

Многие из тех, кто принимал участие в этом деле, живы, и я сейчас еще не могу опубликовать детали, подробности, назвать имена наших добровольных помощников. Хочу только выразить искреннюю признательность всем, кто помог сохранить и опубликовать воспоминания моего отца.

...Итак, материалы — пленки и распечатки — пере-

секли несколько границ и нашли надежное пристанище за стальными дверцами сейфа.

Следом встал новый вопрос. Материалы там в сохранности, но если что-то случится с нами, добраться до них не будет никакой возможности и они могут пролежать без всякой пользы столетия. А ведь диктуются они не впрок, в них размышления о наших победах и поражениях, наших успехах и ошибках и предназначены они для современников. Это «товар» скоропортящийся, не подлежащий длительному хранению. Сказанное там принесет пользу, если люди прочитают заметки сейчас, в нынешних условиях.

Так думал я в то время и оказался не прав. Период застоя вычеркнул из нашей жизни целые десятилетия. Недавно я еще раз перечитал воспоминания отца. Разоружение, сокращение армии — об этом недавно говорил Михаил Сергеевич Горбачев в ООН. Мысли его созвучны с тем, что писал отец. Или перевод военной промышленности на выпуск мирной продукции — такой проект уже был, но в 1964 году его тихо похоронили. Сегодняшний арендный подряд на селе — отец называл его иначе. Я уже не говорю о разоблачении сталинизма, жилищном строительстве, мирном сосуществовании, материальной заинтересованности и других широко известных принципах, на которых основывалась внутренняя и внешняя политика, проводившаяся Хрущевым.

...В очередной выходной я поделился своими опасениями с отцом. Он тоже думал об этом.

— Все может случиться, — сказал отец, — не исключено, что не только ты, но никто не сможет добраться до сейфа. Хорошо бы договориться условно с каким-нибудь солидным издательством, что они опубликуют книгу, но не к конкретному сроку, а после того, как мы отсюда дадим знак.

Отец замолчал. Мы медленно шагали по дорожке. Потом он сказал, что нам надо быть ко всему готовыми. Они на этом не остановятся. Можно ожидать любой гадости: или тайно похитят материалы, или так отберут. Арестовать не рискнут. И время не то, и кишка тонка. А отобрать постараются.

К концу года была достигнута предварительная договоренность о возможности опубликования воспоминаний

в американском издательстве «Литтл, Браун энд компани». Однако появилось условие — изъять из текста упоминания, способные вызвать слишком большое раздражение властей. Таких мест было немного, и отец согласился.

Шли дни, месяцы — материалов становилось все больше. Мы работали спокойно: что бы ни случилось, книга будет сохранена.

Вспоминаю один курьезный случай. Издательство засомневалось: не фальшивку ли ему подсунули? Очень уж неправдоподобно все выглядело. Издатели опасались провокации. Встал вопрос, как подтвердить подлинность материалов. Писать мы им не хотели, считая, что опасность провала слишком велика. Тогда наши помощники нашли выход. Решили прибегнуть к помощи фотоаппарата.

Из Вены отцу передали две шляпы — ярко-алую и черную с огромными полями. В подтверждение авторства отца и его согласия на публикацию просили прислать фотографии отца в этих шляпах. Когда я привез шляпы в Петрово-Дальнее, они своей экстравагантностью привлекли всеобщее внимание. Я объяснил, что это сувенир от одного из зарубежных поклонников отца. Мама удивилась: «Неужто он думает, что отец будет их носить?»

Отправившись гулять, мы остались одни, я рассказал отцу, в чем дело. Он долго смеялся. Выдумка пришлась ему по душе, он любил остроумных людей и, когда мы вернулись с прогулки, сам вступил в игру. Присев на скамейку перед домом, отец громко попросил меня:

— Ну-ка, принеси мне эти шляпы. Хочу примерить.

Мама была в ужасе:

— Неужели ты собираешься их носить?

— А почему бы и нет? — подначил ее отец.

— Слишком яркие, — пожала плечами мама.

Я принес шляпы. Заодно захватил и фотоаппарат.

Отец надел шляпу и сказал:

— Сфотографируй меня, интересно, как это получится?

Так он и сфотографировался с одной шляпой на голове, а с другой — в руке. Вскоре издатели получили снимки: теперь они видели, что их не водят за нос.

Впрочем, несмотря на все приготовления, я очень

надеялся, что к последнему средству — публикации книги на Западе — прибегнуть не придется.

Лето было занято сельскохозяйственными работами, они практически поглощали все время. На мемуары времени оставалось мало, да и браться за них отцу не хотелось. Для такого дела нужен настрой, желание. А сейчас при одной мысли о мемуарах всплывала физиономия Кириленко, слышались его слова. И поскольку из разговора с отцом ничего не вышло, «доброжелатели» решили действовать иначе. Взялись за его детей, начав с семьи Аджубеев.

Алексея Ивановича, который теперь работал заведующим отделом в журнале «Советский Союз», вызвали куда-то и предложили покинуть Москву, перейти на работу в одно дальневосточное издательство. Алексей Иванович испугался и ударил во все колокола: он заявил, что никуда не поедет и немедленно напишет жалобу генеральному секретарю ООН. Угроза неожиданно возымела действие. К нему больше не приставали. Видимо, с ним побеседовали и по другим вопросам. Во всяком случае, с тех пор он стал общаться с отцом еще реже. Несколько раз заводил разговор о мемуарах, причем мнение его диаметрально поменялось. Теперь он считал работу над воспоминаниями бесполезным и ненужным занятием, утверждая, что дела отца говорят сами за себя и никаких дополнительных разъяснений не требуется. Отец отмалчивался или отделывался ничего не значившими нейтральными ответами. Обращался Аджубей и ко мне с предложениями уговорить отца больше мемуарами не заниматься. Я не согласился, ответив, что мемуары важны и для истории, и для самого отца.

Не миновали «репрессии» и меня. Об этом расскажу поподробнее.

Я уже упоминал, что работал в организации, занимавшейся ракетной техникой. Работа мне нравилась, нравился и мой шеф — академик Владимир Николаевич Челомей. В тот период я вел раздел систем управления в нескольких проектах. Дел было много, но я выкраивал любую свободную минуту для работы над мемуарами отца. Папку с очередной порцией листов, нуждающихся в правке, постоянно таскал с собой. Вскоре после беседы

Кириленко с отцом у меня в кабинете раздался звонок и незнакомый голос сообщил:

— Сергей Никитич, с вами говорят из управления кадров Министерства приборостроения. Нам сообщили, что вы переходите на работу в Институт электронных управляющих машин нашего ведомства. Зайдите к нам, мы уладим все формальности.

Я ничего не понял.

— Вы, видимо, ошиблись, я никуда переходить не собираюсь,— ответил я.

— Не знаю, не знаю. У меня лежат переводные документы на вас,— продолжал мой собеседник.— Впрочем, это ваше дело. На всякий случай запишите мой телефон, — и он продиктовал номер.

Я не знал, что и подумать. Ситуация была неприятная. Челомей сильно переменился ко мне за последние годы: с одной стороны, старался сохранить дружеские отношения, с другой — хотел, чтобы в КБ посторонние меня видели поменьше. Он даже как-то сказал мне в припадке откровенности: «Ты им не попадайся на глаза. Сиди в КБ, а в смежные организации не езди».

Первым, кого я встретил после странного телефонного разговора, был заместитель Челомея по кадрам Журавлев. Я тут же рассказал ему все.

— А я только собирался высказать тебе все, что думаю о твоем предательстве,— вдруг сказал Евгений Лукич.— У меня лежит запрос на твой перевод. Я думал, ты все это обтяпал за нашей спиной. Доложил Владимиру Николаевичу, и он приказал поговорить с тобой.

Это уже была явная ложь. Впоследствии я узнал, что за некоторое время до описываемых событий к Челомею приходили по мою душу представители органов, предположивших, что в силу известных обстоятельств я обижен и хорошо бы меня перевести на работу, не связанную с секретной тематикой. Если бы Челомей ответил, что это чепуха и я необходим в КБ, разговор этот остался бы без последствий. Во всяком случае, так мне позже объяснили осведомленные люди.

Но Челомей поступил иначе. Появилась возможность избавиться от меня — ведь при его разговорах с Брежневым и Устиновым мое имя всегда могло всплыть (они

10- 3478

прекрасно знали и меня, и где я работаю) и вызвать неудовольствие.

Ничего этого я тогда не знал и сказал Журавлеву, что никуда не собираюсь и даже мыслей таких не имею. Тут же я поднялся на шестой этаж к Челомею. Владимир Николаевич внимательно выслушал меня и не стал утверждать, будто ничего не знает:

— Это все Устинов. Он тебя не любит,— сел он на своего любимого конька. Устинова он ненавидел, и тот платил ему той же монетой.— Это все его дела. Мне уже о тебе звонил Сербин, спрашивал, когда ты уходишь. Ты не представляешь, насколько он низкий человек, способен на любую гадость.

Я не понял, кого он имел в виду — Устинова или Сербина, но хорошо знал эту привычку Владимира Николаевича в подобных выражениях характеризовать многих, с кем ему приходилось общаться, и не придал его словам серьезного значения.

Я был растерян и ждал от него помощи:

— Что же мне делать? Я совсем не хочу никуда переходить.

— Знаешь,— в раздумье протянул Челомей, — напиши письмо Леониду Ильичу. Кроме него, никто ничего не сделает. А он тебя знает и всегда тепло к тебе относился.

Совет был безукоризнен: Челомей оказывался «вне игры». Если Брежнев вдруг соблаговолит оставить меня в ОКБ, мое будущее санкционировано свыше и можно не беспокоиться о себе. Ну а на нет и суда нет. Владимир Николаевич сослался на срочный вызов к министру и ушел. Я остался со своими раздумьями. Писать Брежневу, особенно после стычки отца с Кириленко, мне очень не хотелось — и бесполезно, и противно. Решил не предпринимать никаких действий по своей инициативе — авось забудется.

Прошло две недели, и мне позвонил Журавлев:

— Ну так что? Что будешь делать? Мне тут звонили...

— Я, собственно, ничего не делал...

— Зря. Тебе предоставили время на принятие решения. Сейчас пора действовать. Надо тебе съездить в ту организацию.

Я решил предпринять последнюю попытку:

— Лукич, а что ты будешь делать, если я откажусь и никуда не пойду? Ведь по закону меня не за что увольнять.

— Напрасно теряешь время. Мы с тобой старые друзья, но я должен выполнять приказы руководства. А законов много. Например, можно сократить твое КБ за ненадобностью или в связи с реорганизацией. Вот ты и окажешься не у дел. Мой совет: или прими предложение, или прими меры. Время работает не на тебя.

— Спасибо за совет. А ты не можешь связать меня с тем, кто дает тебе указания?

— На этот вопрос я сам тебе не отвечу. Я перезвоню.

Через полчаса Журавлев сообщил мне номер телефона, назвал фамилию. Из первых цифр было видно, что это номер КГБ, а не нашего министерства. Мой разговор с невидимым собеседником был коротким, ничего нового он мне сообщить не мог. Я только спросил, что делать, если предложенная организация мне не подойдет. Могу я устроиться куда-нибудь еще?

Я наивно полагал, что смогу перейти на «фирму» к кому-нибудь из знакомых главных конструкторов по профилю своей работы — Пилюгину, Кузнецову, Петелину.

Мне было сказано, что других вариантов не существует. Если предложение не подойдет, они ничем помочь не смогут. Я положил трубку. Оставалось или подчиниться, или обращаться на самый верх.

В тот же день меня вызвал Челомей:

— Ты связался с Леонидом Ильичом?

— Нет еще. Пытался разобраться, не прибегая к его помощи. Очень уж не хочется ему писать.

— Напрасно. Кроме него, тут никто ничего не сделает. Мне уже дважды звонил Сербин. Я выкручиваюсь как могу, но чувствую, что скоро его терпению придет конец.

Выхода не было, и я вечером написал короткое обращение на имя Генерального секретаря с изложением фактов и просьбой оставить меня на старом месте работы, где я, как специалист, могу принести наибольшую пользу. Разузнав телефон, я позвонил помощнику Брежнева А. М. Александрову-Агентову. Я не очень разбирался в обязанностях его помощников и не знал, что он занимается международными делами.

Александров сам взял трубку и, выслушав меня, предложил зайти в удобное для меня время. Сговорились встретиться следующим утром. Принят я был чрезвычайно любезно. Александров сказал, что в ближайшее время доложит «самому» и надеется, что все образуется.

— Вы позвоните через пару дней,— обнадеживающе закончил он разговор.

Я несколько успокоился. Такой оперативности, признаться, я не ожидал. Очевидно, думал я, поскольку Брежнев раньше много занимался нашими делами, он хорошо знает и наше КБ, и меня. Наверное, все образуется.

Я «услужливо» забыл разговор у Кириленко и то, что после 1964 года Брежнев стал совсем не тем.

Через два дня Александров, помявшись, сказал мне по телефону, что он доложил мою записку, но Леонид Ильич заниматься существом дела не стал, а сказал: «Это дело Устинова. Пусть он и решает».

— Вы позвоните Дмитрию Федоровичу, вот телефон его помощника,— закончил разговор Александров.

Устинову я звонить не стал. Такой ответ Брежнева означал однозначный и пренебрежительный отказ. О том, что с Устиновым наша организация, а следовательно, и я были не в лучших отношениях, Брежнев прекрасно знал.

Рассказав все Челомею и выслушав, как я понимаю теперь,его не совсем искренние соболезнования, я набрал продиктованный мне номер телефона директора организации, где мне отныне предстояло работать, Бориса Николаевича Наумова.

Секретарь соединила меня мгновенно. В ответ на мои сбивчивые объяснения Наумов дружелюбно сказал, что ему все известно и он обо мне наслышан, а потом выразил уверенность, что я найду себе дело по душе. Предложил приехать. Через два часа я подъезжал к своей будущей обители. Через проходную прошел в небольшой двор, в котором одиноко стояло пятиэтажное школьное здание. После гигантской территории нашего ОКБ и его многочисленных многоэтажных корпусов организация выглядела затрапезно.

Пройдя через раздевалку, я поднялся на второй этаж. Полная белокурая секретарь приветливо улыбнулась:

— Сергей Никитич? Борис Николаевич ждет вас. Проходите.

В кабинете меня встретил большой, весь как бы состоявший из улыбки человек. Он излучал благодушие.

Я стал рассказывать, стараясь быть покороче.

— Подождите,— перебил он меня,— если можно, поподробнее. Я много слышал о вашей деятельности.

— Любочка, чайку и ни с кем не соединяйте. Ни с кем,— скомандовал он секретарю в переговорное устройство.

За чаем мы проговорили часа два. Я рассказал о себе, о Челомее, кое-что о работе. Что можно. Наумов был весь внимание и любезность. Задавал вопросы, уточнял — видно было, что все это ему чрезвычайно интересно. Наумов посоветовал мне подумать — он возьмет меня в подразделение, которое я выберу, на должность заведующего отделом.

— Такое указание я получил,— уточнил он.

Решили встретиться через пару дней. Так я начал работать в Институте электронных управляющих машин. В силу склада характера и обстоятельств я постепенно снова оказался в гуще событий. Отрадным было то, что через год из ОКБ ко мне перебрались несколько моих коллег, с помощью которых удалось создать боевой коллектив. Вместе мы работаем и по сей день...

Все эти бурные события отвлекли меня от помощи отцу в работе над мемуарами, но лето 1968 года оказалось непродуктивным и у него. Пришла осень, и отец опять приступил к диктовке. Дело шло туго, он выбился из ритма, забыл, что намечал. Опять мы вернулись к плану, составленному вначале. Выбирали тему на неделю и в следующий выходной подводили итог.

Сначала отец сердился, отвечая на мои вопросы своим обычным «не приставай!». Но постепенно он снова увлекся, работа оживилась и надобность в моих приставаниях отпала.

1969 год наступил мирно. «Наверху» о нас не вспоминали. Отпор, встреченный Кириленко, возымел свое действие, и с отцом, видимо, решили не связываться. Все шло по установившемуся распорядку — работа над мемуарами, огород, прогулки, фотографирование, опять мемуары, телевизор, чтение. И так изо дня в день. Весной

отец работал так же интенсивно, как и в позапрошлом году, когда мемуары только начинались.

Мы несколько успокоились, но, как оказалось, напрасно. Мемуары отца не выпадали из-под бдительного наблюдения. Все это в полной мере проявилось на следующий год.

Летом произошло событие, внешне, казалось, никак не связанное с темой этого повествования, но в силу ряда обстоятельств вдруг вмешавшееся в работу над мемуарами и оказавшее серьезное влияние на нашу дальнейшую деятельность.

Моя младшая сестра Лена с детства тяжело хворала. Еще ребенком, вернувшись с юга, она заболела системной волчанкой — тяжелым, непонятным современной медицине и неизлечимым недугом.

Чего только не предпринимали мама и отец! Обращения и к светилам науки, и к народной медицине не дали результатов — болезнь прогрессировала.

Во второй половине 60-х годов состояние ее серьезно ухудшилось. Лена уже не могла работать, с трудом ходила. Однако мужество и оптимизм позволяли ей возиться на даче с пчелами, цветами. Летом после очередного обострения Лену забрали в больницу. Болезнь вступила в новую грозную стадию — ей свело руки, она не могла ходить. Положение было очень тяжелым. Все московские светила: и академик Тареев, и профессор Смоленский, и профессор Насонова — давно наблюдали сестру, лечили ее, но улучшения не было. Они оказались бессильны.

Лева Петров — муж моей племянницы — проработавший несколько лет корреспондентом АПН в Канаде и уверовавший в западную медицину, предложил проделать анализы за границей — вдруг там существуют диагностика и лечение, о которых мы и не подозреваем. Лечащие врачи отнеслись к этой идее скептически, но не возражали. Они знали: положение безнадежное, а в такой ситуации принято давать родным полную свободу. Встал вопрос, как реализовать идею практически. Тут представился случай.

Повстречавшись в те дни со своими друзьями Володей Барабошкиным и Ревазом Гамкрелидзе, я в разговоре посетовал на возникшую проблему. Немного подумав, Реваз предложил:

— По-моему, выход есть. Сейчас в Москве гостит делегация американских математиков. Я поговорю с ними — может быть, кто-то из них возьмет на себя труд произвести анализ в одном из госпиталей в Америке.

И хотя мне совсем не хотелось связываться с иностранцами, я бы предпочел, чтобы эту миссию взял на себя кто-нибудь из своих, но выбирать не приходилось. Через несколько дней Гамкрелидзе принимал американских гостей у себя дома. Был приглашен и я. Там я познакомился с доктором Стоуном. «Этот человек может тебе помочь», — сказал Реваз.

Мы разговорились. Стоун, оказывается, был близок к покойному президенту Кеннеди, тепло отзывался об отце. Реваз уже рассказал ему о моих проблемах, и тот был готов не только взять на себя хлопоты с анализами, но вызвался разыскать и, более того, попробовать прислать в Москву врача, специалиста по коллагенозам. Так по-научному называлось заболевание моей сестры. Перед отъездом доктор Стоун забрал препараты для анализа и обещал вскоре позвонить.

Через пару недель он сообщил, что один из крупных американских специалистов в этой области (я забыл его фамилию) сейчас находится в Европе. Стоун договорился с ним, что в случае предоставления ему туристской визы он заедет в Москву. Вопрос надо было решать быстро, в течение одного-двух дней. Поездка американского медика по Европе подходила к концу. Из Вены он должен был направиться домой.

Честно говоря, до этого звонка я не принимал всерьез разговора о приезде иностранного врача, это не укладывалось в привычное восприятие советского гражданина, да и сообщение обрушилось на меня как снег на голову. Первым позывом было поблагодарить и отказаться, но я вспомнил, что это, может быть, последний шанс, и решился...

Но как мне организовать в своем положении визу вообще? Да еще за пару дней? Правильное решение пришло неожиданно — надо действовать через «верха». Единственный человек, который может помочь, — Андрей Андреевич Громыко. Я не сомневался в его порядочности, но не сбрасывал со счетов и его крайнюю осторожность.

Мы жили в одном доме. Тоже немаловажное обстоятельство, облегчающее возможность встречи. Набравшись смелости, вечером я позвонил ему домой и попросил разрешения зайти по очень важному делу.

Конечно, мой звонок удивил его, и вряд ли просьба о встрече его обрадовала, но внешне это никак не проявилось. Он спокойно и благожелательно, как будто мы переговаривались за эти годы не раз, предложил зайти прямо сейчас. Я спустился на этаж, где он жил. Громыко принял меня в холле своей большой квартиры. С ним была его жена, Лидия Дмитриевна.

Я коротко изложил суть дела. Андрей Андреевич хорошо знал нашу семью, был осведомлен о болезни сестры. Мою просьбу он воспринял положительно и проговорил своим густым напирающим на «о» голосом:

— Ну что же, это дело гуманное. Я постараюсь помочь. Позвони мне завтра.

Лидия Дмитриевна, постоянно оберегающая его от возможных неприятностей, вставила:

— Андрюша, сам ты этого вопроса решить не сможешь. Это надо согласовать.

Андрей Андреевич не отступился и повторил:

— Позвони мне завтра.

Он лучше всех знал, как это делается и что и с кем надо согласовывать.

Аудиенция закончилась.

Назавтра я позвонил ему в МИД. Я не ошибся в Громыко, в его лучших человеческих качествах — еще до моего звонка вопрос был решен положительно, и телеграмма о выдаче визы американскому профессору ушла в Вену.

Однако дело сорвалось. Врач, видимо, испугался поездки в незнакомую Москву. Как бы там ни было, от визы он отказался и отбыл из Вены домой. Обо всем доложили Громыко, и когда я дозвонился к нему со словами благодарности, он сказал, что готов помогать, если понадобится, в этом деле и в будущем.

Как мне рассказали впоследствии, Громыко по собственной инициативе дал телеграмму послу США А. Ф. Добрынину с просьбой оказать содействие, если к нему обратятся по поводу визы для американского врача. Он сделал много больше того, о чем я его просил.

Я позвонил Стоуну в США и рассказал о случившемся. Он не унывал. Заверил, что найдет новое решение.

— Я был в вашем посольстве, там обещали отнестись благоприятно. Это главное,— закончил он.

О телеграмме Громыко мы тогда не знали. Через несколько дней опять позвонил Стоун: нужный врач нашелся. У него большой опыт и знания. Долгое время он был личным врачом Джавахарлала Неру. К тому же он крупнейший в мире клиницист в области коллагенозов. Готов поехать в Советский Союз. Приедет с женой. У него умерла теща, жена очень переживает, и они будут рады сменить обстановку.

— Вопрос с визой улажен. В нашем посольстве мне сказали, что выдадут ее без задержки. В качестве гонорара тебе придется оплатить проезд и его пребывание в Москве, а также обеспечить культурную программу,— закончил Стоун.

Я с радостью согласился. Вопрос был решен. Формальности быстро уладились, и в конце октября я встречал в Шереметьеве невысокого худенького доктора Харвея и его супругу. В Москве было морозно, лежал снег. Разместились они в гостинице «Националь».

Неожиданно возникли осложнения с консилиумом — Тареев и Смоленский уклонялись от встречи с американцем, с большим трудом их удалось уговорить. После внимательного осмотра и оценки всех имеющихся результатов — наших и американских — профессор Харвей пришел к тому же заключению, что и советские врачи. С того момента отношения между ними заметно улучшились.

Американский специалист несколько приободрил нас, он считал, что положение не такое уж тяжелое, как можно было ожидать. Болезнь еще можно сдержать, более того — прожить до глубокой старости. К сожалению, она неизлечима, ее не умеют лечить ни в Америке, ни в Европе.

Лена не дожила до глубокой старости. Она умерла через четыре года. Ошибался профессор или успокаивал нас, следуя медицинской этике, сейчас уже не узнаешь.

После первого консилиума были назначены дополнительные анализы, а по получении их результатов — но-

вая встреча. Харвей попросил дополнительно прислать пробы крови сестры в его лабораторию в США — там есть возможность воспользоваться современнейшими приборами, тогда, возможно, будут получены новые результаты. Однако по выражению его лица было видно, что ничего нового он не ждет. Для него все было ясно.

Не скрою, я был несколько разочарован и обескуражен — столько хлопот, фантастических усилий, а чуда не произошло. Профессор лишь подтвердил то, что мы слышали раньше.

Культурная программа сложилась удачно. Гости посетили театры, музеи, Дворец съездов, Оружейную палату, дня на два съездили в Ленинград. Через канцелярию патриарха удалось организовать экскурсию в Загорск с показом сокровищ и парадным ужином.

Приставленная к ним Интуристом переводчица никак не могла понять, кто мы такие. Я и муж Лены — Витя — старались не оставлять гостей одних. Особое ее недоумение вызывало, когда мы время от времени увозили их куда-то. А ездили мы на консилиумы, видимо, эти поездки казались ей подозрительными.

Пребывание Харвеев в Москве подходило к концу. Отец, отдавая дань вежливости, пригласил их в гости. Посоветовавшись с Витей — отца мы об этом не спрашивали, — решили на дачу переводчицу не брать. Никаких особых соображений не было, просто не хотелось тащить в дом постороннего человека.

В тот день, придя утром в гостиницу, мы сказали переводчице, что забираем гостей на весь день и она свободна. Она обиделась, но мы не придали этому значения. В соответствии с намеченной программой сначала поехали в Архангельское, осмотрели дворец. Пообедали в местном ресторане. Только тут мы сообщили Харвеям, что неподалеку расположена дача Хрущева и он хотел бы повидаться с ними, если они не возражают. Предложение было с благодарностью принято.

По случаю приезда гостей отец переоделся в пиджак. Таким мы его давно не видели, обычно он ходил в домашней куртке. Встретил он гостей радушно. Видно было, что Харвей произвел на него благоприятное впечатление и ему было приятно принимать его в своем

доме. Мама пригласила всех к столу — к приезду гостей приготовились. Мы этого не учли, так что пришлось обедать во второй раз.

За столом речь шла не только о медицинских делах. Отец сначала поблагодарил Харвея за согласие приехать в Москву для консультации. Затем традиционно речь зашла о русской зиме. На дворе лежал глубокий снег. Как и следовало ожидать, дальше беседа перешла на советско-американские отношения. Отец вспомнил о своих визитах в США. С теплотой отозвался о стране и ее народе. Рассказал о встречах с президентом Эйзенхауэром. Беседа была непринужденной. По торжественному случаю отец позволил себе даже выпить с гостями рюмочку коньяка за дружбу между нашими народами.

У отца были две любимые рюмки — одна высокая узенькая граммов на пятнадцать, я ее помню еще по Киеву, а другая большая, солидная. Ею он любил похвастаться, так же как и немецким чайным стаканом с ручкой. Внутри она была заполнена стеклом, и для жидкости оставалось несколько миллиметров наверху. Издали рюмка выглядела налитой до краев. Эту рюмку ему подарила в один из приездов в гости к нам на дачу жена американского посла Джейн Томпсон, сказавшая, что господину Хрущеву часто приходится бывать на приемах. Эта рюмка очень удобна, когда приходится часто поднимать бокалы. Отец нередко пересказывал эту историю, демонстрировал рюмку. Не обошлось без этого и на сей раз.

После обеда все вышли на крыльцо, уже темнело. Харвей хотел воспользоваться последним светом уходящего дня и сделать снимки на память. Фотографировались мы и за столом.

Естественно, что в разговорах ни словом не упоминались мемуары. Харвей о них просто не знал, а отцу такое не могло прийти в голову. Уже затемно мы вернулись в гостиницу. Гости были чрезвычайно довольны приемом у бывшего премьера, просили передать самую сердечную благодарность.

Мы и не подозревали, какие тучи сгущаются над нашей головой.

Пребывание в Советском Союзе Харвеям пришлось по душе. Мадам пришла в себя, повеселела. Приближал-

ся праздник 7 ноября. С первых дней я уговаривал их задержаться на пару дней, посмотреть праздник, и они в конце концов не выдержали и решили перенести отлет с 6 на 8 ноября. Аэрофлот без хлопот переоформил билеты.

О том, что гости уезжают шестого, знали все. Перенос же отъезда прошел незамеченным. Да и кого это могло интересовать — днем раньше, днем позже. На деле же оказалось, что этим двум дням была уготована особая роль.

Билеты на Красную площадь для Харвеев достать не удалось, но я их успокоил — окна «Националя» выходят на улицу Горького, и мы увидим почти все, не выходя из номера. Я собирался принести портативный телевизор, по нему мы могли следить за событиями на Красной площади. В те времена далеко не во всех гостиничных номерах имелись телевизоры.

В гостиницу в день праздника нужно было попасть рано, до 7 часов утра, потом без пропусков было не пробиться. У меня с собой набралось много вещей: кроме телевизора еще два самовара, наши сувениры Харвеям и Стоуну. По случаю праздника все сидели по домам, занят был и Витя. Мне вызвался помочь приятель. В последний момент я захватил с собой и какую-то книгу, чтобы на случай, если гости спят, почитать в холле.

Харвеи нас уже ждали. Мы выпили кофе и стали рассматривать самовары, но в этот момент пришла дежурная и предупредила, что во время парада в номере находиться нельзя. Надо покинуть гостиницу и выйти на улицу. Объясняться она не стала, но мы особо не расстраивались — настроение было праздничное. Все отправились смотреть парад к крыльцу гостиницы. Простояли на холоде довольно долго и замерзли. После военного парада можно было вернуться в свои номера. Харвеи были очень довольны, оживленно обменивались впечатлениями, шутили. Мистер Харвей рассказывал о своих впечатлениях, предвкушал, какие интересные снимки из России он сможет показать своим друзьям дома. Чтобы согреться, заказали в номер бутылочку армянского коньяка, какую-то закуску. Включили телевизор. Было уютно и мирно. Вскоре предстояла последняя встреча доктора Харвея со своей пациенткой, последние советы.

Вечером наши гости собирались в Большой театр, а завтра — домой.

— Всем оставаться на своих местах!!! У нас есть сведения, что вы занимаетесь деятельностью, наносящей ущерб Советскому государству! Не двигаться!!! — услышали мы грубый окрик.

Через широко распахнувшиеся двери в номер влетели несколько мужчин. Их сопровождала женщина-администратор.

Старший предъявил удостоверение сотрудника КГБ на имя Евгения Михайловича Рассказова*.. Уже более спокойно он повторил:

— В связи с вашей антигосударственной деятельностью мы должны провести у вас обыск. Предъявите документы и оставайтесь на своих местах.

Ордера на обыск предъявлено не было. Я о такой необходимой формальности забыл, а Харвеи просто не знали, какие у нас правила. Подтверждались самые мрачные рассказы о порядке в Советской России — наверное, в этот момент они пожалели, что согласились на это путешествие.

Профессор пришел в себя раньше других и вежливо, но твердо потребовал, чтобы ему позволили связаться с посольством Соединенных Штатов. В просьбе было решительно отказано.

Нас поставили лицом к стене, обыскали. Вытащили из карманов все личные вещи, внимательно их осмотрели. Затем начали тщательный обыск гостиничного номера и багажа наших гостей.

Придя в себя, я поинтересовался, что же они ищут. Рассказов не удостоил меня ответом.

Переворошили кровати, чемоданы, перерыли все шкафы, тщательно исследовали унитаз, перелистали принесенную мной книгу. Заинтересовались и телевизором, хотели его разобрать. Я это делать отказался, а сами они не решились, удовлетворившись внимательным исследованием содержимого через решетку в корпусе. Решительности у незваных гостей поубавилось, а человек, шаривший в унитазе, зло бросил: «Нет, ничего. Опоздали. Успели передать».

* Здесь и далее фамилии и имена сотрудников изменены.

Зазвонил телефон — это могли звонить по поводу билетов в Большой театр или мама, с которой Харвеи вскоре должны были встретиться. «Не двигаться, трубку не снимать»,— рявкнул Рассказов. Сам он тоже к телефону не подошел.

Тут ожил мой приятель: «А это не то, что вы ищете?» — он показал на какую-то бумажку, торчавшую из замочной скважины в двери.

Рассказов свирепо посмотрел на него. «Я же не знаю, что вы ищете. Хотел помочь»,— оправдывался мой друг.

Наконец Рассказов соизволил ответить на мой вопрос.

— Этот человек — агент ЦРУ. Он занимается шпионской деятельностью,— многозначительно поведал он.

Самое интересное, что я поверил!.. Не до конца, но поверил...

Обыск закончился безрезультатно, если не считать отобранных у гостей фотопленок, которыми так дорожил доктор Харвей. Наши «посетители» чувствовали себя уже просто неуютно, тон резко изменился. Рассказов принес свои извинения. Сказал, что они только выполняли свой долг. Затем пригласил всех нас сесть к столу и начал что-то писать. Это оказалась короткая расписка, в которой говорилось, что мы, такие-то и такие-то, не имеем претензий к органам госбезопасности в связи с произведенным обыском.

Мы с приятелем были ошеломлены случившимся, счастливы, что все «благополучно» кончается, и согласно кивнули. Вслед за нами неохотно согласились и американцы. Правил игры в нашей стране они не знали.

Рассказов попросил меня переписать расписку своей рукой. Я механически подчинился. Все расписались. «Гости» удалились. Меня Рассказов потянул за собой в коридор:

— Вы понимаете, мы выполняли свой долг. Это опасные люди,— повторил он.

Я кивнул.

— Пленки, если на них нет ничего недозволенного, мы вернем им завтра утром проявленными, а вам я позвоню на днях,— голос его стал тверже.— Прошу вас не приглашать их ни под каким видом к себе домой. До свидания.

Я вернулся в номер. Приятель мой торопливо попрощался и ушел. Подавленные, мы уселись вокруг стола. Не знаю, кто из нас был расстроен больше. Я стал успокаивать Харвеев, плести, что-де у всех бывают ошибки. Службы должны выполнять свои задачи, но могут и ошибаться.

Видимо, мои слова звучали не очень убедительно. Да и вид оставлял желать лучшего. Харвей в свою очередь стал успокаивать меня:

— Господин Хрущев, я проработал несколько лет в Перу. Видел там и не такое. Вы не переживайте. Я понимаю, вы не хотели бы огласки, ручаюсь вам, я не буду дома делать никаких сообщений для прессы.

Огласки я действительно не хотел и благодарно улыбнулся. Постепенно мы успокоились, но Харвею не сиделось в номере.

— Мне противно прикасаться к этим вещам. Давайте уйдем отсюда. И ваша мать и сестра... Ужасно, что им надо прийти сюда. Давайте перенесем встречу к вам на квартиру,— попросил он.

Я помнил прощальные слова Евгения Михайловича: «Ни под каким видом...» Нарушить их я не смел ни под каким видом, а потому промямлил:

— У меня там не прибрано, и мама собиралась приехать сюда. Давайте не менять планы.

Он все понял, грустно улыбнулся одними глазами.

До приезда мамы мы просидели молча. Каждый думал о своем. Последние разговоры с мамой и Леной прошли скомканно, во всяком случае, мне так показалось. Мысли мои были заняты недавним происшествием. О «гостях» мы не говорили. Не рассказывал я о визите и потом, не желая зря волновать близких, неприятностей и так хватало. И отец, и мать, и сестра ушли из жизни, так и не узнав о происшедшем тогда.

Перед расставанием Харвей напомнил, что хорошо бы сделать в его лаборатории еще один анализ крови, и попросил переслать кровь с оказией.

Наутро мы с Витей провожали гостей. Пленки, как и обещал Рассказов, Харвеям утром вернули проявленными, испортив только одну. Хозяйственный и педантичный Витя тщательно запаковал самовары, чтобы они выдержали неблизкую дорогу.

Но не тут-то было.

На таможне чемоданы Харвеев вывернули буквально наизнанку. Их начали трясти в общем зале, потом увели куда-то, наверное, для обыска. В старом Шереметьевском аэропорту всю процедуру досмотра было хорошо видно через решетчатую загородку, разделяющую зал. Самовары нам вернули, сказав, что без сертификата Министерства культуры их не выпустят. Необходимо заключение о том, что они не представляют художественной ценности.

Издерганные и измученные, Харвеи наконец вздохнули с облегчением и, помахав нам на прощание, отправились к самолету. Для них «русское приключение» кончилось. Теперь дома они смогут все это в красках описывать друзьям, сравнивая полицейские приемы в Южной Америке с российскими. А у нас оставались еще незаконченные дела. Надо было найти способ передать Харвею кровь на анализ.

Сначала все казалось простым. В начале декабря в Вашингтон улетал Юлий Воронцов, бывший сокурсник Серго Микояна, а теперь заместитель советского посла в США Добрынина. Я с ним был в некоторой степени знаком. Воронцов охотно согласился выполнить мою просьбу. Тем более что он принимал участие в организации поездки Харвеев в Москву.

Неожиданно возникли осложнения. Жена Воронцова, Фаина, встревоженно и удивленно сказала мне буквально накануне отъезда:

— Небывалое дело! Нас специально собрали в МИДе и предупредили: ни у кого не брать передач в Штаты. Не знаю что и делать.

Правило, запрещающее перевозить посылки от третьих лиц, существовало всегда, но на него обычно смотрели сквозь пальцы. В чем тут дело, мне в отличие от Фаины стало понятно сразу — ведомство Рассказова ставило новый барьер. Имелись в виду не передачи от третьих лиц, а конкретно от меня, поскольку анализ крови мог быть только предлогом, а там...

Мне все же удалось убедить Воронцовых. Термос с кровью они взяли, и он попал по назначению.

Через несколько дней я созвонился с Харвеем. Он сказал, что ничего нового не нашел. Результаты анализа он выслал по почте. Больше наши пути не пересекались.

Результатов анализов я, конечно, не получил. Видимо, они хранятся в досье на меня.

В конце декабря я встретился с Евгением Михайловичем Рассказовым. Он еще раз предупредил меня, что и Стоун, и Харвей — матерые разведчики. Если я замечу что-либо подозрительное, то должен немедленно сообщить ему, для чего оставил свой телефон.

Версия, что хитрый Хрущев обманул всех, воспользовался болезнью Лены и доверчивостью окружающих с целью переправить мемуары за рубеж, долго еще имела хождение в определенных кругах. Был пущен слух, его отголоски возникают и по сей день, что за свой визит в качестве гонорара Харвей запросил с отца мемуары. Тот согласился. Правда, опубликованные на Западе (и на Востоке) книги содержат тексты, относящиеся к периоду уже после отъезда Харвеев, но это обстоятельство оказалось возможным не принимать во внимание.

Ноябрьские происшествия доставили много неприятностей не только нам, но и тем, кто помог пригласить Харвея, и совсем посторонним людям. Академика Гамкрелидзе перестали выпускать за рубеж, а Стоуна — пускать в Советский Союз. Только недавно эти запреты были сняты, и я с удовольствием прочитал в прессе, что на приеме у Михаила Сергеевича Горбачева в числе других американских ученых был и доктор Стоун. Времена переменились, и он перестал считаться «матерым агентом ЦРУ».

До меня дошла информация, что пострадали ни в чем не повинные люди в нашем посольстве в Вашингтоне, содействовавшие оформлению въездных документов Харвеев. Думаю, досталось и Андрею Андреевичу Громыко. Ведь это он санкционировал приглашение врача. Оправдаться перед ним мне не представилось возможности. И это меня очень огорчает.

Мои знакомые, в то время служившие в органах госбезопасности, были оттуда уволены, хотя ни о Стоуне, ни о Харвее они слыхом не слыхивали. Правда, их пристроили на неплохие места в другие ведомства.

Хочу принести всем этим людям мои запоздалые извинения.

Самовары по назначению так и не попали. Витя долго не мог получить сертификат, его мурыжили, гоняли из

кабинета в кабинет. При очередной встрече с Рассказовым я упомянул вскользь об отправке в Америку самоваров и Витиной одиссее. Реакция его была для меня неожиданной, он весь посерел и зло бросил: «И дались вам эти самовары. Что вы так рветесь отправить их своим американцам?»

Стало ясно, что уверенность, будто это не простые самовары, сохраняется. В Америку им не попасть. Чего уж боялись наши опекуны, я не догадался. Может быть, они подозревали, что в них упрятаны микропленки...

...В 1969 году мемуары стали осязаемы. Это были уже не отдельные листки или главы. У нас в руках была отредактированная мною рукопись объемом около 1000 машинописных страниц, охватывающая период от начала 30-х годов до смерти Сталина и ареста Берии. К ней примыкали описания отдельных эпизодов жизни отца: карибский кризис, XX съезд КПСС, женевская встреча, размышления о Генеральном штабе, о военных мемуарах, о взаимоотношениях с Китаем и некоторые другие. Все это умещалось в нескольких папках.

Летом 1969 года отец прочитал эти материалы, сделал замечания. Далеко не все ему понравилось, особенно литературная сторона.

Я решил найти профессионального писателя, который взялся бы за литературную обработку. Труд был большой, и далеко не каждый готов был за него взяться. Да и отец был не той фигурой — работа с ним не могла принести в те времена моральных или материальных дивидендов.

Я дружил с известным сценаристом Вадимом Васильевичем Труниным и как-то рассказал ему о возникших трудностях. Он предложил взять на себя литературную обработку, заметив, что, хотя это огромный труд и такая работа оплачивается очень дорого, сделает ее бесплатно. Выход был найден. Я отдал Вадиму выправленный мною экземпляр. Прочитав его, он попросил исходные тексты. Я дал. Мою редакционную деятельность Вадим разгромил в пух и прах. Сказал, что все придется переделывать заново.

Мне было немного обидно, ведь я положил на это столько сил и времени, но понимал, что с профессионалом тягаться трудно. Трунин приступил к работе. Я тоже

не забросил свою деятельность и продолжал править поступающие от Лоры страницы.

Когда я рассказал о своей договоренности с Труниным, отец несколько обеспокоился:

— Ты уверен, что он не агент? Как бы все, что попало к нему в руки, не исчезло.

Я заверил, что знаю Вадима давно — он честный, проверенный человек, мой друг, с симпатией относится к отцу. Отец успокоился, положившись на меня.

Замечу, что из нашей работы в те времена я не делал тайны, считая, что поскольку власти знают из подслушивания о диктовке, то нечего разводить конспирацию. С Лорой, которая к тому времени поменяла работу, мы регулярно перезванивались, обсуждая по телефону все рабочие вопросы.

В новом, 1970 году в жизни отца практически ничего не изменилось, казалось, о нем забыли. Наряду с другими привычными занятиями он продолжал диктовать. Правда, здоровье его несколько ухудшилось: он заметно ослабел. Владимир Григорьевич Беззубик, регулярно осматривавший отца, предупредил нас, что у него развился сильный склероз.

— Так можно прожить еще много лет,— произнес он стандартную успокаивающую фразу, за которой обычно следует грозное предупреждение,— а можно и умереть в любой момент. Медицина тут бессильна.

Отец к болезням не прислушивался, старался не обращать внимания на недомогания. С приходом весны он приступил к весенним хлопотам: наметил провести от дома вниз, на луг, водопровод, тем самым решив проблему полива огорода. Как и все свои дела, начал он эту работу увлеченно, отдался ей до конца. Целый день таскал трубы, обматывал их льном, мазал краской, свинчивал. Работа приносила ему радость. Шутил, как и прежде: «Моя слесарная профессия пригодилась. Вы так не сумеете. И чему вас учили?»

Мемуары с наступлением погожих дней были почти напрочь заброшены.

29 мая стояла июльская жара. Работалось тяжело, но пришла пора прополки и рыхления. Отец взял тяпку, пошел на огород, возился там до середины дня. Днем вернулся, обедать не стал, пожаловался, что плохо себя

чувствует, болит сердце. Походил по дому, надеясь, что боль пройдет. Не прошла. Вызвали врача. Владимир Григорьевич констатировал тяжелейший инфаркт. Отца немедленно отвезли в больницу на улице Грановского. Начались беспокойные дни неопределенного ожидания.

Владимир Григорьевич объяснил, что в больнице отцу пробыть придется долго, несколько месяцев, но критичны первые десять дней. Может случиться все, что угодно, и он может умереть в любую минуту. «Мы делаем все возможное»,— закончил он стандартной фразой. Несмотря на казенность, его слова подействовали на меня успокаивающе. Пользуясь своими правами главного врача больницы, он выписал мне пропуск, позволявший ежедневные посещения в любое время. Предупредил только, что отца нельзя волновать. Волнение может пагубно сказаться на течении болезни.

Каждый день, когда днем, когда вечером, я приходил к отцу и проводил у него час-полтора. Дни стояли жаркие, но в палате было прохладно — работал кондиционер. Старое здание, построенное еще в начале 30-х годов для лечсанупра Кремля, недавно капитально переоборудовали.

Отец лежал неподвижно на спине, читать ему не разрешали, и он предавался размышлениям. Я пытался развлечь его, рассказывал разные домашние новости, говорил о том, как идет работа над мемуарами, что делаю я, а что Трунин.

Рядом с кроватью стоял прибор, провода от него тянулись к больному, а на экране непрерывно рисовалась ломаная зеленая линия кардиограммы. В палате постоянно дежурила сестра — положение больного было тяжелым. Только когда я приходил, она ненадолго покидала палату.

Отец не любил, как он говорил, пустого времяпрепровождения. К нему он относил и мои визиты. Начинал притворно сердиться:

— Ну чего ты сюда ходишь? Тебе что, делать нечего? Тратишь свое время и мне мешаешь. Я здесь постоянно занят: то капельницу ставят, то укол делают, то врачи с осмотром приходят, то температуру меряют. Времени скучать не остается.

Но по выражению лица было видно, что приходы мои ему приятны. Навещали его, конечно, и мама, и сестры.

Время шло, дела пошли на поправку. Разговоров о смерти больше не возникало. Я помнил предупреждение Беззубика беречь отца от всякого волнения, и потому мои разговоры с ним были преисполнены оптимизма.

Между тем события снова стали приобретать мрачные тона. Видимо, началась новая стадия охоты за мемуарами, а может быть, она и не прекращалась после визита четы Харвеев.

Первые предупреждения прозвучали весной, когда отец еще был здоров. Поначалу я не отнесся к происходящему с надлежащей серьезностью. Слишком все походило на плохой кинофильм. О том, что не все ладно, я узнал в конце апреля.

В нашем отделе работал Володя Лисичкин — симпатичный, улыбчивый молодой человек. Влетевший в тот солнечный день в нашу комнату, Володя выглядел необычно растерянно. Оттащив меня в уголок, он без предисловий таинственным шепотом сообщил: «Ты знаешь, за тобой следят!!!»

Я не поверил. И хотя предыдущие события должны были приучить меня ничему не удивляться, подобное в голове не укладывалось. Следят за шпионами, уголовниками — они прячутся от закона. А чего следить за мной?

Мемуары? Без сомнения!

Володя продолжал:

— Ты час назад ехал по Ленинскому проспекту, там, в конце?

— Да.

— Вот видишь. Я спешил в редакцию на такси, надо было забрать рукопись с машинки. Водитель попался разговорчивый. Он и говорит: «Хочешь посмотреть, как следят за машиной? Вот эти две «Волги» ведут вон ту машину». Я посмотрел и обомлел — номера-то твои. Мы поехали следом, я все хорошо разглядел — одна машина тебя обгоняет, а другая отстает. Потом они меняются местами. Они за мемуарами охотятся? — со свойственным ему любопытством спросил он.

Все на работе знали, что свободное время я посвящаю редактированию записок отца. В вопросе Лисичкина ни-

чего крамольного не было. Я не ответил, только поблагодарил за предупреждение.

Если бы не Лисичкин, мне бы и в голову не пришло следить за кишащими вокруг меня на улице автомобилями. Все прошло бы незамеченным. Правда, мое знание ничего не изменило, прятать было нечего, бежать никто не собирался. Свое поведение я решил не изменять. Не надо показывать моим преследователям, что они раскрыты.

Кто это, сомнений не было — Евгений Михайлович Рассказов действовал.

Я решил удостовериться в слежке. Меня разбирало любопытство. Отнесся я к сообщению, скажем прямо, по-детски. Серьезность ситуации до меня не дошла. Было очень интересно, как следят. Смогу ли я сразу заметить? Как выделить преследователей из потока машин?

В голове прокручивались эпизоды из детективных фильмов. Перед глазами стоял мужественный, чуть ироничный, не теряющий головы Банионис и его преследователи из боевика «Мертвый сезон». С этим я и отправился на «охоту».

Поехал по Ленинскому проспекту, медленно, еще медленнее, не более сорока километров в час. Есть! Серая «Волга» с двумя антеннами держится сзади. При моей черепашьей скорости все меня обгоняют, а она тащится сзади, как приклеенная. Наконец не выдерживает, обгоняет и она. Запоминаю номер. Притормаживаю к обочине. Сзади голубая «Волга» с двумя антеннами, не спеша, сворачивает в переулок. Через минуту трогаюсь. Вперед почти не смотрю, только назад, в зеркало. Так и есть, знакомая «Волга» выползает из переулка.

Все это я продолжал воспринимать как игру. Ездить стал медленно и все искал, когда «она» появится. Чаще всего я опознавал наблюдателя, хотя часто под подозрением оставалось несколько машин.

Были и трюки с переодеванием. Как-то в мае я ехал в МВТУ на лекцию (я там преподаю уже 25 лет). Сзади подозрительная «Волга». Приглядываюсь — за рулем мужчина, рядом девушка в кофточке, гладко причесанная. Они или нет? Отрываюсь, сворачиваю налево, по Госпитальному мосту пересекаю Яузу и останавливаюсь на автостоянке возле училища. Вылезаю из машины, жду.

Никого. Вдруг мимо проносится знакомая машина. За рулем та же девушка, но в свитере, волосы распущены. Молодой человек рядом. Девушку я узнал — это они! Удовлетворив любопытство, я отправился на лекцию.

Отцу я решил ничего пока не рассказывать, не желая волновать его. Повлиять на события он не мог, а прерывать работу над воспоминаниями не представлялось разумным. Тем более что такой шаг говорил бы о нашем испуге.

События нарастали. На работе, видимо, произвели обыск. Заметил, что исчезла из ящика письменного стола снятая на даче кассета с кодаковской цветной пленкой. У нас в стране ее никто не брался проявить, и она валялась там уже почти год. Решил сделать вид, что ничего не заметил. Спокойно, без суеты, задвинул ящик, может быть, среди моих соседей был осведомитель. Такое совсем не исключено.

Вдруг приходит указание из дирекции — срочно проверить и доложить, не печатают ли машинистки на работе посторонние материалы. Видимо, решили устроить проверку в институте чужими руками для конспирации и не учли, что в нашем отделе она пойдет через его начальника, то есть через меня.

С чистым сердцем докладываю:

— Не печатают. Провел необходимую воспитательную работу.

Наши машинистки действительно ничего постороннего не печатали. Одна моя хорошая знакомая, машинистка по специальности, рассказала о начавшихся вокруг нее непонятных происшествиях. На днях она с полдороги вернулась домой, что-то забыла, а у двери копошатся незнакомые люди. Увидели ее и поспешно поднялись этажом выше. Стали звонить в верхнюю квартиру. Я ее успокоил — пустые страхи, тебе померещилось.

Самому все стало понятно. Проверяют, хотят удостовериться, нет ли в квартире мемуаров. Их там нет...

Настроение с каждым днем становилось все более скверным. Пока ничего не нашли, но искать они умеют. В нашем же случае даже особого профессионализма не требуется. Скоро доберутся и до Лоры. Ведь именно у нее хранится то, что они так упорно ищут. Лора тем временем заболела и попала в больницу. Там она, конечно, не

печатала. В конце июня я собрался ее навестить, чтобы заодно предупредить о происходящих событиях.

В тот день меня сопровождала голубая «Волга». Я заметил, как она остановилась у ограды больницы. Пассажиры остались в машине. Мы гуляли с Леонорой по парку, окружавшему старинное здание. Рассказал ей о происходящих событиях, стараясь не испугать ее. В заключение показал и машину, стоявшую за оградой.

— А я знаю эту машину,— вдруг перебила меня Леонора.— Я ее уже тут видела. Пару дней тому назад мы играли в настольный теннис. Вокруг были все свои. Поэтому я сразу заметила какого-то худощавого высокого мужчину в сером макинтоше и шляпе с большими полями. Какой-то он был странный, прямо как детектив из кино. Он тут покрутился, чего-то долго смотрел на нас, а потом быстренько исчез. Раньше я тут таких типов не видела. Я тогда бросила играть и подбежала к забору. Смотрю, а там в голубенькой «Волге» сидит эта личность в шляпе и макинтоше. Он тут же уехал. Точно, это та же машина,— перепугалась Лора.

Я решил ее успокоить:

— Ничего страшного. Поездят, поездят и перестанут. Ничего предосудительного мы не делаем. Если они хотят выяснить, кто печатает мемуары, пусть выясняют. В этом-то никакого секрета нет. Если бы вместо этого дурацкого детектива меня просто спросили, я бы им прямо ответил. Что скрывать?

На этом мы расстались. Сам я не был так спокоен, как хотел казаться. Что-то готовилось. Но что? Одно ясно — о Леоноре они уже знают.

Через несколько дней после моего визита к Леоноре мне в очередной раз позвонил Евгений Михайлович Рассказов. Он вежливо попросил о встрече, мол, надо выяснить кое-какие детали. Я не имел ничего против и легко согласился.

— Удобнее это сделать не у нас,— сказал Евгений Михайлович, имея в виду здание на площади Дзержинского.— Если вы не возражаете, мы будем вас ждать в гостинице «Москва».

Он назвал этаж и номер. В таком варианте на встречу я шел впервые. Мне было любопытно и несколько жутковато. Поднялся на этаж, дежурная указала нужную дверь,

номер ничем не отличался от других виденных мною люксов в этой гостинице: спальня и гостиная.

С Рассказовым был еще один человек. Он представился Владимиром Васильевичем. Во время разговора внимательно следил за каждым моим движением. Вопросы оказались будничными. Было видно, что ответы не очень интересовали моих собеседников. Всего я не запомнил, но кое-что показалось мне заслуживающим внимания.

— Нет ли у вас новых сведений о Стоуне и Харвее? Не поддерживаете ли вы связи с Харвеем?— начал спрашивать Евгений Михайлович.

Скрывать я ничего не собирался.

— От Стоуна известий не было. Думаю, у него хватает дел и без меня. А Харвею мы, как и договаривались с ним в Москве, послали на анализ кровь сестры. Пытался созвониться с ним — почти ничего не слышно, расслышал только, что результаты анализа он пошлет по почте. Однако никакого ответа я не получил. Нас это очень беспокоит. Речь идет о здоровье Лены.

Евгений Михайлович посочувствовал мне, но помощи не предложил.

— Скажите, Сергей Никитич,— спросил вдруг его коллега,— вы знаете человека по фамилии Армитаж? Он с вами не встречался?

— Человека с такой фамилией я когда-то встречал, не могу, конечно, сказать, что это тот, кто вас интересует. Одиннадцать лет назад, когда я сопровождал отца во время его визита в США, представитель госдепартамента США Армитаж ездил со мной в Нью-Йорке в Бруклин. Там жил коллекционер бабочек, с которым я очень хотел повидаться. Бабочки — мое хобби,— пояснил я.— С тех пор я его не видел и ничего о нем не слышал.

Я был удивлен. Причем тут это? Надо сказать, что вопрос об Армитаже мне задавали и позже. Не знаю, чем он мог так заинтересовать моих собеседников в связи со мной. Даже если он из соответствующих служб, а в этом не было бы ничего необычного, со мной он общался только в рамках протокола. Правда, в старые времена и такой «связи» хватило бы за глаза. Как бы то ни было, Армитажа после 1959 года я не встречал.

— Он сейчас работает в Москве, в посольстве, — продолжал мой собеседник.— Матерый разведчик, как и

Стоун. Оба — активные агенты ЦРУ. Если вдруг он на вас выйдет, сообщите нам немедленно.

Я согласился.

— Журналисты вами не интересовались? — осведомился Рассказов.

— Нет.

— Будут интересоваться — сообщите нам.

— Хорошо.

Вот, собственно, и весь разговор.

Только на прощание был задан главный вопрос, как бы походя, между прочим.

— Кстати, как идет у Никиты Сергеевича работа над мемуарами? — спросил Евгений Михайлович, а его спутник впился в меня взглядом.

— Спасибо, ничего. Сейчас он болен, в больнице, так что какая там работа.

На этом мы расстались.

Прошло около двух недель. 11 июля 1970 года в субботу, мы с женой собирались в гости. День близился к вечеру, когда раздался телефонный звонок.

— Сергей Никитич, здравствуйте. С вами говорит Евгений Михайлович. Нам очень срочно нужно с вами переговорить. Не могли бы вы с нами встретиться?

Сегодня встреча мне была вовсе не ко времени. Да и совсем недавно мы говорили, по сути дела, ни о чем.

— Евгений Михайлович, сегодня выходной. Вы меня застали случайно, я ухожу в гости. Давайте встретимся на следующей неделе.

— Нет, нет, — заторопился он, — дело чрезвычайной важности. Произошли некоторые события, я не могу говорить по телефону. Я вас очень прошу.

— Хорошо, — сдался я, — сейчас подъеду.

— Спасибо, — обрадовался Рассказов, — проходите прямо ко входу. Вас там встретят.

Действительно, у огромной металлической с причудливым литьем двери массивного, известного всем советским людям здания на Лубянке меня ждал недавний собеседник из гостиницы «Москва». Он провел меня мимо всех постов на нужный этаж. Зашли в небольшой кабинет Евгения Михайловича. Тут я уже бывал после истории с Харвеями.

Рассказов поднялся из-за стола. На лице расплылось

само радушие. Поздоровались, сели. Мой провожатый устроился напротив меня. Все эти приемы уже стали знакомыми. Евгений Михайлович затянул старую песню. Обо всем этом мы подробно поговорили несколько дней назад. Опять о Стоуне, об Армитаже. Как здоровье Никиты Сергеевича? Спросил что-то о мемуарах.

Я недоумевал: что ж тут срочного? Что случилось? Что им, делать нечего? Вслух я этого, понятно, не говорил, безмятежно отвечая на вопросы, и ждал, что же будет дальше.

— Сергей Никитич, с вами хотел поговорить наш начальник. Вы не возражаете?

— Нет, что вы. А кто?

— Заместитель начальника управления.

Мы вышли из кабинета. Поднялись по лестнице на несколько этажей. Постучавшись в плотно закрытую дверь, Евгений Михайлович пропустил меня вперед. Этот кабинет был побольше, но тоже невелик. Справа у окна письменный стол, слева вдоль стены длинный орехового дерева с серединой, затянутой зеленым сукном, стол для заседаний — типичный сталинский стиль.

Из-за стола поднялся худощавый человек лет 45—50, на вид интеллигентный.

— Здравствуйте, меня зовут Виктор Николаевич. Прошу.

Мы сели у длинного стола. Третьим теперь был Евгений Михайлович. Опять начался «светский» разговор о жизни, о работе. Тут я вставил, что два года назад меня помимо моего желания перевели из ОКБ в институт.

— А как вам работается на новом месте? — поинтересовался хозяин кабинета. Чувствовалось, что он знает обо мне все, да и перевод мой, видимо, произошел не без его участия.

К тому времени в институте я уже огляделся. Работа мне нравилась, люди тоже. Поэтому я ответил, что претензий у меня нет, а в некотором смысле я даже доволен переменой места работы. Уточнять не стал. Мой ответ его устраивал — труднее найти взаимопонимание с недовольным, озлобленным человеком.

Наконец он перешел к главному:

— Скажите, Сергей Никитич, где в настоящее время хранятся мемуары Никиты Сергеевича?

Я насторожился — началось. Еще раньше, продумывая варианты поведения, я решил не врать. Запутаешься — хуже будет. Да и роль наивного, недалекого простака больше подходила к моей физиономии. А главное — скрывать мне было нечего.

— Часть мемуаров хранится у меня, часть — на даче в сейфе у Никиты Сергеевича.

— Вы знаете,— Виктор Николаевич понизил голос, напустив на себя таинственный вид,— к нам поступили сведения, что материалы у вас хотят похитить агенты иностранных разведок. Как они у вас хранятся?

Все стало ясно. Меня поразила примитивность аргументации.

— Я их храню в закрытом книжном шкафу. Но это, конечно, не главное. Я живу в доме, где проживают члены Политбюро. Дом тщательно охраняется КГБ. Есть пост у входа, и часовой ходит вокруг дома. Проникнуть в дом, чтобы похитить у меня материалы, иностранным агентам будет так же трудно, как и в это ваше здание,— позволил я себе пошутить.

— Ну-у, знаете, для профессионалов не существует ни охраны, ни замков. И мой сейф не гарантирован на сто процентов...

Дальше он продолжал официальным голосом, сказав, что, поскольку эти мемуары имеют большое государственное значение, в Центральном Комитете принято решение по выздоровлении Никиты Сергеевича выделить ему в помощь секретаря и машинистку для продолжения работы.

Затем от имени Центрального Комитета попросил сдать им хранящиеся у меня материалы, мотивируя это тем, что органы государственной безопасности — это правая рука Центрального Комитета, что об этом не раз говорил и отец. Все, что они делают, делается исключительно с санкции ЦК, по его поручению. В КГБ материалы будут в большей безопасности, и можно быть уверенным, что они не попадут в руки иностранных разведок.

— Я говорю с вами совершенно официально как представитель органа Центрального Комитета. Все материалы в целости и сохранности по описи будут возвраще-

ны вашему отцу для продолжения работы,— заключил мой собеседник.

Я лихорадочно соображал, что предпринять в этой обстановке, а потом, помявшись, ответил, что он ставит меня в трудное положение, поскольку Никита Сергеевич сейчас в больнице. Посоветоваться с ним я не могу, врачи категорически запретили его волновать. Мемуары — это его собственность, и отдать их без его разрешения я не могу.

Но, очевидно, весь расчет и строился на том, что я не побегу к больному отцу, а уж со мной-то они справятся. Виктор Николаевич твердо заявил, что он понимает мои затруднения, но ведь речь не идет о сдаче. Имеется в виду передача материалов на временное хранение до выздоровления отца.

В ответ я повторил, что не имею права распоряжаться материалами. Но уж если это решение ЦК и делу придается такое значение, то, во всяком случае, я прошу устроить мне встречу с Юрием Владимировичем Андроповым. Хотелось бы услышать о гарантиях лично от него. Тем более мы с ним хорошо знакомы. Я добавил, что всегда с большим уважением относился к Андропову, ценил его как мудрого и интеллигентного человека, а потому уверен, что он свое слово не нарушит.

Как оказалось, такая просьба не застала врасплох Виктора Николаевича.

— Встретиться с Юрием Владимировичем нет никакой возможности. Он в отъезде. Уехал на встречу с избирателями, — пожал он плечами.

Я молча кивнул. Они оба выжидающе смотрели на меня.

Конечно, думал я, словам Виктора Николаевича верить нельзя, но и отмахнуться от них невозможно. Допустим, я откажусь, и, самое невероятное, они отступятся. Так ведь мне эта публика знакома — материалы в любой момент могут быть похищены «иностранной разведкой». И уж тогда у меня не будет никаких концов. Да еще и меня же в этом обвинят...

С другой стороны, предложение о помощи ЦК заманчиво... Мы с отцом такой вариант не раз обсуждали... И с Кириленко он об этом говорил... И все же не могу я без разрешения отца принимать подобное решение. Брать на

себя такую ответственность!.. Ведь отец отказал Кириленко... Впрочем, тогда ведь речь шла о запрете, а сейчас... Но кто даст гарантии?..

Затянувшееся молчание прервал Евгений Михайлович:

— Что же вы молчите?—угрюмо спросил он.

— Да вот раздумываю, как мне поступить...

— У вас нет другого выхода!—вырвалось у него.

Виктор Николаевич посмотрел на своего помощника с укоризной. Я улыбнулся.

— Ну... другой выход у меня пока что все-таки есть,— я показал на дверь.

Виктор Николаевич забеспокоился:

— Сергей Никитич, решение за вами. Мы вас просто предупреждаем о создавшейся ситуации и возможных последствиях.

Вид у обоих был очень обеспокоенный...

Виктор Николаевич сменил тему разговора, заговорил о Соединенных Штатах, где он проработал много лет, и лишь недавно вернулся домой. Он стал рассказывать о своих впечатлениях. Они сводились к тому, что жить в Америке хуже, чем в Советском Союзе. И еда менее вкусная — все мороженное. Я механически кивнул — голова была занята другим.

Если не отдать сейчас материалы, прикидывал я возможные последствия, они не успокоятся, будут искать, и один бог знает, чем это кончится. Работать не дадут. Леонору они, понятно, знают. Найти другую машинистку едва ли удастся — уж они постараются. Если отдать, они, скорее всего, больше искать не будут. Можно будет переждать какое-то время и вернуться к работе. И, пожалуй, пора дать сигнал к опубликованию... Поговорить бы с отцом... Но нет, нужно на что-то решаться. Если я отдам материалы, они будут довольны — победили. И сразу доложат. А уж отцу я как-нибудь все объясню. Словом, после подобных размышлений я решился на этот непростой шаг, и мне вдруг стало легче.

— Хорошо,—сказал я.—Я подумал. Если уж за материалами действительно охотятся иностранные разведки, пусть они пока полежат у вас. Раз вы говорите, что так надежнее.

Тут я вспомнил, что надо будет сейчас ехать за папка-

ми и пленками домой, а там меня ждет жена, чтобы идти в гости. Придется объясняться, чего мне никак не хотелось.

Я наивно попросил перенести передачу материалов на завтра, на что, естественно, получил категорическую ссылку на чудовищные происки врагов, которые только и ждут сегодняшней ночи, чтобы наконец-то реализовать свои черные замыслы. Делать было нечего. Я согласился, сославшись, впрочем, на непредвиденное в такой ситуации обстоятельство — часть материалов находится у машинистки Леоноры Никифоровны Финогеновой.

Мне было спокойно сказано, что эти материалы в распоряжении моих гостеприимных хозяев — они накоротке к ней заехали и попросили их сдать.

— Это нечестно, — вырвалось у меня, — вы не имели права. Вы должны были действовать только через меня.

Виктор Николаевич постарался сгладить допущенную неловкость, сказав, что он понимает мое возмущение, но время не ждет. Дорога́ каждая минута. Существует компетентная информация о том, что иностранная разведка может вот-вот похитить этот материал.

Последний довод окончательно «убедил» меня, и я, начав «сотрудничать», заявил, что еще часть материалов находится на литературной обработке у моего приятеля, кинодраматурга Вадима Трунина.

О Трунине они, как оказалось, не знали! Правда, за последние месяцы мы с ним редко встречались.

Мои собеседники забеспокоились.

— А где он живет? — последовал вопрос.

Трунин снимал квартиры то в одном месте, то в другом, а недавно снова поменял адрес. Устроился он где-то на Варшавском шоссе. Я знал только номер телефона. Евгений Михайлович записал его и вышел из кабинета. Через несколько минут он вернулся и сообщил, что Трунина нет в Москве, а вернется он на будущей неделе. Затем меня спросили, давно ли я отдал ему материалы?

— Осенью 1969 года.

Кивнув и подумав, Виктор Николаевич предложил установить охрану у дома товарища Трунина. И как

только он вернется, я должен буду забрать у него материалы и передать их под охрану моим собеседникам.

Я согласился.

Оставалась последняя операция — сдать мои материалы и получить расписку.

— С вами поедет Евгений Михайлович, — решил Виктор Николаевич.

Через десять минут мы были у моего дома. Я поднялся на шестой этаж и, стараясь не шуметь, незаметно прошел в комнату: не хотелось объяснять все жене. Открыл шкаф, и сердце сжалось от горечи — сколько души, сил и времени вложено в эти папки. Смертельно не хотелось их отдавать. Но... давши слово — держись... Набрались две большие сумки с папками и магнитофонными катушками.

Когда мы вернулись к Виктору Николаевичу, у него на столе уже лежали материалы, изъятые у Финогеновой. И тут среди больших магнитофонных бобин с воспоминаниями отца я заметил еще одну, поменьше. О ней я совсем забыл...

Примерно год назад по своим черновым записям я надиктовал на магнитофон рассказ о событиях, происходивших в октябре 1964 года, свидетелем которых мне случайно довелось стать: на столе перед Виктором Николаевичем лежала эта самая пленка. Я заволновался, как я мог забыть! Я был уверен, что содержание мемуаров отца не может вызвать отрицательной реакции властей. Ведь его рассказ был о «делах давно минувших дней», и современные руководители там не упоминались даже мельком. С моей пленкой все обстояло иначе: я говорил о событиях, происшедших совсем недавно, в октябре 1964 года. У меня вовсю фигурировало нынешнее высшее руководство. Мало того, в заключение приводился казавшийся мне очевидным вывод, что все происшедшее не имеет никакого отношения к принципиальной политике партии, представляет собой просто «дворцовый переворот».

В тот момент я наивно считал, что пленки отца будут распечатаны и внимательно изучены если не в ЦК, то в КГБ как минимум. А тогда и моей пленке не избежать чужих ушей. Я лихорадочно соображал: что же делать? Оставалось надеяться на чудо...

Я сделал, правда, безнадежную попытку забрать свою пленку, объявив, что эта маленькая бобина попала не по адресу. Тут записаны мои заметки, я прошу вернуть ее мне и даже протянул руку к коробке.

Но возвращать мне никто ничего не собирался. Мало того, своей оплошностью я невольно привлек внимание к этой катушке. В результате моей собственной глупости изо всей массы материалов изученной оказалась только моя пленка. В этом я позднее убедился...

Втроем мы рассортировали материалы, отдельно сложив отредактированный текст, отдельно черновики, катушки с пленкой, пронумерованные мной по хронологии записей. Подсчитали общее количество страниц и катушек с пленкой.

— Напишите расписку, давайте ее подпишем и разойдемся, — устало попросил я.

— Нет, нет,— возразил Евгений Михайлович, — напишите ее сами, своей рукой.

Я согласился и предложил примерно такую формулировку: «В целях обеспечения сохранности и во избежание захвата иностранными разведками органы государственной безопасности обратились ко мне с требованием передать им мемуары моего отца, Хрущева Никиты Сергеевича...»

Однако моя редакция не устроила Евгения Михайловича, предложившего собственную. Вот как она выглядела в окончательном виде:

«Хрущевым Сергеем Никитичем 11.7.70 г. по просьбе представителей госбезопасности, в целях обеспечения сохранности и безопасности, переданы на хранение магнитофонные пленки и текст, содержащий мемуарные материалы Хрущева Никиты Сергеевича. Материалы переданы лично Попову Виктору Николаевичу и Рассказову Евгению Михайловичу. Магнитофонные пленки на бобинах диаметром 13 см — 18 штук, на бобинах диаметром 18 см — 10 штук, печатные материалы в 16 папках общим объемом в 2810 страниц. Кроме того, в КГБ переданы Финогеновой Леонорой Никифоровной, работающей по моей просьбе над мемуарными материалами, 6 больших бобин с продиктованным текстом и 929 страниц печатных материалов. Часть отпечатанных материалов в количестве 10 папок, примерно полтора экземпляра мемуа-

ров, мною были переданы осенью 1969 года для литературной обработки писателю Трунину Вадиму Васильевичу, которые по его возвращении в Москву также будут сданы на хранение в КГБ. Кроме вышеуказанных лиц, материалы никому не передавались. Все перечисленные материалы будут возвращены автору по его выздоровлении. 11 июля 1970 г.».

Подписи: В. Попов, Е. Рассказов, С. Хрущев.

Попов вызвал секретаря, поручил отпечатать расписку. Дожидаясь, когда она будет готова, мы пили кофе, разговаривали на общие темы. Виктор Николаевич не мог скрыть удовлетворения от удачного завершения операции, но особенно откровенно радовался Евгений Михайлович.

Поговорили о мемуарах, сошлись на том, что они представляют большой исторический и политический интерес. Виктор Николаевич еще раз подчеркнул, что КГБ действует только по указаниям ЦК и все их действия полностью согласованы с Центральным Комитетом. Он снова вернулся к тезису, что и сам Никита Сергеевич, говоря о Комитете госбезопасности, подчеркивал, что это правая рука ЦК. Потом перешли на разговоры о США. Виктор Николаевич снова пожаловался, что продукты в США менее вкусны, чем в Советском Союзе. И, вообще, работать там тяжело: все время слежка, вся жизнь в напряжении.

— Ничего, слежка — это не так страшно. Надо только привыкнуть. Сколько времени вы за мной следили, и ничего со мной не случилось,— подначил я.

На лицах моих собеседников отразилось беспокойство:

— Нет, что вы! Мы за вами никогда не следили. Это вам показалось.

— Ну не будем обострять вопрос. Пусть каждый останется при своем мнении,— я не стал спорить.

Время шло. Текст все еще печатали. И тут я затронул «больную» тему. Незадолго до нашей встречи попросил политического убежища у американских властей капитан госбезопасности Носенко, сын бывшего министра судостроительной промышленности. Шуму было много. Вот я и полюбопытствовал, как же это могло произойти и что он сейчас делает.

Виктор Николаевич насупился и заявил, что Носенко — растленный тип. Он нарушал законы в личных целях, считая, что как работнику органов ему все сойдет с рук. Вот и докатился до измены.

Я поддержал его, согласившись, что предательство нельзя оправдать. Но и нарушение законов в государственных интересах путь очень скользкий. Не знаешь, где остановишься.

Тут почему-то мои хозяева не ответили мне взаимностью — мое замечание повисло в воздухе. Разговор зачах. К счастью, подоспел печатный текст расписки. Мы вторично расписались. Затем меня проводили до дверей, и мы расстались...

Заехав за женой, я отправился в гости. Мы, конечно, безнадежно опоздали, поскольку визит к Виктору Николаевичу занял несколько часов. В гостях мне было не до веселья. Я снова и снова проигрывал в уме происшедшее. Казалось бы, теперь они могут успокоиться...

Но как сложилась ситуация с Лорой Финогеновой? За себя я не беспокоился, но кто знает, как они действовали с ней? Я очень волновался. А кроме того, меня мучил главный вопрос: «Что делать дальше?». Тут, увы, посоветовать мне не мог никто. Отец в больнице, и разговор с ним исключался. Предстояло решать самому.

Итак: давать ли санкцию на подготовку книги к печати или повременить? Ясно, что опубликование книги вызовет большой шум. Правда, еще два года назад мы обсудили с отцом все детали. Но наступил ли именно сейчас критический момент? А с другой стороны, публикация покажет всему миру, что мемуары существуют и, значит, они будут жить.

Несомненно, это вызовет переполох среди моих новых «друзей». Они-то, бедолаги, уверены в полной победе, а тут такой конфуз...

Словом, промучившись в гостях, а потом и полночи дома, я решил, что происшедшее нужно считать критическим моментом и, следовательно, не ожидая дальнейшего развития событий, незамедлительно приступить к подготовке публикации книги на Западе. Было ясно, что ждать больше нечего. Ситуация к лучшему не изменится. Конечно, положение у меня было щекотливым: приходилось решать за автора, но отец выйдет из больницы

только в конце лета, а то и осенью. Время будет безвозвратно упущено. Кто знает, что еще придумают Попов с Рассказовым.

Короче говоря, сказано — сделано: в западное издательство ушел условленный сигнал.

Вскоре я получил информацию: первый том выйдет в конце года или в начале следующего. Со вторым, сообщили мне, работы гораздо больше, а потому для подготовки его в печать потребуется несколько лет. Впрочем, в тот момент вторая книга меня не интересовала: важно было начать.

Объявить о книге решили в октябре, а первые журнальные публикации предполагались в ноябре. По срокам все складывалось удачно: отца я так или иначе успею предупредить.

В отношении решения отца к публикации я не сомневался: ведь эту возможность мы обсуждали много раз, и сейчас я действовал строго в соответствии с заранее разработанной нами схемой. Но вот его реакция на то, что я сдал материалы, честно говоря, не давала мне покоя, хотя с позиций логики я поступил правильно. Тем не менее меня не оставляло чувство, что этически мой поступок выглядел не лучшим образом. Ведь отец не отдал мемуары Кириленко...

Эти мысли не оставляли меня. И, должен признаться, мучают они меня и по сей день — через два десятка лет после происшедших событий...

О чем я думал тогда?

Отец прошел революцию, гражданскую и Отечественную войны, ленинский, сталинский и послесталинский периоды развития нашего государства. Ошибки его сейчас не имели значения — всю свою долгую активную жизнь он посвятил общему делу. Теперь, на пенсии, в своих воспоминаниях он пытается воскресить историю, осмыслить прожитое, предостеречь от возможных ошибок тех, кто пришел на смену. Все это необходимо обществу, ведь без знания прошлого невозможно отчетливо разглядеть будущее.

И вот парадокс. Мало того, что, оказывается, опыт, история никому не нужны и по сей день — за мемуарами гоняются как за подрывной литературой, нас низводят на положение едва ли не преступников, а сами воспомина-

ния зачислили в разряд нелегальщины, издаваемой за границей.

Мемуары отца — в высшей степени партийный документ, в чем сомнений быть не может. В чем же дело? Так я и не нашел в то время вразумительного ответа на этот простой вопрос...

На следующий день после встречи с Виктором Николаевичем мне удалось разыскать Леонору. Как выяснилось, с ней обращались далеко не так вежливо, как со мной.

Наблюдение за ней велось уже долго. Несколько последних недель какие-то подозрительные типы бродили вокруг ее дома, выясняли что-то у соседей. Мой визит к ней в больницу только добавил преследователям уверенности. По словам соседей, таинственных посетителей очень интересовало, что у нее за магнитофон? Откуда? Что она печатает? Пытались они завести знакомство и с самой Леонорой, но из этого ничего не получилось.

Однажды, когда она уехала в командировку, кто-то попытался проникнуть в ее квартиру. Но непрошеных визитеров постигла неудача — мать Леоноры болела и сидела дома. Тогда, очевидно, решили применить испытанный прием. Леонору вызвали в отдел кадров (к тому времени она перешла на работу в наш институт) и попросили заполнить длиннющую анкету, намекнув при этом, что ей хотят поручить интересную, но строго секретную работу. Таким образом, ее удалили из дома по крайней мере на несколько часов. Больную мать срочно пригласили на обследование в больницу.

Как утверждала Леонора, в квартире побывали «неизвестные». Времени на тщательный обыск было достаточно, правда, и без него все сразу стало ясно: в шкафу лежали машинописные страницы с текстом мемуаров, здесь же были и магнитофонные пленки с записью голоса отца.

Задание, видимо, было выполнено с честью — «заговорщики» в нашем лице обнаружены.

В тот день, по словам Лоры, исчезли только два листа использованной копирки. Понятно, что «гости» старались не оставлять следов. Однако наблюдательная Леонора заметила, поскольку была готова к подобному.

11 июля утром Леонора шла домой. Возле дома ее ждали. Подошли трое, предъявили документы. Особенно не церемонясь, усадили в стоявшую неподалеку от дома «Волгу». Двое сели по бокам, третий — рядом с шофером. Ее привезли на Лубянку и сразу — на допрос. Первый, беглый, судя по всему, ознакомительный. Леонора ничего не скрывала: «Да, печатала мемуары Хрущева. Разве это запрещается? Что тут противозаконного?»

Потом все вместе поехали к ней домой. Устроили тщательный обыск, впрочем, не предъявив ордера и не пригласив понятых. Забрали и магнитофонные пленки, и напечатанные страницы. Протокола обыска никто не составлял. И тут же вернулись обратно в КГБ, теперь уже к Попову и Рассказову.

Допрос Леоноры вел Рассказов. Он не считал нужным сдерживаться, сразу заявив, что она, очевидно, не понимает, что участвует в заговоре против Советского государства, и ей это так просто не обойдется. Она, сказали ей, должна была немедленно прийти и доложить, что ей предложили печатать антисоветские материалы! А вместо этого она позволила втянуть себя в антисоветскую деятельность.

Вот какой букет обвинений обрушили на голову бедной женщины! Через пятнадцать лет после XX съезда КПСС ее обвинили в антисоветской деятельности только за то, что она печатала воспоминания бывшего Первого секретаря ЦК КПСС! Чудны дела твои, Господи...

В результате этого «свидания» у Леоноры был нервный шок, и еще долго она не могла успокоиться.

Через несколько дней в Москву вернулся последний из действующих лиц — Вадим Трунин. О его приезде мне сообщили из ...КГБ. Я позвонил к нему утром, поднял с постели. О происшедших событиях сообщать не стал, только условился, что заеду. Он жил в районе Варшавского шоссе, в пустовавшей квартире своего друга, кинорежиссера Андрея Смирнова.

Приехав, я рассказал ему о событиях последних дней и в заключение сказал, что заберу папки, поскольку обещал сдать их на хранение в КГБ. Я был вынужден повторить объяснения Виктора Николаевича: мера временная, после выздоровления отца все отдадут, и мы

вернемся к прерванной работе. Своим словам я не очень верил, а Вадим только скептически хмыкнул, мол, жди, чтобы они тебе отдали.

— Впрочем, материалы твои, хочешь — забирай,— он не стал ни спорить, ни отговаривать меня.

Собрали папки, и я отвез их Рассказову. Отдельной расписки за них я не получил — он сослался, что эти материалы упоминаются в предыдущей. Правда, там не указывалось количество страниц. Настаивать я не стал, ведь это были копии. Хотелось со всем этим кошмаром поскорее покончить.

Но оставался еще вопрос о моей пленке.

Евгений Михайлович извинился, сказав, что у него очень много работы и ее еще не прослушали. Он попросил меня подождать, обещав, что вернут ее в ближайшее время.

— Что ж вы столько тянете? — рассердился я. — Сделайте копию и слушайте сколько хотите. Снять копию несложно.

Эта тема явно заинтересовала Рассказова, и он спросил меня, насколько легко снимается копия с магнитофонных пленок.

Я понимал, что он неспроста интересуется моими знаниями в этой области, и ответил, что дело это нехитрое. Надо только иметь два магнитофона и время. Понятно, что на копирование уходит столько же времени, сколько на запись. Другими словами, для снятия копии с пленок отца мне понадобилось бы около 200 часов. В условиях прессинга и неослабного наблюдения я этого незаметно сделать не мог. Я сильно надеялся, что Рассказов сделает именно этот вывод.

Тогда он полюбопытствовал, не мог ли снять копию кто-либо из домашних?

— Исключается,— категорически ответил я.

Наконец Рассказов осведомился, не мог ли снять копию Никита Сергеевич.

— Не знаю,— я пожал плечами. — Это его дело. Я таких вопросов ему никогда не задавал.

На этом мы расстались.

На следующий день Вадим рассказал мне, что, как только за мной закрылась дверь, в квартиру ввалился

незнакомец, представился Владимиром Васильевичем, показал удостоверение и... увез его в КГБ. Возились с ним долго. Спрашивали, кто видел и читал мемуары. Где они хранились? И так много часов подряд.

— Ну и втянул же ты меня в историю,— беззлобно ворчал Трунин.— Ничего они тебе не отдадут, помяни мое слово.

В связи с мемуарами Попов с Рассказовым вызывали к себе очень многих людей. Допросы, видимо, длились не одну неделю. Допрашивали Андрея Смирнова, интересуясь в основном Труниным. Вдову Петрова, мою племянницу Юлю, расспрашивали о Леве, обо мне, об отце. У моего друга Барабошкина выясняли и обо мне, и о магнитофонах. Были и другие известные мне, а возможно, и неизвестные «участники» этой операции.

Раду и Аджубея не трогали. Их лояльность, очевидно, сомнений не вызывала. В своих воспоминаниях Алексей Иванович вскользь касается вопросов, связанных с написанием и опубликованием мемуаров отца. Он отмечает, что лично этой работой не занимался, как были опубликованы мемуары — не знает, и выражает надежду, что со временем найдется ответ на этот вопрос.

Как мог, я постарался на него ответить...

Отец все еще лежал в больнице и ничего не знал о разыгравшихся бурных событиях. Посещал я его так же регулярно, стараясь, чтобы внешне ничего не изменилось; разве что перестал подробно рассказывать о работе над мемуарами. Врать не хотелось, ведь скоро надо будет ему обо всем доложить. Сам отец вопросов о рукописи мне не задавал. Тем временем дела его шли на поправку.

Я периодически позванивал Рассказову по поводу своей магнитофонной пленки. Наконец во второй половине августа Евгений Михайлович сказал, чтобы я приехал: он готов вернуть пленку. Кроме того, со мной выразил желание поговорить Виктор Николаевич.

В эти дни отец готовился к выходу из больницы. Уже был назначен срок выписки — через полторы-две недели. В санаторий на реабилитацию он ехать отказался. Сказал, что лучше чувствовать себя будет на даче. О происшедшем я ему все еще не говорил. Решил рассказать по

его возвращении в Петрово-Дальнее. Внутренне мне всеми силами хотелось оттянуть неприятный и тяжелый разговор.

Итак, я снова в здании, успевшем стать мне таким знакомым. И вот мы уже с Евгением Михайловичем поднялись к Попову. Виктор Николаевич любезно поздоровался, вынул из сейфа мою бобину в серой пластмассовой коробочке, но не отдал ее мне, сказав, что мою запись прослушали и она показалась им очень интересной и живой. Очевидно, диктовалась она по горячим следам?

Я кивнул. Виктор Николаевич предположил, что мои тогдашние чувства предопределили очень резкие и не совсем правильные оценки. Наверное, сейчас, когда прошло время, я более объективно оцениваю происходившие тогда события.

Я промолчал, пожав плечами.

— Мы вернем вам пленку,— улыбнулся Виктор Николаевич, — но давайте запись при вас, не выходя из кабинета, сотрем.

Возражать, понятно, не имело смысла. А кроме того, я смогу восстановить ее слово в слово.

Как бы прочитав мои мысли, Попов продолжил:

— Вы, конечно, можете восстановить эту запись, но мы рассчитываем на ваше благоразумие.

В кабинет зашел Владимир Васильевич. В руках у него был какой-то громоздкий аппарат серого цвета, явная самоделка. Включили шнур в розетку, аппарат загудел. Владимир Васильевич поводил им над бобиной и протянул ее мне. Операция закончилась. По замыслу «хирургов», очевидно, следовало, что память уничтожена, а значит, и эти события не происходили. Что-то вроде магнитофонной лоботомии*. И все-таки стертую запись было очень жаль. Исчезла как бы частица меня самого. Конечно, я восстановлю ее, но новая запись, несомненно, будет в каких-то деталях отличаться от прежней.

— Ну вот и хорошо,— опять улыбнулся Виктор Николаевич,— забирайте свою пленку. Как видите, мы всегда точно выполняем свои обещания.

---

* Лоботомия — операция на головном мозге, в результате которой утрачивается память.

Он был явно доволен спектаклем. Но я не торопился покидать этот «гостеприимный» кабинет.

— За пленку спасибо,— начал я,— но вы запамятовали еще об одном вашем обещании.

Виктор Николаевич недоуменно поднял на меня глаза.

— Вы мне обещали — и это зафиксировано в расписке, — что, как только Никита Сергеевич выйдет из больницы, все материалы, которые вы у меня забрали, будут возвращены. На днях он выписывается и переедет на дачу. Я хочу, чтобы к его приезду и пленки, и распечатки лежали на своем месте. Ну а насчет обещанных вами секретаря и машинистки надо говорить с отцом,— закончил я.

Виктор Николаевич с ясной улыбкой посмотрел на меня и заявил, что... никаких материалов у него нет!..

Я, понятно, ожидал отказа, был готов спорить, но такого поворота не предусмотрел.

— Как же так?— растерялся я.— Ведь и вы сами, и Евгений Михайлович постоянно говорили мне, что они хранятся у вас в кабинете, в вашем личном сейфе, что вы никому не отдадите их, поскольку опасаетесь за их сохранность даже в этих стенах,— я кивнул на сейф в углу.— Но где же они?

Мне было сказано, что материалы переданы в ЦК.

Я пожал плечами и посетовал, что мне обещали их вернуть как раз от имени ЦК. Виктор Николаевич с готовностью подтвердил свое обещание, но тут же сослался на приказ передать их в ЦК, который они обязаны были выполнить. Он явно потешался моим замешательством.

Тогда я повторно попросил организовать встречу с товарищем Андроповым. В ответ мне сообщили, что это невозможно, поскольку Андропов уехал в командировку, а оттуда поедет на юг в отпуск. В Москву он вернется нескоро.

Говорить было больше не о чем. Я ушел...

Положение мое было крайне незавидным. Отец выходит из больницы, а материалы исчезли. Действительно ли они в ЦК или попросту уничтожены? И к кому в ЦК обращаться?

И тут я подумал, что сигнал к публикации был аб-

солютно оправданным — хоть что-то останется. Выходит, отец был прав, когда говорил, что вся эта работа впустую. Все отберут. И все-таки мне не хотелось этому верить. Я был настроен на борьбу и перебирал в уме варианты поиска мемуаров в недрах ЦК. Однако искать мне не пришлось. Они нашли меня сами...

На следующий день после разговора с Поповым у меня на работе раздался телефонный звонок. Мною интересовался сотрудник Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. Он назвал свою фамилию, но я ее запамятовал. Он предложил мне прибыть завтра в КПК и назвал номер комнаты.

— Пропуск вам будет заказан, не забудьте партбилет, — строго напомнил он.

О причине приглашения мне сообщено не было, а я не спрашивал. Все было ясно и без вопросов. Мое «качание прав» в кабинете Виктора Николаевича показало, что я еще не «дозрел» и меня не мешало прижать посильнее.

Я явился в КПК, принял меня звонивший накануне сотрудник — человек довольно любезный. Он сказал, что знаком с историей мемуаров и просит все происшедшие события подробно описать на бумаге. Писал я долго, стараясь ничего не упустить.

Он внимательно прочитал исписанные мною листки и молча вышел. Я остался в одиночестве. Впрочем, ждать пришлось недолго.

Через несколько минут меня пригласили к заместителю председателя КПК Мельникову. В темноватом кабинете за стандартным письменным столом сидел высокий угловатый человек с грубыми чертами лица. До работы в КПК он был первым секретарем Ташкентского горкома КПСС.

Мельников начал расспрашивать меня о том, как велась работа над мемуарами, что сопутствовало ей. Видно было, что, кроме всего прочего, ему просто любопытно — хочется узнать скрытые от посторонних глаз подробности жизни отца.

Я пересказал ему все, что уже было известно Попову, но в дополнение подробно изложил, как за мной велась слежка. Особо я подчеркнул то обстоятельство, что Попов взял на хранение мемуары от имени ЦК, именем ЦК

обещал их вернуть, а теперь заявляет, что их у него нет и где они — ему неизвестно.

Рассказывая, я наивно полагал, что все эти злоупотребления возмутят моего собеседника, будет назначено расследование и справедливость восторжествует.

В ответ же на свою историю я услышал, что в Центральном Комитете мне ничего не обещали. Материалы действительно находятся в ЦК, но в распоряжении Мельникова их тоже нет. О возвращении их сейчас не может быть и речи. ЦК примет соответствующее решение, и о нем нам своевременно сообщат. Так закончилась наша встреча.

В конце августа отец вышел из больницы и вернулся к себе в Петрово-Дальнее. Он был слаб, бледен. Гулял мало, больше сидел на террасе или дремал в комнате в своем кресле. Дни шли за днями, силы постепенно возвращались к нему. Он уже начал спускаться вниз на свою любимую опушку леса взглянуть на огород, полюбоваться видом на реку.

О мемуарах мы пока не говорили. Отец больше молчал, думал о своем. Возможно, он и догадывался, что что-то произошло, слишком уж старательно обходил я теперь эту тему. В разговорах пытался отвлечь его внимание пересказом легковесных московских новостей.

Отказ вернуть материалы, хотя и не слишком неожиданный, сильно угнетал меня. Тут я чувствовал себя виноватым, ведь я не имел права их отдавать. Скрывать от отца эту неприятную историю становилось все труднее. Он мог что-то узнать помимо меня или просто задать прямой вопрос: «Как идут дела с мемуарами?». С другой стороны, он был еще слаб. Если я расскажу, как было дело, отец разволнуется, а сердце еще не окрепло. Но рано или поздно, а рассказать придется...

Постепенно отец пришел в себя, и как-то, когда мы не спеша брели к опушке, я решился передать ему все: рассказал и о КГБ, и о КПК, упомянул и о скором выходе книги. Разрешение на публикацию книги он одобрил. Беспардонное поведение по отношению к нему делало и его свободным в принятии решения.

— Правду не скроешь. Пусть пока напечатают не у нас... Плохо, что за границей, но ничего не поделаешь.

Когда-нибудь она доберется и к нам,— горько посетовал он.

Но за то, что я отдал материалы Попову, мне здорово попало. Отец так и не простил мне этого проступка до самой смерти. Он заявил, что я не имел права ни под каким видом отдавать их. Дело не в том, что текст пропадет. Тут дело в принципе. Они нарушают Конституцию. А я взял на себя смелость распорядиться тем, чем не имел права распоряжаться. Он сказал, чтобы я немедленно связался с Поповым и, заявив от его имени решительный протест, потребовал все назад. В ЦК ходить нечего, там ничего не отдадут. Они же говорят, что ничего не обещали. Требовать надо с того, кто дал расписку. А иначе он грозился устроить скандал.

Отец сильно разволновался. Достал валидол, сунул в рот таблетку. Теперь он не расставался с ним. Я боялся, как бы ему не стало плохо с сердцем, но на этот раз обошлось.

— Конечно, хорошо, что можно все восстановить, труд даром не пропал,— немного успокоившись, проговорил он,— но с таким отношением мириться нельзя. Нельзя им такое спускать,— опять начал было возбуждаться отец.

— Давай кончим этот разговор,— внезапно оборвал он.

Мы погуляли еще, о чем-то говорили, но к вопросу мемуаров больше не возвращались.

Выполняя отцовское требование, я стал разыскивать Попова. Он, конечно, знал о разговоре в КПК и понимал, зачем я его ищу. Естественно, Попов стал неуловим.

— Виктор Николаевич вышел... Виктор Николаевич вам позвонит сам... Виктор Николаевич в командировке... — то и дело слышал я в ответ на свои звонки.

Конца этому, казалось, не будет. Но я был чрезвычайно настойчив и звонил не один раз на дню, прекрасно понимая ситуацию. Наконец Виктор Николаевич — чудо!— оказался на месте, и мы договорились о встрече. Он, очевидно, понял, что я не отстану, и предпочел самолично встретиться со мной, гарантируя себя от возможных неожиданностей.

Явившись к Попову, я сделал официальное заявление, сказав все то, что велел передать отец. К сожалению,

Виктор Николаевич оправдал мои худшие опасения, объявив мне, что у него ничего нет. Комитет госбезопасности подчинен Центральному Комитету. По его требованию материалы были переданы в ЦК. КГБ ими не располагает и не распоряжается. Он выразил сожаление, что они не выполнили своего обязательства, и принес свои личные извинения. Но в настоящий момент органы к этому делу касательства не имеют, а посему Попов переадресовал меня в ЦК.

Я передал наш разговор отцу. Он в сердцах даже плюнул.

— Ну их!.. Ничего теперь с ними не сделаешь! Ничего от них не добьешься!!! И не ходи туда больше,— буркнул он.

Жизнь сложилась так, что мое знакомство с Евгением Михайловичем и его «командой» затянулось на долгие годы. Интерес ко мне то, казалось, совсем затухал, то разгорался с новой силой. В начале октября у меня состоялась еще одна встреча с Евгением Михайловичем и Владимиром Васильевичем. На Западе объявили о предстоящей публикации в издательстве «Литтл, Браун энд компани» мемуаров отца «Хрущев вспоминает». Говорилось, что издательство располагает машинописным текстом и магнитофонными пленками с записью голоса отца. Эксперты подтвердили подлинность магнитофонных записей.

Название книги было с нами предварительно согласовано — скромно и спокойно, без излишних претензий.

На этот раз Рассказов выглядел удрученно. Оно и понятно. После «блестящей» операции в июле вдруг такой финал в октябре...

Встретились мы в знакомом номере гостиницы «Москва». Разговор был коротким. Нетрудно догадаться, что интересовало их одно: каким образом мемуары попали в Америку?

Ответ мой был прост:

— Пока материалы были у нас, о публикации не было и речи. Сегодня этот вопрос следует задать вам, а не мне.

И по большому счету я не кривил душой.

В завершение разговора я снова потребовал вернуть материалы их владельцу, тем более что в сложившихся

обстоятельствах изъятие их теряло всякий смысл — они скоро будут опубликованы.

Рассказов со злостью ответил, что в такой ситуации он не советует мне вообще поднимать этот вопрос.

Но и на этом наши испытания не кончились: отцу, как выяснилось, предстояла новая встреча с бывшими соратниками. Книга еще не вышла, никто ее в глаза не видел, я не говорю уж «прочитал», а не оправившегося от болезни отца грубо вызвали в ЦК.

Никого не интересовало, что написано в книге, о чем она. Насколько мне известно, содержанием отобранных у меня материалов никто даже не поинтересовался. И все же...

11 ноября, сразу после октябрьских праздников, отцу позвонили из секретариата Пельше и приказали немедленно прибыть в КПК.

Брежнев вовсю набирал силу, матерел, чувствуя себя все безнаказанней. Это был еще, конечно, не конец 70-х, но уже и не либеральные 60-е. Тогда позволить себе что-то подобное не мог никто.

Отец ответил, что немедленно приехать не может — не на чем. У него нет машины.

— Машина за вами уже выслана, — последовал ответ.

В Комитете партийного контроля отца уже ждали Пельше, Мельников и, как я понял из его рассказа, тот же самый сотрудник аппарата, который два месяца тому назад занимался мною. Заранее составленный сценарий беседы разлетелся вдребезги с первых же минут разговора.

Отец и без того был разъярен безобразным отношением к нему, фактом изъятия мемуаров, грубым обманом, хамским ответом Попова. Он с трудом сдерживался, вызов к Пельше стал каплей, переполнившей чашу. Состояние его здоровья не предполагало острого разговора, но не он стал его инициатором. И тут уж советы Беззубика не волноваться, сохранять спокойствие, не принимать близко к сердцу не действовали. Отец пошел в бой, как всегда, без оглядки.

Словом, «воспитательной» беседы, как на то, очевидно, рассчитывали приглашавшие, не получилось. Не хотел бы я быть на месте «воспитателей»...

Отцу предложили уже подготовленный текст заявле-

ния, где было написано, что он, Хрущев, никогда не писал воспоминаний и никому их не передавал, а публикуемая книга является фальшивкой. Отец сейчас же напрочь отверг эту редакцию, заявив, что подобный документ он подписывать не будет. Это ложь, а лгать грешно, а в его возрасте — особенно. Пора думать о лучшем мире. Да и другим не помешает... Воспоминания он писал. Каждый человек имеет на это право. Эти мемуары предназначены для партии, для народа. По мнению отца, они принесут пользу в понимании эпохи, в которой он жил и работал. Его воспоминания — это уже история. И тут он заверил своих оппонентов, что будет ими заниматься и в дальнейшем. Затем он сказал, что готов подписать документ о том, что работа над мемуарами еще не завершена, а потому они не приобрели вид, пригодный для публикации.

Что касается выхода книги за границей, то отец согласился написать, что сам он материалов для публикации за рубеж не передавал. Такой компромисс устроил Пельше. Оперативно подобрали формулировку, отпечатали, и отец подписал. Текст был немедленно опубликован. Сейчас у меня его нет под рукой, и я не могу его привести дословно. Да и не считаю это важным. Но, как выяснилось, главный разговор только начинался.

Отец обратился к Пельше, когда тот уже считал, что тема исчерпана, и напомнил ему об изъятии мемуаров.

Пельше был не готов к ответу и сказал, что ему ничего не известно. Мельников на помощь своему шефу не пришел. Отец тем временем перешел на новую тему, еще более острую.

Прошло шесть лет, как они работают без него, стал говорить отец. Тогда на него всех собак повесили. Говорили: избавимся от Хрущева — и все пойдет как по маслу. А ведь отец предупреждал своих бывших соратников, что надо перестраиваться, по-новому вести хозяйство, иначе ничего путного не получится. Но они вернули министерства и разрушили то хорошее, пусть малое, что было сделано.

Сельское хозяйство разваливается. При отце повысили цены на масло, мясо, чтобы стимулировать производство продуктов, но этого не произошло, в магазинах ничего нет. В 1963 году, опять же при нем, закупили зерно

в Америке, но как исключительный случай. А без него ввели это в практику. Позор!!! Советский Союз закупает зерно!!!

Значит, продолжал отец, дело не в нем, а в порочной системе хозяйствования. Они уже успокоились и ничего делать не хотят. Сидят в тихом болоте, а надо действовать, искать.

А международные отношения? Говорили, что Хрущев поссорил нас с Китаем. Прошло шесть лет, отношения только ухудшились. Теперь всем видно — тут действуют более сложные закономерности. Пройдет время, и отношения нормализуются, но для этого должны прийти новые люди, и здесь, и там, способные по-новому взглянуть на проблему, отбросить накопившуюся шелуху.

Как рассказывал потом отец, Пельше было встрепенулся, желая что-то возразить, но отец не дал ему вмешаться и продолжал в пух и прах разносить своих прежних соратников.

Он говорил, что в Египте все прозевали (употребив при этом более крепкое выражение). Сколько денег, труда вложено в эту страну, а они допустили, чтобы наш союзник проиграл войну, хотя был вполне к ней готов, имея современную, отлично вооруженную армию. Коснулся отец и некоторых других вопросов, связанных с внешней и внутренней политикой. Вся эта гневная тирада потребовала немалых сил. Наконец он закончил свою «обвинительную» речь и замолчал.

Пельше попытался оправдаться, но отец его не слушал. Потом сказал, что выполнил их требование. Подписал. А сейчас хочет уехать домой...

Это была последняя встреча отца с партийным руководством, с его преемниками. Он высказал им все, что наболело на душе за последние годы, о чем он мучительно раздумывал в одиночестве.

Я ничего не знал, и только мама, позвонившая мне в тот же день, рассказала, что отца вызывали в КПК и выспрашивали о мемуарах.

Я немедленно приехал на дачу. Отец сидел на опушке. Я присел рядом. Мы долго молчали, потом он стал рассказывать, все больше распаляясь. Закончив, он помолчал и вдруг, видимо, отвечая своим мыслям, добавил:

— Теперь я окончательно убедился, что решение об

издании книги было правильным. То, что отобрали, они уничтожат. Они правды боятся. Все правильно.

Мы опять замолчали, каждый по-своему думал об одном.

Вечером я уехал, поскольку это был рабочий день. Дома по свежим следам записал рассказ отца.

Визит этот не прошел отцу даром. Пельше добился результата — отца опять уложили в больницу. Владимир Григорьевич Беззубик объявил, что у отца микроинфаркт.

— Это совсем не то, что было летом,— старался успокоить он нас,— никакого сравнения. Все равно что кошка когтями царапнула.

Сравнение меткое, но, думаю, слишком слабое...

Отец был мудрым человеком. Многое он предвидел заранее. Еще в начале нашей работы он распорядился, чтобы в случае, если он заболеет и ляжет в больницу, я все связанное с диктовкой убрал и хранил бы в надежном месте. На всякий случай.

Снова я посещал отца каждый день. Как обычно, он ворчал на меня. А на экране, как и прежде, тянулась бесконечная зеленая линия...

Отец сильно постарел, и не только внешне. Весь этот град ударов, обрушившийся на него в последнее время, не прошел даром. Скандал в КПК он пересказывал всем: врачам, сестрам, посетителям. Впрочем, он не ждал реакции. Ему надо было выговориться, разрядиться.

К новому, 1971 году, последнему Новому году в жизни отца, его выписали из больницы. Праздник он встретил на даче. Внешне жизнь входила в привычное русло: те же прогулки, встречи с отдыхающими, возобновившими свои экскурсии в Петрово-Дальнее, известные вопросы и известные ответы.

Но в последнее время появились и новые штрихи: многие спрашивали о мемуарах. Ведь многие слушают разные «голоса». Как попали мемуары за границу, не мое дело, отвечал отец. Свои воспоминания он диктовал и считает, что их нечего прятать. Там нет секретов, ничего такого, чего нельзя было бы опубликовать.

Моральные и физические силы отца были подорваны. Здоровье на этот раз возвращалось очень медленно. Он быстро уставал. Уже не мог без отдыха пройти до луга:

по дороге усаживался на раскладной стульчик, который по-прежнему носил с собой. Арбата уже не было. Он умер в весьма преклонном возрасте, и таскать стульчик стало некому. Отец завел себе новую собаку дворняжку. Назвал ее Белкой, за рыжую шерсть и живой характер. Она повсюду бегала за ним, преданно смотрела в глаза, лизала руки, но такта и воспитанности Арбата ей явно не хватало. Мы ему предлагали взять породистую собаку.

— Дворняжка и умнее, и преданнее, и неприхотливее. Зачем мне оболтус с родословной?—отказался отец.

Хотя беседа в ЦК и не прошла бесследно, отец не был сломлен. Уже в феврале он сказал мне: «Будем продолжать работу. Наладь все».

Диктовка теперь шла с трудом. Он силой заставлял себя входить в рабочее настроение. Теперь он уже не жил работой, а выполнял самим на себя возложенные обязанности. Своей работой доказывал и себе, и своим обидчикам, что не смирился, не думает сдаваться.

Так, через силу он надиктовал две неполные катушки, где говорилось о встречах с деятелями культуры. Он пытался осмыслить и объяснить свои поступки, понять мотивы поведения.

Впрочем, этой частью воспоминаний отец остался недоволен. Сказал мне, что переделает все заново. Но не успел. Так что к этим страницам мемуаров надо относиться с известной осторожностью.

В январе я получил долгожданный экземпляр мемуаров — черный том с красно-золотыми буквами заглавия и фотографией улыбающегося отца на суперобложке. Я тут же поспешил в Петрово-Дальнее показать книгу отцу. Он перелистал ее, посмотрел фотографию и вернул мне. По-английски он не читал. Она была ему все-таки чужой. Вот если бы она была нашей...

— Пусть будет у тебя,—сказал он.

В январе меня еще раз вызвали в КГБ. Евгений Михайлович передал, что меня просили ознакомиться с переводом английского издания мемуаров отца и дать заключение о его соответствии оригиналу.

Я удивился:

— Ведь у меня нет мемуаров. Все у вас. Проще всего сравнить два текста, сразу будут видны разночтения.

Он напомнил, что мне уже неоднократно разъясняли

что мемуаров в КГБ нет — их передали в ЦК. Так что сравнивать не с чем. Поэтому они и просят меня, человека, хорошо знакомого с текстом.

Конечно, трудно поверить, чтобы они не могли получить материалы. Я так и не догадался, чего они добивались, попросив у меня заключение. Тем не менее я с охотой согласился. По-английски я читаю прилично, но профессиональный перевод позволял точнее оценить, насколько тексты аутентичны. Мне выделили комнату, поручили заботам Владимира Васильевича, и я погрузился в машинописный перевод книги.

У меня сразу вызвали внутренний протест коротенькие введения Эдварда Кренкшоу к каждой главе. Я давно не перечитывал книгу, но остро помню чувство неприятия, которое в ту пору возникло у меня. В остальном все было правильно, текст не отличался от надиктованного по смыслу, мало разнился он и с рассказами отца, слышанными нами по многу раз.

В своем заключении я отметил, что материал сильно сокращен, в частности, выброшено почти все, относящееся к войне. Остались лишь отдельные эпизоды. Отсутствовали и некоторые другие факты, относившиеся к различным периодам нашей истории. Я отдал свое заключение Владимиру Васильевичу, он поблагодарил, и на том мы расстались.

К отцу по поводу мемуаров не обращался больше никто. Как мы и предполагали, публикация книги сняла напряжение.

В том же, 1971 году обратный перевод с английского на русский был издан для ограниченного круга читателей в издательстве «Прогресс» с маркировкой «ДСП» («Для служебного пользования»). Таким образом, хотя и в переводе с английского, но все же вторым изданием стало русское.

Мемуары Хрущева изданы ныне еще на пятнадцати языках нашей планеты. Их прочитали практически во всех странах мира, кроме той, которой они предназначались, ради которой отец перенес выпавшие на его долю испытания.

Конечно, он мог и не писать мемуаров. У него были и другие увлечения: выращивание овощей, прогулки, фото-

графирование. Если бы не мемуары, этот образ жизни, очевидно, вполне устроил бы власти и, наверное, позволил бы отцу прожить еще несколько лет. Но он выбрал другой путь, будучи уверен, что его слова нужны нашему народу и, что бы ни случилось, они когда-нибудь все-таки дойдут до его главного читателя. И тот резонанс, который вызвало в мире опубликование его воспоминаний, подтверждает правоту отца.

На полке у меня стоит английское, немецкое, французское, итальянское, японское и даже турецкое издание. Нет пока только русского. Надеюсь, оно вскоре появится.

Евгений Михайлович и его «команда», казалось, обо мне забыли, и только иногда, во время важных государственных визитов, как, например, приезд в Москву генерального секретаря ООН, я замечал в зеркальце заднего обзора знакомую «Волгу». Изредка до меня доходили слухи о подготовке второго тома. Правда, от меня уже ничего не требовалось и ничего не зависело.

В 1974 году, через три года после кончины отца, этот второй том мемуаров под названием «Хрущев вспоминает. Последнее завещание» наконец вышел в свет. На белой суперобложке с красно-черным траурным заголовком была помещена фотография отца, сидящего зимой на его любимой скамейке на опушке леса.

Тут-то обо мне снова вспомнили. Мы опять встретились с Евгением Михайловичем в том же номере гостиницы «Москва». Его сопровождал неизменный Владимир Васильевич. Речь зашла о том же: как мемуары попали в издательство «Литтл, Браун энд компани».

Мне показали заранее подготовленное как бы мое письмо на имя одного из известных американских редакторов господина Казинса. Письмо было довольно длинное. К сожалению, я не нашел его сейчас среди своих бумаг, то ли оно затерялось, то ли мне его так и не отдали. Помню главное — в письме я расценивал публикацию второго тома как провокацию, направленную против нашей страны и против нашей семьи, и объявлял книгу фальшивкой. Вот, собственно, и все.

В то время на Западе, насколько я знал, появилось много мемуаров различных государственных деятелей. Часть из них, кстати, действительно оказалась фальшивкой.

По замыслу, мое письмо должно было вызвать скандал и дискредитировать мемуары. План был простой, но эффективный: Казинс, как конкурент корпорации «Тайм», которой принадлежит и издательство «Литл, Браун», с удовольствием воспользовался представившейся возможностью посадить соперников в лужу.

Предложение оказалось нестандартным. Я сказал, что мне нужно посоветоваться с мамой, поскольку такое дело не могу решать в одиночку. Мы условились встретиться через несколько дней. В тот же день я рассказал обо всем маме. Она поинтересовалась, читал ли я книгу.

— Нет,— ответил я,— даже не видел.

— Так как же можно писать, что это фальшивка, даже не ознакомившись с текстом,— логично возразила она.— Ты не должен делать такое заявление о книге, которую никто из нас в глаза не видел. Можно написать то, что написал отец: мы не знаем, как эти материалы попали на Запад.

С этим я и пошел на следующую встречу. Я понимал, что разговор будет не из легких, и приготовил неотразимый аргумент — мама запретила. Это было правдой, а к Нине Петровне они не подступятся. Кроме того, по поведению моих собеседников я заметил, что сейчас вопрос стоит не так остро, как четыре года назад.

Я еще раз перечитал заготовленный текст и попросил переделать его в соответствии с позицией мамы. Завязался спор. Я настаивал на своем.

— Дайте мне книгу. По-английски и мама, и я читаем. Правда, не слишком быстро, так что изучение текста займет примерно пару недель. Если текст книги не соответствует мемуарам, то я буду провозглашать на каждом углу, что это фальшивка. И напишу об этом кому угодно. А так — увольте. Не могу.

У Евгения Михайловича вырвалось:

— Как мы вам дадим книгу? У нас пока нет ни одного экземпляра. Мы сами ее не видели.

Я ухватился за эти слова:

— Ну а как же я могу что-то утверждать о книге, которую, оказывается, не только я, но и вообще никто в глаза не видел?

Рассказов понял, что после его обмолвки нам не

сговориться. Пришлось долго возиться с текстом, спорить из-за каждого слова. Наконец удалось согласовать редакцию в стиле заявления отца четырехлетней давности. Как и прежде, меня попросили переписать письмо от руки и собственноручно надписать адрес. Наконец все закончилось, и письмо отправилось к господину Казинсу по адресу: Соединенные Штаты Америки, округ Колумбия, город Вашингтон.

С тех пор мне не доводилось больше встречаться ни с Евгением Михайловичем Рассказовым, ни с его верным другом Владимиром Васильевичем.

Мое письмо дошло до господина Казинса и заинтересовало его. Появилась реальная возможность «помочь» коллеге сесть в лужу. Он прислал своего человека в Москву, поручив ему встретиться со мной и, если я пожелаю, опубликовать серию разоблачительных статей.

В то время я занимался вопросами, связанными с надгробием отцу, которое создавал выдающийся русский скульптор и художник Эрнст Неизвестный. Вокруг Неизвестного всегда толклось много иностранных корреспондентов. Посланец господина Казинса легко «вышел» на него и попросил передать мне просьбу о встрече. Эрнст Иосифович не был осведомлен обо всей этой истории и воспринял обращение как желание новичка взять у меня интервью. Он предупредил собеседника, что я интервью не даю. В сложившемся в тот момент положении из этого ничего хорошего не выйдет. В ответ его заверили, что речь идет не об интервью, а о чрезвычайно важном деле, хорошо известном мне.

Неизвестный в подробностях передал мне разговор и предложил встретиться у него в мастерской.

Миссия мне предстояла не из приятных, но я даже обрадовался такому повороту событий. Отправленное письмо меня беспокоило, теперь же мне представлялась возможность вернуть контроль над ситуацией. Я знал, что буду делать.

У Неизвестного в мастерской я бывал часто, и мои визиты давно не вызывали профессионального интереса коллег Виктора Николаевича из «большого дома».

На этот раз Эрнст Иосифович предупредил: рядом с мастерской стоит машина со специальными антеннами. Ясно, что они будут нас подслушивать.

— Она всегда приезжает, когда приходят интересующие их иностранцы,— беззаботно проинформировал меня Неизвестный.

Я подумал, что при нашем разговоре Евгений Михайлович был бы не совсем к месту.

Только мы устроились в маленькой комнате, как раздался звонок в дверь — пришел корреспондент. Настроение у него было деловое. Встретили мы его радушно. Пригласили отведать что бог послал. На столике стояли бутылка водки, какая-то незатейливая закуска. Наш гость по-русски говорил неплохо, что, конечно, облегчало общение.

Выпили по рюмке, закусили. Осведомились, как дела в Америке. Затем поговорили об искусстве, религии. Выпили еще. Обсудили последние международные события. Поговорили о диссидентах. Еще выпили. Разговор перешел на творческую манеру Неизвестного. Открыли вторую бутылку. Осмотрели скульптуры в мастерской.

Гость наш ничего не понимал. Он попытался было перейти к теме, ради которой приехал в Союз, но я всякий раз переводил разговор на другое. Наконец ему, видно, надоела вся эта несуразица. На лице читалось явное недоумение: он решительно поднялся, поблагодарил за теплый прием. Мы попрощались. Недоумение его усилилось еще больше. Я пошел проводить его до машины.

Я не знал, прослушивают ли нас на улице. Машина с антеннами стояла в десятке метров от корреспондентского «вольво». Мне не хотелось расстраивать Евгения Михайловича, и потому предпочел бы, чтоб он не узнал о нашем коротком разговоре. Однако дальше тянуть было невозможно.

Гость открыл дверцу машины, и тут я задержал его за руку:

— Прошу извинить меня. В доме нас подслушивали.

Он обрадованно улыбнулся, наконец положение стало проясняться.

— Передайте господину Казинсу мои глубочайшие извинения. Я вынужден был в силу ряда обстоятельств ввести его в заблуждение. Всякое бывает в жизни. Мемуары настоящие. Я их прочел, так что разоблачать нечего.

После этого мы тепло попрощались.

Это была последняя попытка наших компетентных органов вмешаться в жизнь западного издания воспоминаний отца. С тех пор они живут респектабельной жизнью, приличествующей мемуарам отставного главы правительства великого государства. На них ссылаются. Они стали частью мировой истории.

Правда, у нас продолжали распространять информацию о том, что мемуары эти — фальшивка. По сей день кое-кто, когда речь заходит о воспоминаниях отца, не преминет заметить:

— Хорошо, если появятся настоящие мемуары, а не те, фальшивые.

Прошло несколько лет. Однажды мне позвонила соседка по дому Джейн Темпест. Ее отец — британский коммунист, много лет проработавший в Советском Союзе. Она родилась у нас и выросла настоящей москвичкой. Мы часто встречались семьями. Сейчас она преподает в одном из университетов Бостона в Соединенных Штатах.

— С тобой хочет встретиться один мой новый знакомый. Он много занимался мемуарами Никиты Сергеевича, — сказала она.

Я пригласил их зайти ко мне на следующий день. Так мы в первый раз встретились со Стробом Талботом, симпатичным молодым человеком, отлично говорящим по-русски.

Значительную часть своей жизни он посвятил мемуарам моего отца, сделав на них журналистскую карьеру. Он прекрасно разбирается в нюансах нашей жизни. Хрущев стал для него близким и понятным человеком. Он рассказал мне, как строилась работа над мемуарами, что он сократил и почему. Под сокращение попали разделы о войне, о жилищном строительстве и особенно «не повезло» сельскому хозяйству.

— Он там очень много говорит о кукурузе, убеждая читателя в ее преимуществах. Нам это непонятно, в этом американских фермеров убеждать не надо,— рассказывал Строб.

До этой встречи я практически ничего не знал о том, кто и как работал над воспоминаниями. Для меня было

приятной неожиданностью то внимание и, я бы сказал, почтение, с каким сотрудники издательства отнеслись к запискам отца.

В разговоре мы не затрагивали вопросов, связанных с получением мемуаров. Шел последний период застоя, и говорить об этом было небезопасно.

Я думал, что мы больше не встретимся. Однако судьбе было угодно распорядиться иначе. В 1988 году Раде Никитичне позвонили из московского представительства журнала «Тайм» и попросили о встрече, чтобы обсудить важное предложение. В середине июня мы встретились с представителями журнала на квартире моей племянницы Юлии Леонидовны. В свое время она была, хотя и косвенно, втянута в эпопею с мемуарами.

От «Тайма» пришли Строб Талбот и сотрудники московского отделения Энн Блэкман и Феликс Розенталь. Мы были в недоумении. Что же от нас хотят?

Талбот вспомнил и о нашей предыдущей встрече, и о многом другом, а затем сказал, что они не могут считать свою миссию выполненной, пока воспоминания Хрущева не вышли на русском языке, не стали достоянием народа, которому они предназначались. Он добавил, что они готовы приложить к этому все усилия и оказать в этом деле нашей семье посильную помощь. Кроме того, сказал Талбот, компания «Тайм» чрезвычайно горда тем, что ей выпала честь быть первым издателем воспоминаний этого великого человека.

Строб пояснил, что, когда он прочитал мое интервью югославской газете «Виесник», он позвонил своим шефам и сказал, что пришла пора действовать. Надо ехать в Москву. Его идею одобрили. И вот они здесь.

Дело в том, что весной 1988 года у меня попросил интервью корреспондент хорватской газеты «Виесник» Милон Якеш, и я встретился с ним. В ответ на его вопрос о мемуарах Хрущева я объяснил, что они находятся в ЦК КПСС и, по моему мнению, в условиях перестройки и гласности без затруднений могут быть изданы в Советском Союзе.

Это интервью получило широкую огласку в мире, его передали ведущие информационные агентства.

От имени нашей семьи я поблагодарил представителей компании «Тайм» за добрые слова и намерения и

сказал, что больше всего нам мог бы помочь русский текст мемуаров, распечатанный с пленок. Талбот ответил, что все пленки «Тайм» передал в Гарримановский институт. Там хранится собрание записей голосов наиболее выдающихся государственных деятелей.

— Эти записи доступны любому исследователю. Нам не представит труда получить их для вас,— обнадежил он меня.

Мы договорились о следующей встрече. Прошло меньше месяца, и в начале июля мы принимали руководителей «Тайма» Генри Маллера и Джона Стакса, а также наших знакомых Строба Талбота, Энн Блэкман и Феликса Розенталя.

Маллер и Стакс не принимали участия в издании мемуаров, они пришли в компанию позднее. Они вручили нам экземпляры книг воспоминаний Хрущева на английском языке. У меня они были, а Рада и Юля получили их впервые.

Они еще раз заверили нас, что компания «Тайм» считает для себя делом чести довести публикацию воспоминаний Хрущева до победного конца, и сказали, что распечатки с пленок будут у нас в ближайшее время.

И вот вскоре в моей квартире вслед за сияющим Розенталем появился его водитель с большой картонной коробкой.

— Мне ее не поднять,— объяснил Феликс Розенталь. — Здесь все, как мы и договаривались. Мои начальники из Нью-Йорка передают вам наилучшие пожелания и желают успеха.

Розенталь ушел. После длительного путешествия и стольких лет разлуки мемуары вернулись домой. Вот они передо мной.

Открываю первую папку. Да, это несомненно тот самый текст: такие родные слова отца и моя пусть не профессиональная, но старательная редакторская правка:

«Ко мне давно обращаются мои товарищи и спрашивают, и не только спрашивают, но и рекомендуют записать свои воспоминания, потому что я и вообще мое поколение жили в очень интересное время...»

Так я снова получил это бесценное, надеюсь, не только для меня историческое свидетельство...

Но еще задолго до того, как случилось это волнующее событие, происходили в моей жизни какие-то подвижки, контакты, которые, несмотря на особое отношение к имени Хрущева в годы брежневщины, позволяли надеяться на грядущие перемены в посмертной судьбе отца и его книги.

В конце 70-х годов мне позвонил Алексей Владимирович Снегов и сказал, что историк Рой Медведев пишет биографию отца. Алексей Владимирович рассказал ему все, что знал сам, и теперь, выполняя просьбу Медведева, просил меня встретиться с ним.

Я много слышал о Рое Медведеве. Читал его книгу о Сталине «К суду истории». По тем временам это был чрезвычайно смелый шаг, который не мог не вызвать уважения. Хорошо о нем отзывался в свое время и Эрнст Неизвестный, собиравшийся нас познакомить, чего он сделать не успел.

Читал я и книги Медведева об отце на английском языке. По правде говоря, мне они не понравились. Я не почувствовал в них глубокого анализа исторического периода, многие события освещались поверхностно, какие-то факты оказались искаженными, а с оценками, как ни старался быть объективным и преодолеть родственные чувства, я согласиться не мог — слишком близки они были к стандартным в те времена словам о волюнтаризме и субъективизме Хрущева.

Не надо забывать обстановку тех недавних лет. Это сейчас в печати то и дело попадаются публикации о моем отце. Но тогда даже простое упоминание его фамилии могло быть чревато неприятностями для автора издания.

Мы договорились с Медведевым о встрече. И вот седой, интеллигентного вида мужчина сидит напротив меня. Мы поговорили о его замысле, о необходимости объективного освещения истории. Казалось, мы вполне поняли друг друга, и встречи наши продолжались. Я рассказывал ему об отце, и эти рассказы автор использовал при написании многих глав своей книги.

Наконец Рой Александрович принес окончательный вариант. Он сказал, что книга уже набирается в Лондоне. Событие это совпало со смертью Брежнева...

Книга мне не понравилась. Отдельные ее разделы были полны неприятия хрущевских реформ. Лишь бес-

спорные шаги, такие, как XX съезд, разоружение, не подвергались разгрому. Особенно, как я помню, досталось «неправильным» действиям отца в области сельского хозяйства, приведшим к сокращению выпуска сельскохозяйственных машин — тракторов и комбайнов. А ведь сегодняшнее наше первенство в мире по выпуску тракторов и комбайнов оказалось после трезвого анализа никому не нужным. Те же мысли двадцать лет назад высказывал и отец.

Значительная часть книги отведена критическому разбору школьной реформы — вопрос, который не был у отца в числе первых, но зато оказался наиболее близким самому Медведеву.

Словом, как я ни старался отстраниться от понятного родственного субъективизма и трезво взглянуть в лицо историческим фактам, у меня ничего не выходило. Обо всем этом я откровенно сказал Рою Александровичу при нашей встрече в декабре.

Расстались мы холодно. Рой Александрович сказал, что каждый историк имеет свой взгляд на прошлые события, да и книга уже в издательстве. С этим спорить не приходится. На этих страницах я тоже высказываю свой личный взгляд на события тех лет.

Через несколько дней мне позвонил Снегов. В оценках он был более категоричен, чем я.

Вскоре я снова услышал в телефонной трубке знакомый голос Роя Александровича. Мы с ним повстречались вновь. О последнем разговоре не вспоминали.

Медведев подарил мне свою книгу «Политическая биография Хрущева» на русском языке. Это ее сейчас столь часто цитируют. Она мало походила на предыдущий вариант, хотя и содержала, на мой взгляд, целый ряд неточностей.

Наше знакомство восстановилось. Рой Александрович рассказал, что пишет книгу о Брежневе, просил помочь. Я, конечно, согласился.

Что бы там ни было, Медведев оказался единственным историком, занимавшимся в то недоброе время Хрущевым, и я благодарен ему за это.

Начавшиеся после смерти Брежнева изменения позволили всерьез задуматься о возможности работы над воспоминаниями отца в нашей стране, восстановлении его

доброго имени. Я стал обдумывать письмо Юрию Владимировичу Андропову, но не успел его написать. Андропова не стало. Над страной опять стали сгущаться сумерки. Обращаться к Черненко с просьбой было не только бессмысленно, но и опасно.

К счастью, отступление было кратковременным. После долгих раздумий и колебаний я решился написать Михаилу Сергеевичу Горбачеву.

Его выступления, слова, действия внушали оптимизм, вселяли веру в перемены к лучшему. Весь стиль его деятельности, динамизм, общительность, стремление к новому напоминали мне отца.

Я долго мучился над текстом письма. От него зависело так много. Наконец я решился.

Довольно легко я дозвонился до помощника Горбачева Анатолия Сергеевича Черняева. На следующий день он принял меня. С волнением я входил в первый подъезд знакомого здания на Старой площади. Как давно я здесь не был...

Анатолий Сергеевич подробно расспросил меня обо всем, пообещав доложить мой вопрос Михаилу Сергеевичу в ближайшие дни, чем удивил меня несказанно. Я рассчитывал на ответ минимум через несколько недель, а то и месяцев. Видимо, новые времена начались всерьез.

Действительно, дня через три-четыре, когда я опять дозвонился до Черняева, он сказал, что Михаил Сергеевич посоветовался с другими членами Политбюро и они решили, что в соответствии с нынешним курсом исторической науки работа над мемуарами Никиты Сергеевича актуальна. Черняев добавил, что мне будут предоставлены все условия, а конкретно реализацией решения занимается Александр Николаевич Яковлев. Он тут же продиктовал мне номер телефона помощника Яковлева Валерия Алексеевича Кузнецова, предложив в случае затруднений звонить.

Я был на седьмом небе! Оказывается, вот как бывает! А я рассчитывал на обычную у нас волокиту. Вот что значит новое мышление!

Однако же, как выяснилось, радоваться было рано. Невольно вспоминается, как в последний период деятельности отца несокрушимый аппарат мягко, но неодолимо

саботировал неугодные ему решения. Сегодня с теми же методами столкнулось новое руководство.

Помощник Александра Николаевича Яковлева адресовал меня к заведующему отделом пропаганды Юрию Александровичу Склярову. Тот со мной соединился незамедлительно. Разговор был предельно любезным. Юрий Александрович заверил меня, что в ближайшие дни разберется. Пока этим делом он не занимался. Позвонит мне сам.

Все начиналось хорошо. Шла первая весна XXVII съезда партии. На дворе светило солнце, а на душе, как говорится, пели птицы.

Но вот прошел месяц. Тишина... Я позвонил снова. Оказалось, что в эти годы мемуарами никто не только не занимался, но даже и не поинтересовался. Их предстояло разыскать в архивах. Юрий Александрович опять заверил меня, что при первых же новостях позвонит мне сам.

Так мы и перезванивались два года.

В августе 1987 года мы решились опять обратиться к Михаилу Сергеевичу. Обстоятельства сложились так, что я был в отъезде и инициативу взяла на себя Рада Никитична.

Последовало новое указание, подтверждавшее предыдущее. Я с новой силой принялся звонить Юрию Александровичу. Сначала в архиве был ремонт. Потом он переезжал в новое помещение.

В августе 1988 года наконец что-то нашли. Я побежал в ЦК. У Юрия Александровича уже сидела Рада Никитична. За столом присутствовал еще один человек — Василий Яковлевич Моргунов, которому руководство поручило помогать нам в работе над мемуарами.

Юрий Александрович открыл добротную картонную папку, вернее, даже коробку, и сказал, что ему принесли 400 страниц и мы можем начинать над ними работать.

— Почему четыреста? А где же остальное? Где пленки? — забеспокоился я.

Просматриваю предложенный текст — редакция не моя, но это и не перевод с английского. Видимо, кто-то занялся этой работой помимо нас.

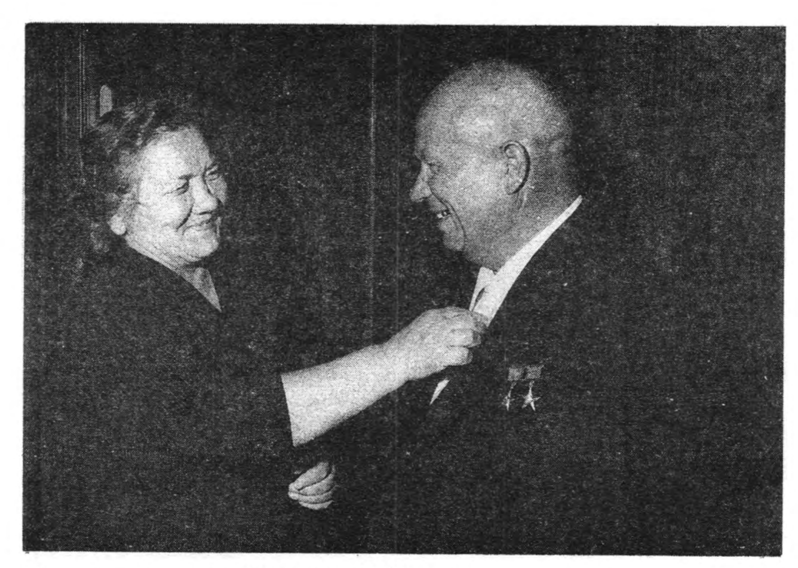
Работать с лежащими передо мной материалами нельзя, нужно иметь весь исходный текст для компоновки и магнитофонные пленки в придачу для сверки. Толь-

ко тогда можно быть уверенным, что ничего не упущено, оригинальный текст не искажен.

Собираясь в ЦК, я перечитал расписку Попова об изъятии материалов и переписал ее от руки. Показываю копию расписки. С ее помощью легче будет найти все материалы. Юрий Александрович высказывает искреннее удивление. О ее существовании тут не знали. Разговор окончен, договариваемся созвониться... в сентябре.



Хрущев, Воронов, Щербицкий и Подгорный в Киеве. 1962 год



Накануне визита во Францию. 1960 год

Отъезд из Берлина. 1961 год



Осмотр судов на подводных крыльях. Среднее Поволжье, 1960 год. Слева направо: Хрущев, Козлов, конструктор судов Алексеев, Суслов, Игнатов



Во время отдыха на теплоходе «Добрыня Никитич». Волга, 1961 год



Американский фермер Росуэлл Гарст в гостях у Хрущева. 1958 год

На ферме у Гарста в штате Айова. США, 1959 год





Визит в США.
Калифорния, 1959 год

С президентом
Насером в Каире.
1964 год





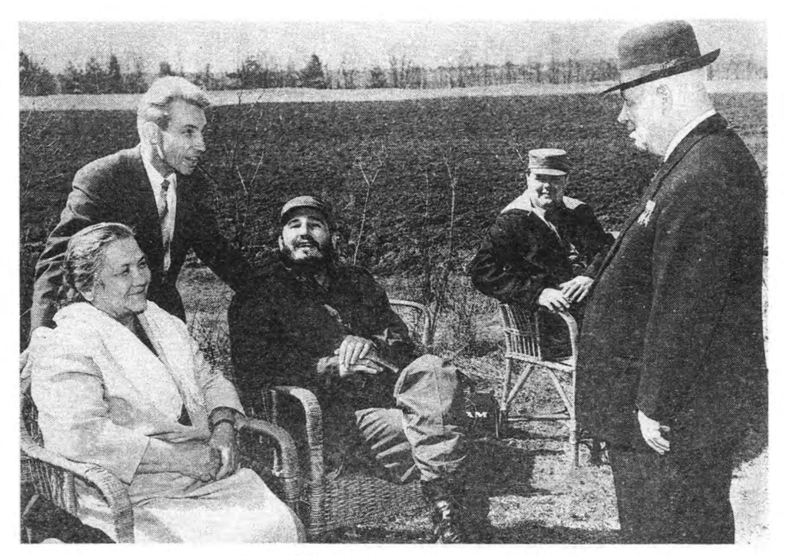
На совещании передовиков сельского хозяйства в Ташкенте. 1961 год

Во время встречи с рабочими. 1962 год



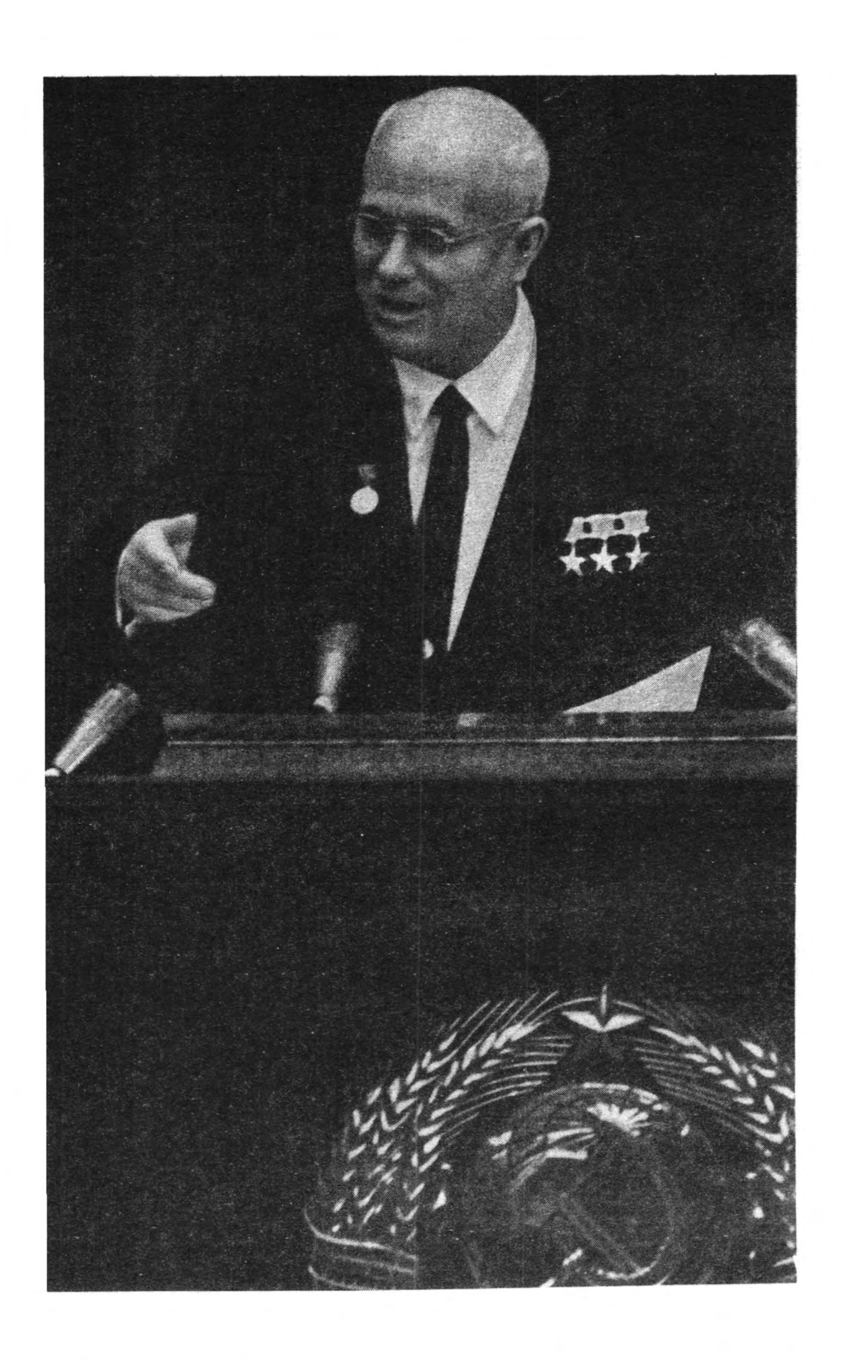


Выступление на встрече с целинниками. 1960 год

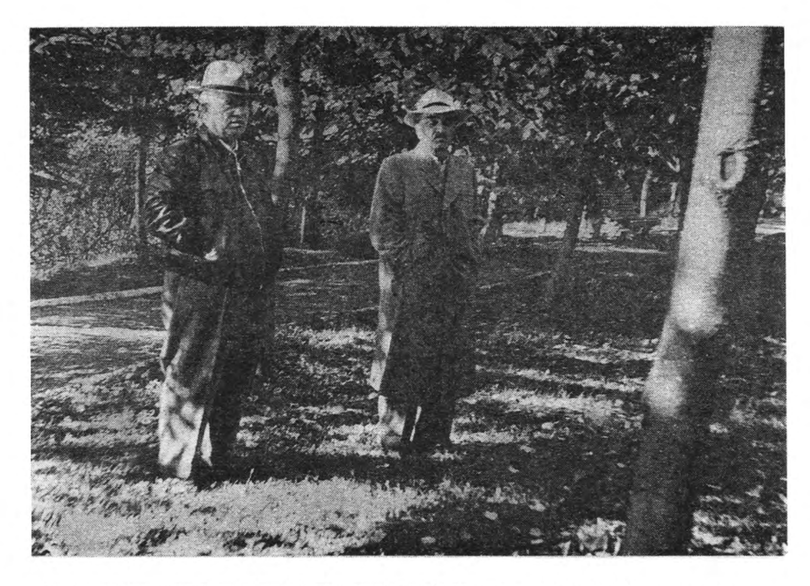


Фидель Кастро в гостях у Хрущева на подмосковной даче. Апрель 1963 года

На отдыхе на Пицунде с Тодором Живковым и Алексеем Косыгиным



На трибуне. 1962 год



С А. И. Микояном



Встреча с рабочими Донбасса

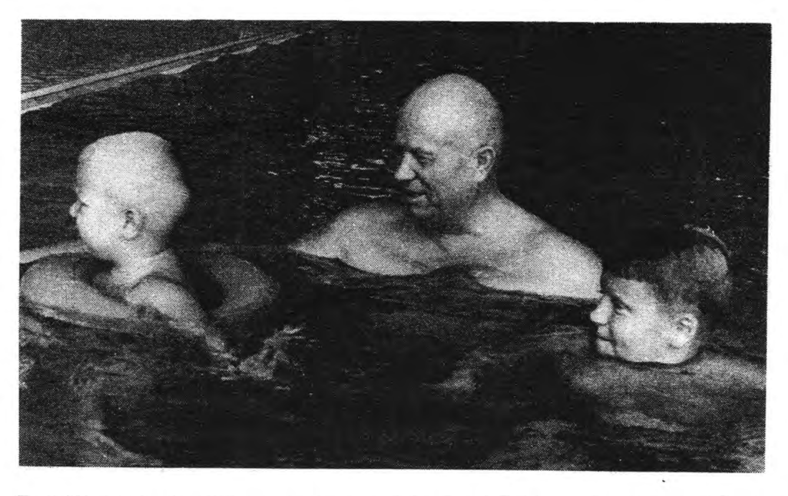


Семья Хрущева. Слева направо, первый ряд: внучка Юлия Леонидовна, Никита Сергеевич, внук Никита Аджубей, Нина Петровна; второй ряд: зять Алексей Иванович Аджубей, дочь Юлия Никитична, сын Сергей Никитич, невестка Галина Михайловна Шумова, дочь Рада Никитична, внук Алеша Аджубей, дочь Елена Никитична. 1960 год

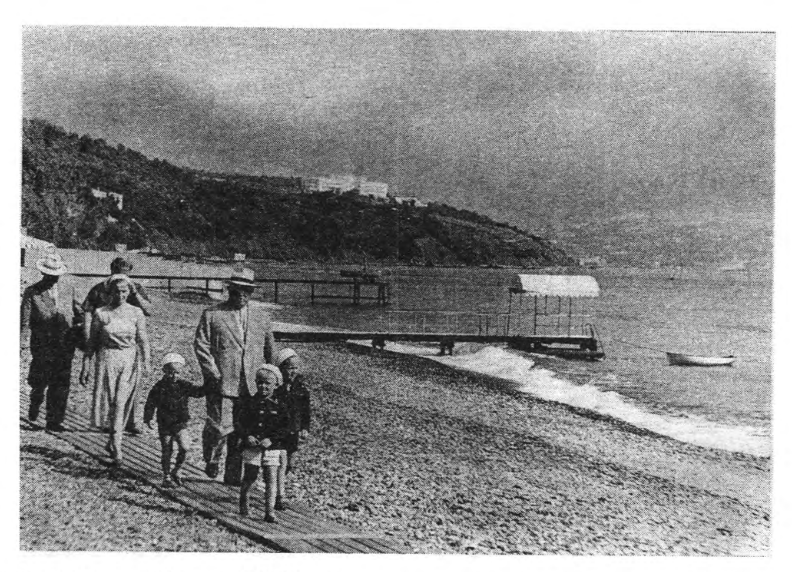
Встреча с писателями. Пицунда, 1959 год



На прогулке с сыном Сергеем и внуками Никитой и Алешей. 1960 год



Три Никиты. На отдыхе с внуками Никитой Аджубеем и Никитой Хрущевым

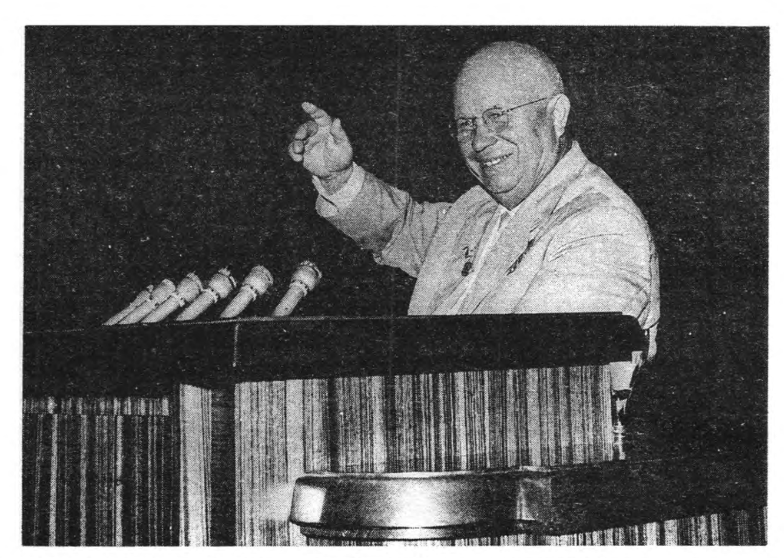


С внуками в Крыму. 1962 год

Взрослые члены семьи Хрущева. Слева направо: дочь Елена, Никита Сергеевич, сын Сергей, невестка Галина, дочь Рада, Нина Петровна, зять Алексей Аджубей



С дочерью Еленой и сыном Сергеем. Резиденция на Ленинских горах в Москве. 1960 год



Выступление на встрече с творческой интеллигенцией

Хрущев и Козлов беседуют с поэтом Сергеем Михалковым и кинорежиссерами Григорием Чухраем и Иваном Пырьевым





Выступление на встрече с творческой интеллигенцией.
Сзади Хрущева — Б. Н. Пономарев, М. А. Суслов и А. И. Микоян

Выступление перед писателями



Официальное празднование 70-летия Хрущева в Кремле, 17 апреля 1964 года. Слева — Вальтер Ульбрихт, справа — Владислав Гомулка



Члены Президиума ЦК КПСС поздравляют Хрущева с 70-летием в его резиденции

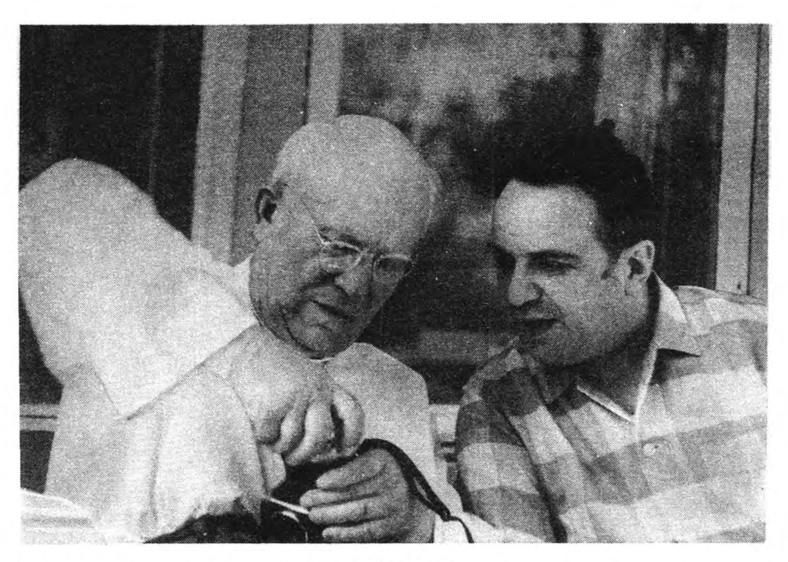


Дача в Петрово-Дальнем, на которой Хрущев прожил последние годы

На даче



На даче в кругу семьи

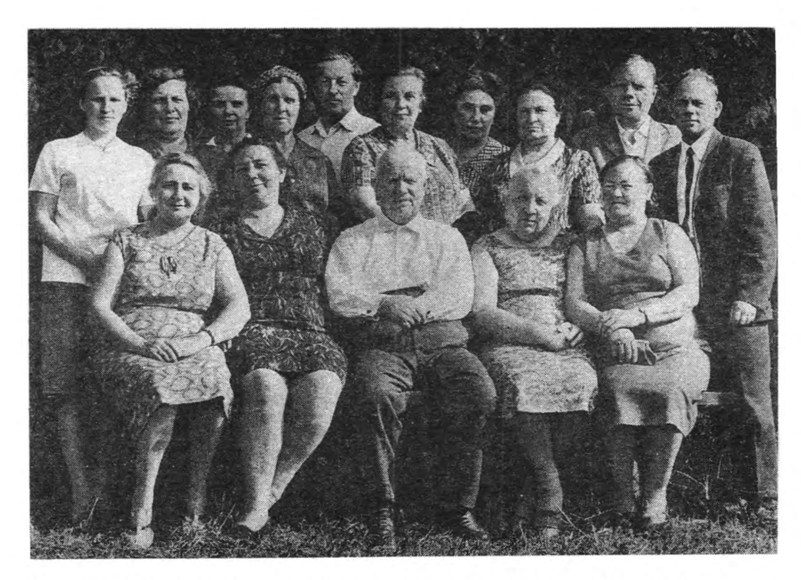


С П. М. Кримерманом на даче. 1969 год



В окрестностях дачи. 1968 год

На любимой лавочке на даче



С группой отдыхающих из соседнего дома отдыха. Петрово-Дальнее, 1969 год



С внуком Юрием Леонидовичем. Весна 1968 года

На даче, 1970 год. Слева направо: Нина Петровна, зять Виктор Евреинов, дочь Елена, Никита Сергеевич



С дочерьми Юлией и Радой. 1970 год

На террасе дачи

Во время поездки к профессору М. А. Жуковскому. Рядом — Н. А. Жуковская. Подмосковье, январь 1968 года



Семьи Хрущева и профессора Жуковского. Петрово-Дальнее, 1969 год

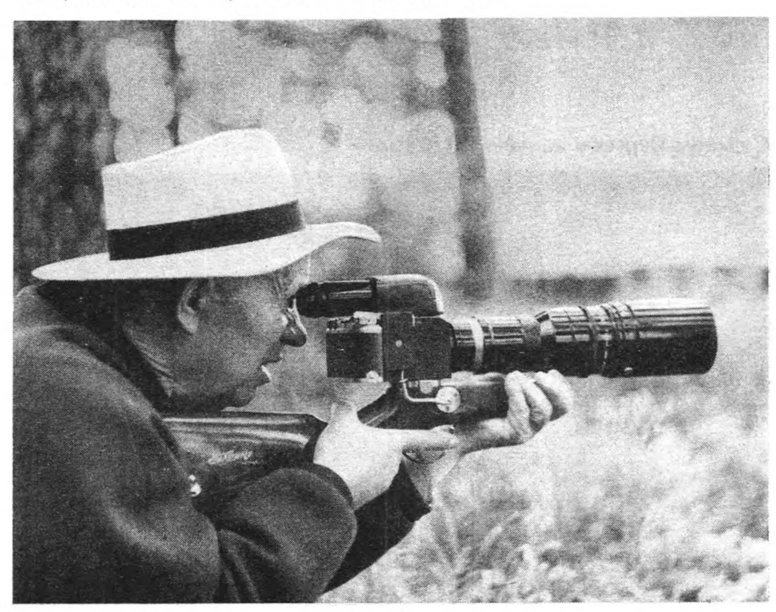
С сыном Сергеем на даче. 1970 год





С ручным грачом Кавой

В окрестностях Петрово-Дальнего, 1967 год





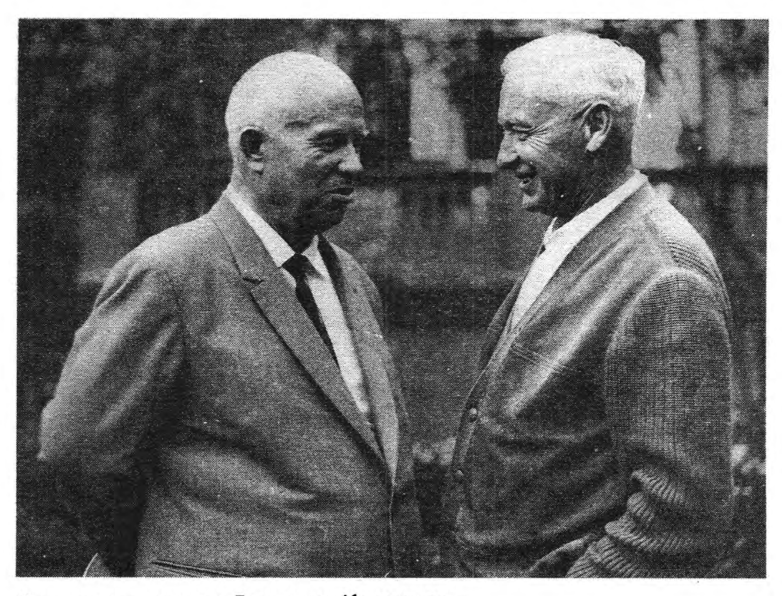
На опушке около дачи, 1970 год

С женой авиаконструктора А. А. Туполева — М. А. Туполевой





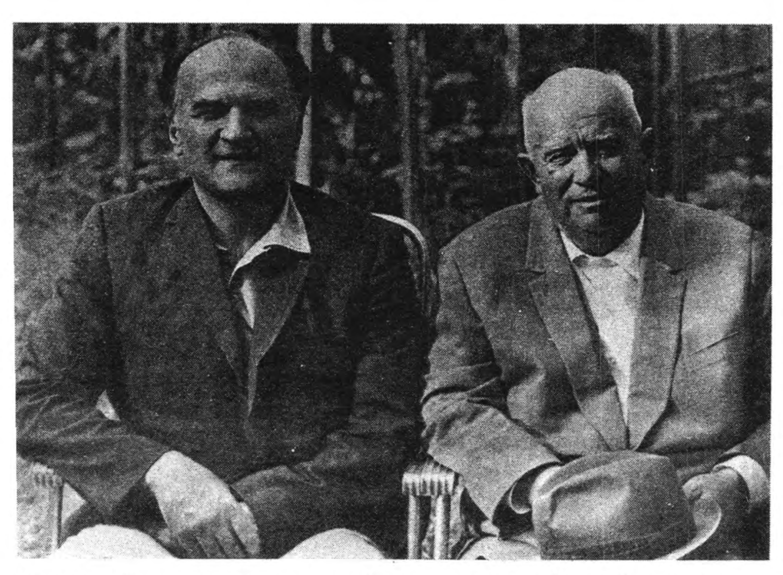
На даче с товарищами сына Сергея, 3 июля 1972 года. Слева направо: В. Н. Васильев, В. М. Барабошкин, П. М. Кримерман, М. А. Альперович, В. А. Модестов, В. И. Кара-Моска



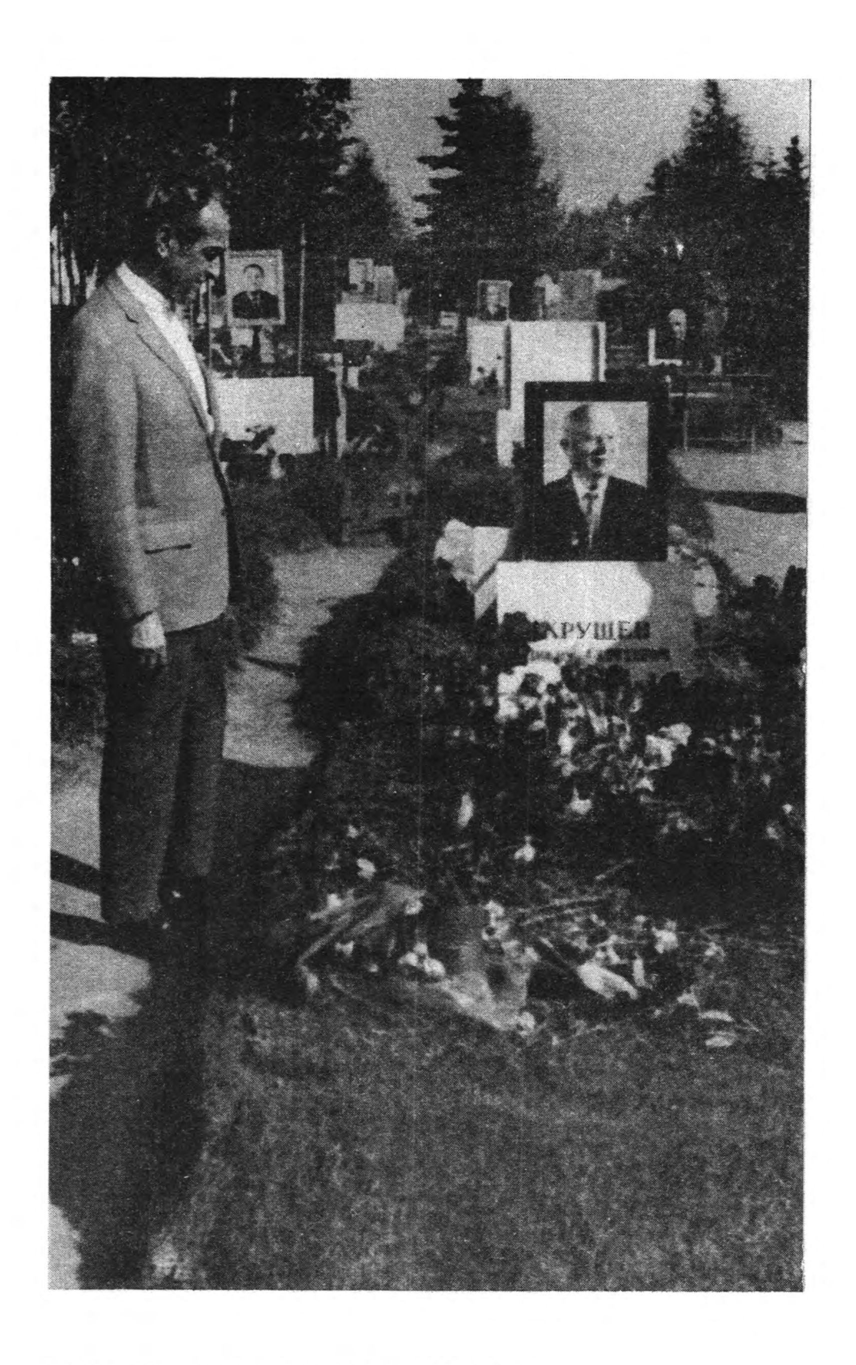
С кинорежиссером Романом Карменом



С Ниной Петровной



Последний снимок при жизни. Рядом академик Реваз Гамкрелидзе

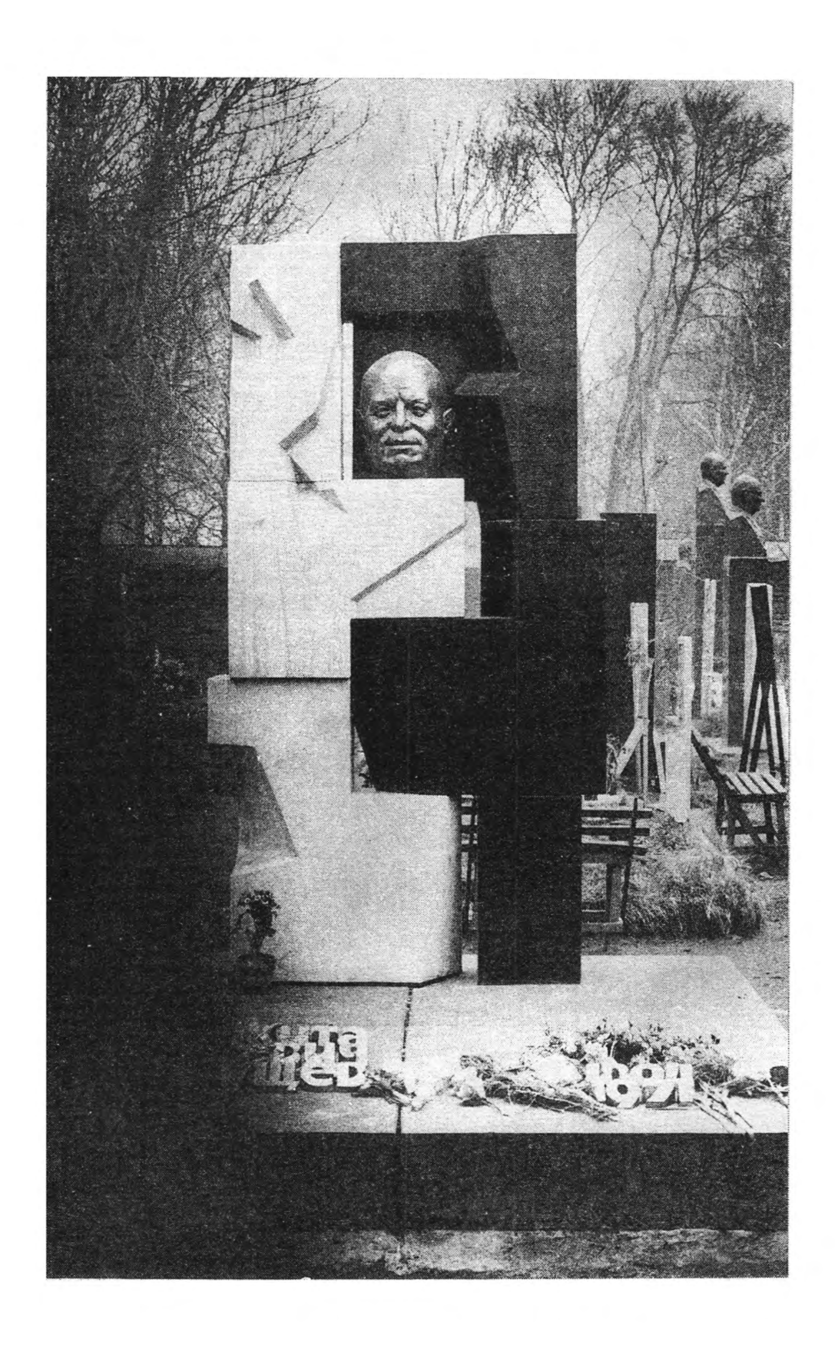


Могила Хрущева на Новодевичьем кладбище



Сергей Хрущев и Эрнст Неизвестный

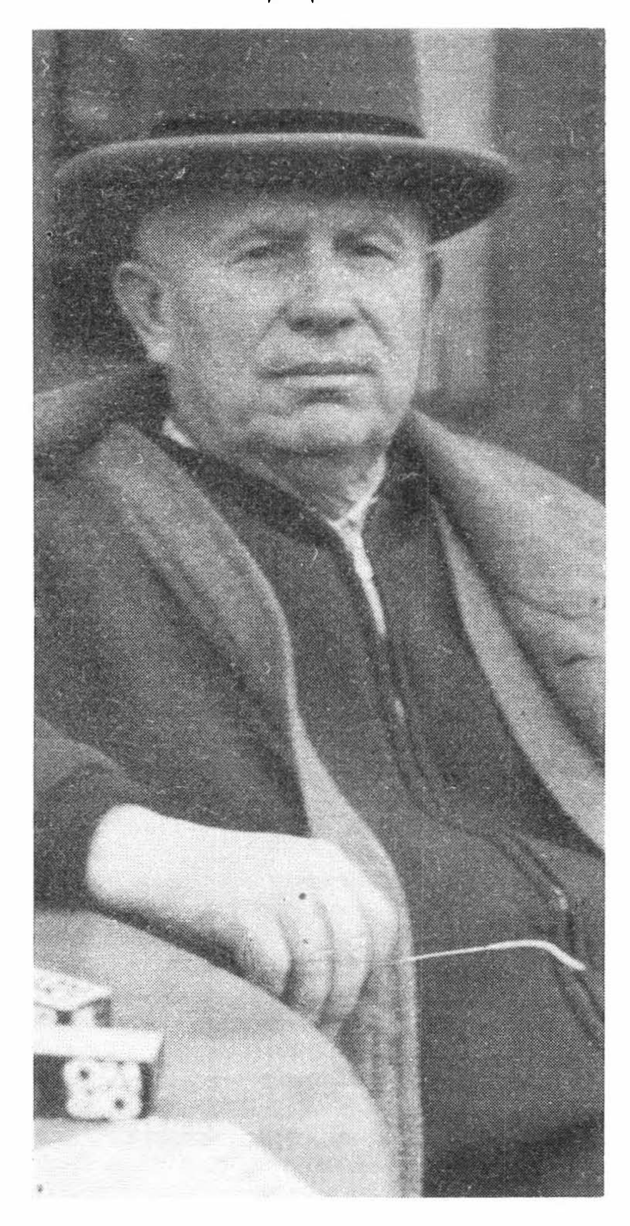
Э. Неизвестный за работой над памятником



Надгробие

Глава V

ПРОВОДЫ



Новый, 1971 год не предвещал беды.

Конечно, отец сильно постарел, да и недавние события сыграли не последнюю роль в ухудшении его здоровья. Дело было даже не в изъятии мемуаров и не в откровенной бесцеремонности, сопровождавшей всю эту историю. В последнем разговоре с Пельше отец сказал, что все свои силы он отдал стране, народу, и это было правдой. А сегодня его просто не существовало. Такого человека как бы никогда и не было. Даже в официальных изданиях межгосударственной переписки на письмах, адресованных нашему правительству, стоит фамилия, а под нашими посланиями безликое «Председатель Совета Министров СССР». В редких случаях, когда где-то в печати упоминалась фамилия Хрущев, ее неизменно сопровождало стандартное упоминание о волюнтаризме. Чаще же и в этих случаях фамилию предпочитали не упоминать, оставляя один «волюнтаризм».

В душе отца обида и горечь от предательства бывших друзей смешивались с неутешительными вестями о состоянии нашего народного хозяйства. Нововведения, принятые при отце, отменили, вернулись к старой структуре, а дела шли все хуже и хуже, полки магазинов пустели на глазах. Все прежние усилия пошли насмарку, и цель не была достигнута.

— Главное — накормить, одеть и обуть людей, — повторял отец. Он всегда остро вспоминал и голод, и разруху гражданской войны, послевоенный голод на Украине, лежавшие у дороги трупы, людоедство. Для того чтобы это никогда не повторилось, чтобы наше государство по праву заняло достойное место среди сильнейших и богатейших стран мира, он и предпринимал все усилия, на это была направлена вся его кипучая энергия.

И раньше, при нем, дела шли не так, как хотелось бы, многие затеи кончились неудачами, провалились; сейчас же, видел отец, при полном попустительстве и даже

содействии власти разваливается даже то малое, что еще оставалось. Это было самым ужасным — вся жизнь, казалось, прошла зря, и все, на что были положены годы упорного труда, гниет на помойке. Так заканчивался переходный период от бурных 60-х к застою 70-х.

Физические силы отца тоже были на исходе, приближалось восьмидесятилетие.

Зимой 71-го года отец сильно сдал. Было явно видно, что организм ослабел. Очевидно, наступил тот физиологический момент, когда все органы разом начинают отказывать. Все чаще и чаще его одолевали мрачные мысли, и тогда он горько сетовал:

— Вот, пришло время, стал я никому не нужен. Зря только хожу по земле, хоть в петлю лезь.

Мы, конечно. бодро возражали как могли, протестуя против таких настроений, но наши энергичные протесты не приносили желаемого результата — отец мрачнел на глазах. Ясно было, что это не сиюминутная слабость, а проявление каких-то глубинных процессов в его душе.

При этом внешне жизнь не изменилась. Распорядок дня оставался прежним. Как я уже упомянул, потихоньку отец начал опять диктовать воспоминания.

Наступила весна. Как обычно, 17 апреля собрались все, кто позволял себе приехать в Петрово-Дальнее поздравить отца с днем рождения. Он, как и прежде, не поощрял обычного сборища родных и друзей, ворчал, но, конечно, внимание было ему приятно. По традиции все отправились на луг, постояли на «ужиной горке». Земля отогревалась, появились первые цветы. Обошли огород. За время болезни отца он пришел в запустение — не было заботливой хозяйской руки.

Отец походил между грядками, потыкал в землю своей палочкой, вздохнул и заявил нам:

— Врач работать запрещает, так что в этом году огород заводить не будем.

Грустно было ему это говорить. Все хором стали возражать, даже самые ленивые.

Огород общими усилиями мы все-таки затеяли, правда, поменьше, чем обычно. Когда земля оттаяла, приехали друзья, всем миром вскопали землю, разрыхлили и засеяли. Отец был доволен, следил, чтобы все

было сделано по науке, поругивал нас за «безрукость», показывал, как надо разравнивать, подбирать землю на грядки.

Весеннее солнышко, просыпавшаяся природа разогнали его хандру. Отец казался прежним — деятельным, с неизменной улыбкой и энергией. Вот только сам поработать тяпкой или лопатой уже не мог. Два-три взмаха — и лицо его серело, он начинал тяжело дышать и возвращался на свой неизменный раскладной стульчик. Отдышавшись, грустно шутил: «Теперь я бездельник. Могу только командовать».

Сам он так и не смог работать, с надеждой ожидая выходные. В уме готовил план действий к приезду «рабочей силы». Дел было много. Надо было успеть за два дня сделать то, что раньше он сам делал за неделю. Наконец приезжали дети. Обычно кроме меня это был муж Лены — Витя, реже внуки Юля и Юра. Рада с Алексеем Ивановичем проводили конец недели чаще у себя на даче.

Отец вел «бригаду», так он называл нас, на поле, раздавал задания, а сам наблюдал, как идут дела. Постепенно работа его захватывала, он начинал давать указания, сердиться на наши огрехи. Наконец, не выдержав, вскакивал и начинал показывать, как держать тяпку или полоть одуванчики. Мы всячески поддерживали огород, выполняли его агротехнические указания. Выглядели грядки неплохо.

Наступило лето, подошел июль. Свой день рождения я решил отпраздновать на даче. В Петрово-Дальнем собралась шумная компания. Все хорошо знали и уважали отца, а ему было приятно и увидеть знакомые лица, и пообщаться со «свежими» людьми. Мы, родные, порядком поднадоели ему.

Как водится, первым делом отец повел всех на огород. Выслушав заслуженные похвалы, не преминул посетовать на низкую квалификацию помощников. Потом все отправились в дом, куда он пригласил нас на «угощение» музыкой. Гости набились в спальню отца, где стоял его проигрыватель.

Отец, предвкушая удовольствие, стал перебирать пластинки, горкой лежавшие на столике у его кресла и на

подоконнике. Программу мы знали, но ритуала никто не нарушал.

Покопавшись в пластинках, отец улыбнулся:

— Начнем с украинских песен, моих любимых.

Все дружно поддержали.

И вот звучат: «Взяв би я бандуру», «Реве та стогне Днiпр широкий» и, наконец, самые любимые, в исполнении Козловского: «Дивлюсь я на небо» и «Чорнii брови, карii очi».

Отец сидит в кресле, глаза его полуприкрыты, губы шевелятся, про себя он подпевает.

Затем следуют русские народные песни, арии из опер и в завершение голос Руслановой. Задорная песня напоминает отцу дни его молодости.

Наконец концерт окончен, и все разбредаются по лесу. Главное угощение — шашлык — требует костра. Гости отправляются за дровами.

Отец ненадолго исчез и вернулся со своим фотоаппаратом «Хассельблат». На очереди — ритуал фотографирования.

Сначала общее фото у костра. Затем гости попросили разрешения сфотографироваться с отцом.

Это был последний сбор в Петрово-Дальнем...

В конце июля я собрался в отпуск, хотел как обычно попутешествовать на машине с палаткой. Потом засомневался. Спросил отца.

— Нечего тебе здесь делать. Только мешать мне будешь. Поезжай,— выпроваживал он меня.

Отец не переносил мысли, что он невольно требует повышенного внимания, заставляя близких поступаться своими планами. Больше всего он боялся стать обузой для нас.

Оснований для особого беспокойства не было, и я уехал. С дороги часто звонил, все было в порядке. Через месяц я вернулся, намереваясь остаток отпуска провести дома. Отец выглядел по-прежнему.

Мама рассказала мне, что пока меня не было, он опять стал говорить о ненужности, бессмысленности своей жизни, несколько раз заговаривал о самоубийстве.

Владимир Григорьевич Беззубик отнесся к этим разговорам весьма серьезно, долго беседовал с отцом и советовал маме не оставлять его надолго одного. Приступы меланхолии проходили, и снова отец шутил, рассказывал, гулял.

В конце августа внучка Юля привезла в гости Евгения Александровича Евтушенко, давно просившего о встрече. Отец был рад гостю. Они провели вместе несколько часов. Отец рассказывал о смерти Сталина, аресте Берии.

После отставки отца я его постоянно фотографировал, снимал на кинопленку. Раньше этим занимались профессионалы. Людей, записывавших каждое слово, фиксировавших каждое его движение, было более чем достаточно. В доме скопились горы альбомов. Теперь у меня не было конкурентов. Впрочем, не было и заказов на мою продукцию. Но я твердо верил, что придет время, и мои материалы потребуются истории.

В те годы я был убежден, что произойдет это при моей жизни. Со временем уверенности у меня поубавилось. Все чаще меня стал занимать вопрос: кому передать эти материалы? Казалось, фамилию Хрущев прочно забыли, иные же доброхоты плодотворно лепили образ сталинского шута, малообразованного чудака-кукурузника из анекдота.

В том году мне удалось приобрести кинокамеру, синхронизированную с магнитофоном. Последние недели я ее активно опробовал на встречах отца с отдыхающими дома отдыха.

Теперь пришла очередь сниматься Евтушенко. Я одним ухом слушал разговор, целиком поглощенный съемкой. Помню, они заговорили о 60-х годах, памятных обоим, когда было сказано много резких и несправедливых слов, разъединивших отца и искренне поддерживавших его дело, порожденных его временем литераторов, художников, кинематографистов. Отец не раз вспоминал об этих встречах. Сейчас он переосмыслил происходившие в пылу борьбы столкновения, по-иному оценивал свои высказывания. Он тогда сказал Евтушенко, что чувствует свою вину перед молодыми людьми искусства за резкие слова, сказанные в их адрес.

Вернулись домой. Отец озяб, попросил чай. Тут инициатива перешла к Евтушенко. Он стал рассказывать о

своих недавних поездках по стране. Особенно его поразило полное незнание современной молодежью жизни при Сталине, масштабов репрессий. Он сказал, что недавно был на Байкале, встречался с рабочими, интеллигентами и завел разговор о сталинских репрессиях. На вопрос, сколько примерно тогда погибло людей, ему ответили: тысячи две. Кто-то поправил: больше, тысяч двадцать. То есть они даже приблизительно не представляют, что́ тогда происходило!

Вскоре Евгений Александрович собрался уезжать. Отец вышел на крыльцо проводить гостя. Евтушенко поблагодарил отца за прием, а тот, в свою очередь, пригласил его заезжать...

Настала осень.

Отпуск мой кончился, и в Петрово-Дальнем я стал бывать только по выходным.

В воскресенье, 5 сентября, отец с мамой собрались в гости к Раде на дачу. Дорога была неблизкой, километров шестьдесят, и такие поездки превращались в целое путешествие. Это разнообразило жизнь отца — он встречался с новыми людьми, заряжался новыми впечатлениями.

К сожалению, поездка не удалась. Отец почувствовал себя плохо, защемило сердце. Мама дала ему таблетку, и он кое-как отсиделся на стульчике, который и здесь был с ним. Раньше обычного они вернулись домой. Отец принял еще лекарство, и, хотя оно не помогло, хуже ему, кажется, не стало. В воскресенье врача решили не беспокоить.

Ночь не принесла облегчения, темнота давила на грудь, стало трудно дышать. Отец позвал маму — дверь в ее комнату на всякий случай не закрывалась.

— Посиди со мной, мне как-то тяжело. Видно, эту осень я не переживу,— с каким-то детским испугом сказал ей отец.

Утром приехал Беззубик. Посмотрел, послушал, ничего угрожающего не нашел, но посоветовал лечь в больницу. Отец в больницу не хотел, и Владимир Григорьевич не настаивал. Но днем приступ повторился, и Беззубик стал неумолим. Правда, и отец присмирел, только попросил, чтобы отвезли его на «Волге». Очень он не любил «кареты», говоря, что чувствует себя в них почти покой-

ником. Владимир Григорьевич согласился. Стали ждать машину.

Мама позвонила мне на работу. Сказала, что отца забирают в больницу. Я бросил все свои дела и помчался на дачу. Но не успел. Отца уже увезли. Дома была только мама — растерянная, какая-то жалкая. Она словно пыталась сама себя успокоить, объясняя мне, что у отца инфаркта нет, а это хорошо, но самочувствие плохое. «Авось обойдется»,— без особой уверенности заключила она.

Я привычно снял катушку с последней диктовкой отца с магнитофона, убрал ее в свой портфель. На магнитофон поставил чистую. Посидел в отцовском кресле, на душе скребли кошки.

Наконец позвонил Владимир Григорьевич и сообщил, что доехали они благополучно, состояние отца удовлетворительное. Поговорить с ним пока нельзя — его поместили в палату, потом снимут кардиограмму, а вечером можно его навестить.

Как-то, когда отец в очередной раз слег, я спросил доктора Беззубика, что значит это пресловутое «удовлетворительное состояние». Владимир Григорьевич, помолчав, поглядел в потолок и тихим голосом объяснил, что отец находится в том возрасте, когда можно ожидать всего. Когда надеяться трудно, мы говорим «плохо». Все остальное — «удовлетворительно»...

И вот снова отец в больнице, и снова привычное: состояние удовлетворительное.

Вечером я зашел к нему. Выглядел он неплохо и вообще бодрился — сидел на кровати, смотрел телевизор. Сердце, видно, отпустило. Долго рассиживаться он мне не дал, стал шутя выпроваживать:

— Нечего время тратить. У тебя что, дел нет? Иди домой, передавай привет своим и вообще не мешай, видишь, я делом занят: таблетки пора принимать, температуру измерять. Нам тут скучать не дают. Завтра придешь — принеси что-нибудь почитать.

И тон, и слова были настолько привычны, что я невольно поддался им — все в порядке, скоро все пройдет.

Но на следующий день книги, которые я принес, не понадобились — ночью развился тяжелейший инфаркт. Отца даже остереглись переводить в реанимационное отделение, боясь, что он не выдержит перевозки.

Я тихо зашел в палату, и первое, что бросилось в глаза,— у постели капельница. Отец выглядел очень плохо: лицо серое, тяжелое, прерывистое дыхание. Без кислорода он уже не мог обходиться, но присутствия духа не терял. Кислород подводили к носу по двум прозрачным трубочкам. На лице их закрепляли пластырем. Отец еще находил силы дурачиться, обращаясь к дежурившей у его постели сестре:

— Что-то у меня усы растрепались, поправьте, пожалуйста.

Весь он был обвешан какими-то датчиками, а на экране опять бежала все та же зеленая линия.

Владимир Григорьевич не стал меня успокаивать, сказав, что состояние отца чрезвычайно тяжелое и конец может наступить каждую минуту. Оставалось надеяться на то, что организм у отца для его возраста очень здоровый.

Я, конечно, готов был верить любым оптимистичным прогнозам, но... Прошел день, а состояние не улучшалось.

Эти дни все мы — мама, сестры и я — меняли друг друга у постели отца. Утром в четверг, собираясь после работы заехать в больницу, я позвонил дежурной сестре.

— Еще дышит,— коротко ответила она на мой вопрос и повесила трубку.

Я кинулся в больницу, доктор объяснил, что прошедшая ночь была крайне тяжелой. У отца развилось дыхание Чейна-Стокса, но его удалось выправить, и состояние слегка стабилизировалось.

О пресловутом дыхании Чейна-Стокса я помнил со времени бюллетеней о болезни Сталина в марте 53-го. От этих слов веяло могильным холодом, неизбежностью смерти.

Осторожно приоткрыв дверь, я заглянул в палату. На высокой кровати лежал отец. Увидев меня, он попытался улыбнуться, но улыбка не получилась. Я посидел какое-то время, пытался что-то рассказать, но рассказ не клеился. Отец лежал, закрыв глаза,— то ли уснул, то ли просто не было сил поднять веки. Но вот он открыл глаза.

— Уходи,— пробормотал он привычную шутку,— не видишь — я занят. Не трать зря время...

Посидев еще немного, я ушел. Меня сменили мама, Рада и Лена.

В пятницу отцу стало чуть лучше. Собрался очередной консилиум, констатировавший, что в сравнении со вчерашним положение, как записали в истории болезни, не крайне, а очень тяжелое. Но и это вселяло призрачную надежду.

На следующий день, 11 сентября, отцу еще немного полегчало. Мама, когда я позвонил, была в больнице и на мой вопрос об отце сказала:

— Здесь много народу — и я, и Рада, так что ты сейчас не приезжай, а то он сердится, гонит нас. Мы еще немного посидим и пойдем, а ты приезжай попозже.

Я спустился во двор и занялся машиной. Вскоре мне что-то понадобилось дома и я поднялся в квартиру. Еще за дверью услышал телефонный звонок. Подбежав к аппарату, схватил трубку. В эти дни каждый звонок вселял тревогу.

Это была мама:

— Отцу очень плохо. Приезжай немедленно.

Через пять минут я был на месте, но в палату меня не пустили.

Мама сидела на деревянном диванчике в коридоре:

— Я отошла на минуту, а когда вернулась... Там врачи что-то делают с ним... Реаниматоры... Меня попросили выйти. Я только слышала: «Никита Сергеевич, вдохните, вдохните!»

Я сел рядом, мимо пробегали сестры, врачи. Никто не обращал на нас внимания. Я увидел знакомую сестру, которая дежурила у отца последние дни. Бросился к ней.

— Очень, очень плохо,— на ходу она покачала головой.

— Безнадежно?

— Да. Видимо, да...

Я подошел к маме, сказал, что дело очень плохо. Она сидела с окаменевшим лицом.

Из палаты вышла дежурный врач Евгения Михайловна. Мы знали ее много лет, поскольку она давно работала в этой больнице. Молча села рядом с мамой.

— Ему очень больно?— как-то растерянно спросила мама.

— Нет... сейчас уже не так больно,—сдавленным голосом ответила Евгения Михайловна.

Такой ответ, видно, вселил в маму какую-то надежду. Она начала еще о чем-то спрашивать. Евгения Михайловна молчала, долго не отвечала, а потом, решившись, обняла маму, негромко произнесла:

— Он умер.

Мама заплакала. Евгения Михайловна плакала рядом с ней.

Я позвонил домой, через полчаса приехали остальные члены семьи. Нас завели в соседнюю пустую палату, попросив подождать. Мама плакала. Через некоторое время Евгения Михайловна подозвала меня и разрешила зайти в палату отца.

На лестничной площадке, перед дверью палаты, жадно курили трое дюжих парней — реаниматоры. Они проводили меня сочувственным взглядом.

Я вошел один. Отец сильно изменился. У него стало совершенно другое, незнакомое лицо: нос заострился, появилась горбинка. Нижняя челюсть подвязана бинтом. Простыня прикрывает его до подбородка. На стене алеют капли крови, целая полоса. Следы усилий реаниматоров.

Горло сжал спазм, но я понимал, что не могу давать волю чувствам, раскисать нельзя, силы еще понадобятся. Постоял несколько минут, дотронулся до лица, оно холодело. Поцеловал в лоб и вышел. Ноги у меня были ватные, в голове туман.

Зашел в палату, где сидели все наши. Невольно подумал о том, как тяжело будет маме увидеть отца, и, не очень соображая, что говорю, спросил:

— Может, ты сейчас не пойдешь?

— Что ты!— удивилась она.— Пойдем обязательно.

Все зашли к отцу. Сели вокруг. Я стоял сзади, у окна. Молча посидели какое-то время.

Евгения Михайловна, приглядывавшая за мамой, прошептала мне на ухо:

— Надо уходить. Скажите Нине Петровне.

Мы вышли. У дверей уже ждала каталка с носилками из морга. Отца повезли. Мы проводили его до лифта. Двери сомкнулись. Все двинулись к выходу.

По дороге Евгения Михайловна спросила так, чтобы не слышали остальные:

— У Никиты Сергеевича были золотые коронки?

— Да,— не понял я.

— А сколько?

Я пожал плечами.

Объяснять, что в морге могут выдернуть золотые коронки и у бывшего премьера, ведь там все равны, она не стала. А я этой стороны жизни просто не знал.

Мы спустились вниз. У подъезда маму ждала машина отца.

Мама и сестры сели в нее.

Вот и кончилось все...

— Сергей Никитич, задержитесь ненадолго,— замялась Евгения Михайловна.— Как быть со справкой, похоронами?

Тут наконец до меня дошло, что впереди масса хлопот. Раньше похоронами я не занимался.

Все эти годы по всем вопросам, касающимся отца, связь с внешним миром осуществлялась через начальника охраны. Ему высказывались просьбы, пожелания. Он кивал, и через несколько часов, дней или недель приносил обезличенный ответ — это можно, это нельзя.

Кинулся разыскивать в больнице Кондрашова или Лодыгина, возглавлявших последнее время охрану, но они исчезли. Подопечный их умер, на этом их функции закончились. Я окончательно растерялся. Евгения Михайловна поняла, что толку от меня не добьешься, и взяла дело в свои руки. Мы прошли в кабинет дежурного по больнице.

На большом столе стояла батарея телефонов. Из окна виднелось огромное серое здание Библиотеки имени Ленина.

Евгения Михайловна села за стол и уверенно сняла ближайшую трубку. Однако нас ожидали неудачи. Невидимые и неизвестные мне собеседники не могли ничего ответить: с таким случаем они никогда не сталкивались. Решение должны были принять где-то в другом месте. Они были абсолютно бессильны что-то предпринять и торопились закончить «опасный» для них разговор.

Наконец Евгения Михайловна дозвонилась до какого-то своего начальника, который, впрочем, не смог дать ответа на самые простые вопросы: можно ли выдать

справку мне? Как будут организованы похороны — на уровне государственном или частном?

Все произошло в субботу, мы, конечно, хотели добиться какой-то ясности как можно скорее.

Она сказала, что свидетельство о смерти сможет выдать после вскрытия, а сейчас ничего делать не следует.

Понятно было, что все вопросы, связанные со смертью и похоронами отца, будут решаться на самом высоком уровне и никто сейчас не возьмет на себя инициативу.

Но я, слабо соображая после всего пережитого, все-таки отдавал себе отчет, что предстоящая процедура легла на меня, а потому жаждал действий.

Евгения Михайловна успокаивала:

— Через пару часов все решится, и вам сообщат.

Наконец я понял, что все мои попытки что-то предпринять бесполезны, и поехал домой. Там никого не было, все уехали в Петрово-Дальнее. Я бесцельно бродил по комнатам. Вспоминались какие-то эпизоды, но я никак не мог представить себе отца, что в тот момент казалось мне очень важным. К горлу снова подкатил комок, и я заплакал. После этого мне полегчало — и я снова взял себя в руки.

Было горько сознавать, что даже посмертную судьбу отца будут определять чужие, враждебные ему люди, которые, несомненно, постараются, чтобы фамилия Хрущева затерялась в официальных сообщениях, а то и вообще не захотят сообщить людям о нашем несчастье.

Этого допустить я не мог и решил действовать сам. Ведь умер не просто мой отец, а крупный государственный деятель, сделавший столько хорошего за свою жизнь. Пусть сейчас о нем молчат, а то и говорят гадости, но я знаю, найдутся и те, кто посочувствует нам, вместе с нами поклонится его праху.

Сняв трубку, я набрал номер телефона моего знакомого английского журналиста. Через него о случившемся узнает весь мир. Он сразу снял трубку, как будто ждал моего звонка. Выразил мне свои соболезнования, по голосу чувствовалось, что они идут от сердца. Как мог, он успокоил меня и посоветовал ничего не предпринимать по собственной инициативе.

— Не суетись. Поезжай и поддержи мать. Сам ты ничего не добьешься. Надо ждать. Где положено примут решение, тебе останется только подчиниться. Вечером созвонимся,— трезво рассудил он.

Совет был дельный, и я решил поехать в Петрово-Дальнее.

Перед выездом позвонил на дачу. Трубку подняла Лена.

— Тут происходят ужасные вещи! Мы приехали и нашли дом запертым! Перед дверью — охранник. Он не хотел нас впускать без разрешения начальства. Мама тут же собралась уезжать, мы ее еле отговорили.

Начальники, правда, быстро появились — видимо, доложили по команде и вернулись. Так что дом открыли, но в комнату отца не пускали — ее опечатали, а перед дверью стоял часовой.

Лена в нашей семье всегда считалась самой бескомпромиссной, а уж в этом случае возмущению ее не было границ — она буквально кипела.

Так уж повелось, что наша жизнь всегда складывалась вокруг отца. Каждый шаг невольно сверялся с тем, как посмотрит на тот или иной поступок отец: похвалит, промолчит.

Поэтому для нас его смерть стала не просто потерей близкого и любимого человека; казалось, распалась связь вещей, нарушился ход нашего бытия. Эта опечатанная дверь стала словно символом этого крушения.

Я отправился на дачу.

Ход событий, о котором рассказала Лена, не был для меня неожиданным. Мне рассказывал о подобных случаях Серго Микоян. В последние годы эта практика установилась прочно — не дай бог исчезнет какой-нибудь документ. Думаю, основанием для подобных действий была не столько боязнь пропажи государственных секретов, сколько опасение обнаружить какие-то оценки, записки о ныне здравствующих руководителях. Для подобных операций выделялись специальные люди. Что в этом случае чувствуют родные, потерявшие близкого человека, никого не волновало. Как, впрочем, не беспокоила и такая мелочь, как конституционно закрепленная неприкосновенность жилища.

Через полчаса я был на даче. За это время нового

ничего не произошло. Часовой у двери спальни отца переминался с ноги на ногу, по его растерянному лицу было видно, что ему не по себе, стыдно за всех: за себя, торчащего в чужом доме в этот скорбный час, за тех, кто его послал. Но помочь ни ему, ни нам было некому. Мы просто старались его не замечать.

Я пошел к Кондрашову выяснить, что будет дальше и что нам делать. Он сказал, что должны приехать из ЦК, они просмотрят личные вещи отца и примут решение, что с ними делать.

Таким образом, нас ожидал обыск...

Наступил вечер. Но ситуация не изменилась — никаких сведений извне к нам не поступало. Наконец я не выдержал и опять зашел в комнату охраны. Оказывается, новости были, но Кондрашов даже не счел нужным проинформировать нас о том, что образована комиссия по разбору архива Никиты Сергеевича во главе с заведующим общим отделом ЦК Боголюбовым. Сюда уже выехали члены этой комиссии Аветисян и Кувшинов. Последнего я знал, он работал заместителем управляющего делами ЦК, и мне приходилось с ним сталкиваться по бытовым вопросам. Впечатление он производил хорошее. Об Аветисяне я слышал впервые.

Я намеревался предупредить маму, чтобы эти люди не свалились как снег на голову, но не успел закончить разговор с Кондрашовым, как к дому подъехала машина. Из нее вышли два человека в темных пальто и шляпах. Они топтались у входа, не решаясь войти в дом. Кувшинова я узнал, второй, среднего роста, в очках в тонкой золотой оправе, по-видимому, и был Аветисян.

Вместе с Кондрашовым мы направились к приехавшим. Кувшинов ободряюще пожал мне руку. Я пригласил их в дом. Кондрашов шел следом за нами. Выразив соболезнование маме, они извинились за вторжение, но, что поделаешь, таков порядок, и установлен он не ими. Они лишь выполняют свой служебный долг. Охранника отпустили, сломали печать, открыли дверь, ключ от которой был у приехавших. У нас попросили ключи от сейфа, стоявшего в комнате.

В первую очередь их интересовали бумаги и магнитофонные пленки. Памятуя историю с изъятием мемуар-

ных материалов, я молчал, вмешиваться было бесполезно.

Очистив сейф, двинулись дальше. Магнитофонные пленки забирались без разбора. На наши объяснения внимания не обращали — в портфель перекочевали и записи музыки, и утренней зарядки, и просто чистые пленки. Маме почему-то очень не хотелось отдавать пленку с зарядкой. Методист-физкультурник, начитавший текст, начинал ее словами:

— Доброе утро, Никита Сергеевич! Как вы сегодня спали?

Наши слабые протесты не помогали, посетители были непреклонны. Нам, правда, пообещали, что после прослушивания вернут все материалы, не представляющие исторической ценности и не содержащие государственных секретов. Действительно, запись зарядки вернули через несколько месяцев после неоднократных напоминаний. Остальные пленки, в том числе и чистые, предназначавшиеся для воспоминаний, остались там.

Осмотр бумаг отца не составил труда. Архива у него, по сути дела, не было. Все его деловые бумаги хранились в ЦК, мемуары забрали в прошлом году, а переписка не интересовала наших «гостей».

Они методично осматривали комнату. Заглядывали во все ящики, коробочки, гардероб, листали книги, сложенные на столе у кресла и на подоконнике. Каждую заинтересовавшую их бумагу они внимательно просматривали, показывали маме, а затем Аветисян прятал ее в свой необъятный портфель. Особое внимание почему-то привлек проигрыватель.

Лена и я растерянно наблюдали за происходящим. Я молчал, понимая, как я уже сказал, бессмысленность всякого вмешательства. Опыт у меня уже был. А Лена кипела, вставляла колкие замечания. Когда на подоконнике среди книг Аветисян нашел отпечатанное на машинке стихотворение Мандельштама о Сталине и, прочитав его, стал засовывать в портфель, она взорвалась.

Как-то академик Лев Андреевич Арцимович с женой Неллей заезжали поздравить отца с днем рождения. Это стихотворение они преподнесли в качестве подарка. Лев Андреевич написал в уголке многозначительное посвяще-

ние отцу. Текста его я не помню, но в нем говорилось что-то о репрессиях и освежающем ветре XX съезда. Словом, ничего крамольного. Вот это посвящение и привлекло особое внимание Аветисяна. Он поинтересовался, кто написал стихотворение. Услышав в ответ, что его автор Мандельштам, он похмыкал и осведомился, кто сделал приписку.

Вот тут Лена не выдержала и с возмущением стала говорить Аветисяну, что он не имеет права изымать подарок академика отцу, что это память для нашей семьи.

Они выслушали Ленину отповедь молча. А когда та выдохлась, Аветисян тихим бесцветным голосом вежливо пояснил, что стихи Мандельштама с дарственной надписью Хрущеву от Арцимовича представляют большую историческую ценность, а посему должны храниться в архиве ЦК.

Возмущенная Лена выскочила из комнаты.

Что еще забрали? Мне запомнился оригинал приветствия Президиума ЦК по случаю 70-летия Хрущева с подлинными подписями всех членов Президиума, текст его я привел в первой главе. Напомню, там говорилось, что все они счастливы работать вместе и под руководством Никиты Сергеевича, желают ему многих лет жизни и плодотворной деятельности. Приветствие это в свое время было опубликовано во всех газетах. Изъятие этого адреса было закономерно. Сегодня слова приветствия явно не соответствовали духу времени.

Но вот почему забрали орденские грамоты за подписью М. И. Калинина, мы так и не поняли. Больше ничего интересного для них не оказалось.

Товарищ Аветисян попросил нас в случае, если мы найдем что-то интересное, сообщить в ЦК. Все документы, связанные с жизнью Хрущева, очень важны для истории, подчеркнул он.

Я уже знал цену подобным словам, но мама бесхитростно предложила:

— У меня хранится магнитофонная запись выступления Никиты Сергеевича на XVI съезде Компартии Украины, пластинки с его голосом, другие материалы съездов.

Аветисян сказал, что эти материалы можно оставить в семье...

На дворе было совсем темно. Я посмотрел на часы — начало девятого.

Но одного вопроса, причем важнейшего, наши визитеры так и не затронули: как и когда будет сообщено о смерти отца и как будут организованы похороны.

Я ждал, когда они коснутся этой темы, но, к своему удивлению, так и не дождался. Комиссия работу закончила, собралась уезжать. Лишь тогда я спросил, есть ли решение о порядке похорон. Оказалось — есть. Сами они об этом не вспомнили, поскольку были поглощены другими заботами.

Все уже было расписано: похороны будут неофициальные, семейные, состоятся они на Новодевичьем кладбище. Сообщение о смерти Хрущева будет опубликовано утром в понедельник, тогда же, в 10 утра, прощание в Кунцевской больнице и в 12 часов похороны. Расходы по похоронам берет на себя ЦК КПСС.

Церемония была предусмотрена очень оперативная, без задержек. Кувшинов оставил свои служебный и домашний телефоны:

— Если будут вопросы по организации похорон, обращайтесь прямо ко мне.

Мама сказала, что она позвонила в Киев. Завтра приедет Юлия Никитична с мужем, другие родственники.

Тут до меня дошло, что сообщение о смерти отца дойдет до людей в лучшем случае одновременно с похоронами, а то и позже. И, конечно, все это продуманно, не случайно. Я решил обзвонить всех, кого только возможно, чтобы оповестить о похоронах как можно больший круг людей. Я был возмущен до крайности, и какое-то время меня обуревало желание сорвать эту мелкую, гадливую провокацию. Впрочем, я быстро одумался, решив, что за подобные поступки их будет судить история, а наша задача — достойно похоронить отца.

Как мы договорились с моим приятелем, английским корреспондентом, я позвонил ему вечером. Он рассказал мне, что все крупнейшие информационные агентства мира уже передали сообщение о смерти Хрущева, при этом даются обширные комментарии, аналитические статьи, и общий тон этих сообщений положительный, без выпадов. Высоко оценивается роль отца в деле осуществления политики мирного сосуществования, отмечаются и дру-

гие его добрые дела. «Слушай радио. Сегодня весь мир говорит о твоем отце»,— закончил он.

Стало чуть легче. После последних напряженных часов доброе слово было так необходимо.

Я рассказал об этом разговоре домашним и опять засел за телефон. Обзвонил друзей, знакомых, сообщил о времени похорон, выслушал неизбежные соболезнования, в свою очередь попросил их сообщить всем, кому только возможно.

Конечно, я сразу подумал о Микояне. Мне очень хотелось пригласить Анастаса Ивановича, старого друга отца, единственного, кто его поддерживал в тяжелые дни октября 1964 года. В то же время я знал, что положение Микояна сложное, он, как и отец, не в чести у власть предержащих. Его появление на похоронах может быть расценено как вызов. Поколебавшись, я набрал номер квартиры Серго. Он был дома, но еще ничего не знал.

Сказав мне какие-то добрые слова сочувствия, он заверил, что обязательно придет проститься, а сегодня вечером, когда поедет на дачу к отцу, сообщит ему о случившемся.

Пока я обзванивал друзей и знакомых, вдруг сообразил, что раз прощание назначено на 10 утра, людям придется вставать ни свет ни заря — ведь добираться предстоит в загородную больницу в Кунцево. Тогда это было значительно сложнее, чем сейчас. Место было действительно загородным.

Посоветовавшись с домашними, я решил позвонить Кувшинову с просьбой перенести начало ритуала на более поздний час. Был уже вечер, и я звонил ему домой. Он был чрезвычайно любезен, но непреклонен, поскольку у него, очевидно, были жесткие инструкции, а посему Кувшинов заявил, что решение принято и другого помещения для прощания найти невозможно, время прощания перенести нельзя, есть и другие умершие. Там тоже очередь. У них тоже горе. Да и время похорон перенести никак невозможно.

Говорить все это ему было, видимо, неприятно, и он сменил тему, сказав, что завтра будут готовить могилу на кладбище. Он предложил мне посмотреть место и, если оно не понравится, подыскать другое. Он, со своей стороны, обещал созвониться с кладбищем и дать необходимые распоряжения.

Впоследствии стало ясно, что эта его любезность оказалась чрезвычайно важной: нам удалось подыскать видное место для могилы, удобное для посещения.

Честно говоря, мы ждали, что позвонит кто-нибудь из членов Политбюро. Ведь и с Брежневым, и с другими отец не только проработал десятилетия — большинство из них выросли под его руководством, они дружили, ходили друг к другу в гости, хорошо знали маму да и всю нашу семью. Смерть уравнивает всех, и что, в сущности, значат перед ней людские ссоры и политические конфликты? Правда, для того чтобы это понять, необходима определенная степень внутренней культуры.

Никто из них так и не позвонил...

Поздно вечером мы включили радио. Желая избавиться от подслушивания, вышли на крыльцо. Так и сидели там на скамейке в темноте холодной ночи, слушая сквозь помехи и работу глушилок различные «голоса». Все они, кроме Московского радио, говорили о смерти отца, зачитывались соответствующие сообщения, комментарии, воспоминания.

Проскользнуло в эфире и первое официальное соболезнование в адрес Советского правительства. Его направил мало известный в ту пору политический деятель Мадагаскара Дидье Рацирака, который впоследствии стал президентом этого государства. Видимо, там, на Мадагаскаре, не очень разбирались в тонкостях наших внутренних взаимоотношений, но международный протокол знали.

Вообще соболезнования создали своеобразную проблему для чиновников Совета Министров и Министерства иностранных дел. Никто не знал, как к ним относиться. Однако безвыходных положений не бывает, и быстро нашелся выход из создавшегося положения. От извинявшегося почтальона местного отделения связи мы еще долго, до самого Нового года, получали грязные, небрежно разорванные пакеты с посланиями глав правительств, президентов, руководителей коммунистических партий, общественных деятелей и — самое ценное — просто от людей, помнивших и чтивших отца. Их было много...

Соболезнований набралось немало — целый чемодан. Перебираю пачки телеграмм, писем и выбираю наугад.

Иосип Броз Тито и Янош Кадар, Аминаторе Фанфани и Урхо Кекконен, Жаклин Кеннеди и семья посла Томпсона, семья фермера Гарста и семья Рерихов (к Гарстам и Рерихам отец испытывал особенно теплые дружеские чувства)... Всех, конечно, не перечислишь.

Письма шли и на домашний адрес, и моей сестре Раде в журнал «Наука и жизнь», и просто в Москву — вдове Хрущева. Многие соболезнования так и не дошли до адресата, в том числе с Мадагаскара, о них мы узнавали из газет.

Весь конец этого года и начало следующего мама писала ответы с благодарностью за соболезнования. Думаю, правда, что не все, ею написанное, дошло по назначению.

Один из таких ответов имел особую историю.

Очень теплые строки в связи с кончиной отца прислал академик Андрей Дмитриевич Сахаров. Он был уже сильно не в чести, а размолвки его с властями начались еще при Хрущеве. В конце 50-х годов для меня, молодого инженера, он — самый молодой академик, «отец водородной бомбы» — был личностью легендарной. Я с ним не был знаком даже шапочно, но отец часто рассказывал его историю, относясь к нему (не найду другого слова) даже с некоторым благоговением.

Не помешало этому и их резкое расхождение во взглядах на возобновление нами атомных испытаний после моратория, спор о моральных аспектах решения о взрыве чудовищного многомегатонного устройства на Новой Земле. Они не понимали друг друга, говорили на разных языках. Каждый остался при своем мнении. Победил Хрущев, поскольку на его стороне была сила, он принимал решение. Та серия испытаний завершилась взрывом, потрясшим весь мир.

Как обычно, успешную работу завершало награждение орденами. На сей раз оно было особенно обильным. Никита Сергеевич, как правило, в эти дела не вникал, списки готовили ведомства, Президиум ЦК только парафировал награждение. Я случайно присутствовал в тот момент, когда отцу доложили о том, что списки подготовлены, осталось только получить "добро" на оформление Указа в Президиуме Верховного Совета СССР. Дело происходило на даче.

Отец спросил помощника, включен ли в список на присвоение звания Героя Социалистического Труда академик Сахаров. К тому времени Андрей Дмитриевич уже был дважды Героем.

Оказалось, фамилия Сахарова отсутствует — он-де не принимал активного участия и, более того, выступал против проведения испытания.

Отец возмутился. И загремел, что это безобразие! Вклад Сахарова в нашу оборону огромен. Пусть у них разные точки зрения, но каждый делает свое дело. Они — как руководители государства, он — как ученый. Хорошо, что они спорят, высказывая, обсуждая разные точки, подходы. В этом шанс совершить меньше ошибок. Они не согласились с Сахаровым, не послушались его, тем более его награждение будет свидетельствовать об уважении правительства к его точке зрения. С такими людьми, как Сахаров, надо говорить, убеждать их, они многого не понимают, живут в своем мире, далеком от перипетий политических и межгосударственных отношений, где куда больше грязи, чем хотелось бы. Но и взгляды Сахарова при всей их наивности интересны. Они идут от сердца, от желания блага всем людям. К ним надо прислушиваться.

Так Андрей Дмитриевич Сахаров стал трижды Героем Социалистического Труда.

Каждый пошел своим нелегким путем. Наблюдая, будучи в отставке, процесс дальнейшего взаимного отчуждения академика Сахарова и советского руководства, отец переживал, говоря, что с таким человеком надо разговаривать, а не выговаривать ему. Его надо выслушать, поспорить. Только так можно прийти к конструктивному решению, остаться на общих позициях. Они же делают его своим врагом. Это непростительная ошибка.

Во время наших прогулок по тропкам Петрово-Дальнего он не раз возвращался к судьбе Сахарова. Парадоксально, но они оба — и Хрущев, и Сахаров — жили на одинаковом положении диссидентов. Правда, каждый по-своему был не согласен с проводившейся тогда политикой, но не менялось главное: их мысли о том, как сделать наш мир лучше, справедливее, просто никому не были нужны. Было бы куда спокойнее, если бы вообще не существовало ни Хрущева, ни Сахарова, ни

многих других, кому в результате не нашлось места на Родине.

И вот теперь мама написала ответ на соболезнование Андрея Дмитриевича, и встал вопрос, как отправить его Сахарову. И хотя адрес был известен, не было сомнений, что по почте письмо не дойдет. Я решил отвезти его сам. Не скрою, мне очень хотелось познакомиться с Андреем Дмитриевичем.

Ехать предстояло далеко, в незнакомый район. В то время за мной опять стали приглядывать, и я не удивился, когда, подъезжая у Сокола к развилке Волоколамского шоссе, углядел две знакомые «Волги».

Я кружил и кружил по щукинским улицам, а нужная все не находилась. Наконец, расспросив редких прохожих, нашел дом. Подъехать к нему не удалось, не было дороги. Дальше предстояло идти по тропке вокруг дома. Мой «эскорт» остался где-то позади, а, может быть, впереди меня ждали их коллеги. Нервничая, я нашел подъезд. У дверей никого не было. Лишь поднимаясь по лестнице, я услышал внизу чьи-то шаги. На мой звонок быстро отозвались, дверь открылась. Я назвался. Увы, меня ждало разочарование. Андрея Дмитриевича дома не было. Знакомство наше не состоялось. Оставалось передать конверт и ретироваться. У подъезда беседовали два высоких человека в темных демисезонных пальто. Мы «не обратили» друг на друга внимания, каждый занимался своим делом, и какое им дело до случайного прохожего. На обратном пути разглядывать в зеркало заднего вида моих сопровождающих, выискивать их среди других машин не хотелось. И так было ясно, что они тут. Я ехал домой и думал о странностях судьбы: я пробирался темными закоулками, чтобы передать выдающемуся ученому благодарность за соболезнование по случаю смерти бывшего главы нашего правительства!..

Впереди нас ждали грустные хлопоты.

В воскресенье мы поехали на Новодевичье кладбище. До этого я там бывал один или два раза. Многое я должен был узнать теперь в этом новом для меня месте. Ведь мне предстояло стать его постоянным посетителем.

Нас ждал директор, фамилия его была Аракчеев. Она меня поразила, поскольку в те дни все совпадения казались мне зловещими. Впоследствии у нас сложились

очень добрые отношения. Он оказался чрезвычайно порядочным и принципиальным человеком. К сожалению, когда кладбище закрыли для свободного посещения, он показался начальству не слишком удобным подчиненным — предлагал организовать экскурсии, издать каталог. После бурного партийного собрания появился новый директор кладбища...

Нас проводили к дальней стене. Почти в самом правом углу была вырыта могила, с которой начинался новый ряд. Место мне не понравилось. Я уже думал о памятнике. А тут не подойти, не развернуться. От дорожки могила отделяется непроходимым густым кустарником.

Я спросил, нельзя ли перенести захоронение на широкую аллею, пересекающую территорию кладбища поперек, там было много свободного места. Сейчас там могилы академика Янгеля, бывшего министра финансов Зверева, сына помощника Брежнева — Цуканова и других. Мои спутники посовещались и отказали — никак нельзя. Я понял — место слишком заметное и престижное.

— Тогда, может быть, можно выкопать могилу в том же ряду, но ближе к дорожке? — попросил я.

На этот раз возражений не было.

Выкопали новую могилу. Я стоял рядом, пока могильщики не закончили. Ранее предложенная могила недолго стояла пустой. В декабре в нее опустили нашего выдающегося поэта Александра Трифоновича Твардовского...

Закончив дела на кладбище, мы вернулись домой. Все готовились к завтрашнему дню: собирали ордена, мыли тарелки для поминок, расставляли мебель. Мы с Витей искали подходящую к случаю фотографию отца. Подобрав портрет десятилетней давности, принялись запаивать его в полиэтилен, чтобы уберечь от дождей.

Тем временем собирались родственники из других городов. Одни остались в городе ночевать на квартире, другие приехали в Петрово-Дальнее. Дом заполнялся людьми. Вечером опять слушали радио. Во всех странах комментировали смерть Хрущева. Москва по-прежнему хранила молчание.

Надо было расположить всех вновь прибывших на ночлег. Мест не хватало, заняли все диваны, поставили

раскладушки. Пустовала только комната отца. Мама предложила мне переночевать на его кровати. Я замялся, мне стало как-то жутко — еще неделю назад здесь спал он... Вслух я ничего не сказал. Лег. Всю ночь продумал об отце, глядел в потолок, вспоминались какие-то эпизоды недавнего прошлого...

В день похорон, понедельник 13 сентября, встали рано — надо было успеть в Кунцево до 10 часов. Я поспешил за газетами. В «Правде», без обычного некролога, внизу первой страницы мелким шрифтом было напечатано траурное сообщение: «Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР с прискорбием извещают, что 11 сентября 1971 года после тяжелой продолжительной болезни на 78 году жизни скончался бывший Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР, персональный пенсионер Никита Сергеевич Хрущев».

Бросилась в глаза формулировка: в подобных сообщениях писали «с глубоким прискорбием», а здесь ни ЦК, ни Совмину «глубоко» скорбеть не о ком. Потом мне рассказывали, что поначалу вообще хотели ограничиться траурной рамкой на последней странице, но главный редактор якобы категорически запротестовал, пригрозив отставкой — ведь ему отвечать перед всем миром.

До этого дня информацию о смерти работающего или отставного государственного деятеля всегда сопровождал некролог, помещенный в зависимости от ранга на второй или последней полосе. Сейчас же, похоже, не знали, что писать, а потому решили пойти по самому простому пути — промолчать.

Никто, видимо, тогда не подумал о последствиях, был создан прецедент: теперь появился новый обычай, когда о бывших министрах — персональных пенсионерах некролог сочиняется, а о бывших членах Президиума или Политбюро ЦК — персональных пенсионерах некролог не пишется. Так стало принято. С этим столкнулись позднее, когда вслед за отцом умер Андрей Андреевич Андреев. Родилась традиция. Так хоронили и Булганина, и Кириченко, и Первухина, и многих других...

Мама заставила всех позавтракать — впереди тяжелый день. Кусок не лез в горло, но пришлось подчиниться. Наконец отправились в морг.

По дороге в Кунцево я вдруг задумался о том, что

предстоит ставить памятник. Надо найти неординарное решение, которое соответствовало бы личности и судьбе отца. Но как это сделать? С чего начать? Я не знаком ни с одним скульптором, чрезвычайно далек от этого мира. Да и кто еще согласится? Одни струсят, с другими он поругался в Манеже. Вряд ли они согласятся...

Подъехали к ритуальному залу прощания в больнице. Небольшое красное кирпичное здание, тесный зальчик, рассчитанный только на родных. Перед зданием собралась толпа — в основном иностранные журналисты. Все сдержанны, предупредительны. Расступились перед нами, не задавая никаких вопросов. Мелькали и знакомые лица друзей. Кувшинов и Аветисян уже предупредили нас, что похороны чисто семейные, государство в этом мероприятии не участвует.

У гроба были только наши венки от родных и близких и скромный венок с надписью на ленте: «Товарищу Н.С. Хрущеву от ЦК КПСС и Совета Министров СССР».

Впрочем, государство все-таки участвовало в похоронах: вокруг было полно сотрудников органов госбезопасности, а в лесочке за забором расположились бронетранспортеры, солдаты в полной выкладке. Расхаживали командиры, что-то докладывавшие по рации. Словом, обстановка боевая.

Наконец все собрались. Было нас немного. Пробраться в тот день к залу прощания оказалось непросто. Мало того, что больница далеко от центра города, на подходе к залу начинали проверять документы, и, чтобы пройти дальше, нужно было доказать принадлежность или близость к нашей семье. Остальных просто не пускали.

Все прошли в зал. У гроба — ряд стульев для родных, по стенам тоже стулья. Никто, впрочем, не сел. Зазвучала траурная музыка. Окружив гроб полукругом, стояли родные, группа старых коммунистов, со многими из которых отец работал еще в Донбассе. Пришли наши друзья, мои товарищи по работе, соседи. Журналисты остались за порогом.

Отдельной группой держались официальные лица: управляющий делами ЦК КПСС Г.С. Павлов, еще кто-то, мне незнакомый, возможно, из КГБ.

Отец лежал в гробу строгий, совершенно не похожий на себя, с незнакомым, чужим лицом.

Стоявшая у гроба мама потянула меня за руку. Я наклонился, и она шепотом спросила, не узнавал ли я, где будет митинг и кто будет выступать?

Я отрицательно кивнул головой.

— Пойди узнай,— попросила она.

На ее лице застыло страдание, но она не плакала. Видимо, проблема траурного митинга волновала ее давно. В ее восприятии не укладывались похороны человека, связанного с общественной деятельностью, лишенные обычного в таких случаях ритуала.

Я понимал, что больше всего власти не хотят никаких речей и потому приняли решение о чисто семейных похоронах. В тот момент мне очень не хотелось ссориться с ними, идти поперек, просто не было на это сил, да и я не придавал надгробным речам особого значения. Но мама просила, и в тот момент я, понятно, не мог и подумать, чтобы отказать ей — любая мелочь имела для нее сейчас особое значение.

Я подошел к Павлову с этим вопросом. Он ответил, что так как похороны неофициальные, то и никакого митинга не предусмотрено. С таким ответом я не мог вернуться.

— Вы не будете возражать, если я скажу несколько слов и еще, может быть, кто-нибудь из друзей?

Чувствовалось, что мой собеседник находится в затруднительном положении. Эта миссия ему была явно неприятна, и он, очевидно, решил не выходить за рамки формально полученных указаний. Павлов пожал плечами: «Пожалуйста».

В том, что мне надо говорить, я не сомневался. Еще не зная, будет митинг или нет, на всякий случай я прикидывал, что сказать, искал нужные слова. Но не могу же я выступать один. Подойдя к группе старых коммунистов, я спросил их, кто хотел бы выступить. Они пошушукались, и одна из женщин ответила: «Гаврюша Пилипенко может сказать. Поговори с ним».

Однако Пилипенко отказался, сославшись на больное сердце. Стоявшая рядом маленькая седая женщина — Надежда Диманштейн, тоже знавшая отца еще по Украине, сейчас же предложила свои услуги.

Я хотел найти еще кого-нибудь помоложе, чтобы один сказал от старых товарищей, другой от молодого

поколения. На глаза мне попались стоявшие вместе Евтушенко и Трунин. Я вспомнил недавний приезд Евтушенко к отцу, их долгий разговор и подумал, что он не испугается. Это самая подходящая кандидатура. Я тут же предложил Евгению Александровичу выступить.

Он несколько опешил, но потом сказал, что, по его мнению, это лишнее. В молчании есть что-то более значительное, добавил Евтушенко.

С тем же предложением обратился к Трунину. С ним было проще: мы знали друг друга давно. Ему выступать тоже не хотелось. Я понимал его, ведь все это будет зафиксировано, и никто не знает, какими будут последствия.

— Если надо, я выступлю, но совершенно не знаю, о чем говорить. Решай сам, как ты скажешь, так и будет,— сказал Вадим.

Но я уже передумал. Трунин почти не был знаком с отцом, в первый и последний раз встретился с ним на даче в этом году. Я отошел.

Вадим выговаривал мне потом: он всю дорогу от зала прощания до кладбища готовился, но я его не позвал.

На глаза мне попался Вадим Васильев, мой старый друг еще по институту. Его отец погиб в сталинских лагерях, на него во всем можно было положиться, он-то не струсит. «Да, конечно, я скажу»,— ответил он не раздумывая.

Пока я организовывал митинг, время прощания истекло, пора было ехать на кладбище. Я подошел к маме и сообщил ей о митинге. Естественно, умолчав о том, как я договаривался. Для нее очень важна была позиция ЦК, и мои слова ее успокоили.

Навсегда запомнилась картина в зале прощания: рыдающие Юля-старшая и Юля-младшая, окаменевшая Рада и обессилевшая мама.

Присутствующие ушли из зала, мы остались с семьей. Это были самые тяжелые минуты. Мама собрала все силы и держалась молодцом. Рядом Рада.

Поцеловали отца. Страшно: совсем недавно это был живой, подвижный, веселый человек, а тут губы встречаются с каким-то чужим холодом...

У меня есть фотография, запечатлевшая вынос тела: Антон Григорьев — певец Большого театра, Валерий Самойлов, Семен Альперович — мои друзья и сослуживцы по ОКБ, Миша Жуковский — профессор, врач.

Сели в автобус, посередине стоял гроб. Тронулись. Впереди шла милицейская машина. За нами следовала машина из поликлиники с медицинской сестрой, на всякий случай, за ней еще несколько автомобилей. А следом растянулась кавалькада журналистов.

Едва мы тронулись, из лесочка, окружавшего ритуальный зал, посыпались солдаты — набилось их там много больше, чем показалось поначалу.

Выехали на Рублевское шоссе, и вот мы уже на Кутузовском проспекте. Не задерживаясь, проскакиваем перекрестки. Машины едут быстро, на мой взгляд, неприлично быстро для похоронной процессии. Вот и Бородинский мост. Здесь нет левого поворота, но за мостом специально по этому случаю стоял регулировщик. Четко выброшенный влево жезл остановил движение, и мы беспрепятственно и неожиданно для меня свернули на набережную. Значит, по Садовому кольцу мы не поедем. Очевидно, нас не хотели пускать по людным улицам.

Подъехали к Новодевичьему. Вокруг оцепление, войска, а за оцеплением группы людей. Свернули в ворота. Тогда кладбище было открыто для посещений. Поэтому в глаза сразу бросилось необычное объявление «Сегодня кладбище закрыто. Санитарный день». Мы проехали внутрь, а остальные машины остановились у входа. Миновали центральную площадку, где всегда стояла деревянная трибуна и постамент для гроба. Сегодня там ничего не было, их предусмотрительно убрали.

Как вспоминает Виталий Петрович Курильчик, работавший в то время заместителем начальника управления бытового и коммунального обслуживания Мосгорисполкома, в чьем ведении находились и кладбища, волнения у начальства по поводу возможного митинга на кладбище начались еще накануне, в воскресенье. Его разыскал дома какой-то работник ЦК, чтобы осведомиться, есть ли трибуна на кладбище. Узнав, что трибуна установлена на ритуальной площади, приказал ее убрать — на случай стихийного митинга. Виталий Петрович резонно возра-

зил, что ни присутствие, ни отсутствие трибуны погоды не сделает, и со своей стороны предложил объявить на кладбище санитарный день. Трибуну, правда, он тоже убрал. Курильчик отметил и грубое нарушение общепринятого ритуала похорон: машина не должна была въезжать на территорию кладбища.

Видимо, в тот день устроителям было не до приличий.

Доехав до упора, мы остановились: дальше вела узенькая дорожка, машине не проехать, и последние несколько десятков метров гроб несли на руках мои друзья: Юра Дедов, Юра Гаврилов, Володя Модестов, Петя Кримерман и многие другие.

Пока гроб устанавливали у могилы на металлическую подставку, я поспешил к воротом — надо было всех пропустить. Еще не раз я бегал к воротам, пропускал своих и всех тех, кому удалось пробраться через многочисленные кордоны.

Все было предусмотрено. Ближайшие станции метро не выпускали пассажиров, городской транспорт, шедший к кладбищу, не работал. Сотрудники КГБ и милиции придирчиво проверяли документы, и надо было проявить чудеса настойчивости и изобретательности, чтобы прорваться. Какой-то учитель привел к кладбищу отряд пионеров со знаменем. Разгонять их было поздно, и пионеров затолкали за военный автобус. Петю Якира попросту препроводили в отделение милиции. Были и другие прискорбные случаи, о которых мы узнали много позже. Каждого, проникшего к воротам и на территорию, не скрываясь,фотографировали сотрудники органов в штатском. Их было в избытке.

Всю дорогу, сидя у гроба, я мучительно раздумывал, что мне говорить. Никакой подготовленной речи у меня, понятно, не было, только обрывки ночных мыслей. Я, правда, вовсе не хотел говорить о конкретных заслугах отца. Во-первых, подобный тезис всегда спорен, да и сегодня это звучало бы вызовом, а задираться мне не хотелось. Естественно, не собирался я касаться и властей. Все суетное осталось для отца позади. Я так и не придумал ничего конкретного, но общая идея выступления у меня оформилась, слова должны были прийти сами собой.

На кладбище возникла новая проблема — без трибуны меня никто не увидит и не услышит. У могилы собралась довольно большая толпа. Видимо, на физическую невозможность проведения митинга и рассчитывал Павлов, не возражая против моей просьбы.

Я растерянно огляделся, мое внимание остановилось на куче земли, вынутой из могилы. Рядом на подставке — гроб с телом отца. У изголовья стояли мама, Лена, Рада, Юля, Юра, другие наши родные, еще какие-то знакомые и незнакомые люди. Не раздумывая, я полез на эту кучу. Сверху было хорошо видно. На меня внимания не обращали, я мало кому был знаком. Все молча ждали, что будет дальше. Толпа начала сжиматься вокруг.

Наконец я решился и сказал:

— Товарищи, мы сегодня прощаемся с нашим отцом Хрущевым Никитой Сергеевичем...

Дальше слова сами цеплялись друг за друга. Я говорил о том, что мы не проводим официальный траурный митинг, нет запланированных ораторов. Тем не менее я хочу сказать несколько слов о человеке, тело которого мы сейчас опустим в могилу.

Я сказал, что не хочу говорить о роли Никиты Сергеевича как государственного деятеля. Моя оценка — сына и современника — не может быть объективной. Свое суждение вынесет история, она расставит все на свои места, оценит каждого по заслугам. Единственно, в чем невозможно сомневаться, — это то, что Никита Сергеевич искренне стремился сделать все для построения нового, светлого мира, мира, где бы лучше жилось всем. Конечно, были на его пути и ошибки, но не ошибается тот, кто ничего не делает. А он делал, и делал много. Не вызывает сомнения, что личность Хрущева не будет забыта, она не оставляла и не оставляет никого равнодушным: у него есть друзья, есть и враги. И споры о нем, о его делах не затихнут еще долго. Это еще одно свидетельство того, что жизнь свою он прожил не зря. Я говорил о нем как об отце, моем отце, отце всего нашего семейства. Мы знали его совсем в иной жизни, дома. Он был хорошим отцом, мужем, другом. Он жив в наших сердцах. Пусть он остается в сердцах близких, в сердцах его многочисленных друзей. Нет слов, способных выразить наши чувства. Говорил я и о том, что мы потеряли человека,

который имел все основания называться Человеком. Не так много людей, которых можно поставить рядом с ним. Закончил я свое выступление традиционным прощанием:

— Да будет земля ему пухом!..

Сверху я видел микрофоны журналистов, протянутые ко мне, и старался говорить погромче. Мне хотелось, чтобы мои слова запомнились, еще раз напомнили людям о человеке, отдавшем им всю свою жизнь. Видел я и другое — рядом с каждым журналистом стояли похожие друг на друга люди в одинаковых одеждах и что-то громко бубнили, стараясь помешать записи.

Потом мне рассказывали, что, когда я начал говорить, среди присутствующих там по службе возникло замешательство: нельзя, не положено. Но действовать никто не решился, такой команды не поступало.

Я огляделся и предоставил слово Надежде Диманштейн, а сам отступил в сторону.

Несмотря на свой преклонный возраст, она легко вскарабкалась по скользкой глине и, глядя поверх голов, звонко заговорила. Она сказала о работе Никиты Сергеевича на Украине, где им пришлось работать рука об руку, об успешном решении возникавших задач. Потом она перешла к теме сталинских репрессий и реабилитации невинно пострадавших и роли в этом деле Хрущева.

Закончила она словами:

— Наш Никита Сергеевич всегда был честный, правдивый человек, настоящий ленинец. Прощай, дорогой товарищ!

После нее говорил Вадим Васильев. Он сказал о том, что у него наболело. О своем безвременно погибшем отце, о реабилитации, о других жертвах того времени.

— Низкий поклон тебе, дорогой Никита Сергеевич. Русский народ будет вечно помнить тебя,— закончил он.

Речи кончились, наступили минуты последнего прощания. Задние ряды стали напирать, всем хотелось сказать последнее «прости».

Я собрал своих друзей, мы образовали проход. По этому туннелю двинулись люди. Они клали цветы, прощались с отцом. Минут через пятнадцать охрана перекрыла проход, опять началась давка, и мне пришлось снова вмешаться, со мной не спорили, подчинялись. На-

конец прошли все. Последними, один за другим, потянулись иностранные журналисты. Советских журналистов там не было. В наших архивах это печальное событие не оставило документальных свидетельств.

Настало время прощаться и нам. Мама держалась с трудом.

Вот и все. Гроб опускается в могилу. Бросаем горсти земли. Заработали лопаты могильщиков, и выросший холмик покрылся немногочисленными венками, живыми цветами.

Мама не может удержаться и закрывает лицо платком. Ее бережно поддерживает Антон Григорьев.

В этот момент я увидел, что по дорожке от входа к могиле спешит человек с венком в руках. Мне он был незнаком. Запыхавшись, он с удовлетворением честно выполненного долга бережно уложил венок на могилу. На ленте мы прочли надпись «Никите Сергеевичу Хрущеву от Анастаса Ивановича Микояна».

Оказывается, Серго в субботу не сказал отцу о случившемся. Приехал он на дачу довольно поздно — Анастас Иванович допивал свой чай. Выглядел он усталым. Поговорили о том, о сем. Серго сомневался — надо ли сообщать о смерти Хрущева сейчас, на ночь глядя. Отец разволнуется, не сможет заснуть. Решил отложить сообщение до утра. А поскольку он возвращался в город, то попросил секретаря сообщить печальную новость Анастасу Ивановичу. Она жила вместе с семьей Микояна на даче.

Она горячо поддержала решение Серго перенести разговор на следующий день и заверила, что утром непременно все передаст. Конечно, она ничего ему не сказала. Тем, кто направлял ее действия, совсем не нужен был Микоян на похоронах Хрущева. Так что Анастас Иванович узнал о смерти Хрущева только утром в понедельник из газеты «Правда».

Отца похоронили. Толпа стала растекаться. Я непроизвольно заметил, как какой-то журналист, по виду японец, поднял из-под ног цветок и бережно положил его на могилу.

Друзей, близких и просто знакомых мама пригласила на поминки в Петрово-Дальнее. Пока доехали, тучи разошлись, выглянуло солнце.

14—3478

Собрались за большим столом. Места хватило всем, хотя и было тесновато. Говорили много. Одни лучше, другие хуже, но все тепло. Особенно мне вспоминаются добрые слова Петра Михайловича Кримермана и Михаила Александровича Жуковского. До 1964 года они с отцом знакомы не были. Когда же старые «друзья» разбежались, именно они стали его собеседниками и товарищами. И сегодня они пришли разделить наше горе, и их слова об отце звучали особенно задушевно.

Вспоминаются еще несколько эпизодов, завершивших этот нелегкий день. К нам пришел некий молодой человек, студент факультета журналистики. Он не смог пробиться на кладбище и добрался до дачи, узнав каким-то образом адрес, чтобы выразить свои соболезнования. В течение нескольких лет он звонил мне, иногда заходил, потом исчез...

Прошло несколько часов, за столом стало шумно, часть гостей, разбившись на группки, о чем-то беседовала в парке. Тут и произошел незначительный, но запомнившийся эпизод.

Я стоял у крыльца, когда прибежал потрясенный Миша Жуковский.

— Ты знаешь, я тут гулял, зашел за угол,— он показал на дом охраны,— слышу голоса. Прислушался, а это мы, выступает кто-то.

Был он не столько испуган, сколько заинтригован. Меня эти вещи давно не волновали, и я успокоил его:

— Это обычная подслушивающая система.

Вскоре нам рассказали о Льве Андреевиче Арцимовиче. Он не мог быть на похоронах, возглавляя делегацию на научном конгрессе в Швейцарии. На заседании в день похорон он попросил всех почтить память Хрущева. Думаю, что кто-то другой на подобное не осмелился бы. На следующий день после похорон позвонил с выражением соболезнований мэр Сан-Франциско Джордж Кристофер. Оказалось, он только вчера прилетел в Москву по какому-то делу, рассчитывая встретиться с отцом, привез ему сувениры. Из газет он узнал о постигшем нас горе, неведомыми путями разыскал мой телефон. Мы договорились о встрече на следующий день в его номере в гостинице «Националь».

Отец познакомился с господином Кристофером в 1959

году во время его визита в США. Тогда впервые глава Советского правительства и к тому же еще секретарь ЦК Коммунистической партии должен был ступить на американскую землю. Отец гордился приглашением, видел в нем признание возросшей мощи нашей страны, ее авторитета в международном сообществе.

Подготовка к визиту велась на государственной даче на Пицунде. Отец, Громыко, помощники под тентом на морском берегу с жаром обсуждали стратегию поведения, старались предугадать возможные неожиданности, согласовывали последние редакции речей. Не раз отец возвращался к волновавшей его теме, говоря, что разве можно было представить двадцать лет назад, что мощнейшая капиталистическая страна пригласит в гости коммуниста. Это невероятно. Сейчас же они не могут с нами не считаться. Пусть и через силу, а им приходится признавать наше существование, нашу силу. Разве могли мы подумать, что его, рабочего, позовут в гости капиталисты. Видите, чего мы добились за эти годы, втолковывал он своим слушателям.

С таким настроением он и приехал в США. Визит проходил успешно, но обе стороны осторожно прощупывали друг друга. В поездке по стране по мере продвижения на Запад все чаще появлялись транспаранты не только с приветствующими гостя надписями.

Помню, на каком-то полустанке парень размахивал плакатом. На одной стороне его было написано: «Привет Хрущеву», на обороте: «Свободу Казахстану». Его физиономия лучилась дружелюбием, любопытством, и не было сомнений, что о Казахстане он лично имеет очень смутное представление.

В выступлениях местных руководителей все чаще и чаще появлялись слова, которые отец расценивал, как вмешательство в наши внутренние дела. Сначала он делал вид, что не обращает на них внимания, но внутри накапливалось раздражение. Каждое слово воспринималось как проявление неуважения к нашей стране, а этого отец терпеть не собирался.

Скандал разразился в Лос-Анджелесе. На вечернем приеме в честь нашей делегации мэр города Нортон Поулсон стал говорить о недостаточной свободе лично-

сти в СССР, затронул и другие дежурные темы. На сей раз формулировки были жестче, чем раньше.

В ответном слове отец взорвался. Он заявил, что как представитель великой державы не потерпит подобного обращения, что США привыкли так обращаться со своими вассалами, но от нас получат должный отпор. Говорил он горячо, громко и долго. Господин Поулсон переминался с ноги на ногу, крутя в руках бокал с вином. Зал заинтригованно молчал, ожидая, чем закончится этот спектакль. Наконец отец стал отходить. В заключение он обратился к Алексею Андреевичу Туполеву:

— Как наш самолет? Мы можем отсюда немедленно улететь домой? Владивосток ведь тут не очень далеко.

— Самолет готов. Будем во Владивостоке через несколько часов,— ответил Алексей Андреевич.

— Если так будет продолжаться, мы улетим домой,— повторил отец,—столько лет жили без вас и еще проживем. Мы согласны только на равноправные отношения,— закончил он свой экспромт и перешел к протокольному завершению тоста.

Зал гудел, гости комментировали бурное выступление русского премьера. Господин Поулсон с облегчением сел.

Весь это спектакль, казалось, произошел спонтанно — просто взрыв эмоций не очень выдержанного человека. Однако все основывалось на расчете и спокойствии.

После приема делегация, помощники и сопровождавшие лица собрались в обширной гостиной премьерских апартаментов. Все были растеряны и подавлены происшедшим. Отец снял пиджак и сел на банкетку. Следом и мы расположились на диванах и в креслах.

Отец внимательно всматривался в лица, вид его был суров, но в глубине глаз проскальзывали веселые искорки. Он прервал паузу, сказав, что мы, представители великой державы, не потерпим, чтобы с нами обращались, как с колонией. Затем он в течение получаса, не очень стесняясь в выражениях, высказывал свое отношение к тому, как принимают нашу делегацию. Он почти срывался на крик. Казалось, ярость его не знает пределов. Но глаза почему-то лучились озорством. Периодически отец поднимал руку и начинал тыкать пальцем в потолок — мол, мои слова предназначены не вам, а тем, кто прослушивает.

Наконец монолог прекратился.

Прошла минута, другая, все растерянно молчали. Отец вытер пот с лысины — роль потребовала изрядного напряжения — и повернулся к Громыко:

— Товарищ Громыко, идите и немедленно передайте все, что я сказал, Лоджу.

(Генри Кэбот Лодж, бывший представитель США в ООН, сопровождал Хрущева в поездке по стране от имени президента.)

Андрей Андреевич встал, откашлялся и направился к двери. На и без того неулыбчивом его лице обозначалась мрачная решимость. Он уже взялся за ручку двери, и тут его жена Лидия Дмитриевна не выдержала.

— Андрюша, ты с ним повежливее!..— взмолилась она.

Андрей Андреевич никак не отреагировал на эту трагическую реплику, дверь за ним беззвучно затворилась.

Я взглянул на отца.

Он прямо-таки ликовал, реакция Лидии Дмитриевны свидетельствовала, что речь удалась.

На следующий день мы приехали в Сан-Франциско. Наших хозяев, казалось, подменили: лица дружелюбны, ни одного обидного слова мы не услышали.

Настроение Джорджа Кристофера, мэра Сан-Франциско, совпадало с мнением государственного департамента — гостей надо принять приветливо. Словом, и дальше, до конца поездки отношение к высокому гостю было самое уважительное.

С того памятного столкновения и возникла симпатия у Хрущева и Кристофера. Они обменивались поздравлениями к праздникам, сувенирами. Не изменилось его отношение к отцу и после отставки.

Когда мы встретились в «Национале», господин Кристофер очень сожалел, что не смог попасть на похороны, тепло вспоминал об отце, передал свои соболезнования нашей семье. На всю жизнь я сохранил теплые воспоминания о сердечности мэра Сан-Франциско. Авторучку, которую он так и не успел подарить отцу, я храню как знак дружбы между этими двумя людьми, между нашими странами...

Вскоре после смерти отца маму переселили в Жуковку — совминовский дачный поселок неподалеку от Пет-

рово-Дальнего. Там, среди других пенсионеров, она провела остаток своей жизни.

Во второй половине 70-х годов я стал убеждать ее записать свои воспоминания. Она долго сопротивлялась, потом начала писать, бросила, опять начала. Память уже подводила ее, многие события слились воедино. Часть своих записей она отдала мне, часть после ее смерти в 1984 году попали к моей сестре Раде, а от нее — в воспоминания Аджубея. В записках мамы факты, на мой взгляд, верны, но временны́е границы стерлись. Из-за этого получается серьезная путаница. Например, она пишет, что инфаркт у отца случился после его разговора с Кириленко, хотя разговор состоялся в апреле 1968 года, а инфаркт произошел 29 мая 1970 года. Есть и другие неточности.

Мама похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с отцом. В последние годы, когда ноги совсем отказывались ей служить, она редко посещала его могилу, всего два-три раза в году. «Похорони меня здесь», — просила она, показывая на место под посаженными мною березами.

Честно говоря, я не надеялся, что это получится.

К тому времени проблема захоронения на Новодевичьем кладбище еще более усложнилась. Необходимо было специальное решение. Максимум, на что я позволял себе надеяться, — это захоронение урны в могилу отца.

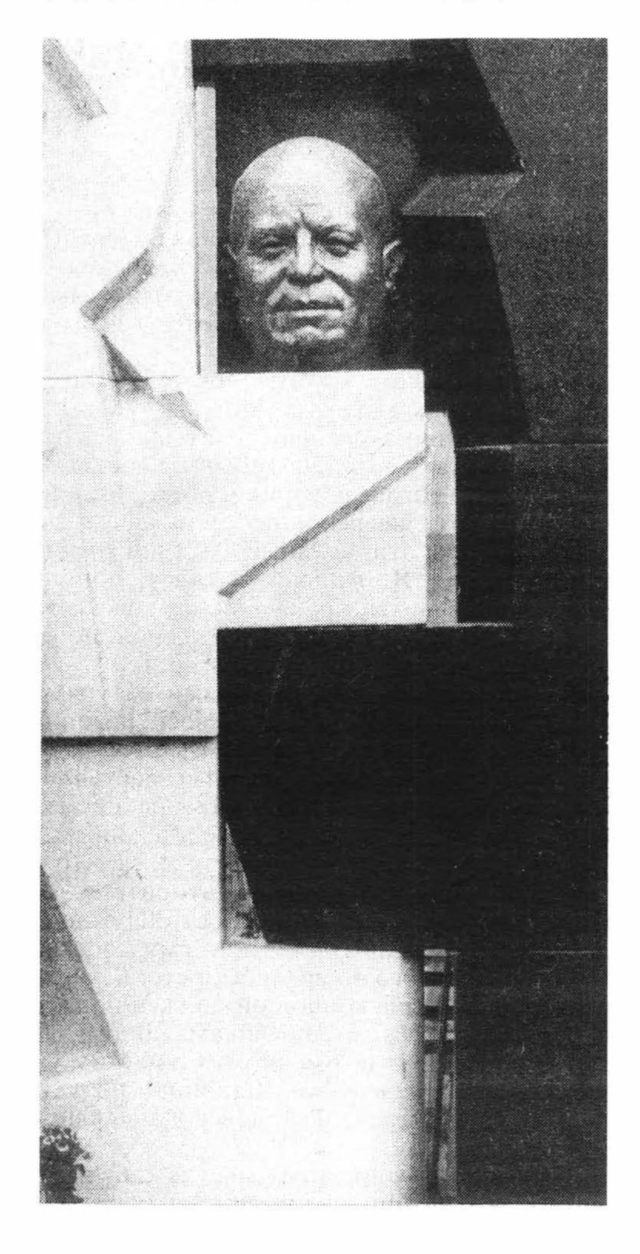
Помог случай. В момент ее смерти, в августе 1984 года, Черненко был в отпуске, и в Москве «на хозяйстве» находился Михаил Сергеевич Горбачев. На просьбу о захоронении мамы рядом с отцом, с которой я обратился к управляющему делами ЦК Н. Е. Кручине, через полтора часа был дан положительный ответ.

Моя сестра Лена умерла в 1972 году. Прогноз профессора Харвея о возможности дожить до старости не оправдался.

Жизнь и смерть Хрущева тесно переплелись с судьбой нашей страны. Казалось, совсем забытый, в отставке, он вдруг неожиданно возникал из небытия в связи с давними и совсем недавними событиями. О нем много говорят и сегодня.

Глава VI

ПАМЯТНИК



В первый раз я подумал о памятнике по дороге на похороны. Мысль прочно засела в голове. После похорон мы оказались в одной машине с Вадимом Труниным, и я спросил его мнение. Он долго не раздумывал, сказав, что единственный скульптор, о котором стоило бы говорить,— Эрнст Неизвестный.

О Неизвестном я тогда почти ничего не знал. Мой мир был миром ракет, спутников, удачных и аварийных пусков. Конечно, и до меня докатывались отзвуки скандала в Манеже, где отец громил «абстракционистов» и другие, как тогда говорили, «проникающие с Запада идеологически диверсионные» направления современного искусства. Но эти шумные баталии меня не слишком интересовали. Я только пытался понять, кто прав. Привычное — «отец прав» — не складывалось: хотя в его словах была обычная сила убеждения, но они почему-то не убеждали.

Как это случается с сильными натурами, отец, казалось, сам ощущал слабость своей позиции и от этого становился еще резче и непримиримее. Я присутствовал однажды при разговоре о фильме «Застава Ильича». Весь стиль, агрессивность этого разбора произвели на меня тягостное впечатление, которое я помню и по сей день.

Постепенно я все более убеждался, что отец трагически ошибается, теряет свой авторитет. Однако сделать что-нибудь было далеко не просто. Нужно было выбрать момент, осторожно высказать ему свое мнение, попытаться убедить его во вредности столь безапелляционных суждений. В конце концов он должен понять, что бьет по своим политическим союзникам, по тем, кто поддерживает его дело. Ведь именно по личному указанию отца напечатали «Наследников Сталина» Евтушенко, «Теркина на том свете» Твардовского, «Синюю тетрадь» Казакевича.

Я помню его препирательство с Сусловым, который считал, что упоминание имени Зиновьева в книге Казаке-

вича недопустимо. Отец, добродушно посмеиваясь, возражал ему, что ведь это все именно так и было. «Вы что хотите, чтобы в Разливе Ильич обращался к Зиновьеву не по имени? Как он с ним должен разговаривать? Нельзя же переделывать историю»,— втолковывал он Суслову.

В этом было их принципиальное расхождение — можно или нельзя переписывать историю, исходя из сегодняшних интересов и воззрений.

Однако в последний период деятельности отца и Суслов, и Ильичев, захватив крепкие позиции, можно сказать, в какой-то мере подчинили себе его. И теперь он вместе с ними боролся против «чуждого идеологического влияния» в литературе и кино, против формализма в музыке и скульптуре и тому подобного.

Мои попытки затеять разговор на эту тему неизменно наталкивались на обычное: «Не лезь не в свое дело. Ты в этом ничего не смыслишь. Кто-то наговорил тебе, вот ты и повторяешь, как попугай».

Разговор обрывался, не начавшись.

Понятно, когда Вадим назвал Неизвестного, я вспомнил столкновение в Манеже. Как о художнике я о нем знал мало. В одном был убежден — надгробие надо заказать настоящему мастеру, чтобы образ отца не оставлял людей равнодушными.

Слова Вадима запали в душу, хотя я сильно сомневался в реальности воплощения идеи в жизнь и потому сказал Трунину, что Неизвестный едва ли возьмется. Ведь отец громил его и его друзей в Манеже, перекрыв им дорогу. Да он просто может выгнать меня. По сути дела, я предлагал ему сделать памятник своему противнику.

Трунин не согласился, заявив, что Неизвестный — глубоко интеллигентный человек. Он объективно подходит к личности Хрущева, ценит его роль в нашей истории. Те события, конечно, не забылись, но теперь они отошли на второй план и оцениваются несколько иначе. Я промолчал. Как ни хотелось согласиться, но до конца Вадим меня не убедил.

— Если хочешь, я могу позвонить ему,— предложил Трунин.— Если он откажется, ты вообще с ним связы-

ваться не будешь, а согласится — съездишь к нему. Я уверен — вы договоритесь...

На поминках я спросил о том же Юлю. Она у нас считалась экспертом в области культуры. Она думала недолго, почти дословно повторив слова Трунина, заявила, что, видимо, единственный человек, о котором имеет смысл говорить, это Неизвестный. Многие считают его лучшим скульптором в стране.

Когда два порознь спрошенных человека говорят одно и то же, это, согласитесь, неслучайно. Я решил обратиться к Неизвестному и стал ждать сигнала от Трунина, который как на зло куда-то запропастился.

В это время спонтанно возникла еще одна кандидатура — Зураб Константинович Церетели. Его имя гремело: восходящая звезда! Мы с ним познакомились недавно и, казалось, испытывали взаимную симпатию. Вскоре после похорон отца мы встретились в доме общих знакомых. Наши места за столом оказались рядом. Я, конечно, спросил его совета.

Он загорелся и сразу же заявил, что сам возьмется за это дело. Церетели предложил завтра же поехать на кладбище, чтобы посмотреть все на месте. Он готов немедленно приступить к работе.

Я, честно говоря, смутился и промямлил о своих планах относительно Неизвестного.

— Отличная идея, — обрадовался Церетели. — Я с удовольствием буду работать вместе с ним.

На следующее утро мы поехали на Новодевичье. Зураб обошел могилу, все внимательно осмотрел, промерил шагами расстояние до дорожки, до стены, остался доволен, объявив, что нам повезло, поскольку вокруг нет могил. Тут можно поставить настоящий памятник. Потребуется площадка примерно пять на шесть метров. В тот день он уезжал домой и пообещал по приезде в Тбилиси набросать первый вариант. Через неделю Церетели собирался вернуться и обсудить со мной проект. Мне предстояло за это время решить вопрос с площадкой.

На том мы расстались, весьма довольные друг другом, расстались, как позднее выяснилось, навсегда...

Поскольку ни о чем подобном подозревать не приходилось, я ринулся в лобовую атаку за участок пять на

шесть метров. Проблема оказалась много сложнее, чем казалась. Изменить стандартный размер участка не мог и не хотел никто. Я ходил по кабинетам, дни летели за днями. И невдомек мне было, что, пока я обивал пороги, в дело включались все новые действующие лица.

От Трунина так никаких известий и не поступало, с Неизвестным связь я не наладил, а тем временем мои неуверенные шаги были проанализированы, выводы сделаны, решения приняты и... последовали действия.

Не прошло и двух дней после нашего похода с Церетели на кладбище, как через одну хорошую знакомую мне передали предупреждение:

— Я хочу тебя по-дружески предупредить,— начала она.— ТАМ тобой недовольны. У них о тебе сложилось не лучшее мнение после опубликования мемуаров твоего отца в Америке. Они считают, что ты их обманул. Прикинулся простаком, даже глуповатым, а на самом деле оказался хитрецом.

— Совершенно не понимаю, почему они так обо мне думают. Я всегда откровенно отвечал на все их вопросы,— возразил я.

— Ну хорошо,— отмахнулась она.— А сейчас? Решил поставить памятник отцу — это естественно. Но это же Хрущев! Ты же, с одной стороны, хочешь пригласить Неизвестного — художника, которого он ругал, а с другой — грузина Церетели. Такое сочетание явно неспроста.

Я удивился, подобное толкование мне в голову не приходило.

— Тебе не надо разговаривать с Неизвестным,— знакомая, понятно, передавала чужие рекомендации.— Самое лучшее пойти в Союз художников, там тебе порекомендуют толкового скульптора. Кто знает, справится ли Неизвестный с такой сложной работой, а политический резонанс будет нехороший. Он вообще любитель скандалов, а зачем тебе скандалы? Зачем неприятности с властями? Кстати, сможешь в Союзе посоветоваться и насчет Неизвестного. Может быть, они как раз его и порекомендуют,— предложила приятельница.

Полученные советы вызвали у меня мало энтузиазма. Однако от этого предостережения нельзя было просто отмахнуться. После истории с мемуарами раздражать

столь могущественную организацию, честно говоря, не хотелось.

Я решил посоветоваться с Серго. Оказалось, он знаком с Неизвестным и готов немедленно позвонить ему. Что же касается «дружеских» предупреждений, тут Серго был категоричен:

— Плюнь на них, они тебя заведут неизвестно куда. У вас противоположные цели: ты хочешь сделать отцу хороший памятник, а им главное — не допускать работы, выделяющейся на общем сером фоне. Представь, ты придешь в Союз, тебе порекомендуют скульптора, который тебя не устраивает. Тебе придется с ними спорить, конфликтовать. Попадешь в невыгодное положение. А сейчас ты придешь к Неизвестному просто как заказчик, сын своего отца. Без сомнения, насчет него в Союзе ты получишь отказ, и положение станет совсем другим. И если ты все-таки решишься, придется действовать вопреки рекомендациям Союза, а это конфликт.

С ним нельзя было не согласиться. Я решил, не откладывая, связаться с Неизвестным. Серго набрал номер и начал было рассказывать о моих проблемах, но Неизвестный перебил его:

— Не надо лишних слов. Мне уже звонил Трунин, и я ему ответил, что с удовольствием встречусь с Сергеем Никитичем. Я настроен принять его предложение.

На следующий день мы с Серго отправились в мастерскую. Она располагалась в небольшом одноэтажном домике неподалеку от нынешнего спортивного комплекса на Олимпийском проспекте. Сейчас домика нет — его снесли.

Потоптавшись по двору, нашли нужную дверь. Постучали и вошли, очутившись в маленькой прихожей. На полу стояла скульптура. Скажу по правде, тогда она мне не понравилась. Как выяснилось, называлась она «Орфей, играющий на струнах своего сердца». Я был твердым воспитанником социалистического реализма, и главным мерилом художественности для меня была похожесть. А тут не было ничего подобного, да еще и разорванная грудь. Так не бывает, подумал я.

Понадобились месяцы и годы общения с Эрнстом Иосифовичем, чтобы вывести меня из дебрей невежества.

Впрочем, в тот момент я решил со своими оценками не высовываться.

Из маленькой комнаты вышел хозяин — плотный человек небольшого роста лет пятидесяти. По первому впечатлению запомнилась его кряжистая устойчивость, пронзительные глаза и тонкая полоска усов на верхней губе. Встретил он нас приветливо.

Помещение было невелико. Собственно мастерская — комната метров тридцать пять — сорок и две подсобные комнатки метров по восемь — десять. В той, куда пригласил нас хозяин, стоял диван, застеленный солдатским сукном, два книжных шкафа, стол, пара стульев. Вот и все убранство. По стенам висели картины. В другой комнате, похожей на коридор, стоял верстак и лежали разные приспособления для отливки, сварки и подобных целей.

Я впервые попал в мастерскую скульптора. Было, конечно, очень интересно.

Познакомившись, Эрнст Иосифович пригласил нас посмотреть свои работы. Было их очень много, настолько, что сразу охватить, осмыслить невозможно. Середину комнаты занимал макет невероятного по моим понятиям здания: в центре — голова человека и стремительно отходящее от нее крыло с рельефами-символами, лицами людей.

— Это проект дома мысли — центрального здания в Академгородке в Сибири,— пояснил Эрнст Иосифович.— При вашем отце мне долго не давали работать, потом наконец разрешили. Проект утвердили в 1964 году, а теперь он опять задвинут далеко.

Под потолком по всему периметру стен висели рисунки — единая цветная композиция, высвечивающаяся то тут, то там резкими яркими пятнами.

Закончив этот беглый осмотр, мы вернулись в комнату и приступили к главному разговору.

— Я хочу внести ясность,— начал Неизвестный.— Вследствие моих споров с Никитой Сергеевичем я пережил тяжелые времена, но сейчас это в прошлом. Я глубоко уважаю его и, это может показаться странным, вспоминаю о нем с теплотой. Этот человек знал, чего хотел, и стремления его не могут не вызывать сочувствия, особенно сейчас, когда многое видится яснее. У нас с вами речь

идет не о личных обидах, а о памятнике государственному деятелю. Я возьмусь за эту работу.

В глубине души я обрадовался такому началу.

Эрнст Иосифович тут же начал набрасывать рисунок на листке бумаги: вертикальный камень, одна половина белая, другую заштриховал — черная, внизу большая плита.

Я ничего не понял.

— Почему белая и черная? Что это означает? — спросил я.

Неизвестный сказал, что пока ничего конкретного в этом рисунке нет. Он только объяснил, что это воплощение философской идеи. Жизнь, развитие человечества происходит в постоянном противоборстве живого и мертвого начал. Наш век тому пример: столкновение разума человека и машины, порождение разума, убивающего его самого. Взять хотя бы атомную бомбу. Олицетворением такого подхода в мифологии является кентавр. В нашем надгробии черное и белое можно трактовать по-разному: жизнь и смерть, день и ночь, добро и зло. Все зависит от нас самих, наших взглядов, нашего мироощущения. Сцепление белого и черного лучше всего символизирует единство и борьбу жизни со смертью. Эти два начала тесно переплетаются в любом человеке. Поэтому камни должны быть неправильными, входить один в другой, сплетаться и составлять одно целое. Все это предполагалось установить на бронзовую плиту.

— На мой взгляд, получается неплохая композиция, — он вопросительно посмотрел на меня.

Я заранее решил не вмешиваться, не лезть со своим мнением. Трудно рассчитывать на хороший результат, поправляя художника. Или надо довериться ему, или ориентироваться на ремесленника. Середины не бывает.

— Я целиком полагаюсь на вас. А будет ли портрет? — ответил я.

— Считаю, никакого портрета быть не должно. Мы даем некий символ. Портрет нужен тогда, когда человека никто не знает и хочется сохранить его внешний образ, не дать ему стереться из памяти, — пожал плечами Эрнст Иосифович. — Лицо Никиты Сергеевича хорошо всем знакомо, и нет необходимости в портрете.

Меня он не убедил, но свои сомнения я пока оставил

при себе. Впереди еще было много времени, к тому же я, честно признаться, слегка робел перед знаменитостью. С некоторой опаской я сказал о разговоре с Церетели и его желании принять участие в этой работе.

— Я буду с ним сотрудничать, если вы этого хотите,— просто ответил Неизвестный.

И еще деталь. Поскольку меня насторожило предупреждение с Лубянки, я решил как-то застраховаться, узаконить наши отношения и предложил заключить официальный договор.

— Это просто,— ответил Эрнст Иосифович,— у меня есть знакомый юрист, он все оформит.

На этом мы расстались.

Мои опасения о возможном продолжении давления на нас оказались отнюдь не беспочвенными. Как выяснилось позже, побеседовали и с Церетели, и с Неизвестным, правда, с противоположными результатами.

Через несколько лет после установки памятника, когда все было позади, Эрнст Иосифович рассказал свою часть этой истории. Вскоре после нашего с Серго посещения состоялась в известном здании беседа и с ним. Ему настойчиво советовали отказаться от заказа. Сначала рассказали какие-то гадости о нашей семье, обо мне, но этот элементарный прием не подействовал. Тогда применили аргументы повесомее. В то время Неизвестный работал над рельефами, которые должны были украсить вновь строящееся здание одного из институтов в Зеленограде. Заказ был престижный, работа по всем параметрам претендовала на Государственную премию. Советчики сокрушались: как бы работа над надгробием Хрущеву не навредила Неизвестному при выдвижении его кандидатуры, да и вообще не испортила его карьеры.

Однако «доброжелатели» выбрали глубоко ошибочный путь, не изучив психологию своего объекта.

— Именно после их угроз я принял окончательное и бесповоротное решение. Если раньше еще могли быть сомнения, поскольку мы не знали друг друга, то тут я уж решил быть твердым до конца,— заключил Эрнст Иосифович. Вот такая разная реакция оказалась у двух людей, у двух скульпторов. Кто был прав? Кто выиграл? Не знаю. Знаю только, что Неизвестный Государственной премии не получил, зато обрел всемирное признание, а

Церетели добавил к Ленинской премии еще и Государственную.

После нашей встречи дела завертелись. На следующий день мы оформили в нотариальной конторе договор, съездили на кладбище. Эрнст Иосифович обещал через несколько дней показать первый эскиз.

На кладбище я бывал регулярно. Поддерживал порядок на могиле. Время и осень сделали свое дело. Венки пожухли, фотография промокла. Несмотря на все наши старания вода попала под пленку. Мне в очередной раз помогли друзья. На моей старой работе сделали добротную временную стойку, там же надежно заварили в плексиглас новую фотографию.

Мне казались неуместными на могиле официальные портреты отца. Хотелось поставить фото почеловечней, чтобы все видели не бывшего премьера, а живого человека. Так появился на могиле последний сделанный при жизни отца снимок. Он там без галстука, домашний, с усталой улыбкой смотрит в объектив.

Маме фото не понравилось, и она попросила его заменить. Я какое-то время сопротивлялся. Однако она была не одинока, портрет не понравился и другим родственникам и близким. В конце концов я сдался. Установили фотографию, сделанную к семидесятилетию,— улыбающийся, довольный отец со всеми своими медалями на груди. Очевидно, Неизвестный был прав: Хрущев — символ, он не должен показываться людям с расстегнутым воротничком.

Тем временем продолжались хлопоты насчет увеличения размера участка для сооружения надгробия. Неизвестный тоже считал, что площадь должна быть побольше, хотя предложение Церетели он определил как «чисто грузинский размах». Нужны были решительные шаги, и я обратился к управляющему делами ЦК.

Павлов, однако, сам решать вопрос не взялся:

— Я переговорю с товарищем Промысловым, он поможет. Вы ему завтра позвоните.

С В. Ф. Промысловым мы жили в одном доме, неизменно здоровались и вообще были хорошо знакомы — ведь его сделали мэром Москвы еще при отце. Я был абсолютно уверен в его быстром и положительном отве-

те. Как выяснилось, я и понятия не имел, кем теперь стал мой любезный сосед. Сам он со мной разговаривать не стал. В секретариате меня адресовали к его заместителю Валентину Васильевичу Быкову.

Быков принял меня любезно, но оказался совершенно не в курсе дела. Тут же побежал к Промыслову, но вернулся обескураженный:

— Он говорит, что ему никто не звонил. Так, бросил мне: набавь ему сантиметров по тридцать. Просто не знаю, что делать?

Видно, Промыслов решил покуражиться.

Сам Валентин Васильевич очень хотел помочь, готов был сделать все, что в его силах. Мы сговорились, что он своей властью выделит участок размером два с половиной на два с половиной метра. Тут же Быков подписал нужные бумаги.

Дело сдвинулось. Мне тогда казалось, что через год, от силы полтора, работа завершится. Я не мог себе представить, что она растянется на долгих четыре года.

Когда я рассказал маме о посещении Неизвестного, она восторга не выразила, но и не возражала. Собственных предложений у нее не было. Черно-белую идею она оставила на совести скульптора, а вот на памятник без портрета она категорически не соглашалась.

— Надгробие — произведение сугубо личное, память о близком человеке. Мнение Нины Петровны — решающее. Я найду способ поместить портрет Никиты Сергеевича, — согласился Эрнст Иосифович.

Работа шла. Я раз, а то и два раза в неделю приезжал по вечерам в мастерскую. Эрнст Иосифович работал утром и днем. Допоздна мы засиживались в его комнатке, говорили обо всем: о памятнике, политике, его и моей работе, Боге, встречах с отцом, вообще о жизни.

Семнадцатилетним мальчишкой Неизвестный ушел на фронт. Кончил военное училище в Кушке. Воевал десантником. Был награжден, и не раз. Тяжело ранен — ему перебило позвоночник, стал инвалидом первой группы. «Нуждается в постоянном уходе», — показывал он запись в медицинском заключении. С этим он не мог согласиться, характер не позволял. Инвалидность была не для него. Он преодолел болезнь, получил высшее художественное и философское образование. Перетаски-

вая с места на место какую-нибудь тяжелую скульптуру, он, улыбаясь, приговаривал: «Нуждается в постоянном уходе».

Круг его друзей был необычайно широк, разнообразен и интересен. Все тянулись к нему. Часто вечерние посиделки превращались в шумные диспуты. Иногда, когда настроение было особенно хорошим, Эрнст Иосифович развлекал нас своими устными рассказами: серьезными об Индии, шутливыми о поясном портрете маршала Чойболсана, грустными о разных историях, происшедших с ним в Москве.

С каждой встречей я — профан — все больше начинал понимать кое-что в его творчестве. Многие из работ Эрнста Иосифовича, вызывавшие раньше недоумение и даже протест, мне стали нравиться.

Я уже упоминал о стоявшем в прихожей цинковом Орфее. Чем дольше я вглядывался в него, тем больше он меня захватывал. Передо мной раскрывался глубокий философский смысл этого произведения, и в моей душе он начал перекликаться с духовной сущностью моего отца — он вот так же отдал себя до конца людям. Я подолгу стоял перед скульптурой, вглядывался в нее. Благо, в мастерской я стал своим человеком и давно уже своим присутствием никого не смущал.

Как-то раз я даже предложил Неизвестному использовать эту скульптуру в качестве надгробия. Он удивился и сказал, что хотя всегда приятно устанавливать свою работу, но эта не годится. Нам нужно что-то более строгое, монументальное. Орфей же слишком легкомыслен, он подошел бы в качестве памятника поэту, а не государственному деятелю. То, что задумано, значительно лучше и больше подходит для могилы Хрущева.

Общаясь с Неизвестным, я старался понять его взгляды на искусство, его философию. Постепенно кое-чему научился.

А ведь при первых встречах на душе у меня было неспокойно. Конечно, Неизвестный большой художник, но он «абстракционист» — слово для меня было если не ругательным, то не очень престижным. Как его манера творчества выразится в памятнике отцу? А главное, что меня беспокоило, будет ли похож портрет? Я боялся увидеть кубики, треугольники, искаженные черты.

Однажды я все высказал Эрнсту Иосифовичу. Он весело рассмеялся:

— В нашем деле все и проще, и сложнее. Например, я не отношу себя к какому-то одному направлению в искусстве — ни к абстракционистам, в чем меня обвинял твой отец, ни к реалистам. Каждое из них ограничивает, обедняет художника. Все хорошо на своем месте. Возьмем наш памятник. Нина Петровна хочет, чтобы был портрет Никиты Сергеевича. И это должен быть именно его портрет, а не мое видение, скажем, его философии через портрет. Тут все должно быть максимально похоже. Реализм, приближающийся к натурализму. И это правильно. Именно так я и буду лепить. Ведь я делаю надгробие. Вы, родные, когда придете на кладбище, захотите увидеть своего отца, а не мое представление о нем.

— Теперь давай посмотрим на замысел всего памятника, его идею, — продолжал Неизвестный.— В нем заложено извечное противоречие, борьба светлого прогрессивного начала с реакционным. Как ее показать в виде реальных, фотографических изображений? Они будут уводить нашу мысль в сторону, сводить ее к обыденному. Здесь просится абстрактная идея, отражающая полет мысли художника. В нашем случае — это сцепившиеся в противоборстве белое и черное.

Так мое образование продолжалось. Раньше я без оговорок принимал расхожее мнение наших идеологов — «абстрактную картину может нарисовать любой, а вот попробуй сделать реалистическое изображение, тут надо попотеть». Теперь я видел, что абстракция требует куда большего таланта, чем создание реалистического изображения.

Вот и напрашивался горький вывод, что отец боролся не с тем, с чем следовало, и не с теми, с кем следовало. Только понял он это, увы, слишком поздно.

Не сразу Неизвестный рассказал мне историю злосчастных столкновений в Манеже.

— Почему ни я, ни мои друзья не держим зла на Хрущева? Он противоречив, но проводил честную, прогрессивную политику, а в Манеже его просто натравили на нас. И выставку эту устроили нарочно, привезли все в последний момент. Мы поначалу понять не могли, поче-

му вдруг так заторопились. Им надо было нас уничтожить, чтобы самим выжить*.

Борьба течений в искусстве была не на первом месте. Главное для них — деньги, а я к тому времени собрал обширный материал о коррупции и взяточничестве среди наших московских заправил в искусстве. Они приглашали и меня вступить в мафию. Когда я отказался, решили дать бой и уничтожить.

Эта история началась давно, я тогда еще учился в институте. Объявили закрытый конкурс на монумент в память 300-летия воссоединения Украины с Россией. Место выделили на площади у Киевского вокзала, камень заложили. Это был первый и последний действительно объективный конкурс. Все работы были под девизами, и никто не знал истинных фамилий авторов. Я, студент третьего курса, его выиграл. Вон на полке макет — «Бандурист». Твой отец видел фотографии макета. Он ему понравился, по крайней мере, ни слова против он не сказал. Все другие меня хвалили, а в газетах писали: победитель — бывший фронтовик, студент. И тем не менее его не поставили и никогда не поставят. Предлоги были самые объективные: то средства не выделили, то бетона нет, то камня, то экскаватор сломался. Правда же была в другом.

Я хотел вступить тогда в московское отделение Союза. Все были «за», меня приняли. И тут же вежливо отвели в сторону и стали объяснять правила жизни: «У скульпторов гонорары очень высокие, жить можно хорошо. У нас существует некая неофициальная, конечно, очередь. Сегодня вы выиграли конкурс, завтра — другой. Этим правилам мы все следуем и вам советуем». Я был молодой, горячий. Послал их: «Надо честно соревноваться, я же всех вас талантом одолею!» Мои собеседники посмеялись: посмотрим-де, но предупредили: «Без нас путь в большое искусство тебе заказан».

К сожалению, они знали, что говорили. Ни одной моей работы в Москве не поставили: ни «Бандуриста» у Киевского вокзала, ни «Крылья» на площади перед

* Вот что вспоминает Г. И. Воронов, в то время член Президиума ЦК: «Не берусь утверждать категорически, но выскажу предположение, что выставка эта, равно как и ее посещение Хрущевым, была устроена специально, поскольку и уровень восприятия им искусства, и его эстетические взгляды были прекрасно известны устроителям экспозиции. А коли так, то заранее был известен и результат этого визита...»

военно-воздушной академией Жуковского, ни «Строителя Кремля». А ведь были постановления правительства, мощнейшая поддержка сверху. «Строителем Кремля» лично Шепилов занимался. Но опять — то нет цемента, то камня, то рабочих. Время протянули,и можно списать. Все забыли о старых решениях.

Рассердился я, набрал целое досье и на наших мэтров, и на министерское начальство, как они взятки собирают. Был у нас один там начальник главка, все ходили ему «спинку мылить». Так у них почему-то называлась передача денег. Решил я вывести их на чистую воду, разоблачить безобразия. Собрался к Хрущеву. Уже и Владимиру Семеновичу Лебедеву позвонил, он день и час свидания назначил. По молодости проговорился кому-то. Накануне вечером зашел я в «Националь» поужинать. Подсели ко мне какие-то незнакомые ребята. Слово за слово, и началась драка. Ты меня знаешь, со мной справиться не легко. В армии меня, десантника, не бить, а убивать учили. Но тут, видно, подобрались не сявки, а профессионалы. Избили меня по всем правилам.

На следующий день мне в ЦК идти, а там уже донос о пьяном дебоше, учиненном скульптором Неизвестным. Не мог же я идти к Лебедеву открывать ему глаза с фингалом под собственным глазом. Позвонил, извинился, придумал, что заболел. Он сочувственно похмыкал и перенес встречу. Так она и не состоялась.

Решили добить меня в Манеже, а заодно и других проучить. Стоим мы тогда у своих произведений, ждем. Появляется твой батя: он нас не видел, не знает, работ не смотрел. Конечно, ему уже до этого разъяснили, настроили, а сюда привезли лишь для подтверждения нашего «буржуазного идеализма» и «абстракционизма».

Тут и произошел наш бурный разговор. Я, знаешь, ощутил,что то, что я не сдался, а попер на твоего отца, как и он на меня, ему понравилось. Он всегда уважал сильных людей. А когда он под конец заявил, что я просто своего дела не знаю, и вся свита радостно закивала, я ему ответил:

— А вы проверьте, комиссию назначьте.

Он осекся, посмотрел на меня пристально и совсем другим, спокойным тоном закончил:

— И назначим.

Тут же бросает своим:

— Назначьте авторитетную комиссию, пусть он покажет, на что способен на деле.

И дальше пошел.

Правда, кое-кто все понимал. Лебедев после всего шепнул мне:

— Будет совсем плохо — звоните. Выберем момент, доложим Никите Сергеевичу.

После Манежа такое началось! Они почувствовали безнаказанность, полезли рвать живое мясо. Сначала меня обвинили в том, что я ворую стратегическое сырье — бронзу. Опять Хрущеву донесли. Назначили проверку: все чисто. Показал, что для своих отливок я собирал старье — краны, ступки, другой лом. Не удалось.

Тогда снова вытащили обвинение в профессиональной непригодности: я-де не умею делать реалистические скульптуры, и потому мои изображения абстрактны. И это говорили профессионалы, академики! Я напомнил: Хрущев велел собрать комиссию. Собрали комиссию. Я в их присутствии по всем канонам соцреализма в течение нескольких дней сделал скульптуру — два с половиной метра! — сталевара, разливающего сталь. Вот ее фотография. Ее потом тиражировали по всему Союзу. За нее я получил такой гонорар, какой мне больше никогда и не снился. Но это не искусство, а только поделка. Мысли-то — никакой. Опять вышла у них осечка.

Тогда решили созвать собрание. Обвинили нас в отсутствии патриотизма. Мы, обвиняемые, прошли фронт, ранены, награждены, а обвинители тогда надежно «забронировались», защищали Родину с тыла. Вот мы и решили «пошутить»: пришли в гимнастерках, у всех грудь в боевых орденах, нашивки за ранения. А они с трибуны талдычат о патриотизме.

А к Хрущеву я так и не попал. Звонил Лебедеву, да он все откладывал: то занят, то просто считал — пока не время. Позже он мне помог: видно и Хрущеву доложил. В 1964 году вдруг дали мне проект Дворца мысли в Академгородке. Но уж не везет, так не везет. Я только развернулся, как твоего отца сняли, и опять все по нулям.

Сегодня побеждают они. А меня предупредили: «И не рыпайся. Кто бы, где бы ни решал, ни одной работы в

Москве у тебя стоять не будет». Оказалось, правда.

Последний пример. Несколько лет назад я выиграл конкурс на сооружение мемориала на Поклонной горе в честь Победы над фашизмом. Было несколько туров. За меня выступали и общественность, и генералы, и даже Моссовет. Против — только мои собратья художники. И чем все кончилось? Мемориал даже не начали строить.

Мои же идеи присвоил другой скульптор и построил мемориал в Волгограде. Вот смотри — он показал иллюстрацию из «Огонька» — у меня женщина с флагом, а у него точно такая же, но с мечом. У меня флаг позади, он уравновешивает фигуру, рвущуюся вперед. Центр тяжести на месте, и скульптура устойчива. Он же сунул в руку меч, и теперь ее удерживает от падения целый пук стальных канатов, натянутых внутри торса. И рельефы на стенах похожи.

Но все это не главное. И, ты меня извини, памятник твоему отцу — тоже для меня не главное. Это большая работа, и посвящена она большому человеку, но главное для меня — другое. Моя мечта и цель жизни — монумент, олицетворяющий развитие человеческого разума, обобщающий историю развития духа, историю развития жизни, цивилизации, борьбу разума с творениями рук своих, убивающих человека, его дух.

Это будет семь колец «Мёбиуса», вставленные одно в другое. Самое большое — сто пятьдесят метров в диаметре. «Мёбиусы» будут покрыты рельефами, изображающими историю развития нашего разума, борьбы жизни и смерти, добра и зла. Есть и макет памятника и рисунки рельефов. Все эти альбомы — заготовки к моей главной работе.

К монументу будут вести четыре дороги: с востока, запада, севера и юга. Подходя все ближе и ближе, человек ощутит все величие сооружения, величие своего разума. Подняться на кольца можно будет через семь коридоров, олицетворяющих семь смертных грехов. Проект готов, дело — за заказчиком.

Я обращался в ЦК. Там у меня есть друзья, они меня поддерживают. Но они — идеологи в международном отделе у Пономарева. Мне же нужны заказчики, располагающие средствами и ресурсами. Сооружение такого масштаба — не простая инженерная задача. По моим

подсчетам, все обойдется миллионов в десять — пятнадцать. Не получится у нас — предложу проект ООН. Идея монумента соответствует целям этой организации, а сейчас приближается ее сорокалетний юбилей.

Так что, видишь, мои злоключения в очень незначительной степени связаны с твоим отцом. Он сам оказался жертвой хорошо продуманной провокации и в конце концов пострадал больше, чем я. В Манеже одним ударом свели счеты и с нами и его лишили союзников. Я хочу сделать памятник, отражающий значительность, противоречивость и трагизм личности Хрущева,— сказал Эрнст Иосифович.

К сожалению, и «Мёбиусы» постигла та же участь. Монумент так и не сооружен до сих пор ни у нас, ни за рубежом. Есть у меня фотоколлаж — макет «Мёбиусов», величественно парящий над панорамой некоего города.

Я, конечно, не специалист, но вот какая мысль пришла мне в голову: мы бьемся над проектом памятника в честь Победы над фашизмом, победы разума над злом. А почему бы нашу Победу не мог олицетворять монумент, всей своей сущностью прославляющий победу разума и добра? Больше того, он мог бы служить и памятником жертвам сталинщины! Ведь истоки и жертв, и борьбы одни и те же — столкновение добра и зла. Почему же памятники должны быть разные?

Подобная судьба проекта была бы достойна великой идеи, заложенной в «Мёбиусы», и мы воздали бы должное автору, герою войны, прожившему очень непростую жизнь.

Неизвестный продолжал работу над надгробием. Задача вписать портрет оказалась непростой. Отбрасывались вариант за вариантом. Сначала поставили бюст на стеле перед камнем. Получился разрыв в композиции. Убрали стелу, бюст как бы повис без опоры. Все эти варианты Эрнст Иосифович проверял на гипсовых макетах.

Наконец решение нашлось: бронзовая голова, цвета старого золота, стоит в нише на белом мраморе на фоне черного гранита.

О цвете головы у нас было много споров. Я уговаривал Неизвестного затонировать ее темнее, он не соглашался. Наконец решили сделать под старое золото, тем более что бронза от времени неизбежно потемнеет.

Так в хлопотах прошло более полугода. Наступало лето 1972 года. Идея надгробия окончательно выкристаллизовалась, оставалось ее реализовать. Мы решили устроить семейное утверждение проекта. В мастерскую приехали мама с Радой. Лена была уже смертельно больна.

Эрнст Иосифович подробно рассказал о своих идеях. В большой комнате на вращающейся подставке стоял затонированный макет надгробия. Поговорили, задали вопросы, выслушали ответы и согласились с мастером.

До начала осуществления проекта требовалось еще многое завершить: во-первых, надо было в деталях разработать конструкцию самого монумента, а главное — утвердить его на художественных советах Художественного фонда РСФСР и Главного архитектурно-планировочного управления (ГлавАПУ) Моссовета. Без их печатей на чертежах памятник не возьмется делать завод и его не позволят установить на Новодевичьем кладбище.

Эрнст Иосифович откровенно боялся совета. У него был богатый и весьма печальный опыт. Однако, на удивление, все прошло гладко. После получасового обсуждения члены совета Художественного фонда поздравили Неизвестного с большой творческой удачей. Нашей радости не было границ.

На совете произошел курьезный случай. Пока Эрнст Иосифович готовился к выступлению, я развил бурную деятельность — таскал с места на место макет, отвечал на вопросы, требовал у секретаря проект протокола.

Когда все закончилось, секретарь совета обратился к Неизвестному:

— А как фамилия вашего соавтора?

Эрнст Иосифович сначала не понял, встрепенулся и ощетинился:

— Я работаю один! — но тут же улыбнулся. — Это не соавтор, а заказчик. Познакомьтесь — Сергей Никитич Хрущев.

Мы весело рассмеялись.

Начались чисто производственные хлопоты. Чтобы сделать надгробие, предстояло решить вопрос, где взять материалы. Бронза относилась к стратегическим материалам, поэтому для ее получения требовалось специальное разрешение Совета Министров СССР. Здесь нам

помог управляющий делами Совмина М. С. Смиртюков. Он без волокиты откликнулся на мою просьбу, и буквально на следующий день появилось решение о выделении бронзы. Одновременно управлению нерудных материалов Моссовета было поручено помочь с камнем. В управлении нам очень хотели помочь, его начальник начинал свою карьеру еще при отце, в начале 50-х, и сохранил о нем самые теплые воспоминания. Но при всем желании камня нужного размера — высотой почти в два с половиной метра — у них не было и быть не могло. В стандартах такие размеры отсутствовали.

Эрнст Иосифович стал настаивать на спецзаказе. Нам не возражали, но предупредили: нестандартный камень добывают взрывами. Они вызывают коварные микротрещины, которые обнаруживаются только в последний момент, после окончательной полировки готового изделия. Камни же стандартных размеров 900 × 600 см выпиливаются специальными машинами. В них трещин не бывает. Это было заманчиво. В противном случае, кто будет оплачивать брак и на сколько месяцев или лет может растянуться работа? Последнее слово было за автором. Требовалось так переделать проект, чтобы не нарушить замысел.

Мы рядились несколько дней. Наконец Неизвестный решился. В новом варианте каждая половина — белая и черная — составлялась из трех камней стандартных размеров.

— Получилось даже лучше, — удовлетворенно заметил он, — скульптура стала более динамичной.

Теперь можно было делать следующий шаг — искать изготовителя. В управлении нам порекомендовали обратиться на завод в Водниках. Мы заручились письмом из управления делами Совета Министров и поехали туда. Однако нас ждало разочарование. Шел 1972 год, и фамилия Хрущева упоминалась только в сочетании с «волюнтаризмом» и «субъективизмом» и чуть реже в контексте «исторических» решений октябрьского Пленума 1964 года.

На заводе мы появились летом. Директор был в отпуске. Нас принял главный инженер — напыщенный и самодовольный человек. Фамилию я его забыл. Он небрежно кивнул:

— Садитесь. Какие вопросы? — его прямо-таки распирало от ощущения собственной значимости.

Неизвестный начал объяснять, я протянул письмо из управления. Все это не произвело никакого эффекта. Хозяин кабинета остался холоден.

— Эту работу мы принимать не будем,— важно заявил он.— Наше предприятие загружено важнейшим заданием. По поручению девятого управления КГБ (эти слова он произнес с особым вкусом) завод ремонтирует Мавзолей. Из-за вас мы не можем рисковать срывом сроков.

После этих слов он еще больше напыжился:

— Я думаю, вам камни вообще ни к чему. Хрущев все носился с железобетоном, даже наш завод хотел закрыть. Вот вы бы и сделали ему памятник из железобетона. Эдакую финтифлюшку гнутую. Я недавно был за границей, там много такого наставлено,— не удержался и похвастался он.

Было ясно, что тут нам делать нечего. Неизвестный напрягся, покраснел. От такого хамства усы его вытянулись тонкой линией, глаза впились в лицо обидчика. Казалось, он сейчас поговорит с ним по-десантски. Обид Эрнст Иосифович не спускал никому. Я с большим трудом удержал его. Мы ушли, чтобы больше сюда не возвращаться.

Художественный фонд имел свой завод в Мытищах, но мы поначалу не стали обращаться туда, зная, что там всегда большая очередь. Теперь у нас не оставалось другой возможности. Директор завода Павел Иванович Новоселов встретил нас любезно, но ответ его был несколько обескураживающим. До начала работ требовалось утвердить проект в ГлавАПУ. Неизвестный боялся этой инстанции еще больше, чем совета Художественного фонда. Он хотел схитрить — прийти к ним с готовым надгробием. В этих хлопотах незаметно наступила осень, а мы так и не успели даже обратиться в ГлавАПУ.

Слухи и разговоры о проекте надгробия распространились к тому времени довольно широко. У многих проект вызывал живой интерес. Мои друзья и доброжелатели отца интересовались, что же будет установлено на могиле? Как идут дела? Когда будет открыт памятник? Вопросам не было конца. Я решился показать проект наиболее близким людям. Ни мама, ни Неизвестный не возражали.

В один из сентябрьских дней мои друзья поехали со

мной в мастерскую. Там нас ожидала моя племянница Юля. Когда мы зашли в мастерскую, Юля оживленно что-то обсуждала с Неизвестным. Рядом с ней стоял ее друг, утопающий в бороде,— известный кинодраматург Игорь Ицков. Она нас не предупредила о его появлении, и оно вызвало смутную тревогу. Все мы хорошо знали, где он работает. Я засомневался, но ничего не сказал — не выгонять же его.

События последних месяцев, предупредительная помощь управления делами Совета Министров сделали нас благодушными, притупили бдительность. Как-то забылись «профилактические» беседы со мной, с Эрнстом Иосифовичем, исчезновение Церетели, предупреждения и намеки.

Неизвестный демонстрировал модели, рассказывал об отброшенных вариантах, о находках и решениях. Всем нравилось. Ицков спросил об идее, заложенной в надгробие.

— В основе самой жизни в философском смысле лежит противоборство двух начал,— привычно вещал Неизвестный,— светлого — прогрессивного, динамичного и темного — реакционного, статичного. Одно стремится вперед, другое тянет назад. Эта основная идея развития бытия очень хорошо подходит к образу Никиты Сергеевича. Он начал выводить нашу страну из мрака, разоблачил сталинские преступления. Перед всеми нами забрезжил рассвет, обещавший скорый восход солнца. Свет стал разгонять тьму.

Такой подход позволит лучше понять основные идеи надгробия. Главный компонент — белый мрамор, его динамичная форма наступает на черный гранит. Тьма сопротивляется, борется, не отдает свои позиции, в том числе и внутри самого человека. Не зря голова поставлена на белую подставку, но сзади сохраняется черный фон. В верхнем углу на белом — символическое изображение солнца. Вниз от него протянулись лучи. Они разгоняют тьму. Голова цвета старого золота на белом не только хорошо смотрится, но это и символ — так римляне увековечивали своих героев. Все покоится на прочном основании бронзовой плиты. Ее не сдвинуть. Не повернуть вспять начавшийся процесс.

В плите слева, если смотреть от стелы,— отверстие в

форме сердца. Там должны расти красные цветы, олицетворяющие горение, самопожертвование. Тут же надпись «Хрущев Никита Сергеевич», с другой стороны даты рождения и смерти. И ничего больше, никаких пояснений. Все должно быть лаконично и величественно. Помните надпись на могиле Суворова «Здесь лежит Суворов». И все. Никаких полководцев, фельдмаршалов, орденов.

Впервые Эрнст Иосифович так подробно объяснял свой замысел посторонним. Обычно он ограничивался общими словами о добре и зле, жизни и смерти. Позже, в трудные времена, он оправдывался: «Ты привел своих друзей. Я думал, можно говорить все».

Вскоре после демонстрации наша деятельность на некоторое время приостановилась. Неизвестный давно собирался в Польшу, поездка была частной, по приглашению, и все откладывалась. Сейчас трудно себе представить, каких трудов стоило ему оформление. Наконец разрешение было получено, и в конце года он мог отбыть. Польские друзья, к которым он ехал, предусмотрели широкую программу. Вернуться он намеревался лишь в будущем году, к концу зимы.

Особого беспокойства вынужденный перерыв не вызывал — работа практически завершена. Даже хорошо — за это время все устроится, можно будет взглянуть на проект свежим взглядом. А там получим последнее разрешение и — на завод.

Я с легким сердцем провожал своего друга в путешествие, настроение у него было приподнятое — пусть не далекая, но зарубежная поездка. В Польше Эрнст Иосифович хотел устроить небольшую выставку своих работ. В то время об официальном разрешении нечего было и думать. Он решил захватить с собой только гравюры. Они привлекали меньше внимания и занимали мало места. И все же листы были большие, возникла проблема, как их довезти, не повредив.

Порывшись на чердаке у себя на даче, я нашел огромный чемодан. В нем когда-то хранилось отцовское военное обмундирование, аккуратно убранное туда мамой после окончания войны. Сейчас он был пуст. Этот чемодан я отдал Неизвестному. Гравюры хорошо ложились на дно, не мялись, и сам старый, обтянутый брезентом,

твердый чемодан с кожаными ремнями ему очень понравился. Кроме того, импонировало отправиться в дорогу с хрущевским чемоданом.

Наконец Эрнст Иосифович отправился в путь, работа замерла, и я лишь изредка справлялся по телефону мастерской о новостях из Польши. Наконец, в конце января — начале февраля Неизвестный вернулся. Он был полон впечатлений. Принимали его тепло. Выставка гравюр прошла с успехом. Он подарил ее устроителям.

На границе произошел курьезный случай. Чемодан своим необычным видом и размерами привлек внимание таможенника.

Ничего недозволенного Неизвестный не вез, но из-за гравюр волновался. Среди признанных властями художников он не числился и специальное разрешение на вывоз работ брать не стал. Мы опасались, и не без оснований, что начнется волокита, согласования и в результате последует отказ. Теперь же гравюры могли задержать.

Таможенник без особого рвения перебрал лежащие в чемодане вещи, добрался до гравюр, на лице его явно читалось недоумение. С таким художественным стилем ему, видимо, сталкиваться не приходилось. Посмотрел один, два, три листа, десять. Недоумение нарастало, он не знал, что делать,

— Что это? Чьи это рисунки? — наконец спросил он.

— А, это мои рисунки, — небрежно отозвался Неизвестный, — я сам рисую.

— Понятно, — с облегчением захлопывая чемодан, ответил таможенник, — можете следовать.

За время отсутствия Неизвестного многое изменилось. Кто и как комментировал откровения Эрнста Иосифовича, я не знаю. Одно не вызывало сомнений: реакция начальства стала резко отрицательной. Ее довели до сведения всех, причастных к сооружению надгробия Хрущеву. Одни мы оставались пока в неведении и рассчитывали в новом, 1973 году закончить работу.

Пришло время получать визу в ГлавАПУ. Сначала мы пошли по «низам», в отдел, где обычно ставят на проект штамп «Разрешаю». Эрнст Иосифович знал здесь все входы и выходы. Его знакомая дама повертела наши бумаги, повздыхала, посочувствовала и сказала, что без

рассмотрения работы на заседании художественного совета не обойтись. Она записала нас в очередь.

Наступил день совета. Обстановка была куда помпезнее, чем в Художественном фонде,— огромный зал, огромный стол, множество людей. Мы приехали заранее. Хотелось осмотреться, расположить макет поудачнее. Он привлек всеобщее внимание. Без сомнения, многие из присутствующих пришли специально на «Неизвестного и Хрущева». Когда члены совета заходили в зал, они мельком оглядывали представленные работы. Вдруг взгляд натыкался на знакомый образ. Они оживлялись, выражение лица становилось заговорщицким, кое-кто оглядывался. Главного архитектора Москвы М. В. Посохина не было, и, думаю, не случайно. Совет поручили вести его заместителю Д. И. Бурдину.

Заседание началось. Поначалу обсуждались проекты памятных мемориальных досок на домах. Все зевали, глазели по сторонам, как обычно бывает на подобных собраниях. Постепенно очередь дошла до нас.

Бурдин коротко представил работу. Следом выступил Неизвестный. Все происходило буднично, по-деловому. Мы, конечно, предполагали, что с членами совета уже проведена необходимая работа. Доложив, Эрнст Иосифович ответил на многочисленные вопросы. Затем началось обсуждение. Я впервые был на таком сборище и потому очень волновался.

Все сходились в одном — проект очень интересен, но не ясна символика сочетания черно-белых цветов.

— Такой контраст,— отмечал скульптор Цигаль,— разбивает композицию, свидетельствует о недостаточном вкусе автора. Не лучше ли сохранить форму, но заменить материал на серый гранит? И... может быть, выровнять резкие углы.

Неизвестный сидел молча, глядел в пол и сопел. С Цигалем они вместе учились, но творческие пути развели их по разным лагерям. Я от всего этого потока слов просто растерялся, дернулся что-то вставить, но Эрнст Иосифович прошипел:

— Молчи, еще не то будет.

Слово взял следующий оратор. Ему казалось, что предлагаемый памятник высоковат. Он будет давить на зрителя. Выступавший рекомендовал уменьшить высоту

с двух метров тридцати сантиметров до двух метров десяти сантиметров.

Я ничего не понял, но у меня возникла твердая ассоциация с высотой дверных проемов в жилом доме.

Спектакль продолжался. На трибуне — новый член совета. Его тоже беспокоила черно-белая гамма. Предлагалось иное решение: красный порфир — символ революции, революционного прошлого Хрущева. Залу идея понравилась. Ее поддержали и другие выступавшие, но с дополнением — хорошо бы увеличить размер раз в пятьдесят. В этом случае надгробие, вернее не надгробие, а циклопическое сооружение очень выигрышно смотрелось бы на большой городской площади. Автор предложения не уточнил, на какой.

Среди этой разноголосицы прозвучало предложение поставить бюст на стеле, как у Кремлевской стены. Кто автор этого предложения — не помню. Я тогда не придал ему особого значения. Вскоре выяснилось, что это не случайная идея. Долгое время ее мусолили в разных кабинетах, она нравилась чиновникам своей безликостью, отсутствием мыслей, стандартностью.

В результате «подробного и всестороннего обсуждения» проект утвержден не был. Не помогло и мое выступление, ссылки на Нину Петровну, на семью. Решение звучало: «Вернуть автору на доработку, с учетом высказанных замечаний, и после переработки рассмотреть повторно».

Мы упрятали макет в сумку и, понурые, поехали в мастерскую. Там нас ждали друзья, но порадовать их было нечем.

Эрнст Иосифович мастерски, с юмором пересказывал выступления ораторов на заседании, комментировал их, но что делать дальше — не знал. Кто-то предложил написать Брежневу. Я вспомнил свою неудачную попытку общения с ним в 1968 году, и предложение отставили.

Все недоумевали, старались отыскать причину такого резкого поворота в отношении к проекту. Ведь всего несколько месяцев назад двери были широко открыты. Кто-то вспомнил, что в западной прессе появились заметки о памятнике. Там якобы говорилось, что черно-белое сочетание отражает противоречия в нашем обществе и противоречивую роль самого Хрущева в процессе демократизации в Советском Союзе. И еще что-то подобное.

Откуда и как туда попала информация, сказать трудно. Проект видели уже многие, интерес к нему был велик. Словом, мы разошлись, так ничего и не придумав.

Со следующего дня я стал звонить в высокие инстанции, но и там отношение изменилось. Раньше дозвониться до управляющего делами Совмина было не просто, но вполне реально. Сейчас же Смиртюков стал неуловим. То он у Косыгина, то обсуждает пятилетку, то еще где-то. В ГлавАПУ то же самое: то Посохин вышел, то не вошел. Бурдин же только уныло убеждал меня в необходимости переделки проекта. Я не соглашался, зная по опыту, что стоит только уступить — и от памятника пе останется и следа.

Моих собеседников больше всего волновало сочетание белого и черного, они выискивали, что за этим кроется. Видимо, в душе каждый придумывал свой вариант, один страшнее другого.

Как-то я в сердцах сказал Бурдину:

— Вы считаете, что черный цвет олицетворяет Брежнева? Вот глупость! Памятник ставится навсегда. Если принять вашу трактовку, то что же мне делать с памятником, когда Брежнев умрет?

Бурдин промолчал. Он ничего не мог поделать. Решения принимались в другом месте.

Неизвестный пал духом, однако, хотя и медленно, работа продолжалась. К нашему неудачному дебюту на совете камень и плита были проработаны основательно. К голове он пока не приступал, не желая понапрасну тратить силы.

И все же мне удалось убедить его начать работу над портретом. Сразу возникли трудности. В первые часы после смерти отца из-за растерянности мне в голову не пришла мысль о посмертной маске. Теперь лепить можно было только по фотографиям.

Эрнст Иосифович поначалу, казалось, нашел выход. Он вспомнил, что у президента Академии художеств Н. В. Томского будто бы есть бюст Хрущева, сделанный с натуры.

— При всем моем неприятии творчества Томского нельзя не признать, что он отличный портретист. Если он лепил с натуры, то бюст можно использовать вместо оригинала,— сказал Неизвестный.

15 3478

Я разубеждал его, поскольку не помнил, чтобы кто-то лепил с натуры бюст отца. Тем не менее я позвонил Томскому. Говорить он со мной не стал. Только референт сухо ответил:

— Да, портрет у нас есть, но это собственность Министерства культуры. Без их санкции он никому выдан быть не может.

Неизвестный, выслушав рассказ о моих переговорах, пробурчал:

— Обойдемся без них, будем работать по фотографиям.

В безрезультатной борьбе с инстанциями прошел весь 1973 год и наступил 1974-й. Мама нервничала, я ее успокаивал: «Еще одна последняя ступенька, еще один последний звонок...» Но звонок не был последним, а за ступенькой ждала следующая... Настроение падало с каждым днем: и Бурдин, и Моссовет, и Совмин сошлись в одном — делать бюст на стеле. Этот вариант устраивал всех, кроме нашей семьи. Надгробие получалось безликим, ничего не выражающим, что кое-кому и требовалось. Я выдвинул новый контраргумент: раз платит не государство, а семья, последнее слово за нами. Мы бюст на стеле не одобрим никогда.

Создавалась патовая ситуация, как в шахматах. Каждая сторона искала свой выход из положения.

Поползли слухи, что Моссовет хочет взять расходы на себя, а это означало, что они получат решающий голос. Я упорно настаивал на повторном рассмотрении на художественном совете. Бурдин не выдержал и пообещал утвердить проект. Опять мы сидим в том же зале, с тем же макетом.

Бурдин сдержал слово. Стиль обсуждения изменился. Выступающие признавали, что после доработки проект можно утвердить с замечаниями. До начала заседания ни о каких замечаниях речи не было. Они появились в последний момент и превращали решение в бесполезную бумажку.

Окончательный текст решения гласил: «Учитывая настойчивые просьбы семьи Никиты Сергеевича Хрущева, художественный совет Главного архитектурно-планировочного управления Мосгорисполкома утверждает представленный автором Неизвестным Э. И. проект над-

гробия Н. С. Хрущеву. Однако, со своей стороны, художественный совет рекомендует рассмотреть вариант стенки из серого гранита меньшей высоты. Кроме того, художественный совет считает более целесообразным вместо предложенного проекта в качестве надгробия сделать бюст на стеле».

Я считал, что мы победили — есть слово «Утверждаю». Неизвестный был настроен скептически и оказался прав. Никто этого решения не признавал. Более того, пока мы спорили, художественный совет Художественного фонда аннулировал свое положительное решение. Было из-за чего опустить руки.

Я пытался поймать Посохина — он прятался. Наконец я пошел к нему домой. Этого он не выдержал.

— Не имеет значения, нравится мне проект или нет. Пока не будет команды сверху, я ничего утверждать не стану. Не подпишу ни одной бумаги! — категорически заявил он.

Круг замкнулся...

Пришла беда, открывай ворота: на пост начальника главка, ведающего кладбищами, пришел новый человек — отставной полковник, бывший начальник лагеря на Севере. Фамилию я его не запомнил. Он одним махом отменил прежнее решение об увеличении участка под памятник. Я просидел полдня в его приемной, пока наконец он меня соблаговолил принять и грубо отказал.

Я позвонил в Моссовет Быкову. Он удивился самоуправству и тут же вызвал к себе начальника управления. Я тоже пришел. Пяти минут хватило на восстановление справедливости, вопроса об уменьшении участка больше не существовало. Валентин Васильевич Быков оказался единственным человеком, не изменившим своего мнения, не отказавшимся от своих слов.

Окончательно стало ясно, что на этом уровне решения не найти. Оставалось пробиваться на самый «верх».

Я предложил начать с Гришина. Он — первый секретарь Московского Комитета партии, много лет проработал бок о бок с отцом, часто бывал у нас дома.

Неизвестный узнал телефон, и я на удивление быстро дозвонился до помощника Гришина Изюмова. Он обещал доложить. Через неделю последовал ответ:

— Мы этими вопросами не занимаемся. Это дело

Моссовета и ГлавАПУ, с одной стороны, и управления делами Совета Министров — с другой. Мы ничем помочь не можем. Обращайтесь туда.

До Неизвестного дошел слух, видимо, специально предназначенный для наших ушей. Якобы Гришин в беседе с помощником сетовал на свое бессилие в этом деле.

— Если бы у меня было другое положение, я, конечно, разрешил бы. Сейчас сложилась ситуация, в которой я ничего сделать не могу,— оправдывался он.

Отказ нас окончательно обескуражил. Кроме как самому Брежневу, звонить больше было некому.

Крайне неохотно я взялся за это дело. Но другого пути не видел.

Оказалось, что с 1968 года, когда я последний раз общался с секретариатом Генерального секретаря, все телефоны поменялись. Поиски номера телефона заняли почти месяц. Дозвонившись в секретариат, я изложил свое дело. Мне посоветовали обратиться к помощнику Леонида Ильича — Г. Э. Цуканову и дали номер его телефона. Опять последовали многократные безуспешные попытки. Не помню, на какой раз мне повезло и я наконец услышал в трубке барственный голос:

— Я вас слушаю...

— Товарищ Цуканов, здравствуйте,— заволновался я.— Вас беспокоит Хрущев Сергей Никитич по вопросу сооружения памятника моему отцу. Все дело застопорилось. Уже год мы бьемся и ничего решить не можем. Осталась одна надежда на помощь Леонида Ильича.

— Я не понимаю, зачем вы звоните мне? Этим занимается управление делами Совмина. Звоните туда,— голос звучал крайне недовольно.

— Я год пытаюсь решить этот вопрос с ними, но никакого толку добиться не могу. Только поэтому я решил обратиться к вам,— заторопился я, понимая, что дело мое лопнуло.

— Вы думаете, у нас нет более важных вопросов? Этим делом мы не занимаемся и заниматься не будем.

— Но кто же может мне помочь?..

В трубке слышались гудки отбоя...

Теперь стало окончательно непонятно, что делать дальше. Обращаться выше? Выше оставался только господь Бог...

Кончался март 1974 года.

Мне очень не хотелось втягивать в эти хлопоты маму. Не хватало ей на старости лет выслушивать грубые ответы. Но другого выхода не было. Я вкратце рассказал ей о сложившейся ситуации. Она выслушала меня на удивление спокойно.

— Я давно говорила тебе, что пора мне вмешаться. Хорошо, я позвоню Косыгину.

Я не очень верил в положительный результат, слишком много разочарований пришлось испытать на этом пути. Косыгина долго добиваться не пришлось. Узнав, кто звонит, секретарь сказал, что Алексей Николаевич занят, спросил номер телефона и пообещал соединить при первой возможности. Через полчаса раздался звонок.

— Нина Петровна? Говорит секретарь Косыгина. Соединяю вас с Алексеем Николаевичем...

Косыгин был так же внимателен, как и десятилетие назад. Осведомился о здоровье, посетовал на годы.

— Я вас слушаю, Нина Петровна, что случилось? — перешел он к делу.

Мама коротко рассказала о наших бедах. Косыгин, не перебивая, слушал.

— А вам самой этот проект нравится? — задал он единственный вопрос.

— Да, нравится, иначе бы я не звонила.

— Хорошо. Я поручу с этим разобраться. Ваши телефоны мы знаем. Вам позвонят.

Он любезно попрощался.

Мама позвонила мне на работу и рассказала о состоявшемся разговоре. Окрыленный, я решил немедленно ехать к Неизвестному с радостной вестью. Однако как только положил трубку, раздался новый звонок. Меня разыскал заместитель начальника хозяйственного управления Совмина и попросил срочно доставить рисунок памятника для доклада Косыгину. Машина завертелась.

Через день цветной рисунок лежал в хозяйственном управлении на столе у начальника Леонтьева. Он его долго рассматривал, вертел так и этак, потом сказал:

— Товарищ Посохин представил нам свой вариант надгробия — бюст на стеле по аналогии с памятниками у Кремлевской стены. Мы доложим все-таки оба варианта.

Он показал мне небольшой листок из блокнота с

небрежным наброском тушью схемы стелы с бюстом. Я начал возражать, привел все свои аргументы. Они не подействовали.

— Ну что же, посмотрим. Доложим оба варианта и сообщим вам результат,— подвел итог Леонтьев.

Началось томительное ожидание. Прошла неделя. Тишина. Я не выдержал, позвонил в хозяйственное управление.

— Алексей Николаевич еще ничего не смотрел. Как только доложим, мы вас известим,—ответили мне.

Опять ожидание. Прошла еще неделя.

Мне запомнился тот теплый солнечный апрельский день. Телефонный звонок застал меня на работе. Это был начальник отдела из хозяйственного управления, который занимался моим делом.

— Алексей Николаевич рассмотрел проекты. Мы бы просили вас подъехать.

— А что он сказал?—не удержался я.

— По телефону я сказать ничего не могу. Приезжайте.

Попасть на улицу Разина в тот день было сложно. Кого-то в очередной раз встречали,и в ожидании торжественного кортежа Ленинский проспект уже начали перекрывать. Пришлось пробираться закоулками. Наконец я доехал и буквально вбежал в знакомый кабинет.

— Поздравляю вас!—встретил меня его хозяин.— Пойдемте к товарищу Леонтьеву. Он ждет.

Леонтьев рассказал подробности доклада у Косыгина:

— Алексей Николаевич рассмотрел проект и дал команду о сооружении памятника. Он считает: если семья одобрила его, то незачем управлению делами или еще кому-то вмешиваться. Мы уже позвонили товарищу Посохину. Созвонитесь с ним, он даст все нужные распоряжения. Будут заминки или понадобится помощь—не стесняйтесь, звоните. Поможем.

— Нужно написать письмо в Министерство культуры РСФСР о выделении бронзы,— вспомнил я.

— Сделаем немедленно. Скажите только, какая должна быть форма письма.

— Еще надо дать указание заводу,—лихорадочно перебирал я в уме наши проблемы.

— Дадим сегодня же.

Было видно, что Леонтьев рад такому исходу дела. Источник наших неприятностей находился в другом месте.

Вернувшись на работу, я первым делом набрал телефон Посохина. Секретарша, все последние месяцы не знавшая, как от меня отделаться, на сей раз обрадовалась мне, как родному:

— Как чудесно, Сергей Никитич, что вы позвонили! Михаил Васильевич вас разыскивает, каждые пять минут спрашивает. Мы никак не можем до вас дозвониться! Сейчас я вас соединю. На всякий случай позвольте записать номер вашего телефона.

Посохин был сама доброжелательность:

— Здравствуйте, Сергей Никитич! Я все уже знаю. Поздравляю вас! Мне звонили из Совета Министров. Мы немедленно утвердим вам проект!

— Когда соберется совет?

— Что вы! Никакого совета не нужно. Сегодня же поставим печать. Когда вы можете приехать?

— Сейчас. Синьки со мной.

— А нельзя ли поставить печать на тот рисунок, который был у Алексея Николаевича? — замялся Посохин.

Меня стал разбирать смех.

— Нельзя,— строго ответил я,— нужно иметь несколько экземпляров: вам, Художественному фонду, заводу, мне. Никак нельзя. Тем более что на рисунке не проставлены размеры, а на синьках они есть. Опять возникнут недоразумения, какая должна быть высота — два тридцать или два десять.

Посохин минуту помолчал.

— Ну приезжайте, я жду...

В приемной у Посохина было многолюдно. Присутствующие кинулись ко мне с поздравлениями. Многие и раньше были на моей стороне, памятник им нравился. Теперь же им восхищались все поголовно. Я двинулся было к двери кабинета Посохина, но секретарша вежливо, но решительно остановила меня.

— Сергей Никитич, вам нужно пройти к начальнику отдела,— она назвала фамилию,— он все подпишет.

— А разве... не Михаил Васильевич? — искренне удивился я.— Мы только что с ним разговаривали...

— Нет, нет. Он уже дал все команды,— оттесняла она меня от двери.

Видно, Посохин, покуда я ехал, передумал и свою подпись решил не ставить. На всякий случай.

И вот у меня в руках синьки с долгожданной печатью ГлавАПУ, штампом «Утверждаю» и подписью. Я позвонил Неизвестному. Радости его не было границ.

— Приезжай немедленно. Расскажи все в деталях,— потребовал он.

Когда я закончил рассказ, на душе было ощущение праздника. Эрнст Иосифович довольно улыбался.

— Теперь главное — не расхолаживаться,— встрепенулся он.— Нужно торопиться, торопиться и торопиться! Мы должны успеть поставить памятник, пока опять что-нибудь не изменилось.

Жизнь преподала ему немало горьких уроков. Он знал, что говорил.

В тот же день мы поехали ко мне домой, отобрали фотографии отца. Еще через пару дней форматоры сделали заготовку для головы. Когда я пришел в мастерскую поглядеть, как идет работа, то поначалу очень удивился — передо мной стояла голова Ленина. Эрнст Иосифович рассмеялся.

— Для начала работы годится любое изображение — нужны уши, нос, глаза, рот и тому подобное. Дальше вступаю я, буду делать голову Хрущева. Форматоры так набили руку на бюстах Ленина, что его вылепить им проще всего.

Работа спорилась. Голова все больше становилась похожей на отца, но Неизвестный был неудовлетворен.

— Портрет Никиты Сергеевича должен быть очень и очень похожим. На других надгробиях я допускал некоторую стилизацию, здесь же он должен быть чисто реалистическим, я бы сказал, даже натуралистическим,— повторил он уже слышанные мною слова.

Ему долго не удавался разрез глаз, нижняя часть лица. Наконец голова в глине была готова. Последние придирчивые осмотры. Мы оба уже привыкли, сжились с портретом, нужен был свежий глаз.

Собрали свою, домашнюю «комиссию». Приехали мама, Рада, Юля. Рядом со скульптурой поставили боль-

шое фото отца. Сравниваем снова и снова. Все одобрили, замечаний не было.

Работа окончена. Пришла пора передавать ее на завод.

Поехали в Мытищи. Директор любезен, но непреклонен: «Где решение совета Художественного фонда?» Я попытался подсунуть старое решение, но трюк не удался. Вернулись в Москву ни с чем. Пришлось звонить в Художественный фонд. Директор был в отъезде, и трубку взял заместитель.

— Вы по вопросу изготовления надгробия Хрущеву? А у вас есть решение об установке?— забеспокоился он.

— Есть положительное решение ГлавАПУ,— гордо ответил я.

— Ну если так, поставим вопрос на очередном совете,—успокоился мой собеседник.

На этот раз совет не был столь благожелателен, как прежний. Особых придирок не было, но все чего-то побаивались. Вдруг стали обсуждать стоимость — проект не укладывался в отведенные государством три тысячи. Чувствовалось подспудное опасение членов совета: коли отвели три тысячи, значит, знали, что делали, а тут — дороже. Нет ли подвоха? Как бы не утвердить что-то не то. Следом усомнился председатель: ему захотелось посмотреть голову в натуре — мало ли что может взбрести в голову этому Неизвестному.

Постановили: утвердить условно, окончательно решить после посещения мастерской для осмотра головы в натуре.

Через две недели в мастерскую приехали члены совета. Голова, сделанная в лучших реалистических традициях, им понравилась. «Вот, может ведь, если захочет»,— читалось на их лицах. Эрнст Иосифович принимал поздравления.

Итак, все мыслимые советы были пройдены, надо было начинать собственно изготовление. На завод позвонили из Совмина. Работу приняли вне очереди.

В производстве возникли трудности. «Плиту 2,5 × 2,5 метра отлить нельзя,— сказали технологи.— Надо ее разделить на четыре части, а потом сварить».

Подумали и решили делать плиту не единую, а разбить на четыре, оставив зазоры между ними, иначе следы

сварки будут видны, да и от теплового расширения цельная плита может покоробиться.

В день моего сорокалетия, 2 июля 1975 года, заложили на кладбище фундамент под памятник. Сделали его на совесть: откопали яму почти до гроба и все залили бетоном, укрепив стальной арматурой. Та же бригада взялась за установку памятника. Необходимую технику выделило хозяйственное управление Совета Министров. Все делалось, как по мановению волшебной палочки, и понемногу мы стали забывать о своих недавних мытарствах.

...Солнечный, но уже прохладный августовский день 1975 года. Мы приступали к завершению нашего четырехлетнего труда — установке надгробия.

С утра мы с Неизвестным поехали на завод в Мытищи встречать машину. Условились на десять часов. Десять часов — машины нет, одиннадцать — нет. Мы забеспокоились, умом понимая, что задержка чисто техническая, и все же уже забытый страх ожил: неужели все началось опять?

Наконец машина появилась. Выяснилось, что по дороге сломалось колесо, его пришлось менять.

И вот камни погружены. За плитами приедут следующим рейсом. Голову бережно укладываем в мои «Жигули». Через час с небольшим приехали на Новодевичье кладбище. Там уже ждал кран. Рядом прохаживался товарищ из Совмина, обеспечивавший разгрузку. В первый день монтаж решили не начинать. Камни и бронзу сложили рядом с фундаментом до завтра. Голову отвезли в мастерскую.

И вот настал день монтажа. Погода не подвела, солнце светило, как по заказу. Кран бережно подхватил первую бронзовую плиту.

Вокруг нас суетились иностранные корреспонденты, фотографировали каждый шаг. Представителей советской прессы, как и на похоронах, не было. Неизвестный обратился к журналистам с просьбой ничего не публиковать до окончания работ. Мы хотели застраховаться от любых случайностей.

Кладбище тогда было открыто для свободного посещения, у могилы собралась внушительная толпа. Нашли канат, отгородили место работ. То и дело приходилось загонять за него не в меру любопытных. Наконец послед-

няя операция — установка головы. Закатное солнце ярко освещало памятник.

Неизвестный взял голову, подошел к камням. Ниша по его росту оказалась расположенной слишком высоко. Нашли какой-то ящик. Он забрался на него и — торжественный момент — голова установлена. Работа закончена!..

Фотография с Неизвестным, стоящим на ящике, обошла все газеты мира.

Оставался последний штрих: площадку вокруг памятника засыпали песком. Высыпали целую машину. Впрочем, через неделю от него не осталось и следа — посетители унесли весь песок на подошвах.

Мы тепло поблагодарили за помощь представителя Совмина. Видно было, что и он доволен. Да и правду сказать, он очень старался.

— Я могу передать, что у вас нет замечаний? — спросил он на прощание.

— И огромную нашу благодарность! — с полным на то основанием ответил я.

К этому времени пространство вокруг могилы заполнилось людьми: собрались мои друзья, друзья Неизвестного, просто знакомые и незнакомые. Все были возбуждены, смеялись, поздравляли Эрнста Иосифовича и меня вместе с ним. Словом, праздник!

Официальных лиц не было. Пришел только один член художественного совета — Цигаль. Обошел памятник со всех сторон, поздравил Неизвестного, но не удержался:

— Ты все-таки не учел нашего пожелания уменьшить высоту.

Камень был выдержан в размерах проекта, но Эрнст Иосифович не спустил замечания:

— Нам пришлось даже несколько поднять высоту по сравнению с прикидками.

На этом они разошлись.

— Пора расплачиваться, — весело обратился я к Неизвестному. — В договоре оговорен гонорар, и вручен он должен быть по завершении работ.

Когда мы познакомились и начали переговоры, Неизвестный отказывался от денег. Однако, поразмыслив, он согласился, что бесплатная работа может быть расценена как некая демонстрация. Мы оговорили сумму гонорара.

— Что же, работа сделана большая, и деньги я заработал честно,— в тон мне ответил Неизвестный, пряча конверт с деньгами.— Теперь приглашаю отметить это событие.

Мы отправились в «Националь». Импровизированный банкет завершил этот счастливый день.

На следующее утро мы снова были на кладбище. Вокруг памятника стояла толпа людей. Вся плита была завалена осенними цветами. Люди обсуждали, спорили, фотографировали...

...И сейчас у памятника много споров: одним он нравится, их большинство; другие активно против. Но главное — никто не остается равнодушным. Мы добились цели — на могиле незаурядного человека встал столь же незаурядный монумент. Многие заходят сбоку в поисках авторской подписи. Далеко не все слышали его фамилию. Иногда возникает недоумение:

— Автор Неизвестный, почему он пожелал сохранить свое имя в тайне?

Другие поясняют:

— Это фамилия — Неизвестный. Он знаменит во всем мире.

Больше всего вопросов вызывает сочетание белого и черного. Когда меня спрашивают, я, как правило, не пересказываю замысел автора.

— Каждое настоящее художественное произведение живет своей жизнью, и вы видите в нем себя, оно отражает ваши мысли,— говорю я как заправский искусствовед. — Думайте и смотрите.

Мнений много: добро и зло, жизнь и смерть, реже — удачи и неудачи в судьбе Хрущева. А одна женщина объясняла:

— Белое — это хорошие дела, черное — плохие.

Что ж, каждый из них по-своему прав.

Много разговоров вызвал портрет. Замысел автора остался не понятым большинством. «Голова, как отрубленная»,— говорят многие.

Не получил одобрения у первых посетителей и цвет старого золота. Впрочем, это уже прошлое. Время распорядилось цветом. Сейчас голова почти черпая, а плита сероватая.

Мне кажется, что усилия и Неизвестного, и мои, и

всех, кто нам помогал, не прошли даром,и отцу установлено надгробие, достойное его имени и его непростой жизни.

Хотя мы стремились закончить установку памятника к годовщине смерти отца, в наши планы не входила церемония официального открытия. Мы не хотели раздражать власти — всякие речи неизбежно вызовут резонанс, привлекут к памятнику ненужное внимание. Наученные горьким опытом, мы не брались предсказать, чем это может кончиться. Приказом снести памятник? Жизненный опыт говорил, что это предположение не так уж абсурдно. Более вероятными были неприятности для тех, кто нам помог, думаю, не исключая и Алексея Николаевича Косыгина.

Мне вспомнились слова Евтушенко: «В молчании есть что-то более значительное»,— и я решил последовать его рекомендации. Однако жизнь распорядилась иначе.

В годовщину смерти мама собиралась прийти на кладбище попозже, после закрытия, когда посетители разойдутся и можно будет тихо постоять у могилы. 11 сентября 1975 года было пасмурно, холодно, временами шел дождь. Когда мы подъехали к воротам кладбища, там собралась большая толпа. К тем, кто каждый год в этот день приходил почтить память отца, на сей раз добавились и незнакомые его почитатели, иностранные корреспонденты.

К машине подбежал Женя Евтушенко. Он открыл дверцу, бережно поддержал под локоть маму, помог ей выйти. Раскрыл над ней большой зонт. Все время он был рядом с ней, в центре внимания. Тихонько спросил меня:

— Кто будет говорить?

Видимо, отказ от выступления четыре года назад не давал ему покоя, и теперь он хотел исправить свою ошибку. Но мы не хотели ни митинга, ни речей. Тем не менее у памятника он сказал несколько теплых слов об отце.

Вспыхивали блицы, нас фотографировали иностранные корреспонденты, но вопросов не задавали — момент был не подходящим для интервью. Через полчаса мы разошлись. За спиной в темноте остался памятник, заваленный цветами.

Когда через несколько дней мы встретились с Неиз-

вестным, он рассказал, что его посетила делегация бывших заключенных сталинских лагерей. Они пытались вручить ему собранные ими деньги в знак благодарности за памятник. «Мы установили дежурство у памятника. Каждый день меняем цветы»,— рассказывали они Неизвестному.

Какой-то армянский скульптор положил к подножию памятника сделанный им мраморный лик отца, сопроводив свое подношение трогательной запиской.

Ежедневно у памятника собиралась огромная толпа. Она то растекалась вокруг, то сжималась. То тут то там вспыхивали жаркие споры. Равнодушных не было.

Это, конечно, не прошло мимо внимания тех, кто по долгу службы должен все знать. Оправдывались «мрачные» прогнозы — памятник всколыхнул, поднял на поверхность интерес к Хрущеву. Возродил затухнувшие было воспоминания о бурных 50-х. Теперь они объединились — Хрущев и Неизвестный,— и слава одного поддерживала, подсвечивала славу другого.

Долго этого терпеть не могли. Новодевичье кладбище закрыли для посетителей «в связи с ремонтом». Так оно и простояло более десяти лет. Только теперь, в период перестройки, на нем появляются стайки экскурсантов...

Памятник был установлен, мы радовались, но праздник этот сопровождался грустью: Эрнст Иосифович собрался уезжать из нашей страны. «Коллеги» приложили все усилия, чтобы выдворить его. И они преуспели в этом черном деле. Скоро в России должно было стать одним талантливым человеком меньше. Противостояние, начавшееся давно, получило новое развитие. Ход событий резко ускорился.

Я уже упоминал о столкновениях московских официальных художников с Неизвестным, вылившихся вскоре в открытую непримиримую войну. Но силы были явно неравны, Эрнст Иосифович был обречен. Талант не мог противостоять хорошо смазанной и пригнанной бюрократической машине. Дела его шли все хуже и хуже, и вот наступил кризис.

Внешне все оставалось благополучным. Закончилась работа в Зеленограде. Она хоть и не принесла наград, но была принята благосклонно. Неизвестный работал над проектом памятника Гагарину в Москве, имел большие

заказы из Ташкента, Ашхабада и других городов. Одновременно с надгробием отца делал памятник академику Ландау. Популярность и авторитет его росли, о нем говорили во всем мире. Не было только официального признания в своей стране. Незаметно подкатил юбилей — прожиты 50 лет. Такие юбилеи у нас принято отмечать — ордена, выставки, звания, собрания... Ордена Эрнсту Иосифовичу не дали, и хотя он никогда не отличался тщеславием, заноза засела глубоко.

— У меня достаточно орденов, не чета этим — боевые,— повторял он, но было видно, что его задело нарочито подчеркнутое невнимание.

Предложение устроить юбилейную выставку в Доме архитектора он воспринял как оскорбление, поскольку место это непрестижное.

— Там выставляются только пионеры и пенсионеры, — с этими словами он отказался.

Персональную выставку отменили вовсе.

Все эти уколы к желаемому результату пока не приводили, но были болезненны, неприятны, портили настроение, мешали работать. Решительный удар был нанесен мастерски и исподтишка. Москва начинала готовиться к Олимпийским играм, строились новые спортивные сооружения, прокладывались широкие проспекты. Вовсю ревели бульдозеры, сносили дома. Под такой бульдозер вскоре должна была попасть и мастерская Неизвестного вблизи сооружавшегося спортивного комплекса. Эрнст Иосифович стал готовиться к переезду, пора было хлопотать о новой мастерской. У него имелось письмо с указанием первого заместителя Председателя Совета Министров Кирилла Трофимовича Мазурова о внеочередном предоставлении помещения. Однако в Союзе решили иначе.

— Становитесь в очередь,— издевательски предложили Неизвестному.

— Очередь на несколько лет. Каждый только что вступивший в Союз сразу становится в нее. А мне уже пятьдесят, ждать некогда,— возразил он.

— У нас все равны,— последовал ответ, рассчитанный на его широко известное самолюбие и ранимость.

Неизвестный не взорвался, как того ожидали, а предъявил главное оружие — резолюцию Мазурова. Не помогло.

— Вот вы и обращайтесь к товарищу Мазурову, если он вам обещал,— порекомендовали ему.

Разъяренный Неизвестный выскочил из кабинета. В коридоре его ждал еще один удар. Встретился старый соученик, а ныне один из «ключевых» людей в Московской организации.

Он раскрыл объятия.

— Рад тебя видеть. Ты еще здесь? А у нас все считают, что ты давно уехал. Когда собираешься?— улыбнулся «друг».

Эрнст Иосифович ответил, что никуда не собирается, пришел хлопотать о новой мастерской.

— Нет, ты все такой же наивный,— заливался «друг»,— здесь ты ничего не получишь. Поверь моему слову.

Неизвестный вернулся в мастерскую мрачный, подавленный и тогда впервые заговорил об отъезде. Сначала в шутку, потом серьезно. Я его отговаривал:

— В стране вас все знают. Вы прославленный художник. Там придется начинать сначала. После пятидесяти это нелегко. Здесь друзья, родные, а там новый, непривычный мир.

Но уверенности в своей правоте я не чувствовал. Слишком хорошо я знал, что происходит. Он соглашался, но...

— Работать они мне не дадут. «Мёбиусы» я не поставлю. Пусть там неизвестность, но хоть какой-то шанс есть,— убеждал он не столько меня, сколько себя.

Слухи о предполагаемом отъезде распространились быстро. Дошли они и до ушей начальства. Неизвестного пригласил к себе министр культуры П. Н. Демичев.

— Разговор прошел хорошо,— рассказывал Эрнст Иосифович,— но без результата. Ведь у меня нет конфликта ни с властью, ни с партией. Я хочу работать, а мой Союз мне работать не дает. Вот я и попросил Демичева дать мне работу и оградить от происков Союза. Больше ничего мне не надо. «Со всеми художниками из-за вас я ссориться не буду»,— ответил министр. Я возразил, что мне противостоят, мешают не все художники, а коррумпированная верхушка, мафия. Но он повторил свое: «Из-за вас одного я со всеми художниками ссориться не буду». Эта верхушка для него — «все художники».

Говорить больше было не о чем, и они расстались. Потом с Эрнстом Иосифовичем беседовал Д.М.Гвишиани, еще кто-то, но решить проблему его взаимоотношений с бюрократией от искусства не брался никто. Неизвестный в Москве тех лет мешал, он был лишним. «Здоровый» коррумпированный бюрократический организм отторгал его, как инородное тело.

Одним из серьезных заказов у Неизвестного в то время было оформление Дома политического просвещения в Ашхабаде.

Я уже говорил, что, хотя в Москве все пути были перекрыты, там, куда не дотягивались руки Московской организации, Эрнсту Иосифовичу охотно давали заказы.

Этот заказ считался весьма престижным. Дом открывался к юбилею республики, ожидались высокие гости. Недоброжелатели художника нервничали — вдруг его работа понравится. Последствия могут быть непредсказуемыми, а посему мешали как могли.

Я был свидетелем некоторых происшествий. Как-то надо было получить пару мешков смальты для оформления ашхабадского Дома. Эрнст Иосифович рассказывал, что в подобных случаях скульпторы брали на складах Союза под свои сохранные расписки необходимые материалы. Никогда проблем не было. В данном случае все происходило иначе.

Сроки торопили строителей — через месяц открытие, и перенести его нельзя ни на час. Представителем центра ехал сам Кириленко. На просьбу о выделении смальты Неизвестный получил невозмутимый ответ:

— Материальные ценности можем выдавать только материально ответственному лицу.

В Москве ждал самолет, прилетевший из Ашхабада специально за этими двумя мешками. В дело вмешался постпред Туркменской республики, предложив свои услуги.

— Вы — не материально ответственное лицо, — ответили представителю союзной республики при центральном правительстве.

Наконец первый секретарь ЦК Компартии Туркмении позвонил в Московский комитет, и только тогда мешки выдали. Самолет улетел...

И так — из-за каждой ерунды.

С трудом работы в Ашхабаде завершились. Высокий гость на них не среагировал, в судьбе автора ничего не менялось.

Все эти происшествия только укрепляли Неизвестного в его решении уехать. Навсегда покидать Отечество он не собирался и просил сохранить ему советский паспорт, чтобы оглядеться на чужбине, но всегда иметь возможность вернуться. Однако это никак не устраивало его коллег, ведь он мог вернуться и в ореоле славы, что и произошло недавно.

Долго ходили слухи, что дело дошло до Политбюро ЦК. Юрий Владимирович Андропов ходатайствовал о том, чтобы оставить Эрнсту Иосифовичу советский паспорт. Однако против был Суслов, и он взял верх — Неизвестному предстоял отъезд в эмиграцию. Пути назад не было. Правда, разрешения на выезд пока не было тоже. Неизвестный хлопотал. Тяжело уезжать, но обстоятельства торопили.

Эрнст Иосифович упорно работал до последней минуты. Уже накануне отъезда он вместе с архитектором Стамо (одним из авторов Дворца съездов) представил на конкурс проект памятника Гагарину. Его отвергали, хотя принятый к реализации вариант по экспрессии и исполнению был существенно ниже.

— Пусть едет. А то будет работа — останется...— очевидно, решили члены художественного совета.

И вот последняя работа на Родине — надгробие академику Ландау — закончена. Голову мыслителя установят на титановой колонне на могиле академика перед самым отъездом автора. Мотив мыслителя неоднократно в разных вариантах повторялся в работах Неизвестного, начиная еще с нереализованного Дворца мысли в Новосибирском академгородке.

Непросто оказалось уехать и чисто технически. Недавно Неизвестного громили, не выставляли, а тут объявили его работы не подлежащими вывозу из страны. Все они стояли в мастерской, поскольку музеи их не покупали. Эрнст Иосифович затеял скандал, протестовал. Ему «пошли навстречу» — работы разрешили взять с собой, но следовало уплатить громадную пошлину. Таких денег у него не было, и взять их неоткуда.

Разразился новый скандал. Неизвестный был доведен

до предела, нервы его измотаны, и он решился на последний шаг:

— Если не прекратится издевательство, я публично разобью все работы!

Это не было пустой угрозой...

Решение нашлось сразу: Третьяковка закупит часть работ, и деньги, полученные за них, пойдут в уплату пошлины. Правда, закупались работы ранние, наименее выразительные. Но сейчас это автора уже не волновало. Лишь бы выпустили.

Кажется, все было решено. Разбираются, упаковываются скульптуры, но никто не знает, когда конкретно разрешат выезд. Мучительно тянутся дни, недели, месяцы.

В начале марта я на десять дней уехал в Душанбе. Перед отъездом все было без изменений. Казалось, впереди еще много времени.

Вернувшись, позвонил Эрнсту Иосифовичу.

— Через два дня я улетаю. Уже купил билеты,— огорошил он меня.

Бросив дела, спешу в мастерскую. Там полно людей, все галдят. Что-то выносят, везде стоят ящики. Сборы в разгаре.

— Сразу после твоего отъезда меня вызвали в ОВИР, вручили документы и предупредили, что они действительны для выезда в течение трех недель. Так что мог меня не застать.

Последние предотъездные дни слились в один: сборы, хлопоты, беготня. Большинство работ Эрнст Иосифович забрал с собой. Они отправятся поездом. Часть работ продана — нужны деньги на отъезд, часть подарена.

Наступил день отъезда. Шереметьево-2 еще не был построен, толпимся в старом аэропорту. Шампанское, поцелуи, разговоры. И вот прощание. Между нами граница, пока это только прозрачная перегородка, но она уже непреодолима. Возможно, навсегда. Венский рейс уносит из страны часть ее национального достояния, ее богатства и славы, выброшенных, как ненужный хлам...

Можно утешить себя только тем, что раньше эти люди упрятали бы его в лагерь, а теперь «всего-навсего» выдворили, все же выдающийся талант не потерян для мировой культуры.

Слабое утешение...

Меня часто спрашивают:

— Правда ли, что Хрущев в последний период жизни подружился с Неизвестным и завещал ему сделать себе надгробие?

— Правда,— отвечаю я.— По складу характера они оба были личности, и такое могло произойти. А то, что этого не произошло,— случайность...

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

ОГЛАВЛЕНИЕ

Сергей Никитич Хрущев

ПЕНСИОНЕР СОЮЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Заведующий редакцией *К. Г. Ликутов*
Редактор *А. В. Карпов*
Фактологическая проверка *А. М. Маликова*
Художественный редактор *А. И. Хисиминдинов*
Фоторедактор *Л. Г. Устинова*
Технический редактор *Н. М. Ладик*
Корректор *Н. П. Сидорина*
Технолог *С. Г. Володина*

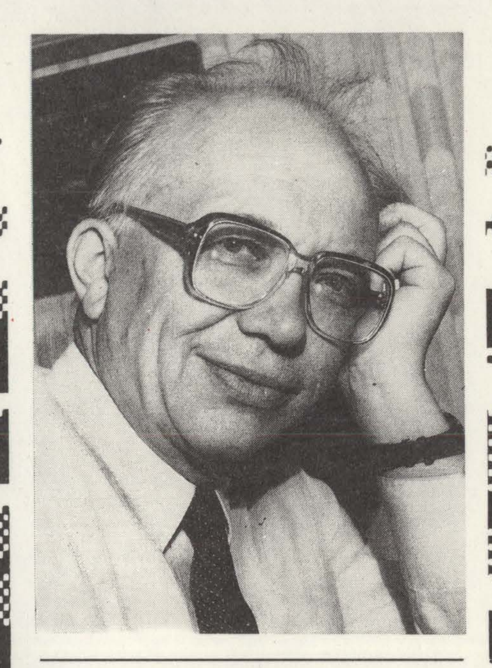
ИБ 10314

Сдано в набор 040690 Подписано в печать 20 09 90
Формат издания 84 × 108 32 Бумага офсетная.
Гарнитура таймс Печать офсет
Усл печ л 25,2
Уч -изд л 26,19 Тираж 150000 экз. (1-й завод 1 - 100000 экз)
Заказ № 3478 Изд № 8597 Цена 5 р 70 к

Издательство «Новости»
108082, Москва, Б Почтовая ул , 7

Типография Издательства «Новости»
107005, Москва, ул Ф Энгельса, 46

5 р. 70 к.



Хрущев Сергей Никитич — родился в Москве в 1935 году. Окончил Московский энергетический институт. Доктор технических наук, профессор, его специальность — системы управления.
В этой книге он повествует о последних годах жизни своего отца — Никиты Сергеевича Хрущева, руководителя КПСС и Советского правительства после Сталина (1953—1964 гг.). Показывает закулисную сторону сговора бывших соратников отца, вынудивших его уйти в отставку. Рассказывает также о перипетиях, связанных с созданием Хрущевым мемуаров, чему всячески препятствовали высшие руководители страны во главе с Брежневым, используя при этом аппарат госбезопасности.

Новости